

Василий АКСЕНОВ

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЭБИ



3

\$ 4

W

E

R

S

D

F

X

C



Василий АКСЕНОВ

В ПОИСКАХ
ГРУСТНОГО БЭБИ

Повесть

БУМАЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Повесть



Издательство «Изографус»

ЭКСМО-ПРЕСС

Москва, 2002

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)
А42

Художники Александр Анно, Максим Горбатов

Аксенов В.

А42 В поисках грустного бэби. Бумажный пейзаж —
М.: Изографус, ЭКСМО-Пресс. 2002. — 560 с.

ISBN 5-94661-011-2

Книга об Америке — какой увидел ее и ее обитателей свежим взглядом русский писатель. Увлекательное путешествие по Америке, встречи с яркими людьми, много юмора. И в то же время — о России, какой она была в семидесятые — восьмидесятые годы, когда автор был вынужден уехать из своей страны. Этой же эпохе советской действительности посвящен и второй роман — «Бумажный пейзаж», фантазмагоричный, как сама эпоха.

ББК 84(2Рос-Рус)

© В.Аксенов, 2002

© А.Анно, М.Горбатов, оформление, 2002

© Издательство «Изографус», 2002

ISBN 5-94661-011-2

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЭБИ

Повесть



1924
№ 1

В ПОНЕКАХ ПРАСТОГО НАСА

Посвящено

442

Второй том. — 1924 г. — 1924 г.
М. И. М. — 1924 г. — 1924 г.

Второй том. — 1924 г. — 1924 г.
М. И. М. — 1924 г. — 1924 г.

1924 г. — 1924 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Неужели вы всерьез собираетесь жить в Америке? — спросил Клаус Габриель фон Дидерхофен.

— Почему бы нет? — сказал я.

Он пожал плечами.

— Не любит Америку, — подмигнул Серджо Бугаретти. — И знаете почему?..

В этот момент режиссер захлопал в ладоши и попросил приготовиться к съемке. Все участники беседы приосанились, то есть немец водрузил на короткий нос пролетарские очки в железной оправе, итальянец откинул со лба седые пряди, чтобы быть еще ближе, еще понятнее своим читателям, русский эмигрант, иными словами, сорокавосемилетний писатель, только что выпихнутый из Москвы, еще точнее — я, автор этой книги, попытался изобразить легкость, приветливость, международный лоск, не очень-то уместные в его нынешнем положении.

Мы сидели на раскладных парусиновых креслицах на вершине идеально круглого и идеально зеленого холма. Внизу, на разных уровнях, в складках предгорья пестрели строения городка, название которого звучит как флейточка — Кортина-д'Ампеццо. Вокруг, по всему окоему, торчали гребнями, башнями, клыками и круглились глазированные боками Доломитовые Альпы.

В то лето 1980 года я был итальянской знаменитостью. За несколько ме-



сяцев до выезда из СССР в Милане вышел итальянский перевод «Ожога». Итальянские журналисты нашли меня в Париже. Муниципалитет Кортины пригласил нас с женой на отдых в свои блаженные края. Сейчас телевизионщики приволокли меня на беседу с участием своего знаменитого соотечественника и знаменитого немца из Гамбурга. Все это смахивало бы на рекламу курорта, если бы не наши подержанные лица и кислотоватые мины. Немцу явно не нравилось то, что говорил я. Меня слегка воротило от высказываний немца. Итальянцу нравилась родная речь. Меня не оставляло ощущение, что мы слегка засоряем окружающую среду.

После съемок прохлаждались в маленькой траттории. Немец вернулся к американской теме. Уехать из России и отправиться в Америку? Из одного ада в другой? Да вы, дружище, попросту не понимаете происходящего. Итальянец улыбался: не любит Америку, потому что она отвергает теории Шпенглера. Они были очевидными друзьями, и им очевидно было наплевать на меня.

Собственно говоря, я не понимал ни того, ни другого. У меня еще голова кружилась после последних московских недель, когда ежедневно являлись прощаться друзья, группа за группой, вперемешку со стукачами. Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны, правда, после похорон вегетативная нервная система все-таки успокаивается.

Что он несет про Америку, этот знаменитый немец? Ведь я же там был каких-нибудь пять лет назад. Вот там мы тогда дали шороху! Даже книжку написал — «Круглые сутки нон-стоп»! Какое сравнение с СССР, если там за сутки включаешься лишь пару раз по полчаса, да и то все вокруг заполнено неподвижным грохотом и воем?

— Ну и немец! Вот когда смотришь на такого, приходит в голову, что Европе все равно было бы несладко, победы на выборах не Гитлер, а Тельман.

— А итальянец? Тоже хорош. Ты заметил, что у него вся шея оплетена золотыми цепочками? Запаястья тоже.

Эстетика Габриеле Д'Аннунцио. Загадочность этого неороманского декаданса. Что он говорил о Шпенглере?

— Черт его знает. Не очень-то хорошо помню, кто такой этот Шпенглер.

Так, равнодушно обсуждая наших недавних компаньонов, мы с женой как бы избавлялись от них и от их к нам — равнодушия. Конечно, мы были не правы. Никаким там фашизмом или коммунизмом и не пахло. Оба писателя были почтенными грешниками, философскими неряхами, «дарлингками» Европы и бесконечными страдальцами мужского климакса; словом, талантами. На Америку им было, конечно же, наплевать, как и на наш туда предположительный отъезд.

Пересекали океан самолетом компании TWA. Все почему-то казалось недоброкачественным. Ланч — синтетический, фильм — бредовина, стюардессы — усталые и неприветливые (клячи), сродни советским.

Что происходит? Пять лет назад я пролетал той же самой трансконтинентальной компанией над тем же самым океаном, и все было наоборот: жратва ароматная, стюардессы секси, фильм шедевральный...

Вспомнился рассказ Брэдли об экскурсии в доисторическое прошлое. Туристов предупреждают не ступать ни шагу с искусственной тропы, иначе возникнет опасность нарушения среды прошлого, а это может привести к непредвиденным последствиям в будущем, то есть в том времени, откуда они приехали и куда намерены после экскурсии возвратиться.

Герой рассказа, однако, зазевался и наступил на бабочку, сидевшую на обочине. Ну, думает, ничего страшного — что изменится из-за какой-то бабочки, жившей миллион лет назад? По возвращении в свое время он нашел, что и в самом деле ничего не изменилось, за исключением того, что избирательная кампания, в которой он ждал победы разумных положительных сил, приобрела какой-то необъяснимый иррациональный характер, а язык

газет, ставший вдруг малограмотным и хамским, полон каких-то неясных угроз.

Я подумал, что с первого дня прибытия на Запад и потом, во время трехмесячных скитаний по Европе, и сейчас, в американском самолете, меня не оставляло вот это ощущение «раздавленной бабочки». Раньше все было лучше, казалось мне, просторней, красивей; больше здравого смысла; меньше пахло потом и дезодорантами.

Может быть, ухудшение это мне лишь кажется, может, всегда так было, может быть, просто мизантропические миазмы пресловутого *midlife crisis* одолевают? А может быть, «раздавленной бабочкой» западной цивилизации оказалось эмбарго 1973 года, и вот сейчас все еще тянутся его последствия в виде каких-то мелких, вроде бы почти незаметных ухудшений, что, будучи собранными вместе, как раз и дают запашок сомнительных качеств, халтуры?

Есть идеальная фраза для описаний путешествий, я вычитал ее в русской книжке конца восемнадцатого века, которая называлась «Приключения модистки с Кузнецкого Моста и приказчика из Каретного Ряда» и не была обременена ничем посторонним, не исключая и имени автора. Звучит эта фраза так: «Марш теперь в Сокольники, и вот мы уже в Сокольниках!» Это ли не перл? Увы, современная проза, как свинья, равнодушна к россыпям подобных сокровищ.

Итак: марш теперь в Америку, и вот мы уже в Америке! К сожалению, подобный лаконизм застревает в аэропорту Джона Фицджеральда Кеннеди. Огромные очереди к паспортному контролю, несметные толпы вокруг багажных каруселей, мельтешение трех лучших из миров (с преобладанием третьего) в зале таможни.

На пограничных постах, дорогой господин Клаус Габриель фон Дидерхофен, все-таки чувствуется разница между СССР и США. Если первый гигант свирепо не выпускает людей из своих «священных пределов», второй лишь вяло и чаще всего безуспешно отбивается от желающих проникнуть под звездно-полосатую сень; а хочешь уехать — катись!

Ненависть к Америке

Сейчас, после четырех уже лет жизни в этой стране, я все еще задаюсь вопросом, что вызывает у многих людей в Латинской Америке, в России и в Европе антиамериканские чувства такой интенсивности, что их иначе, как ненавистью, и не назовешь?

Эти чувства всегда носят какой-то особый, несколько истерический характер, как будто речь идет и не о стране, а о женщине, изменившей с другим.

Отставим в сторону (до поры) антиамериканскую пропаганду, входящую в стратегический план противоборствующей стороны, то есть Советского Союза и его идейного штаба Агитпропа.

К эмоциональной сфере эта так называемая война идей относится в той же степени, что и бактериологическая, с антраксом, бомба. Будем говорить лишь о чувствах, комплексах и подсознательной неприязни.

Один советский поэт однажды спросил у Эрнесто Че Гевары, почему тот столь пылко и искренне ненавидит Америку. Че разразился тирадой по поводу империализма янки, закабаления экономически слабых стран жадными монополиями, экспансионизма, подавления народно-освободительных движений и так далее. Поэт, надо отдать ему должное, не удовлетворился этим уроком политграмоты и поинтересовался, нет ли чего-нибудь личного в этих чувствах. Революционер осекся, замолчал, покручивая в руках бокал своего неизменного дайкири и глядя в сторону Флориды (вообразим, что разговор происходил на борту яхты «Гранма»), потом начал рассказывать любопытную историю.

Не знаю, вошла ли эта история в различные биографии Че, которыми пестрят витрины книжных лавок, пересказываю ее со слов поэта.

Подростком в своей Аргентине Эрнесто культивировал Соединенные Штаты как страну своей мечты, напропалую смотрел голливудские вестерны и напевал джазо-

вые хиты. Страсть к путешествиям мальчик удовлетворял бесконечными поездками на велосипеде вокруг Буэнос-Айреса.

Однажды на загородном аэродроме он увидел, как в транспортный самолет грузят скаковых лошадей для отправки в Америку. Революционные задатки юнца сработали немедленно, он решил пробраться в самолет и таким образом бесплатно оказаться в стране мужественных ковбоев и дерзких блондинок. Сказано — сделано, и вот он в самолете, и вот он в Америке.

Лошадок разгружали где-то в Джорджии. Стояла стоградусная жара*. Обслуга обнаружила аргентинского искателя приключений, отпустила ему, разозлившись, хорошую порцию тумачов и заперла в пустом самолете.

Три дня провел парень без еды и питья в раскаленной железной коробке. Потом его отравили восвояси.

«Этого самолета, — тихо сказал Че нашему поэту, — я им никогда не забуду». Потом снова воспламенился: «Ненавижу всех гринго, их развязные глоса, их наглую походку, самоуверенные взгляды, похабные улыбки...»

Не исключено, что у многих латиноамериканских революционеров-антиамериканистов, скажем, у сандинистов в Никарагуа, был в прошлом вот такой самолет, пусть и не столь раскаленный, как у Че Гевары, были еще более случайные и скоротечные, но все-таки удары по самолюбию, шлепки унижений, которые можно было отнести к блондинистому гиганту на Севере. Провинциальные комплексы неполноценности сыграли огромную роль в распространении марксистских идей.

Смешно сказать, но во многих случаях, если не в большинстве, речь идет о чистейшем недоразумении. После четырех лет жизни здесь можно твердо сказать, что американцы не любят унижать людей. Их «развязные голоса» — просто манера их речи, «наглые походки» — просто-напросто выработанная в поколениях фигура передви-

* По Фаренгейту.

жения тела в пространстве, «самоуверенных взглядов» и «похабных улыбок» — в массе не встречается, а если они и встречаются, то по большей части происходят от простодушного следования какому-нибудь кино- или теле-имиджу.

Ко всему прочему, сейчас этот образ американского супермена все дальше уходит в прошлое, оттесняется на окраины. Интересно и печально было в этой связи наблюдать американских морских пехотинцев, окопавшихся на окраине Бейрута. Советская пропаганда вопила на весь мир, изображая этих ребят как захватчиков, насильников, а они были скорее похожи на простых молоденьких работяг. Вот вокруг них, на улицах разрушенного города и на холмах Ливана, шуровали как раз самые что ни на есть «американцы» в ковбойских шляпах, в джинсах и жилетках — арабские головорезы и террористы демонстрировали «развязные голоса», «наглые походки», «похабные улыбки».

Ненависть к американцу — это, по сути дела, ненависть к устаревшему стереотипу, фантому целлулоидной пленки.

Интересно было бы проследить корни антиамериканских чувств, возникающих в идеологизированных обществах. Геббельс с искренним изумлением докладывал Гитлеру о допросах первых американских военнопленных, взятых в Сахаре. В них нет никакой идеологии, мой фюрер, то есть, по сути дела, они лишены каких бы то ни было человеческих качеств.

Я думаю, что и нынешних западногерманских левых бесит отсутствие у американцев идеологического начала. Когда какой-то лидер «Зеленой партии», собрав пробирку собственной крови, выплеснул ее на мундир американскому генералу, со страниц газет дохнуло ранним гитлеизмом, какими-то заклетами Нюрнберга.

Берусь утверждать, что у русских, несмотря на десятилетия пропаганды, до сих пор еще не выработался антиамериканский комплекс. Недоверие к Америке как к явлению цивилизации существует (или существовало?) у рус-

ской послереволюционной интеллигенции в принципе, как у части общеевропейской левой. Уместно, может быть, вспомнить упомянутую сеньором Бугаретти теорию Шпенглера: Америка и в самом деле опровергает тезис о закате Запада.

Первым русским революционным писателем, посетившим США, был Максим Горький. Страна вызвала у «буревестника революции» неслыханное раздражение. Нью-Йорк он назвал «городом Желтого дьявола», а джаз определил — со столь свойственным ему отсутствием эстетического чутья — как «музыку толстых».

Великолепнейший прозаик двадцатых годов Борис Пильняк написал после своего путешествия в Штаты «американский роман» под названием «О'кей». Увы, этой книге больше бы подошло другое слово из четырех букв — shit*. Антиамериканизму Пильняка позавидовал бы любой служака из Агитпропа. На каждом перекрестке, бия себя в грудь, этот истинный мастер прозы с неожиданной пошлостью заявлял: я советский человек! Все в Америке отталкивало его. В панике он убежал от голых ножек мюзик-холла. «Не может советский писатель выступать перед голопупыми девками!» — ошеломляющее ханжество для писателя, бесстрашно внесшего в пуританскую русскую литературу натурализм и секс!

Конечно, можно предположить, что Пильняк пытался этой книгой замолить свои прежние грехи перед Сталиным, но чувствуется и доля искренности в этих эмоциях.

Маяковского в его американском путешествии раздирали восхищение и неприязнь. Футуристическая, художественная часть его натуры ликовала при виде небоскребов и гигантских стальных мостов. Бродвейская лампирования бодрила творческие железы. Лереволюционное троцкистское сознание между тем подыскивало негативные аргументы:

* Дерьмо.

*Я в восторге
от Нью-Йорка города,
Но кепчошку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев смотрим свысока.*

В пророческом откровении поэт предположил, что Соединенные Штаты, возможно, станут последней в мире «крепостью капитализма перед лицом «атакующего класса». Примерно те же чувства выразили знаменитые советские сатирики Ильф и Петров в книге 1936 года «Одноэтажная Америка».

Я думаю, все дело тут заключалось в том, что эти русские (читай — левоевропейские) художественные путешественники были ошеломлены полным равнодушием Америки к величайшему потрясению их жизни, Октябрьской революции.

Одни из них могли принимать ее полностью, как Маяковский, другие, как Пильняк, могли испытывать к ней противоречивые чувства, среди которых преобладало отвращение, но и для тех и других она, революция, была сродни новому потоку. Великий очистительный процесс, мучительное рождение нового общества.

В истории, казалось, все прояснилось после революции. Теории заката Европы и гибели западной цивилизации пришли в действие. Пусть реакционные правительства Англии и Франции еще упорствуют, все равно и они чувствуют, что приходит новый век, что солнце на востоке уже встало. Пусть многие из нас в душе еще скорбят по старому миру с его элегантностью, вежливостью и изобилием, все равно мы присоединяем свой шаг к громовой поступи атакующего класса, наш голос — к симфонии Будущего... И так далее.

И вдруг выясняется, что за океаном существует огромное общество, которое даже не очень-то отчетливо пони-

мает, о чем идет речь, когда витийствуют пророки нового потопа, а на грандиозное космическое событие революции взирают как на местную российскую заварушку. Общество это, Соединенные Штаты Северной Америки, возмутительно не принимает в расчет ни Маркса, ни Шпенглера, ни Ленина. Оно вовсе и не собирается закатываться, разлагаться, впадать в декаданс. У него просто времени на это нет. С бешеной энергией оно делает деньги, деньги, деньги, и в результате этого недостойного, безобразного дела вырастают невиданные в старом мире небоскребы, страна опоясывается невероятной сетью шоссе, рабочие, вместо того чтобы делать революцию, покупают автомобили.

Пильняк, Маяковский, Ильф и Петров подсознательно, очевидно, почувствовали, что в Америке речь идет об альтернативе насильственной революции. Отсюда и возникло вполне искреннее раздражение. Великое дело, к которому они были причастны, оказывалось под вопросом.

Сейчас, в сумерках коммунистического мира, это ощущение еще более обостряется. Думаю, что многим крупным деятелям Советского Союза нынче стало ясно, что они представляют отнюдь не «новый мир», но мир отсталый. Революция с позиций сегодняшнего дня кажется древним актом насилия и бессмыслицы, по сути дела, продуктом первично-буржуазного европейского декаданса. Американский же капитализм с его идеей благотворного неравенства на гребне технологической революции вкатывается в какой-то поистине новый, еще неизвестный, не вполне достоверный, но новый либеральный век.

Любовь к Америке

В 1952 году девятнадцатилетним провинциальным студентом случилось мне попасть в московское «высшее общество». Это была вечеринка в доме крупнейшего дипломата, и общество состояло в основном из дипломатических отпрысков и их «чувих». Не веря своим глазам, я смотрел на американскую радиолу, в которой двенадцать пласти-

нок проигрывались без перерыва. А что это были за пластинки! Мы в Казани часами охотились на наших громоздких приемниках за обрывками этой музыки, а тут она присутствовала в своем полном блеске, да еще сопровождалась портретами музыкантов на конвертах: Бинг Кросби, Нат Кинг Кол, Луи Армстронг, Пегги Ли, Вуди Герман...

Девушка, с которой я танцевал, задала мне страшный вопрос:

— Вы любите Соединенные Штаты Америки?

Я промычал что-то нечленораздельное. Как мог я открыто признаться в этой любви, если из любого номера газеты на нас смотрели страшные оскаленные зубы империалиста дяди Сэма, свисали его вымазанные в крови свободолобивых народов мира длинные пальцы, алчущие все новых жертв. Недавний союзник по Второй мировой войне стал злейшим врагом.

— Я люблю Соединенные Штаты Америки! — Девушка, которую я весьма осторожно поворачивал в танце, с вызовом подняла кукольное личико. — Ненавижу Советский Союз и обожаю Америку!

Потрясенный таким бесстрашием, я не мог и слова вымолвить. Она презрительно меня покинула. Провинциальный стилижка «не тянет»!

Сидя в углу, я смотрел, как передвигаются по затемненной комнате загадочные молодые красавцы. Разделенные на пробор блестящие волосы, белозубые сдержанные улыбки, сигареты «Кэмел» и «Пэл-Мэл», словечки «дарлинг», «бэби», «летс дринк». Парни были в пиджаках с огромными плечами, в узких черных брюках и башмаках на толстой подошве.

Наша компания в Казани тоже изо всех сил тянулась к этой моде. Девушки вязали нам свитера с оленями и вышивали галстуки с ковбоями и кактусами, но все это было подделкой, «самоостроком», а здесь все было настоящее, американское.

— Вот это класс! — сказал я своему товарищу, который привел меня на вечеринку. — Вот это стилиги!

— Мы не стилиаги, — высокомерно поправил меня товарищ. Он явно играл здесь второстепенную роль, хотя и старался вовсю соответствовать. — Мы — штатники!

Это был, как выяснилось, один из кружков московских американофилов. Любовь их к Штатам простиралась настолько далеко, что они попросту отвергали все неамериканское, будь то даже французское. Позором считалось, например, появиться в рубашке с пуговицами, пришитыми не на четыре дырочки, а на три или две. «Эге, старичок, — сказали бы друзья-штатники, — что-то не клево у тебя получается, не по-штатски».

(Замечу в скобках, что в Америке встречались мне эмигранты из тех молодых штатников. Сейчас они отвергают все американское, ездят в «Фольксвагенах», а одежду покупают у итальянцев.)

Та вечеринка завершилась феерическим буги-вуги с подбросами. Я, конечно, в этом не принимал участия, а только лишь восторженно смотрел, как взлетают к потолку юбки моей недавней партнерши. Под юбками тоже все было настоящее! Впоследствии я узнал, что девчонка была дочерью большого кагэбэшника.

В разгар холодной войны Соединенные Штаты и не подозревали, сколько у них поклонников среди правящей советской элиты. Мы недавно фантазировали с одним западногерманским кинорежиссером на тему его будущего сатирического фильма. В большом европейском отеле несколько месяцев подряд идут советско-американские переговоры по разоружению. Главы делегаций сидят напротив друг друга. Это мужчины лет пятидесяти. «Они полностью не понимают друг друга, — говорил режиссер, — люди разных миров, совершенно разный «бэкграунд». — «Не совсем так, — возражал я, — возможно, в молодости оба танцевали под рок-н-роллы Элвиса Пресли».

В «низах» проамериканские чувства базировались на более существенных материях. В памяти народа слово «Америка» связано было с чудом появления вкусной и питательной пищи во время военного голода. Мешки с

желтым яичным порошком, банки сгущенки и ветчины спасли от смерти сотни тысяч советских детей.

Коммуникации поддерживались американскими «Студебеккерами», «Дугласами», «Доджами». Без них Советской Армии пришлось бы наступать не два года, а десять лет. Америка посреди тотальной смерти связывала с жизнью, да еще с такой жизнью, о какой советские люди и не мечтали. Присутствие вблизи «американского союзника» будило в массах какую-то смутную надежду на перемены «после войны».

До войны в народе, по сути дела, не было никакого ощущения Америки. Бытовали какие-то дикие куплеты, относящиеся не столько к Америке, сколько к странностям и сюрреализму народного юмора:

*Америка России подарила пароход.
Огромные колеса и ужасно тихий ход.*

Или еще пуще:

*Один американец
Засунул в жопу палец
И думает, что он
Заводит патефон.*

Любопытно отметить, что при почти полном отсутствии ощущения Америки оба этих шедевра имеют какое-то отношение к технике. Америка всегда соединялась с чем-то вращающимся, с какой-то пружиной.

Во время войны возникло стойкое ощущение Америки как страны сказочного богатства и щедрости. Встречи в Европе на волне победной эйфории породили идею о том, что мы, то есть русские и американцы, очень похожи. Если бы вы попробовали уточнить, в чем же мы так похожи, в большинстве случаев ответ бы звучал так: «Они, как мы, простые и любят выпить». И побезобразничать любят? — попробуете вы еще больше уточнить. «Ну не то

что побезобразничать, но пошуметь не дураки», — будет ответ.

Десятилетия послевоенной антиамериканской пропаганды не поколебали этой уверенности в «похожести». Русские, как ни странно, до сих пор относятся к американцам как к своим. Вот к китайцам они относятся как к инопланетянам. Происходит нечто парадоксальное. Идеи коммунизма пришли в Китай через Россию, однако русские в глубине души уверены, что уж если кто и приспособлен к коммунизму, так это китайцы, а не они.

В 1969 году, во время боев на советско-китайской границе, мне случилось быть поблизости, в Алма-Ате. Однажды в ресторане гостиницы я оказался за одним столом с офицером-ракетчиком. Он был вдребезги пьян и плакал как ребенок. «Война начинается, — бормотал он, — а я только что мотоцикл купил. Отличный такой мотоцикл «Ява». Пять лет деньги копил на мотоцикл, а теперь китайцы придут и отберут такую машину...» — «Боишься китайцев?» — спросил я. «Да не боюсь я их, — слюнявился он, — мотоцикла только жалко». Я тут не удержался от провокационного вопроса: «А американцев ты не боишься, старший лейтенант?» Офицер на мгновение протрезвел и произнес довольно твердым голосом: «Американцы уважают личную собственность».

Официальная цель советского общества — достижение так называемого коммунизма. При отсутствии религиозной идеи эта цель приобретает чисто прагматический и довольно идиотский характер самообслуживания — «удовлетворение постоянно растущих запросов трудящихся». Интересно, что советская производительная статистика на протяжении всего своего существования подтягивается к американской. В 1960 году Хрущев выдвинул две параллельные идеи: к 1980 году перегнать Америку и к этому же сроку построить коммунистическое общество, то есть, в понимании широких масс, общество полного изобилия. Обе цели, разумеется, провалились (обогнали, кажется, только по количеству танков), так что и сейчас торговые ряды су-

пермаркета «Сэйфвей» далеко превосходят самое-рассамое коммунистическое воображение измученного очередями и нехватками советского гражданина.

Среди всех этих смутных послевоенных проамериканских эмоций и массивированной антиамериканской пропаганды возникла и возросла группа советских людей, под-сознательно, эстетически, эмоционально и даже отчасти идейно, устремленных к Америке. Я имею в виду советскую интеллигенцию моего поколения.

Трудно объяснить все-таки выход этого поколения, так тщательно подготовленного к советской жизни (одни лишь аресты отцов в 1937 году чего стоят!), за пределы советского круга. В сущности, мы должны были стать еще более идеальными «новыми людьми», чем даже наши старшие братья, советские интеллигенты, уходившие добровольцами на Финскую войну, ибо и эту злодейскую вылазку они полагали продолжением великой революционно-освободительной борьбы. Все исходящее из Кремля казалось им благородным и светлым. Интеллектуалы из знаменитого Института философии и литературы оправдывали и чистки тридцатых годов, и антикосмополитическую кампанию сороковых. Разоблачение Сталина стало для них катастрофическим событием (несмотря на то, что многие с их коммунистическим энтузиазмом оказались в лагерях), а начавшаяся оттепель — мучительным процессом переоценки ценностей.

Для нас же это было просто начало карнавала. К черту Сталина! Давайте играть джаз! Как ни странно, мы были подготовлены к этому about face* повороту еще в сталинские времена. В разгар холодной войны, живя за нерушимым железным занавесом, мы как-то умудрились развить прозападное направление ума, и в этом направлении, конечно, преобладал американизм.

После войны в Германии в руки советских властей попало немалое число так называемых трофейных филь-

* Кругом! (команда)

мов. В большинстве своем это был сентиментальный хлам или нацистские антибританские поделки, но было также несколько фильмов из американской классики тридцатых годов. Станным образом власти в поисках источника дохода пошли на идеологический компромисс и пустили эти фильмы в прокат. Странность усугубляется еще и тем, что советская кинопромышленность в те времена сократила свое производство до трех-четырех лент в год как раз под давлением идеологического груза.

Прокат трофейных фильмов был незаконным в правовом отношении, поэтому они шли под другими названиями. «The Stage-coach», например, назывался «Путешествие будет опасным», «Mr. Deeds goes to Washington» — «Под властью доллара», «The roaring Twenties» — «Судьба солдата в Америке»... К этим слегка «идеологизированным» названиям добавлялась страничка-другая достаточно идиотских вступлений вроде того, что «Путешествие будет опасным» рассказывает о героической борьбе индейцев против империализма янки, обрезались все титры, так что мы не знали имени ни Джона Уэйна, ни Джеймса Кегни, и в таком виде фильмы выпускались на экран.

Я смотрел «Путешествие будет опасным» не менее десяти раз, «Судьбу солдата в Америке» не менее пятнадцати раз. Было время, когда мы со сверстниками объяснялись в основном цитатами из таких фильмов. Так или иначе для нас это было окно во внешний мир из сталинских вонючей берлоги.

Кто-то первым записал песенку «Грустный бэби» на рентгеновскую пленку, и с тех пор среди теней ребер и альвеол уже поселилось откровение о том, что: «Every cloud must have a silver lining...»*

Один из моих сверстников, будучи уже высокопоставленным офицером советских ВВС, как-то сказал мне: «Большую ошибку допустил товарищ Сталин, разрешив нашему поколению смотреть трофейные фильмы».

* Есть у тучки светлая изнанка...

Джаз в те времена был и в самом деле американским «секретным оружием». Радиостанция «Голос Америки» в Танжере каждую ночь передавала двухчасовую джазовую программу. Мечтательные русские мальчишки пятидесятых годов росли под звуки эллингтоновского «Take train «А» и под бархатные перекаты голоса джазового комментатора Уилиса Кановера. Музыку записывали на допотопных магнитофонах, а потом играли сами на полуподпольных джазовых вечерах, нередко сопровождавшихся драками с комсомольской дружиной и вмешательством милиции.

Клочки музыки, обрывки информации создавали золотое свечение ауры, поднимавшейся над горизонтом на закате, над недоступным и таким желанным Западом и над самым западным Западом, над Америкой. Одежда из Америки фетишизировалась. По Невскому проспекту в Ленинграде ходила толпа стилияг. Дергая конечностями (так, им казалось, должны были вести себя американцы на Бродвее; кстати, и Невский проспект они называли «Бродом»), они пели: «Я девушку встретил прекрасней зари, зовут ее Пегги Ли!» В самом первом фельетоне о стилиягах говорилось о парнях, разгуливающих по Невскому в галстуках со звездами и полосами. Стилияги, можно сказать, были первыми советскими диссидентами.

Ленинград в этом западничестве в те времена был впереди. Система его каналов выводила на большую воду. Распространился тип ленинградского всезнайки, у которого вы могли получить информацию по любому «американскому» вопросу, начиная от всех ранних советских и позднее запрещенных публикаций Дос Пассоса и Хемингуэя и кончая последним концертом Диззи Гиллеспи, который состоялся в Гринвич-Виллидж, в клубе «Половинная нота» в прошлую субботу... нет, вру, старичок, это было в пятницу, а в субботу-то там играл Чарли «Берд» Паркер, там был тогда сильный дождь... вообрази себе дождь в Гринвич-Виллидж, старичок... уссаться ведь можно, правда?

Так возникал в воображении нашего поколения странный, немыслимо идеализированный, искалеченный, но и

удивительно истинный, если говорить о каком-то нервном, астральном ее контуре, образ Америки.

Анализом этого явления тогда мало кто занимался, да и сейчас, кажется, не очень-то занимаются. Не претендуя на анализ, а только лишь глядя с расстояния в тридцать лет, могу сказать, что культ Америки возник в нашем поколении благодаря его стихийной, поначалу совсем неосознанной антиреволюционности.

Так называемая романтика революции к возрасту юности нашего поколения почти уже испарилась. Звучит неправдоподобно, но уже начала возникать романтика контрреволюции, глаза молодежи стали задерживаться на образе офицера-добровольца. В отличие от Горького, Пильняка, Маяковского, мы подсознательно отказывались видеть в революции некий очищающий вселенский потоп, потому что вместо очищения он приносил столь же кровавый, сколь и тоскливый быт сталинщины.

Америка возникала в тумане как новая альтернатива древнему и тошнотворному делу социальной революции, то есть восстанию рабов против господ.

Прошедшие тридцать лет развеяли многие мои иллюзии, но вот в этом я не поколеблен. Напротив, сейчас я гораздо яснее вижу, что в противовес тоталитарному декадансу в мире может возникнуть (или уже возникает) свежий мир либерализма и благородного неравенства. Слава Богу, во главе этого движения стоит могучая Америка.

Штрихи к будущему роману

Никто естественнее и легче Пушкина не сказал о приближении к роману: «...И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал».

Даль моего «американского романа», как бы сплюснутая и растянутая широкоугольной оптикой, «различается» от странной точки (на нее же и проецируется), от урбанистического уголка Америки, где выпадающая таинственным образом из числа пронумерованных улиц

Бетховен-стрит проходит под бетонными кружевами развязки фривея и обрывается в виде автомобильного паркинга, асфальтовой лужи над слепящим пространством то ли Тихого, то ли Атлантического океана, где пара пальм (или три?), где три-четыре пальмы колышут свои потрескивающие под ветром ветви... хотя может оказаться, что пальмам здесь вовсе нечего делать... так или иначе, герой моего романа стоит на краю паркинга и... Кто таков?

Герой Моего Романа, ГМР, Hero of My Novel, HMN, Her Majesty Navy...*

Предусматривается бренчание какой-нибудь старой американской музыки, и в связи с этим неожиданно всплывает название будущего романа — «Грустный бэби».

Must every cloud have a silver lining?

Вдруг эта мелодия стремительно выносит нас в наше собственное прошлое, в «казанское сиротство», в волжский город под властью Сталина...

1952

Девушек с факультета иностранных языков называли «будущие шпионки». Иначе зачем учить иностранные языки, как только не шпионить?

В кассовом зальчике паршивого клуба Мехкомбината, где вечно пахло мочой (хулиганы мочились там прямо в углу), кучка девушек в очереди на трофейный фильм «Судьба солдата в Америке». Шпионки из малого состава местных хороших семей. Одна, черноглазая, веселая (через тридцать лет встреча в магазине «Блэк Си» на Брайтон-бич), говорит:

— А знаешь, как этот фильм на самом деле называется? «Ревущие двадцатые».

Какой блеск, подумал ГМР. Похоже на «ревущие сороковые широты». Хотите снимать кино — научитесь подыскивать названия.

* Флот Ее Величества.

Приходи ко мне, мой грустный бэби! О любви, фантазии и хлебе... (пардон, это уже несколько позднее — 1955, и не из той оперы) будем говорить мы спозаранку — есть у тучи светлая изнанка...

Есть ли у тучи светлая изнанка?

1980

Кондоминиум «Пацифистские палисады», где ГМР снимает так называемую студию за триста баксов в месяц.

Сосед, опытный американец Гагик Саркисян, однажды заметил, что ГМР пересчитывает двадцатки: первая зарплата в «Колониал паркинг».

— На вашем месте, — сказал он задумчиво, — я бы отдал эти деньги мне, то есть вложил бы их в надежный бизнес засахаренных фруктов. Что бы ни говорили врачи, люди любят сладенькое...

ГМР почесал в затылке.

— Под этим же девизом я потрачу их на гавайский уик-энд.

Гагик вздохнул.

— Тоже правильно. Feel rich*. В этой стране это очень важно.

1955 — 1980

Кронштадт — Оаху, Гонолулу.

*Далекой молодости блики
Перед грозою на Вайкики...
Когда-то дерзок был и юн,
Носился в молодежном разгисе.
За дерзость сослан был в гальюн.
Гальюн Морского Экипажа!
Бунтарской жаждою томим
На сто «очков» ангар за кухней.*

* Чувствовать себя богатым.

*Входи смелей, гардемарин,
Располагайся, словно Кюхля!
В тот год Кронштадтский гарнизон,
Границу запечатав глухо,
Был всеми яйцами влюблен
В красотку Маишку-фармазон,
С бензоколонки злую шлюху.*

1956

Опорный пункт комсомольской дружины Васильевского острова. Мы тебе, падло, покажем американские танцы с польским ревизионизмом! Сейчас увидишь Дальний Запад, пятый угол! Мы тебя, плохой краснофлотец, научим родину любить!





ГЛАВА ВТОРАЯ

— Нью-Йорк похож на чувака, который заботится о своей прическе, но не пользуется туалетной бумагой. Увы, мы живем у него не на макушке, а в заднице, — так говорил нам русский музыкант, с которым мы нередко прогуливались в первую неделю нашей американской жизни.

— Некоторое художественное преувеличение, Вова?

— Боюсь, что художественное преуменьшение. Обведи глазами этот потрясающий высотный силуэт, а потом спикируй взглядом на мостовую. Выбоины, ямы, лужи... Для полного сходства с Миргородом не хватает только пары свиней. Впрочем, взглядишь в толпу, ну, вот этот, например, джентльмен... чем тебе не свинья?

Одно из самых сильных впечатлений первой недели. На Седьмой авеню, которую называют улицей моды и где выходящая из лимузина шестифутовая красавица манекенщица столь же обычное явление, сколь в Москве неизменная бабушка с сумкой-авоськой, возле потрескавшейся вазы с чахлым цветком остановился некто серокожий, расстегнул ширинку, вывалил свое хозяйство, отлил, заправился и дальше заколебался.

— М-да, Вова...

— А не напоминает ли тебе, Вася, поездка в такси по Медисон-

авеню путешествие по бездорожью Рязанской области в поисках затоваренной бочкотары? Впрочем, такого тлетворного запаха там, наверное, не чувствовалось, а? А вот эти клубы пара неизвестного происхождения, валящие из трещин асфальта по соседству с бриллиантами «Тиффани»? Здесь говорят, что это нью-йоркские черти сигнализируют: «Мы здесь, мы здесь!» А грязь в углах на Пятой авеню? Ее уже брандспойтом не отмоешь, нужно скрести, но никто не скребет...

— Что же ты тут живешь, Вова? Ведь ты же после эмиграции и в Париже, и в Иерусалиме, и в Лондоне, и в Берлине, и в Риме, где только не побывал.

— Только в Нью-Йорке можно жить, — убежденно сказал критик антисанитарии. — Это как раз то самое место, куда я эмигрировал. Поездив по миру, я убедился, что жить можно только в Нью-Йорке... — После секундного молчания он добавил: — ...Или в Москве... — После еще одной паузы: — ...Но туда уже хода нет...

Вова снимает огромный лофт* в доме с перекосившимся фасадом на одной из улиц Сохо. Он облюбывал эту улицу, прокопченную каким-то вековым пожаром, и дом, чудовище коммерческой архитектуры конца девятнадцатого века, еще до того, как началась бурная мода на Сохо, и потому платит за свой лофт немного. Там у него стоит рояль рядом с газовой плитой и в двух минутах ходьбы от рояля разбито лежбище из надувных матрасов, над коим по стене с подтеками выведена надпись: «Укропление строптивых».

В Нью-Йорке осело немало советского артистического люда из новой эмиграции — и мастера, и подмастерья, и голоштанная богема. Образ жизни этих людей мало изменился в сравнении с Москвой или Питером, разве что не нужно с утра рыскать по городу в поисках пива. В прежнем стиле бытуют ночные кочевья из квартиры в квартиру, из

* Лофт — чердачное помещение, постройка на крыше, переделанная под квартиру, студию.

мастерской в мастерскую, из подвала на чердак, который, правда, нынче именуется пентхаус*.

«Мы здесь иной раз и забываем, что переехали из Москвы, — признались нам как-то два молодых русских журналиста. — Знаете, то к Вовке едешь, то к Гришке, то к Аркадию, и девушки вокруг почти те же самые. Иной раз, правда, американцы оказываются в компании, но и в Москве ведь были американцы...»

В Бруклине на Брайтон-бич образовалась большая русская колония «Малая Одесса», но артистический люд Москвы и Ленинграда предпочитает Манхаттан. Есть несколько очажков, вокруг которых происходит концентрация, — редакции двух газет, галерея Эдуарда Нахамкина, культурный центр в Сохо, кафе «Руслан» на Медисон, ресторан «Кавказский» на Третьей авеню... С последним произошла забавная этническая накладка. Вывесили вывеску «Caucasian»** и долго не могли понять, чего от них хотят возмущенные негры и китайцы.

Этническая пестрота Нью-Йорка в 1980 году меня поразила. То ли она усугубилась за пять лет, то ли в 1975-м в качестве советского визитера я ее просто не заметил. Может быть, это легче замечается, когда сам становишься этническим меньшинством.

Лицо Америки в Нью-Йорке — отсутствие общего лица. Крах при любой попытке обобщения. Десятки престраннейших акцентов, самый недоступный — филиппинский. Бесчисленное число сносшибательных имен совершенно непонятного происхождения вроде Джима Гангуззы и Ричарда Зиззы...

Милейший мадагаскарец скромно рекомендует: «Меня зовут Намелетронкуонтрантариса, но это, конечно, невозможно, поэтому называйте меня попросту мистер Дезире».

* Пентхаус — чердачное помещение, постройка на крыше, переделанная под квартиру, студию.

** В английском языке существует понятие «кавказская раса», т.е. белые.

Пожалуй, самая обычная нью-йоркская фамилия — Плоткин. Имя Уитни вызывает уже просьбу сказать ее по буквам.

«Вот, по сути дела, где нужно жить в Америке литературному беженцу», — сказал я Майе. Она согласилась: «Наверное, ты прав». Потом возразила: «Не хочу здесь жить». Мне и самому почему-то не хотелось обосноваться в Нью-Йорке.

Вроде бы хорошо не выглядеть белой вороной, болтаться среди своих, среди эмигрантского отребья, в городе, где половина жителей плохо говорит по-английски, как и ты сам... Не правда ли, здесь есть ощущение хоть и бивачного, но прочного быта, чувство опасности соседствует с уверенностью, что не пропадешь... Цепляемся друг за дружку по этническим, по возрастным, по профессиональным, по межполовым признакам...

— Почему русские писатели облюбовали Нью-Йорк? — спросил меня интервьюер из «Ньюсуик» мистер Вудворд. Мы ехали в такси в Колумбийский университет, и интервьюер, один из немногих попавшихся мне в первые нью-йоркские недели «настоящих» американцев, продолжал свою работу, то есть вострил карандаш.

Я начал было обдумывать свои соображения, когда таксист вдруг высунулся в окно и заорал на чистейшем ВМПС, то есть на «великом-могучем-правдивом-свободном», как мы вслед за Тургеневым называем наш русский язык:

— Еб твою мать! Распиздяй сраный! Взял мой зеленый!

Мы с Майей от неожиданности расхохотались до брызг, сползли с сидений.

— Вот вам ответ на ваш вопрос, — сказал я интервьюеру.

— А что он кричал, что он кричал? — спрашивал журналист.

Пришлось мне переводить американцу язык нью-йоркских улиц.

В принципе, присутствие такого люда, как русские таксисты, художники, магазинщики, музыканты, рестораторы, все это многонациональное варево, немыслимый город, полный блеска и мрака, любовных историй, чудодейственной наглости, смертей, неожиданных встреч, политических авантюр, греха и преступления, всевозможной жратвы и выпивки, — разве это не рай для писателя? Город, где все американские издательства и журналы кучкуются, как сообщил «Нью-Йоркер», в зоне действия даже не атомной, а простой тринитротолуоловой бомбы, — разве это не соблазн для писателя?

И все-таки мне чего-то важного не хватало в Нью-Йорке. Я не сразу понял, в чем ущерб, но тем не менее мы стали обдумывать план отъезда, углубления в континент.

Вообще-то на удивление мало русских писателей-беженцев осело в Нью-Йорке, вдруг сообразили мы. Взгляни, Майя, все рассеялись. В Большом Яблоке* не возникло русской литературной столицы. Многие предпочитают Европу, другие разобрались по университетским кампусам... Конечно, основная причина рассеяния — экономическая, поиски заработка, однако нью-йоркских возможностей наши писатели почему-то почти не используют.

Мы объясняли сами себе наш отъезд из Нью-Йорка по-разному. «Знаешь, если останемся здесь, так и окажемся посреди Нью-Йорка в русской деревне. Засосет трясина. Даже английскому-то не научишься. К тому же: малоприятно жить в одном городе с X и У, двумя отвратными мегаломанами. К тому же взгляни на эти цены — полторы тысячи за «двухбедренный**» апартамент»: дорого здесь ценится общество «манхаттанских тараканов».

Итак, поедem! Сначала в Мичиган — там хотя бы есть озера и русское издательство «Ардис», — потом в Лос-Анджелес — там хотя бы океан и резиденция в Университете Южной Калифорнии.

* Символ Нью-Йорка — яблоко.

** От two bedrooms — две спальни.

Мы с Майей хоть все-таки что-то здесь знали, бывали раньше. Калифорния и Мичиган все же не были для нас пустыми красивыми звуками. Можно себе только представить замешательство тысяч людей, отправлявшихся из Нью-Йорка в разные концы США. Для них, впервые в жизни покинувших свои Мински и Двински, все эти американские названия звенели одинаковым высокопробным серебром: Кливленд — Огайо, Пеория — Иллинойс, Ричмонд — Вирджиния. Потом многие взвыли в этих Пеориях и Ричмондах.

Прошло порядочно времени, прежде чем я понял, что решение уехать из Нью-Йорка было вызвано у нас прежде всего эстетическими причинами, эстетическим ущербом (то ли Нью-Йорка, то ли нас самих), а может быть, еще и глубже — непричастностью или малопричастностью к американской ностальгии.

Американская ностальгия

Никогда не мог подумать, что вид пожарных лестниц на кирпичной стене может погрузить в столь глубокое уныние. Кажется, печальней печали не найдешь, когда видишь кварталы старых квартирных домов в Бруклине, в Манхэттане, в Куинсе, в Филадельфии или Чикаго. Узкие оконца с поднимающейся наверх рамой — лицо за таким окном не может не быть лицом неудачника. Трудно представить себе в этих домах счастливую любовную пару, вкусный обед, заманчивую книгу. Их строили, чтоб деньги гнать, качать монету в полном пренебрежении эстетическими железами человека, то есть едва ли не в глумлении над ним.

Надо сказать, и вся прочая американская урбанистическая старина, все эти браунстоуны и таунхаусы с высоким крыльцом и аляповатыми колоннами, массивные коммерческие билдинги конца прошлого века, первые небоскребы с шишечками и козыми пожками на карнизах, явно инспирировавшие стиль сталинских «архитектурных из-

лишеств», мало что давала душе, кроме поводов для дальнейшего уныния.

Разобравшись в своих ощущениях, я пришел к выводу, что мне в Америке не хватает города, вернее — моего города, еще точнее — европейского города, исторически сложившегося и обязательно с прикосновением (хотя бы малым) «ар нуво».

Этого стиля или того, что перед Первой мировой войной возник в Петербурге как поздний русский модерн, в Америке вы почти не найдете. Тот эстетический период (столь важный для нас) здесь как бы и не существовал — в те времена Америка была (или так казалось мне) отдаленной периферией, эстетической пустыней, фабрикой жира и мыла, долларовым стойлом.

Мне нравилась современная американская архитектура, вся построенная на присутствии свободного тела в свободном пространстве; что-то еще шевелилось в душе перед домами эпохи «Великого Гэтсби», остальное, из более отдаленного, вызывало в лучшем случае молчание. С недоумением я смотрел, как в Вашингтоне при реконструкции Пенсильвания-авеню бережно сохраняют и реставрируют дом с двумя безобразными башенками, относящийся к 1910 году, когда даже в Казани или Нижнем Новгороде такого уродо купцы уже не решились бы построить.

«Здесь нет городской ностальгии, — говорил я себе, — к городу относятся чисто утилитарно, поэтому так пусты после заката солнца даунтауны Чикаго, Лос-Анджелеса, Детройта, поэтому так запущены мостовые Нью-Йорка».

Позднее я понял, что ошибался, а ошибка шла от поверхностного знания, от почти полного непонимания американской ноты, от непонимания грусти этой страны, ее провинциализма, склонности ее городов к быстрому загниванию.

Недавно пришлось мне смотреть «The American Pop», отличный рисованный фильм (кажется, его сделал Бакши). Я вдруг заметил, как подчеркнуто выписано там все то, что мне казалось недостойным внимания, все эти явления

антиэстетики — пожарные лестницы на фасадах, унылые проулки с мусорными баками, порчи* с пузатыми колоннами, поднимающиеся вверх рамы узких окон. Вспомнился какой-то американский роман. Герой возвращается из Европы после войны, с борта парохода видит на пирсе красные ящики с кока-колой, и вид этих ящиков вызывает у него патристический пароксизм.

Чтобы почувствовать эту американскую урбаническую ностальгию, надо сделать ее частью своей жизни. Даже российские американофилы оказались здесь в отчуждении от местной поп-культуры: выяснилось, что мы все-таки европейцы.

Еврейю нужно было уехать из России, чтобы оказаться «русским» в Тель-Авиве или в Нью-Йорке. Русскому нужно было предпочесть Штаты Парижу и Риму, чтобы ощутить себя европейцем.

Вот почему мы выбираем Вашингтон после годовых скитаний. Здесь, на Капитолийском холме, между Конгрессом и Библиотекой, когда сквозь деревья со всех сторон просвечивают колоннады, ты можешь вспомнить Санкт-Петербург, перед раскрашенными фасадами Джорджтауна поймать ощущение отчужденной, но присутствующей Британии, в открытых кафе Дюпон-серкла нельзя не уловить дух Парижа и, наконец, среди новых стеклянных поверхностей даунтауна поймать пульсацию современной космополитической эстетики.

Чужая ностальгия особенно властвует в Лос-Анджелесе. Город без силуэта. Бесконечные торговые бульвары вроде Пико, Линкольна или Вентуры — улицы без архитектуры. Низкие, удобные, уродливые строения тянутся миля за милей, подпирают бесчисленные рекламные щиты. Странно застраивался этот город — будто и не существовало для его планировщиков никакого мирового опыта.

* Porch — крыльцо, веранда.

Какие могли бы возникнуть грандиозные уступы на склонах холмов, какие линии шикарных отелей могли бы выстроиться вдоль океанских береговых линий; между тем здесь все разрозненно, утилитарно, случайно. Впрочем, может быть, и это отражает иную, в сравнении с нашей, урбанистическую концепцию, иную ноту, которую мы еще не слышим?

Поймать, ощутить, уловить — жалкие попытки выброшенного из своего мира беженца построить вокруг себя новую жизнь, хоть чуточку напоминающую старую.

Американские разочарования

Однажды отправились в Бронксвилл (штат Нью-Йорк) в колледж Сары Лоренс, на концерт русской камерной музыки. Получасовой путь от вокзала Гранд-Сентрал до Бронксвилла достоин нескольких строк.

Поезд довольно долго тащится по каким-то бесконечным тоннелям, а потом выныривает в... руинах Сталинграда. Это Южный Бронкс — зияющие окна обгоревших в неизвестно каких боях домов, поросшие бурьяном пустынные улицы, дикая кошка, пересекающая свалку, — содрогнешься, представив себе ее жизнь; мелькнет иной раз какая-нибудь жалкая лавчонка, косая вывеска «Cold beer», скособоличившиеся у входа разноплеменные «калики переходные»...

Вот иллюстрация для самой оголтелой антиамериканской пропаганды. Вообразим человека в Советском Союзе, никогда не верившего ни одному слову этой пропаганды. Чудесным образом он вдруг переносится в Южный Бронкс, где ему и говорят: перед тобой Америка! В ужасе он закрывает глаза руками: значит, они не врали, значит, все так и есть, как они говорят?

Успокойтесь, милостивый государь: все-таки они врали. Через полчаса поезд прибывает в Бронксвилл, в реальную Америку ухоженных маленьких городов, идеаль-

ных бензозаправок и супермаркетов, пространных торговых плаз* и белых дощатых домиков. Процветание страны сразу становится очевидным, когда покидаешь большие города. В России, между прочим, как раз наоборот: ее ресурсов, свободных от милитаризма, еле-еле хватает, чтобы поддерживать кое-какой уровень приличия в больших городах; провинция и село — сплошная гниль.

Южный Бронкс демонстрирует самым лучшим образом пресловутый и малопонятный русскому эмигранту «кризис городов», кроме того, он совершенно парадоксальным образом показывает странный провал советской антиамериканской пропаганды.

Дело в том, что, с точки зрения беженца из Советского Союза, такое явление, как Южный Бронкс, просто не может существовать (во всяком случае, как реальность, а не фантом советской пропаганды); в равной степени не могут существовать никакие другие негативные явления американской жизни.

Советская пропаганда за десятилетия своего существования настолько завралась, что начинает давать обратные результаты. Советские люди определенного сорта, а именно к этому «критически мыслящему» сорту относилось большинство эмигрантов, не верят ни одному ее слову — ни лжи, ни клочкам правды, необходимым для усугубления лжи. Поэтому они не верят ничему плохому об Америке из того, что сообщают советские газеты и ТВ.

К примеру, если речь идет о безработице в США (а эта речь, собственно говоря, ни на минуту не смолкает), критический советский человек обычно реагирует таким образом: эх, хорошо бы нам жить так, как живут эти американские безработные! Отчасти, между прочим, это соответствует действительности, отчасти не соответствует, но этой второй части для КСЧ (критический советский человек) благодаря советской пропаганде просто не существует.

* Plaza (исп.) — торговая площадь.

При упоминании трущоб в американских городах КСЧ скептически улыбается: хотел бы я посмотреть на эти трущобы! Дворцы, наверное, в сравнении с нашими «хрущобами»! Это уже совсем не соответствует действительности. Советские «жилплощади» в большинстве своем хоть и тесны, но вполне доброкачественны, оборудованы удобствами и в сравнение с Бронксом не идут.

Когда советская печать пишет о высокой преступности или наркомании в США, КСЧ просто отмахивается: это все их враки, это все они нагло преувеличивают, лишь бы обосрать Америку!

В Москве стало уже привычным издеваться над советским телевидением, которое если и показывает какие-либо новости из США, то только лишь пожары, взрывы, авиакатастрофы, в лучшем случае стихийное бедствие. Люди не знают, что и американское телевидение именно такого рода событиями озабочено больше всего и меньше всего или совсем не заботится о «положительной информации». Ну, посмотрите на них, улыбается КСЧ в адрес советского экрана, по ним, так в Америке вообще ничего нет, кроме несчастий.

Таким образом, в результате антиамериканской пропаганды в воображении КСЧ складывается образ Америки как идеального общества всеобщего процветания и романтики, он и едет сюда как в страну «звездной пыли» и «Голубой рапсодии».

Тысячи советских эмигрантов, оказавшись в Америке, испытали жестокие разочарования.

Как-то мы с приятелем остановились перед красным светофором в восточной части Вашингтона. Влажность воздуха в тот день приближалась к ста процентам. Мутное солнце висело над обвисшими, словно грязные юбки, деревьями, над унылым рядом частично заколоченных, частично полуразрушенных таунхаусов. Тротуары и палисадники были забросаны хламом. Медлительно в мареве перемещались фигуры негритянских подростков в баскетбольных чулках. Прошла немыслимой толщины жен-

щина. Жуткий бродяга сидел на обочине. Меж мусорных баков проскочила крыса. «Знаешь, — тихо сказал мой приятель, — я просто не мог себе представить, что в США может существовать такое».

Многие русские не могли понять сути вооруженного грабежа. Иные при виде направленного на них пистолета поднимали возмущенный шум и получали паническую пулю. Иные атаковали в ответ и обращали непривычных к такому обращению бандитов в изумленное бегство.

Прошло немало времени, прежде чем русские научились не удивляться тому, что динамичный, цветущий район города может соседствовать с кварталом маразма и гниения, что из массы улыбающихся вежливых людей вдруг может выйти ублюдок с ножом.

Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки. Я уже упоминал о том, каким серебром звучали для русских (так, кажется, и для многих европейцев звучат) названия американских городов. Скука — это была последняя вещь среди их опасений, если это слово вообще приходило в голову. Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота?

И далее — полыхающие в ночи рекламами острова сервиса: PIZZA HUT, BURGER KING, EXXON, K-MART, GRAND UNION, огромные паркинги, редкие фигуры, идущие к машинам, движение светящихся фар, и вдруг выясняется, что все это — рутина, глухомань, одиночество.

Лос-Анджелес — Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар... Воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь Пегас, и вдруг падает мокрой тряпкой — вымершие после заката улицы, «эффект нейтронной бомбы», уныние, рутина...

Люди в роскошном и полном чудес городе Ангелов вывешивают на своих домах предупреждения armed

response* . Перед ними замкнутый круг: они избегают гулять по ночам, опасаясь нападений, потому что пустынные улицы — соблазн для преступников. Гуляйте же больше, черт возьми, и преступники стушуются. Сидите в открытых кафе, как на Елисейских полях народ сидит, оживляйте свой город! Открытых кафе в Лос-Анджелесе нет (а где им еще быть, как не в Калифорнии с ее климатом?), люди сидят во мраке в закрытых ресторанах, будто заговорщики (откуда взялась эта престраннейшая традиция ресторанного мрака?), а гуляют только между кинотеатрами Вествуда, будто по тюремному двору.

Одним из самых основательных сюрпризов для меня оказался американский провинциализм. Издалека, из-за железного-то занавеса, думалось, что Штаты с их открытыми границами, с двенадцатью языками, с их мировой политикой — самый что ни на есть перекресток универсального космополитизма. Казалось, например, что сводка погоды на ТВ непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля, о придворных интригах при ЦК компартии Китая, о продвижении марксизма в глубь Новой Гвиней и т.д. Увы, если эти важные международные события и сообщаются, то лишь в конце программы, второпях, мимоходом, а главным событием дня становится признание миссис Керти в том, что она была девятнадцать лет назад соблазнена директором местной школы. Директор, пожилой носатый болван, решительно отвергает это обвинение, хотя и заявляет, что сексуальная практика в школах — вопрос недалекого будущего.

Американское очарование

Число этих последних, конечно, превышает число первых, то есть разочарований, и значительно. Русский эмигрант, особенно на первых порах, попадает, например, под гран-

* Грабителям будет оказано вооруженное сопротивление.

диозное очарование еды. Это не значит, что он оказывается в плену американской кухни, каких-либо изысков вроде «ти-бон стейк» с абрикосовым вареньем, початком кукурузы, куском арбуза, соперничающим с куском ананаса под соусом «тысяча островов», — он просто очарован изобилием и разнообразием имеющихся в наличии пищевых продуктов.

Американцы обычно не очень-то ясно представляют себе картину, когда читают в газетах сообщения о пищевых трудностях в России. В зависимости от политической ориентации они воображают себе либо чистый голод, либо перебои в доставке свежих омаров. Ни того, ни другого не существует: голода нет, потому что кое-какие продукты все-таки есть, перебоев с омарами тоже нет, потому что советские люди в лучшем случае знают о существовании этого зверя из художественной литературы.

О положении с продуктами в СССР можно судить по такой истории, недавно приплывшей из Москвы, города с самым лучшим в стране снабжением. Некто просит своего влиятельного друга достать ему килограмм швейцарского сыра. Влиятельный друг вздыхает: «Сейчас, мой милый, уже не существует ни швейцарского, ни костромского, ни голландского. Есть продукт, именуемый «сыр», и я постараюсь его тебе достать. А хочешь, раздобуду тебе и «синюю птицу», то есть курицу».

После этой скудости прилавки супермаркетов кажутся советскому эмигранту чудом, воплощением коммунистической мечты. Голова немного кружится, возникает стойкий комплекс вины по отношению к оставшимся там; они лишены всего этого.

С некоторыми продуктами русский эмигрант знакомится в США впервые, он даже не знает толком, что с ними делать. В одной киевской семье существовал миф о чудодейственном орехе авокадо. Покупая в супермаркете эти плоды, они очищали их, выбрасывали мякоть и молотком разбивали твердую внутренность.

Только разобравшись и освоившись в мире изобилия, эмигранты вспоминают о деликатесах русской кухни, кри-

тикуют американцев за недостаток гурманства и выискивают в русских лавках настоящий творог и настоящую селедку. Потом уже начинают считать калории.

Другое грандиозное и одно из самых первых американских очарований — это автомобили. Машина в СССР — до сих пор знак жизненного успеха и даже в некоторой степени дерзновенности, какого-то вызова принципам коллективизма; недаром владельцев машин называют частниками, как когда-то крестьян, не желавших вступать в колхозы, а ограбление автомобилей именуют раскулачиванием.

Я до приезда в США десять лет водил машину и даже роман написал о превратностях российского автомобилизма. Майя, моя жена, в связи с прошлой принадлежностью к советской элите вообще больше двадцати лет провела за рулем, но мы — нетипичная пара; большинство прибывших машин не знают, руль держать в руках не умеют, и бесконечно текущие автомобильные реки Америки их ошеломяют.

В Лос-Анджелесе нам по приезде рассказали историю о том, как один русский парень купил большущий «Форд ЛТД» 1971 года выпуска, с грехом пополам научился нажимать педали, выехал на фривей Санта-Моника и... пропал. Боясь перейти со своей полосы движения на другую, не зная слова exit*, да и вообще не умея читать по-английски, он катил в глубь Калифорнии до тех пор, пока не кончился бензин в баке. Так он оказался в маленьком калифорнийском городке, где последовательно: нашел работу, научился английскому, женился, купил дом, разбогател. Сейчас он подвизается на почве купли-продажи недвижимости и лихо пилотирует BMW.

К числу непреодолимых и почти неоспоримых очарований относится природная красота Америки. Разнообразие и сохранность этих красот до сих пор еще нас поража-

* Выход, съезд с дороги.

ют. Осенние холмы Вирджинии, Кентукки, Теннесси, береговая линия Флориды с деловито пролетающими пеликанами и застывшими в таинственном жеманстве цаплями, зеленые склоны Вермонта, напоминающие то Грузию, то Карпаты, огромные уступы Скалистых гор, секвойи Калифорнии, ее необозримые пляжи, миражные горизонты Аризоны, да и плоскость Канзаса — все это наполняет ощущением Большой Благодати.

Мы дважды пересекли страну на машине, и всякий раз, когда перед нами открывались новые дали, мы вспоминали американских пионеров, для которых продвижение в глубь континента было сродни открытию новой планеты. Это ощущение новой планеты, как ни странно, еще живо на просторах Америки.

Поражает малозаселенность материка, даже его восточной части. Северная Пенсильвания, где на протяжении пятидесяти миль мы не увидели ни одного дома, напомнила нам Сибирь. Берусь утверждать, что Америка меньше заселена и уж гораздо меньше загрязнена, чем Россия в ее европейской, кавказской, среднеазиатской и южносибирской частях. О Северной Сибири говорить нечего, там, можно сказать, и нет никого, но вот Украина (однажды я пересек ее с юго-востока на северо-запад на машине) загрязнена тяжелой индустрией, химией, продымлена бесчисленными грузовиками так, как не снилось в дурных снах ни Мичигану, ни Массачусетсу.

К очарованию американского пейзажа относится и открытость американских границ. Боюсь, что американцу этого не понять, но советский человек наполняется особым чувством, когда, глядя на горизонт, понимает, что за ним во все стороны открытое пространство, никто тебя не сторожит, можешь идти на все четыре стороны.

Закрытость, непроницаемость государственных границ тоже сообщает пейзажу особую краску, но это уже из другой оперы; русская классика вне темы этой книги.

Говоря о великом обществе, подобном американскому, трудно оперировать обобщениями. Только обобщишь

что-нибудь, как тут же сядешь в лужу. Любое обобщение только на первых порах напоминает красиво сшитую подушку. Не успеешь подсунуть ее себе под голову, как начинают выпирать углы, сыпаться какая-то труха, высовываются то нос, то хвост противоречий.

И все-таки можно сказать об американском населении, что оно очень приветливо. В России преобладают сумрачные лица, что неудивительно. В Америке до сих пор царит улыбка. Если человек не улыбается, его могут спросить: «What's wrong?»* Иные мизантропы утверждают, что американская улыбка формальна. В этих случаях мне вспоминается, как моя мать однажды сказала в ответ на подобное же утверждение в адрес французов: «Лучше формальная любезность, чем искреннее хамство».

Рискуя опять же впасть в сомнительные обобщения, скажу, однако, что американцы любезнее французов. Во всяком случае, по отношению к чужакам. В Париже однажды (впрочем, в плохом районе) буфетчик начал передразнивать мой ломаный французский, причем в такой отвратной манере, что пришлось обложить его русским матом. Между прочим, подействовало — извинился.

В Америке такое просто немыслимо. Иностранный акцент никогда не вызывает здесь раздражения, но только лишь желание понять. Ну, скажет скептик, это вовсе не от добрых свойств характера идет, а просто от специфики — ведь все происходит от приезжих, и в недалеком поколении. Так или иначе, но новоприбывших это подкупает и очаровывает.

Как-то раз я расплачивался кредитной карточкой в большом магазине. Продавец заинтересовался: «Польское имя, сэр?» — «Ов» — это русское окончание, — сказал я. — Для поляков типичнее «ский». Продавец и трое его коллег вежливо удивились — надо же, какие на свете бывают имена!

«А вы кто будете?» — спросил я своего продавца. «Я — Густаве Салазар», — сказал он. «На испанца вы не

* Что-то случилось?

похожи», — сказал я, имея в виду его раскосые глаза. «Я — филиппинец, с вашего разрешения», — сказал он.

Коллеги его оказались — один иранец, вторая — из Гобаго, третий, наконец, урожденный американец сицилийского происхождения. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.

Так мы здесь и живем, беженцы со всего мира. Один от голода драпанул, другой — от пули, третий — от литературной редакции. Этническая пестрота Америки не имеет равных в мире. Мы к ней привыкли. Иной раз даже в Европе кривили нос — экая, мол, здесь этническая монотонность. Очень важно ощущать, что ты прибил к этим берегам не один, что вас много, что вы — комьюнити*, еще важнее чувствовать, что местные люди не ворчат в ваш адрес «проклятые иностранцы, мы вас тут всех кормим».

У Америки есть много недостатков (иногда они вдруг оборачиваются достоинствами), есть и достоинства (иной раз они кажутся вздором), но в целом эта страна от ксенофобии отдалена больше, чем любая другая, в целом она все еще ревностно придерживается своей традиции давать приют и защиту изгнанникам и беженцам всего мира.

Это ли не очарование — прибывший после разного рода мук потный и суматошный беженец оказывается в обществе приветливых, умеренно благожелательных, физически весьма здоровых и чистых людей. Стирка и чистка — национальные «перпетуум мобиле»; джоггинг и аэробика придают любому американскому городу сходство с тренировочным лагерем. Нация красивых, отменно стройных... У-упс, опять расползается подушка обобщений, потому что нигде, пожалуй, не увидишь такого количества ожиревшей молодежи, но об этом ни слова в этой подглавке.

Иные скажут, что в тренировочной одержимости американцев сказывается их прагматизм, заземленность, гедонизм, нарциссизм и т.д.; я не исключу в этой страсти и религиозного начала: тело — транспортное средство души.

* Community — сообщество, община.

Очаровывает, вернее, просто восхищает отсутствие у американцев брезгливости к ущербному телу. Забота о калеках — уникальное свойство нации.

В этом же ряду восхитительной и очень земной религиозности я вижу и отношение к старикам. Чудесно уже и то, что их называют «сеньор ситизен»*. Яркость старческих одежд, все эти знаменитые клетчатые штаны и шляпки с цветочками, то, что европейцы полагают американской безвкусицей, может быть, тоже имеет религиозно-рenessансное значение.

Как-то в Сиэтле мы наблюдали бал стариков. Они танцевали фокстроты и джиттербаги и явно наслаждались жизнью. Вспомнилась очередь в ленинградском магазине молочных продуктов. На бабушку, пытавшуюся взять без очереди бутылку молока, тетки помоложе стали орать: «Тебе на кладбище пора, бабка, а ты по магазинам ходишь!»

О Господи, брахтаясь в обобщениях, как бы нам избежать параллелей хотя бы такого рода.

Церкви всех существующих на земле религий — вот грандиозное американское очарование. Основная масса прибывших из СССР людей вследствие советского воспитания оказалась полностью нерелигиозной. С усмешкой старомодного позитивизма они смотрят, как по молебственным дням заполняются синагоги, мечети, соборы. Потом они начинают задавать себе вопросы — быть может, на религии здесь все и стоит?

Позитивисты настаивают: это вздор! Все здесь, господа, держится на экономике, на бизнесе, на долларе.

Не вдаваясь в этот спор, отмечу нечто, имеющее отношение к духовному и к материальному. Американское общество, сдаюсь мне, построено на принципе благотворного неравенства. «Реакционность» моя зашла уж так далеко, что я пою хвалу неравенству!

Обратите внимание, социалистические начинания в этой стране очень быстро приводят к загниванию. Они

* Senior citizen — почтенный, уважаемый гражданин, пенсионер.

противоречат основной американской идее романтического неравенства. В неравенстве всегда динамика, страсть, в равенстве отсутствие надежды на изменение жизни.

В Советском Союзе в своей сфере ты обречен влачить жизнь государственного служащего, и, если ты не вор, ничего никогда в твоей жизни не изменится, ибо все равны (за исключением, разумеется, тех, кто равнее равных). В Америке, в обществе неравенства, в хаосе экономической свободы где-то ждет тебя твой шанс. Пусть ты его не поймашь никогда, но его присутствие всю жизнь твою окрашивает иначе.

— Взгляните, — говорит эмигрант, — раньше я жил в городе Ворошиловграде в Ленинском районе на улице Дзержинского — какая безнадежность. А сейчас, взгляните, я живу на Земле Мэри, у Серебрянного Ручья, по улице Сад Роз — какие паруса!

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1980

— Good morning!

Она не отвечает. Бернадетта Люкс, сногшибательная баба на двести фунтов (плюс фунт презрения), полдня щеголяющая в бигуди и кружевном пеньюаре. С ее данными ей бы воплощать вековечный советский идеал Матери-героини, но она управляет кондоминиумом «Пацифистские палисады».

Отчего же такая суровость и неподвижность в мой адрес, удивлялся ГМР. «Good morning», — говорю я ей в лифте или в лобби. Молчание. Повторяю приветствие. Ноль внимания.

Наплевать, конечно, но все-таки всякий раз при виде героической женской фигуры, либо статично просвечивающей сквозь пеньюар, либо возбуждающей волнообразное, в стиле соцреализма, движение тканей, становится чуть-чуть тошновато.

Однажды решил попробовать новшество, соединив два братских земных наречия:

— Good morning, Жопа-Новый-год!

Бернадетта Люкс в ответ на этот тип приветствия неожиданно расплывается: «Доброе утро, сэр! Приятная погода сегодня, не так ли? Не угодно ли жменю жевательного табачку-с?» Вот что значит неформальный подход, даже и на незнакомом языке.

Кто таков наш Her Majesty Navy и как он оказался в Америке? Сделаем его писателем, господом? ГМР — русский писатель в изгнании. Бр-р, а не получится ли, господа, что мы как бы пишем сами о себе, а ведь мы никогда не были такими гордцами и зазнайками...

Пусть он будет театральным режиссером, о'кей? Недурной ход — вроде бы и не писатель получается, а? В СССР он был страшно известным, а в Америке его никто не знает. Гордец, никому не навязывается. Обидев ранее немало женщин, сейчас живет в одиночестве. Работает аттендантом* в «Колониал паркинг». Скопив несколько сотен на чаевых, отправляется на Гавайи.

...Только бы не подумали, что мы отождествляем этого пятидесятилетнего мужика с образом «грустного бэби». Хорош бэби — с плешью и с этой вечной миной сарказма.

Может быть, все-таки взять героя помоложе? Пятидесятилетние мужики основательно надоедают окружающим. Еще в Союзе (типично эмигрантское «еще в Союзе») он заметил вдруг, что здорово всем надоел. Надоело все, что относилось к нему, без исключения — и его примелькавшаяся в «творческих кругах» фигура, и его дерзкие постановки, не говоря уже о «творческих замыслах», «безукоризненном вкусе», «профессионализме высшей пробы»... Надоел, и все!

Однако, если мы сделаем героя помоложе, наша хронология тогда не сойдется, испарится и тема «грус-

* Attendant — дежурный, служитель, здесь — сторож на автостоянке.

тного бэби», дребезжащее пианино. Придется ему остаться пятидесятилетним, хотя и стыдно в этом возрасте работать аттендантом на автостоянке возле ресторана «Эль Греко».

Мерзейшая ирония заключалась в том, что ресторан гордился датой своего основания — 1955, — когда ГМР уже служил в советской морской пехоте, тренируемой для высадки на американском побережье именно в этом месте.

1955

Кронштадт. Урок штыкового боя в морском экипаже.

*Учитесь штыковому бою!
Втыкайте, пацаны!
От русского штычка завоют
Империалисты-сатаны!*

*Америка, наш враг коварный,
Весьма, товарищи, богат,
Хотя коэффициент товарный
У ей захапал плутократ.*

*Куда ты тычешь штык, Петруша?
Ведь Джек высок и знает бокс!
Ты тычь его пониже, в грушу!
Вот это будет самый сок!
За океаном не в почете
Марксизм, наука всех наук.
Борцы за мир все на учете,
А ЦРУ — большой паук!*

*Чем глубже ткнешь ты на ученье,
Тем веселей тебе в бою!*

.....
*В морской пехоте развлечение —
Один лишь мат. Етиттвою!*

1980

В ночной лавке на Вествуд-бульваре можно купить майку с изображением Ленина. Трюк заключается в том, что вождь и сам изображен в майке с надписью KAZAN UNIVERSITY. Вновь, как зубная боль, возникает вопрос — почему юноша выпал из своей alma mater? Спросите об этом у продавца маек. Он подмигнет:

— Мы тут, сэр, пока что начинающие.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Итак, мы отправились на Запад, то есть со Среднего Запада на Дальний, из Анн-Арбора, Мичиган, в Лос-Анджелес, Калифорния. Дело было в январе.

Незадолго до отъезда мы совершили наш первый американский патристический поступок. Речь шла о покупке колес. Выбор стоял между «Вольво» и «Омегой». Первая была мечтой всех московских жуликов, а потому и нам была известна. О второй никакими сведениями мы не располагали, за исключением того, что она принадлежит к семейству «Олдсмобилей» и сколочена компанией «Дженерал моторс» в черный год американской автоиндустрии 1980-й (вперед на 1981-й) по европейскому стандарту, то есть не в виде огромного крокодила.

«Надо поддерживать американскую промышленность, — сказал я Майе, — ты же видишь — она задыхается». — «Странное соображение, — сказала она. — Ты думаешь, что покупка одной «Омеги» что-нибудь здесь изменит?»

По телевизору каждый день рассказывали об огромных увольнениях, о кризисе компании «Крайслер», об ужасных убытках.

«Наша «Омега» может оказаться решающей каплей, — сказал я. — С падением этой капли система качнется в другую сторону, и начнется медленное выздоровление».



Так и получилось, между прочим. Мы вошли в магазин «Олдсмобил дилершип», выписали изумленному торговцу чек на полную стоимость (о мортгейджах* мы тогда и понятия не имели) и сели в милое авто. Я до сих пор уверен, что наша «капля» (четыrehдверный шестицилиндровый автоматик) оказалась решающей, и никто меня в этом не разубедит.

Мичиганская зима мало чем отличается от русской; странно, что в этом штате до сих пор не построили коммунизм. Не для того мы эмигрировали, в конце концов, чтобы барахтаться в снегу. Решено было бежать порезвее к югу — Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас — и пробираться дальше самым южным путем через Нью-Мексико и Аризону, вдоль государственной южной границы с единственной целью — обойти стороной снега в горах.

Ну вот, мы едем через Америку. В «Омегу» вместились все, чем мы здесь располагаем, включая и недвижимость — рукопись неоконченного романа «Скажи «изюм». Сколько раз уже описана по-русски эта дорога! Еще в 1936 году Илья Ильф и Евгений Петров пересекали США в маленьком сером «фордике». Уже тогда существовали эти тысячемильные бетонные линии с двухполосным односторонним движением в обе стороны, бензозаправки, где протирают стекла машины, шкафы с холодными напитками, мотели и кафе. В России же и тогда автомобильных дорог не было, да и сейчас ее дороги в контекст цивилизации еще не вписываются.

Советскому читателю, если таковой у этой книги когда-нибудь найдется, могу предложить к списку чудес, описанных Ильфом и Петровым, еще одно — поджопное бумажное полотенце. В кабинках задумчивости на канзасских зонах отдыха я это диво встретил впервые — экий декаданс! В добавление к пипифаксу проезжающим предлагается лист с перфорацией в форме груши. Невольно вспомнишь станцию Зеленый Гай на Днепропетровщине

* Mortgage — первый взнос, рассрочка.

по дороге к волшебному Крыму, где водители грузовиков вольготно располагаются «орлами» вокруг заколоченного в прошлую пятилетку сортира.

На юге штата Иллинойс снега кончились, и больше мы их в ту зиму не видели. Надо сказать, что никаких особенных сентиментальных чувств к этому виду осадков мы и не испытывали. Снег в его эстетическом чистом виде существует за всю зиму в Москве каких-нибудь несколько дней, все остальные шесть месяцев это снег-уродина, свалывшийся, грязный, надоевший, как вся советская власть.

Едем, едем, едем... ровное движение впереди, по бокам от нас, позади, навстречу. Мы меняемся за рулем. Майя жалуется: «Меня усыпляет это вождение». — «Ну и спи! Посмотри, все вокруг давно спят».

Очень скоро мы стали знатоками мотелей. Набоковского «Приюта зачарованных охотников» в пути не попалось, зато мы по достоинству оценили и «Говарда Джонсона», и «Вестерн», и «Холидей инн», и «Рамада». Мы даже спорили об их достоинствах. Майя почему-то отдавала предпочтение «Джонсону», — дескать, там и завтраки лучше, и в телевизоре больше программ, и вот еще то-то и то-то. Я почему-то держался «Холидей инн», уверяя, что эта фирма бьет все рекорды. Случай подвернулся, чтобы доказать упрямому приверженцу «Г. Джонсона» свою правоту. На окраине Сент-Луиса мы остановились в шикарнейшем «Холидей инн». Окна номеров выходили в гигантский закрытый патио с искусственным светом, где журчали фонтаны и низвергались водопады, где по романтическим мостикам путешественники могли прямо от огромного бассейна перейти к внушительной аркаде видеоигр. Принюхиваясь к запаху хлорки и прислушиваясь к посвистыванию электронных жучков, мы уже больше не спорили: Майя молча признала поражение, я благородно молчал.

Границу Техаса мы пересекли ночью, не заметив ее, и остановились в городе Сладководске (как еще иначе переведешь Sweetwater-city), в мотеле «Говард Джонсон». Утром мы вышли к завтраку, не подозревая, что мы в Те-

хасе. Подавальщица притащила нам «наши яйца» плюс целую поленницу бекона плюс блинчики с джемом, по куску арбуза и грейпфрутовый сок. В салат-баре мы отоварились еще овощами. Майя ничего не сказала, только лишь со скромным торжеством озидала стол: таков, мол, мой старый «Говард».

«Посмотри лучше вокруг, — сказал я. — Какая отменная здесь собралась публика. Того и гляди, начнут сейчас стрелять в пианиста или за неимением такового — в проезжего русского писателя».

Вокруг нас сидели настоящие персонажи вестернов — краснолицые, голубоглазые, в огромных шляпах, кожаных жилетках и сапогах на высоком каблуке — техасцы.

Нынче, всяческими способами убегая от клише, мы иногда удивляемся, как точно некоторые явления им соответствуют. Вот ведь при слове «техасцы» именно такая картина возникает в воображении, но, когда ее видишь воочию, поражаешься — могут ли так совпадать реальные люди (в данном случае в основном водители грузовиков) с образцами кино?

Подавальщица вдруг спросила нас:

— Интересно, фолкс*, на каком это таком языке вы между собой разговариваете?

— А вы как думаете, что это за язык? — спросил я в ответ.

— Звучит как немецкий, — сказала она.

— Нет, это русский, — сказал я.

— Вот я и слышу, что-то похожее на русский или на немецкий, — сказала она.

— Однако это совершенно разные языки, — сказал я. — Немецкий и русский не похожи друг на друга.

— В самом деле? — искренне удивилась она. — Вы, стало быть, русские из Германии?

— Нет, мы из России.

— Немцы из России?

* Folks — здесь — братья, братиы.

Для этой средних лет техасской дамы русские и немцы были соединены какими-то нерасторжимыми связями. В двух словах мы объяснили ей противоречивость немецко-русских связей, историческое преобладание византийской над готической культурой (или наоборот) и подчеркнули, что, несмотря на изобретение немцами крана к русскому самовару, в России до сих пор бытует поговорка «что русскому хорошо, то немцу плохо»...

В замешательстве покачивая головою, она отошла к ковбоям и, как бы убирая что-то со стола, рассказала им, какие странные в мотеле оказались постояльцы — из России, но не немцы.

Ковбои пошевеливали большими плечами, иногда чуть поворачивали головы, чтобы глянуть на нас, однако, столкнувшись с нашими взглядами, деликатно отводили глаза, как бы интересуясь лишь погодой за окном.

Тут подавальщица снова приблизилась, лицо ее выглядело озабоченным.

— У нас тут, оказывается, в газетах много пишут о России, и все какие-нибудь гадости. Наверное, врут?

— Увы, не врут, — сказали мы.

— Вот ребята говорят, фолкс, будто в России такое правительство, которое не позволяет книжки писать какие хочешь. Это тоже правда?

Я даже подскочил — вот так вопрос в городе Сладководске! Может быть, кто-то из них видел мой портрет в «Вашингтон пост» или в «Нью-Йорк таймс» и узнал? Но это просто немыслимо — пара-другая снимков, промелькнувших в потоке тысяч и тысяч?.. Так или иначе, но вопрос оказался более чем по существу.

— Увы, мэм, это тоже правда. Я как раз являюсь писателем, и именно за сочинение неудобных книг меня выгнали из моей страны. Именно поэтому мы и оказались здесь, мэм!

Подавальщица из Сладководска вдруг широко раскрыла руки и сказала с такой теплотой, которую и сейчас, четыре года спустя, я вспоминаю как одно из лучших американских очарований:

— You are welcome to America!*

Ковбои сдержанно улыбались.

День, когда я потерял гражданство

Последний день этого путешествия стал довольно важной вехой в моей биографии: 21 января 1981 года после захода солнца я узнал, что не являюсь больше гражданином СССР.

Проснулся я в тот день еще гражданином СССР в мотеле города Юма, что на стыке границ Аризоны, Калифорнии и Мексиканских Штатов. С достоинством, как и предписывает инструкция Управления виз Моссовета, пронес высокое звание гражданина Страны Советов в столовую. После завтрака мы взяли старт на Лос-Анджелес, куда рассчитывали прибыть к вечеру.

Аризонская пустыня сменилась калифорнийской, которая в этих местах лежит ниже уровня моря. Горизонт еще больше раздвинулся. Пески и кактусы по обе стороны прямого, как линейка, хайвея. «Омега» что-то сильно разошлась, обгоняла чуть ли не все попутные машины. При обгоне очередной я увидел рыжие усы патрульного офицера. Положив локоть на борт, он внимательно и серьезно смотрел на меня. Потом привычным движением поставил себе на крышу пульсирующий красный фонарь. Несколько секунд я еще делал вид, что не понимаю, что это значит, что ко мне это вроде не очень-то относится, потом пошел к обочине. Патрульный «кар» встал сзади. Мы вылезли из машины — я и стройный офицер в униформе цвета хаки с пистолетом на боку. В ярком пустынном небе над нами, словно наши alter ego, парили два орла.

Я подумал: сейчас начнется цирк! У меня нет ни одного американского документа. Как оказался советский гражданин посреди калифорнийской пустыни рядом с мексиканской границей? Если бы американца изловили в Тур-

* Добро пожаловать в Америку!

кмении, в двух шагах от Ирана, подняли бы по тревоге весь КГБ. Представляю себе реакцию патрульного на советский паспорт, а потом и на еще большее чудо — советские водительские права! Как все это ему объяснить? Не рассказывать же, в самом деле, историю романа «Ожог» и независимого альманаха «Метрополь». Пока что попробую придуриваться, как в России делал в подобных обстоятельствах.

— Скорость? — спросил я.

Патрульный кивнул. Я начал хныкать в той манере, которую выработал в общении с московскими гаишниками:

— Клянусь, офицер, я всегда вожу в рамках правил. Вот только тут... знаете ли... в пустыне...

— Да, здесь трудно держать лимит, — согласился он.

Я обрадовался: кажется, клюет! Согласно московскому опыту, нужно выделить его участок как особый, ни на что не похожий, исключительно опасный и важный — такова психологическая задача. В случае успеха офицеру и мои исключительные советские обстоятельства не покажутся столь уж подозрительными.

— Впервые еду через пустыню! — воскликнул я. — Удивительное ощущение! Сам не замечаешь, как скорость поднимается до шестидесяти пяти миль в час!

— До семидесяти пяти миль в час, — сухо поправил он, посмотрел на номерной знак и пробурчал: — Ага, Мичиган...

Что это значит? Может быть, с Мичиганом тут у них особые счеты? Может быть, здесь мичиганцам круче приходится, чем советским? Так или иначе, нужно раскрывать национальную принадлежность. Ведь не может же его не насторожить мой акцент!

— Вообще-то мы из России, офицер, из Советского Союза... Это особая история...

— Ваше имя, сэр, — прервал он меня.

Я сказал и добавил вполне нелепо:

— Это, понимаете ли, русское имя. Мы здесь оказались при необычных обстоятельствах...

— Как спеллингуете свое имя?

В ровном тоне патрульного мелькнула легкая досада. Очевидно, мои «обстоятельства» мешали ему осуществлять закон.

Я заученно протараторил свое имя по буквам. О, эти американские спеллинги, сколько эмигрантских языков вывихнуто было на них! Офицер на минуту отвлекся от своей записи:

— Значит, из России приехали, сэр?

— Да, мы из Советского Союза, но мы оказались здесь в силу совершенно особых, исключительных обстоятельств, которые я мог бы объяснить, если бы...

— А вы знаете лимит скорости в Америке? — снова прервал он меня.

— Пятьдесят пять миль в час.

— Вот именно, — сказал он. — Водительскую лицензию, пожалуйста.

Я уныло полез за своей выдавшей виды «корочкой». Необычный вид документа наверняка возмутит патрульного, ведь советские права отличаются от американских не менее разительно, чем «Правда» от «Нью-Йорк таймс». Наверняка он признает мои права недействительными.

— У меня еще советская лицензия, — мямлил я, — однако если учесть особые обстоятельства, о которых я упоминал выше, то при известной снисходительности...

Он невозмутимо рассмотрел мои права и, не задав никаких вопросов, записал семизначный номер. Я присел на горячий капот его «Шевроле». Неясное ощущение судьбы витало в воздухе пустыни. Рыжий молодчик, похожий на киногероя, которому абсолютно наплевать на мои советские «обстоятельства», осуществляет американский закон об ограничении скорости. Многозначительное парение двух орлов над нашими головами.

— А вот в СССР нет ограничения скорости, — зачем-то соврал я, хотя уже и понимал, с каким бесстрастным центурионом имею дело.

Тут вдруг патрульный сильно обиделся, оторвался от бумаги и посмотрел на меня выпцветшими голубыми глазами.

— Вы ведь сейчас не в России, сэр, правда? Вы сейчас в Америке, так? А у нас здесь скорость ограничена, о'кей?

Точно так же когда-то на меня ворчал киевский милиционер: «Здесь вам не Москва... тут Киев, понятно?.. Здесь работают киевские правила, так?»

— Оштрафуете меня? — спросил я.

— Не я вас оштрафую, а суд вас оштрафует. — Он протянул мне копию бумаги. — Так и быть, поставил вам шестьдесят пять вместо семидесяти пяти. Поосторожнее в дальнейшем. Всего хорошего!

Он отвернулся, потеряв ко мне малейший интерес, и до меня наконец дошло, что я для него вовсе не подозрительный иностранец, а просто нарушитель скоростного режима, то есть человек как человек.

Есть некоторая все-таки странность в том, что этот знаменательный для меня день начался с волнений по поводу моего сомнительного гражданства и ненадежных водительских прав. Продвигаясь дальше к Тихому океану, я думал о том, что теперь надо ждать еще какой-нибудь гадости (закон парности) и что вторая гадость будет в том же роде, то есть связанная с бумагами, с какими-нибудь провалами, с недостатком каких-нибудь прав или с полным их отсутствием; ведь не с избытком же прав, этого сейчас нигде не допросишься.

К вечеру мы достигли гостеприимного дома в Санта-Монике, и хозяин после первых же приветствий сказал:

— Тебя весь день разыскивают журналисты. Прошу прощения, но указом Президиума Верховного Совета СССР ты лишен советского гражданства.

После ужина мы пошли на мой любимый еще с 1975 года Океанский бульвар и остановились там в молчании под

королевскими пальмами. Внизу, под обрывом, катились огни прибрежного шоссе.

Почему госмужи СССР так поступили со мной? Неужто сочинения мои так уж сильно им досадили? Разве я на власть их покушался? Пусть обожгутся они своей властью.

Я подумал о друзьях в Москве. Сегодня они слышали эту новость по «Голосу Америки» или по Би-би-си — какая реакция? Старинный друг мой, внутренний эмигрант Фил Фофановф, которого в Москве называют помесью Печорина с Обломовым, вероятно, утешил бы меня таким образом:

— Не фетишизирую красную картонку с плотной розовой бумагой внутри, ничего священного и символического в этой дряни нет, простое «средство полицейского контроля», согласно словарю Брокгауза и Ефрона. Бедняга Маяковский, которому очень хотелось еще раз в Париж, пропел серенаду советскому паспорту, а между тем сам сознался, что носит ее в штанах: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза»... Разве нечто любимое, священное, гордое носят в штанах по соседству с гениталиями?

Так, вероятно, упражнялся бы в остроумии московский шутник Фил Фофановф. А все-таки идеологические дядьки-аппаратчики не только ведь книжечки говененькой меня лишили. Это они в своих финских банях постановили родины меня лишить. Лишить меня сорока восьми моих лет, прожитых в России, «казанского сиротства» при живых, загнанных в лагеря родителях, свирепых ночей Магадана, державного течения Невы, московского снега, завивающегося в спираль на Манежной, друзей и читателей, хоть и высосанных идеологической сволочью, но сохранивших к ней презренье.

«Дружище, — сказал бы устало Фил Фофановф, — фактически они нас всех давно уже лишили советского гражданства, потому что его просто не существует. Здесь нет гражданства, а есть подчинение. Честь мы бережем не для гражданства, а для родины». Иногда он может шутить и таким образом.

В темном небе тактично гудел «джет», возвращающийся из Японии. Шелестела ветками огромная пальма. Пахло своими плодами лимонное дерево. Рождалась новая луна. Калифорнийской ночи было наплевать на мое советское гражданство не в меньшей мере, чем патрульному на интерстейт № 8.

Возвращаясь к хозяйскому дому, мы увидели, что он полон людей. Оказалось, что многие старые друзья из Калифорнийского университета, где я в 1975 году на семинаре красноречивыми недомолвками подчеркивал свою принадлежность к Совдепу, приехали нас приветствовать. За шесть лет, что прошли после моего месячного визита в 1975-м, они совсем не изменились, и немудрено — Калифорния, в ней не только кинозвезды консервируются, но и профессора университетов.

Законсервировались мои друзья и в своих так называемых левых взглядах. Для советских делишек у них в лучшем случае припасена ироническая улыбочка, нападать на СССР не очень-то рекомендуется, иначе ведь и не заметишь, как примкнешь к правым.

В разгар шумной и спонтанной, вполне в русском стиле, вечеринки из Нью-Йорка позвонил Крэг Уитни, бывший московский корреспондент, а в тот момент заведующий иностранным отделом «Нью-Йорк таймс». Он хотел узнать, как я себя чувствую после лишения советского гражданства, есть ли у меня эмоции в адрес советской власти. «Пошли бы они все к черту!» — заорал я. Крэг захохотал, и в утреннем выпуске «Нью-Йорк таймс» появилось:

Having been informed about the Soviet government's decision Aksyonov said: To hell with them!

Окончив этот разговор, я вернулся в гостиную и обнаружил там основательную ссору. Русские интеллектуалы ругались с американскими интеллектуалами, причем речь шла даже не о России, а об американских заложни-

ках в Тегеране, которые в это время были освобождены и направлялись домой.

— Теперь все это будет превращено в националистическое шоу, устроят огромный шовинистический шабаш, — говорили американские друзья.

— Ваши дипломаты были захвачены бандитами, — кипятились русские друзья. — Нарушены были все международные нормы!

— Во время революций всегда бывают эксцессы, — отвергали этот аргумент американцы. — Посольство и в самом деле занималось шпионажем.

— Все посольства занимаются шпионажем, разве дело в этом? — взывали русские. — Неужели вы не понимаете, что Америка противостоит тоталитаризму, что это последняя крепость свободного мира, что любое унижение Америки идет на пользу коммунизму?..

— Вы говорите, как наши «ред нек»*, — возражали американцы. — Как наши крайние правые, реакционные люди.

— А вы, — парировали русские, — говорите, как либеральные олухи, пораженцы, вы не понимаете, с кем имеете дело. Опомнитесь в советском концлагере, господа!

Тут один из американских друзей не выдержал и слегка позеленел, что бросилось всем в глаза, потому что прежде во время таких споров он только розовел.

— Мои предки, — кричал он не своим голосом, — приплыли в эту страну четыреста лет назад!.. (Тут все быстро в уме пересчитали, могло ли такое случиться, и выходило, что почти могло.) Мы... (далее следовало имя, содержащее и «th» и «gh») здесь живем из поколения в поколение, а тут приезжают всякие из стран, не знавших даже запаха свободы, и берутся нас учить, как защищать демократию!..

Тут он смутился, все краски на лице смешались, и стал извиняться за свою вспышку: он вовсе никого не хотел

* Red neck — деревенщина, тупица.

оскорбить, просто и в самом деле немного нелепо получается.

Нелепость некоторая, увы, налицо. В Советском Союзе мы считались левыми, смутьянами, ненадежными элементами, а нам противостояли несметные полчища правых, официальных коммунистических пропагандистов и аппаратчиков. В Америке же мы с нашим антикоммунизмом оказались ближе к правым. Левая, правая где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна...

Сено и солома

Однажды, уже в Вашингтоне, прогуливая в садике на Коламбия-роуд своего щенка Ушика, я познакомился с хозяйкой сенбернара Джулией — дамой, приятной во всех отношениях. Она жила неподалеку, на одной из маленьких улиц, пересекающих Коннектикут-авеню. С того дня мы встречались нередко, наши собаки стали друзьями, и в конце концов Джулия пригласила нас с Майей на ужин.

Мы пришли в ее элегантную квартиру и нашли там весьма симпатичное общество, персон эдак около пятнадцати. Старшим там был муж Джулии, красавец с седыми кудрями и плавными движениями. Если бы не рокошущая американская речь, его можно было бы отнести к известному российскому типу адвоката-краснобая. Кстати, он и оказался адвокатом, как потом выяснилось. Гости были моложе хозяина дома, нам почему-то показалось, что это в основном друзья Джулии по университету, хотя мы и понятия не имели, училась ли она когда-нибудь в университете. В общем, это был народ от тридцати пяти до сорока, красивый, одетый небрежно, лица неординарные, жесты свободные, однако без киношного нахальства. В общем, они были похожи на людей нашего круга в Москве, если исключить из него заведомых стукачей.

Очевидно, они давно не видели друг друга. Каждого новоприбывшего встречали веселыми восклицаниями.

Разговор (поначалу за коктейлями) шел довольно сумбурный и внутренний, нас он мало касался — что-то о переменах в работе, в жилье, в семьях, все как будто принадлежали к тому типу, что нынче называют «яппи»*.

Потом вдруг стала мелькать тема Сальвадора. Кто-то из них, оказывается, там недавно побывал, делал какое-то исследование для какой-то частной организации. Вот, кажется, повод вставить пару слов, чтобы не сидеть тут чучелом в качестве «хозяина друга нашей собаки».

«Сальвадор, — сказал я глубокомысленно, — это очень серьезно».

Все со мной охотно согласились.

«Очень уж близко к дому», — углубил я свою мысль.

Все вновь с энтузиазмом поддержали меня. Сальвадорская тема разгорелась. «Близко, очень близко, слишком близко уж к нашему дому...» — говорили гости, как вдруг я заметил, что они совсем не то, что я, имеют в виду. Я-то имел в виду, что вот-вот еще одно тоталитарное марксистское государство возникнет на этот раз слишком близко к американскому дому, а они, гости Джулии, вели речь о том, что Пентагон и ЦРУ втягивают страну в «новый Вьетнам», на этот раз слишком близко к американскому дому.

Дальше — больше. Мы вовлекались в разговор, и раз за разом наши ремарки оказывались по меньшей мере неуместными в этой компании. Кто-то из присутствующих, например, упомянул имя сенатора К., а меня будто кто за язык потянул. «Третьего дня, — говорю, — этот К. напугал меня до смерти».

Несколько человек повернулось ко мне: как так?

— Да вот, — говорю, — проснулся утром, включил телевизор и сразу увидел сенатора К., и первая фраза, которую он произнес, то есть первая фраза, которую я услышал в то утро, звучала так: «Если я стану президентом США, первое, что я сделаю, позвоню Юрию Андропову!» Согласитесь, господа, можно перепугаться.

* От YP — young professionals — интеллектуальная молодежь.

— А почему же? — недоуменно спросил близко сидевший ко мне молодой почти красавец в рубашке с галстуком и в ковбойских сапожках.

— Ну ведь это все равно, господа, что услышать, будто кто-то собирается звонить Берии, — сказал я.

— Что же, вы против переговоров, что ли? — спросила подруга почти красавца, совершеннейшая красавица.

— Нет-нет, простите, я вовсе не имел в виду никаких переговоров, я просто хотел сказать, что вот это желание позвонить Андропову не относится к числу тех эмоций, с которыми хочется начинать день.

Те из гостей, что услышали этот разговор, переглянулись. «Кто этот человек с таким неопределенным акцентом?» — говорили их взгляды.

— Простите, сэр, мы здесь все друг друга знаем, — сказал почти красавец, — а вот вас видим впервые. Откуда вы?

— Из Советского Союза, — сказал я, и тут уже чуть ли не вся гостиная повернулась ко мне с неподдельным интересом.

Далее последовал разговор с нарастающим количеством вопросительных знаков.

— Как вы очутились здесь?

— Меня выгнали из Советского Союза.

— Выгнали из Советского Союза?? За что???

— Ну, понимаете, я писатель...

— Писатель, которого выгнали из Советского Союза??? За что???? On Earth???

— За книги.

— ?????

Тут вдруг поток вопросительных знаков иссяк; не пошел на убыль, а просто оборвался. Тема изгнания писателя из СССР «за книги» больше не развивалась, и на протяжении всего ужина мне об этом больше не задали ни одного вопроса.

* Здесь — За какие же грехи?

Я начинал догадываться, что мы оказались в обществе самых что ни на есть левых. Джулия во время наших прогулок в обществе взрослого сенбернара и щенка-спаниеля, видимо, как-то неправильно меня вычислила, почему-то решила, что я принадлежу к «их кругу».

Интересно, догадалась ли Майя? Я оглядел комнату и увидел ее в дальнем конце. Разгоряченная, она что-то доказывала хозяину, а тот как-то от ее доводов обмяк, седые кудри замочалились. Красивой ладонью он как бы пытался размешать густоту Майиных аргументов.

— ...Однако вы же не будете отрицать, что он выдающаяся личность, — услышал я.

— Он выдающийся подонок! — атаковала Майя. — Я там была и видела, как они, эти вожди, там живут, в какой роскоши посреди пустоты, я и его самого видела — наглый тиран!

— Они там ликвидировали проституцию, безграмотность, всем дали жилье... — говорил адвокат.

— Как в концлагере, — парировала Майя с излишней, о, несколько московской, пылкостью.

Речь шла об одном диктаторе одной островной страны.

«Вечер может кончиться тем, что нам укажут на дверь», — подумал я и тут же сморозил еще одну бестактность, высказавшись по поводу марксизма, что он хорош только для установления диктатур на задворках мира, а в цивилизованных странах устарел...

Мне было бы неловко высказывать эти, с московской точки зрения, общие места, если бы не изумленные взгляды гостей Джулии.

«Марксизм устарел?»

Нет, нас не выставили за дверь, однако несколько гостей довольно выразительно посмотрели на хозяйку дома (кого, дескать, привела?), и Джулии ничего не оставалось, как пожать плечами.

В дальнейшем ужин проходил и завершился вполне светски. Употреблялись хорошие вина, креветки, сыры и салаты, обсуждались новые фильмы и книги; политики,

во избежание новых недоразумений, больше не касались ни свои, ни чужие.

В светской беседе, между прочим, выяснилось, что у доброй половины этих американских интеллигентов дедушки и бабушки, а то и родители прибыли на этот материк из России. «В каком-то смысле, — подумал я, — их марксистские убеждения — вещь наследственная. Дедушки и бабушки привезли с собой свою антиимперскую и антибуржуазную крамолу, и здесь она как бы законсервировалась. Как же можно усомниться в марксизме, если и папа в него верил, и дедушка?»

Глядя на этих приятных людей, внешне вроде бы таких уж «наших», а на самом деле совершенно глухих к нашим проблемам (как, возможно, и мы кажемся им глухими к их проблемам), я думал о той хитрой ловушке, в которой оказалась интеллигенция всего мира, об этой пресловутой «левой — правой» примитивке, разделившей людей по дурацким категориям, о наглом ее давлении, как бы полностью исключающем всякую возможность негоризонтального движения.

В конце семнадцатого века русский царь Алексей Михайлович начал формирование армии европейского образца. Вдруг выяснилось, что рекруты, деревенские пареньки, не знакомы с такими понятиями, как «левое» и «правое». Что делать, как направлять движение марширующих колонн? Какой-то фельдфебель придумал: на левое плечо солдатам под погон засовывали пучок сена, на правое — пучок соломы. «Сено!» — кричал фельдфебель, и рота поворачивала налево. «Солома!» — и рота исправно двигалась в правом направлении. Таким образом абстрактные в контексте Вселенной понятия получили вещественное наполнение. «Левая» и «правая» в современном мире лишены какого бы то ни было вещественного наполнения.

Однажды в Вашингтонском международном научном центре имени Вудро Вильсона мне случилось быть на докла-

де о польской «Солидарности». Это было за месяц до военного путча. Царил энтузиазм. Докладчик, только что вернувшийся из Варшавы, рассказывал о руководителях удивительного профсоюза, кто из них профессор, а кто сварщик, как они проводят дискуссии и просто как они живут, как одеваются и т.д.

Я тогда задал вопрос: а кем они себя считают, левыми или правыми? Вопрос этот озадачил докладчика, аудиторию да и меня самого.

В самом деле, кто они? Коммунистическая пресса называет их правой контрреволюцией. Стало быть, те, кто им противостоит, левые? Эти партийные бонзы, окруженные стражей, перевозимые в бронированных лимузинах?

Покажите на кампусе американского университета и тех, и этих и задайте загадку: кто здесь левый? Не сомневаюсь, руки студентов потянутся к тем, кто похож на них самих, — к парням в замызганных джинсах и паршивеньких свитерах, дерзко смеющимся, с традиционной рогулькой «V» над головой.

Позвольте, позвольте, но какие же это левые? Молятся, кладут кресты, причащаются на коленях перед священником... М-да-с, не вполне марксистской веры эти товарищи... чем-то от них пахнет чуждым...

В центре Вудро Вильсона разгорелся спор, в ходе которого решили, что «Солидарность» все-таки следует считать левыми или, точнее, левыми правыми, хотя, может быть, и не столь левыми, сколь правыми по сути... и левыми... тоже по сути. Тут время дискуссии истекло.

В мире в виде фона для вполне отчетливой и наглой политики царит терминологическая, семантическая, лингвистическая и эстетическая неразбериха.

В шестидесятые годы в СССР гуляла двусмысленная песенка: «Левый крайний, милый мой, ты играешь головой» — вроде бы про футболиста. Противостояли нам сталинцы во главе с Кочетовым, Грибачевым, Софроновым. Их почему-то называли правыми, как бы объединяя

таким образом с республиканцами в США и с тори в Англии, как бы ставя рядом жутчайшего банщика Грибачева и вполне приличного сэра Антони Идена. Московскому левому обществу Софронов казался правее генералиссимуса Франко. Мало кому приходила в голову абсурдность этой диспозиции, никто почему-то не думал, что для Франко сталинцы — левые.

На Западе изгнанники с Востока нашли не так много друзей среди левых. Привычно из поколения в поколение и отчасти комфортабельно в условиях демократии сопротивляясь капитализму, эти люди морщились, когда мы говорили о нашем жизненном опыте в антикапиталистическом обществе.

Неужели западный левый интеллигент уже частично втянут в систему тоталитаризма? Мы не хотели в это верить, не хотелось терять привычный романтический образ свободомыслящего чудака, бросающего вызов предрассудкам и филистерству. Все-таки в комплексе левизны, казалось нам, идея личной свободы и чистой совести должна преобладать над идеологическими стереотипами...

Парижские «новые философы» оказались первыми среди тех, кто преодолевал круг заклинаний. Все они пришли с баррикад Латинского квартала 1968 года для того, чтобы назвать себя «детьми Солженицына» и заявлять, что слово «справедливость» для них дороже двухмерного измерения.

А вашингтонские молодые консерваторы?.. Строгие костюмы с хорошо подобранными галстуками, пуговики вниз, волосики на пробор, наследственная «реакционная» мимика... правые, тут уже не ошибешься, однако то, что движет сейчас этим направлением ума, а именно отрицание тоталитарного цинизма, роднит наших *preppies** с парижскими бунтарями, да и с нами, изгнанниками.

Ситуация, может быть, слегка прояснилась бы, если бы стало ясно, что ЦК — КГБ не имеет отношения ни к ле-

* Выпускники частных школ.

вым, ни к правым. Ошибетесь, судари мои, если и к центру их отпишете. Они находятся в других измерениях. Казалось бы, это очевидно, однако ситуация не проясняется.

Ситуация настолько темна, что позавидует театр абсурда.

Почему «левые» и «правые», а не «верхние» и не «нижние», не «внутренние» и не «внешние»? Почему мы всегда должны танцевать от печки, то есть от расположения кресел в каком-то старинном зале для заседаний? Может быть, даже забытое сейчас деление на материалистов и идеалистов внесло бы больше ясности. Пока что свифтовские остроконечники и тупоконечники спорят, а население спрашивает — где же наши яйца?

С темой революции в современном мире ежегодно происходят удивительные парадоксы, трансформации, перевертывание идей, понятий, зрительных образов. Символ левого движения, вдохновенный лик Че Гевары (после пяти рюмочек дайкири на борту конфискованной яхты) оборачивается растленной физиономией Муамара Каддафи или кабаньим рылом Иди Амина. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в американском языке с приятной точностью называется *blockhead**. Благородное слово либерал нынче изрядно испохаблено марксистскими доктринами. Стыдясь этого слова, левый интеллигент бодро прошагал в область стройных общественных теорий, от которых за версту разит если не концлагерем, то казармой. В походке этого некогда свободного человека засквозила солдатчина.

Вот, скажем, нобелевский лауреат Габриель Гарсиа Маркес, талант и левак, левее некуда. Левее, если перегнуться, можно увидеть только живот его личного друга Фиделя Кастро.

Нобелевский комитет, награждая и определяя заслуги Маркеса, заявил, что он всегда «политически на сторо-

* Болван, дурень.

не бедных», а также «против внутренних репрессий и иностранной экономической эксплуатации».

Казалось бы, как тут не поаплодировать, а про увлечение террористами можно и забыть: мало ли чем может увлечься романист? Хочется забыть... но, увы, вспоминается... экран московского телевизора и на нем Г.Г. Маркес, полный провинциального высокомерия.

— Я дал зарок, — вещал он, — ничего не печатать из своих художественных произведений, пока не падет жестокий режим Пиночета в Чили.

Аплодисменты. Кому приятна военная диктатура? И все-таки, товарищ Маркес, не лишайте человечество столь большого удовольствия, как чтение ваших романов. Он улыбается. Дальнейшее показало, что зарок был не так уж тверд.

В те дни десятки тысяч вьетнамских беженцев, boat people, тонули в море, пытаясь спастись от новых коммунистических хозяев. Весь мир шумел об этом, и Маркес был спрошен московским телевизионным человеком:

— А что вы скажете, товарищ Маркес, по поводу шумихи, раздуваемой буржуазными средствами информации в связи с проблемой вьетнамских беженцев?

(Не исключая, между прочим, лукавства со стороны советского телевизионщика: они не так просты.)

У Маркеса на лице появляются следы марксистского анализа. Он объясняет советским телезрителям:

— Это естественный процесс классовой революции. Проигравший класс должен исчезнуть, уступить свое место победителям.

Не правда ли, привлекательно звучит эта фраза в устах «политического сторонника бедных» и врага «внутренних репрессий»?

В Москве, помнится, многие тогда дали зарок ничего не читать маркесовского до падения коммунистов во Вьетнаме. В шутку, разумеется. К чести наших либералов, надо сказать, что они еще не развили в себе маркесовской «звериной серьезности».

Все-таки нужно обладать какой-то особенной вульгарностью для того, чтобы быть настолько заблокированным дешевой и устаревшей левой идеей. Увы, иногда такая вульгарность может сочетаться с художественным талантом.

Достоевский сказал, что ради слезинки ребенка можно пожертвовать счастьем человечества. Может быть, эта метафорическая «слезинка» как раз и есть то, что отведет писателя наших дней и от левой, и от правой самоцензуры...

Хлеба и зрелищ

Недавно мне удалось совершить путешествие в недалекое прошлое, а именно в милое всему нашему поколению десятилетие шестидесятых годов. Увы, это были все-таки не наши, не советские шестидесятые, а здешние, американские, но тем не менее все это было очень близко и даже лирично, напомнило мне поездку в Англию осенью 1967 года и другие поездки на Запад.

Я говорю о массовом празднике с куклами, который каждый год устраивается на холмах Северного Вермонта и называется «Bread & Puppet Show», что, собственно говоря, в переключку с римской традицией означает «Хлеба и зрелищ». Народ сюда стекается со всей Новой Англии, из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона, можно заметить даже машины с номерными знаками далекого Юга и Дальнего Запада. Любопытно, что в толпе слышна не только английская, но и французская речь. Сначала я подумал, откуда здесь так много французских туристов, потом догадался — это были канадцы из франкоязычной провинции Квебек.

Мы отправились на праздник большой компанией: вермонтский житель, писатель Саша Соколов, его жена Карен, их соседи Барбара и Слип, израильтяне Нина и Александр Воронель и мы с женой. Прошу прощения, забыл упомянуть двухлетнего спаниеля по имени Ушик.

Собак вообще было множество, и вели себя они в толпе вполне непринужденно. Еще более непринужденно чув-

ствовали себя здесь крошечные дети. Иные из них ползали нагишом, ибо стояла жара. Собак кормили повсюду. Расползающихся детей передавали из рук в руки поближе к родителям.

В толпе преобладали те, кого очень условно можно обозначить термином «левая интеллигенция». Все напоминало обстановку подобных сборищ в конце шестидесятых и начале семидесятых годов: джинсы, длинные волосы, значки, гитары... Устаревшие идейные хиппи, надо сказать, довольно живучи в США и благополучно соседствуют с безыдейными панками. Молодежь, стареющая молодежь и совсем уже старая молодежь... Очень быстро возникла типичная для подобных ситуаций обстановка естественных, так сказать, отношений. К нашему пикнику подошла девушка и сказала:

— У вас тут, братцы, я вижу очень много пива, а у нас не хватает. Можно, я возьму несколько банок?

Периодически приближался некий странствующий рыцарь и запросто, не спрашивая, прикладывался к нашей галонной бутылки красного вина, одаривая окружающих вслед за тем смутной улыбкой, поблескивающей из зарослей его лица. Хлеб здесь всей многотысячной толпе выдают даром, это традиция праздника, и хлеб, надо сказать, очень вкусный, деревенский, из муки крупного помола. Бесплатно выдается также поджаренная кукуруза.

Праздники эти начались как раз на стыке шестидесятых и семидесятых, когда германский кукольник Питер Шуман осел в Вермонте. За это время его труппа «Хлеба и зрелищ» приобрела даже некоторую международную известность. Они гастролируют и в Европе, и в Латинской Америке, и в Индии, но штаб-квартира их по-прежнему остается на зеленых холмах Гловера, которые образуют здесь как бы естественный амфитеатр, в то время как подступающие к долине рощи образуют как бы естественные кулисы.

Когда приближаешься к месту действия и видишь эту долину, и многоцветную толпу, собравшуюся на склонах, и хвостатые флаги, расставленные на шестах, невольно

думаешь: вот так в средние века, должно быть, выглядело поле боя перед какой-нибудь битвой Алой и Белой розы.

Между тем то, что нас ждет, по отношению к войне носит совсем противоположный характер. Кукольные представления в Вермонте — это грандиозная нацифистская демонстрация. В устройстве ее принимают участие такие американские пацифистские организации, как «Корни травы», «Зеленый мир», да и сама труппа Питера Шумана известна как активная пацифистская колонна. Согласно раздававшимся там информационным листочкам, они как раз планировали серию выступлений в Европе против размещения там «першингов» и «крузов».

Вначале была чисто развлекательная, идеологически не нагруженная программа. Римский цирк — император, патриции, рабы, гладиаторы, дикие звери, пляски масок, кувыркания, песнопения, смешные декламации. Долина обладает удивительными акустическими качествами — без всяких микрофонов немудрящие тексты разносились по огромному пространству.

Затем, когда солнце стало уже склоняться к холмам, началось основное, антивоенное действо. Из леса появилась процессия в белых одеждах. Она несла огромную, этажа в три, куклу, символизирующую как бы солнце, то есть мирную жизнь. Кукла была установлена в центре амфитеатра, и вслед за тем фигурки в белых штанах и рубашках как бы улетали в соседнюю рощу. Из-за холма появился и спустился в ложбину большой духовой оркестр, тоже все в белом. В округе разлилась мирная деревенская музыка, и на проселочной дороге появилась другая процессия, несущая гигантскую супружескую кровать.

В кровати, оказалось, возлежат Дед и Баба, трехэтажные мирные пейзажи. Мало-помалу эти фигуры-символы стали подниматься из кровати и двигаться к центру долины, где белые фигурки уже устанавливали огромный стол, стул для Бабы и кресло-качалку для Деда. Засим появился чугунок, величиной с избу, в котором Баба начала варить Суп. Фигурки, танцуя, изображали картошку, лук,

перец, порей, петрушку, пастернак, помидор, капусту и т.д. Все было мирно и чудно, когда началось нечто зловещее — вторжение абсурдных сил милитаризма. Из леса вывели стилизованное чучело сверхзвукового истребителя-перехватчика, верхом на котором сидел стилизованный человек-робот, военный бандит. Вспомнилась боевая советская песня тридцатых годов:

*Там, где пехота не пройдет,
Где бронепоезд не промчится,
Тяжелый танк не проползет,
Там пролетит стальная птица.*

Символ войны приблизился к символу мира и вторгся в мирную жизнь. Самолет и летчик разговаривали друг с другом неразборчивыми машинными командами на непонятном языке. Задним числом это напомнило демонстрировавшиеся в Совете Безопасности пленки электронного прослушивания, на которых ночные мазурики, пилоты СУ, принимают команду сбить пассажирский самолет с двумястами шестьюдесятью девятью мирными людьми на борту.

От вторжения милитаризма Дед заскучал, а потом упал носом на стол, как будто от хорошей бутылки самогона. Бабка тоже отключилась, и Суп (с большой буквы) протух. Наивно, но убедительно, ничего не скажешь. Стальная птица продолжала разговаривать сама с собой, никаких эмоций не выражая. В этом, кстати говоря, видна характерная черта современных агрессоров: захватывая какую-нибудь очередную страну, они даже как бы и не радуются, как будто знают заранее, что на пользу не пойдет.

Злодеяние завершилось как раз перед заходом солнца, но вот, едва оно закатилось за круглые холмы, в ранних сумерках появились легкокрылые посланцы доброй воли — правильно, голуби мира! Один из них, как бы подходя, сунул под стальную птицу толику огня, и чудовище сгорело, крикая, ухая и все еще продолжая отдавать механическим голосом команду самому себе.

Сумерки еще сгустились, и тут начался апофеоз — ленты, шары, светящиеся мотыльки. Проплыл торжественный Ковчег, символ спасения человечества.

Толпа побрела к своим бесчисленным автомобилям, запаркованным на несколько миль в округе. Все были довольны — и воздухом подышали, и искусством насладились, и сами были как бы участниками какого-то старинного действия, и посильный вклад внесли в дело предотвращения войны. Мы смотрели вокруг — неплохие в самом деле лица: ни жадности, ни хитрости, ни лукавства не написано на них. Скип и Барбара встретили одного знакомого из труппы «Бред энд паппит», молодого бородатого паренька. Паренек был возбужден. «Скоро едем в Европу протестовать против размещения «першингов» и «крузов», — сказал он. «А против других моделей ракет вы не собираетесь протестовать?» — спросили мы его. Он несколько смешался, но потом сказал, что протесты против восточных типов ракет — это дело восточной общественности. «Мы на Западе протестуем против западного милитаризма, а восточная общественность протестует против восточного милитаризма, — сказал он. — В Советском Союзе тоже существует большое движение сторонников мира». Мы посмотрели на его славное лицо и подумали, что от идеализма такого рода в наши дни уже пахнет какой-то мерзостью. «Дорогой Ник, вы смело можете считать советское движение сторонников мира частью вашего западного движения сторонников мира, потому что оно никогда не протестует против восточных ракет и ядерных боеголовок, а только лишь и всегда против западных ракет и боеголовок».

Ник был поражен. Неужели в Советском Союзе не существует независимого пацифизма? Мы тоже были несколько удивлены. Что же вы, Ник, дружище, газет не читаете? Ничего не знаете о «Группе за установление доверия», которую осмелилась организовать московская молодежь вне рамок тоталитарного и целиком подчиненного ведомству пропаганды Совета мира? Ничего не слышали, как навалилась на них каменным брюхом советс-

кия политическая полиция, как в течение короткого времени из полутора десятков основателей несколько человек оказались в психушке, несколько — в тюрьмах, иные принуждены были «раскаться», иные — эмигрировать?

Молодой человек был обескуражен и подавлен. «Неужели никогда в Советском Союзе не было вот такого, как наше, независимого от правительства, ралли?» — спросил он.

Не нужно было особенно напрягать память, чтобы ответить на этот вопрос. Независимые от правительства ралли и митинги в Советском Союзе немыслимы, как цветы на Северном полюсе.

Вдруг кто-то из нас воскликнул: «А ведь было однажды! Вспомните, братцы, сентябрь 1974 года и парк Измайлово!» И мы все вспомнили тут немыслимое событие в жизни Москвы, день, пробудивший столько надежд и вдохновений.

Тогда, после знаменитой «Бульдозерной выставки», на которой комсомольские дружины под охраной милиции жгли картины художников-нонконформистов, а бульдозеры в лучшем стиле сталинских танкистов наступали на зрителей, власти вдруг уступили и разрешили независимую выставку на поле служебного собаководства в парке Измайлово.

Стоял блаженный день бабьего лета, и несколько тысяч человек — неофициальная артистическая Москва — собрались на зеленых холмах, слегка напоминавших вот эти вермонтские, чтобы смотреть картины, шутить и ободрять смельчаков художников.

Незабываемый день. Больше он никогда не повторился. Сейчас по крайней мере половина тех художников, устав от бесконечного тупого преследования, переселилась за границу, да и из толпы, наверное, треть отправилась туда же. И все-таки нельзя забыть то удивительное состояние доверия и надежды, что царило тогда в Измайлове.

Вот это, пожалуй, и был единственный истинный акт в защиту мира в Советском Союзе, сказали мы Нику, хотя на нем не упоминались ни атомные бомбы, ни ракеты. Что

же касается всех этих тщательно разработанных и обеспеченных целой армией стукачей и агентов маршей, митингов и велопробегов, то они направлены на совсем противоположные цели — перехват пропагандистской инициативы и в конечном счете — обман.

Вермонт... пейзаж... лица... что я могу этим людям доказать? Парадокс в том, что без них Америка не была бы Америкой.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1980

Бойфренд Бернадетты, агент страховой компании Рэндолф Голенцо, прослышав о новом жильце, задумался о России, которую — он знал это достоверно — называют еще Советской Грузией. «Это страна огромной мощи, она расположена между Китаем и Германией. Не все русские — грузины, моя дорогая. Грузином был Никита Хрущев. Грузины — это элита страны, вроде как наши «осы»*. Но жалят сильнее, ха-ха-ха! В своих партийных синагогах они уже целое столетие обсуждают вопрос о грузинофикации Африки. Наивные люди возмущаются оккупацией Афганистана, но я не поручусь, что этот вопрос не был окончательно решен на совещании в Атланте, моя дорогая».

Водопроводчиком и надзирателем холодильных установок в «Пацифистских палисадах» работает беглый вьетнамский генерал Пхи, весом не более ста фунтов. Гирлянда ключей и отверток побрякивает у него на поясе, который он носит по-ковбойски, на бедрах. Бернадетта Люкс сочувствует генералу. «Маленький Пхи отступал с оружием в руках», — говорит она своему Рэнди. Тот явно ревнует: «С оружием в руках надо наступать, ханни».

Часто можно видеть генерала в вестибюле возле стилизованного глобуса. В задумчивости он вращает мини-

* WASPs — белые англосаксонские протестанты; wasps — осы.

мторным пальчиком это чучело нашей планеты. Внимание его сосредоточено на арктическом бассейне, что отчасти понятно.

Нельзя сказать, что окопавшийся в «Пацифистских палисадах» ГМР не сталкивается с жизнью «реальной Америки». Сталкивается ежедневно и ежедневно черпает определенную пищу для обобщений. Вот несколько примеров.

...Однажды утром сосед Robert Redford-look-alike* сказал своей жене Victoria Prinsipal-look-alike: «Всем ты хороша, дорогая, но запах изо рта у тебя невыносим. Ну-ка, прими таблеточку «Клорет». Видишь, действие мгновенное и надежное. Теперь твой ротик пахнет ароматом экзотических цветов, как тогда на Бермудах. Задерни шторы».

...На паркинге после делового дня сталкивается соседка Linda Evance-look-alike с соседкой Joan Collins-look-alike. «Вы что-то выглядите утомленной, душечка». — «Ах, слишком напряженный день. Сначала, разумеется, мой босс, потом двое приезжих из Огайо, за ланчем встретился партнер по теннису, а после работы я нередко заезжаю к французу-кондитеру...»

«Ах, душечка, вы устаете оттого, что не пользуетесь тампонами Freshcotton. Взгляните на меня — я совершенно свежа после семи аппойнтментов!»**

...Смеркается. Обитатель пентхауса Burt Lancaster-look-alike со своим «лонг дринком» на своем балконе. Ласково, пожалуй, даже нежно посматривает в глубь спальни, где его жена Shirley McLain-look-alike убагровляет дивное лицо свое благоуханным кремом Oil of Ole. «Время подчиняется этой тайне, — думает он. — Жаль только, что я сам не могу приобщиться к этой благодати».

...Пара холостячков бодро, как мальчики, встречаются поутру. «Все в порядке, Даг?» — спрашивает Burt

* Точная копия Роберта Редфорда; здесь и далее — имена американских знаменитостей.

** Appointment — условленная встреча, свиданье, визит.

Reynolds-look-alike. «Все в порядке, Стив! Сначала, как всегда, чесалось по-страшному, а после того, как последовал вашему совету с этим дивным Prep-H*, все сошло, готов к новым подвигам!»

...Торговец автомобилями Lee Iacocca-look-alike по пятницам впадает в какое-то странное состояние.

— Все распродам по дешевке, когда я в таком странном состоянии! — кричит он.

— Ты нас разоришь, когда ты в таком странном состоянии! — кричит супруга.

— Не исключено! — ревет он. — Спешите покупать мои автомобили, когда я в таком странном состоянии!

1955

Кронштадт, морская пехота.

Морская крепость. Склянок звоны.

Гудит стальной левиафан.

Забыты дни, когда с амвона

Взывал Кронштадтский Иоанн.

Собор вместил дворец культуры,

Программу просвещения масс,

И гарнизонные амуры

Гнездятся в помещениях касс.

Афиш парад под вечер мгlistый.

Любитель знаний входит в раж.

Вот лекция «Имперьялисты

Готовят атомный шантаж».

Обзор успехов Казахстана...

Животный мир полярных вод...

Певец приехал Глеб Романов,

Лауреат и патриот.

Седьмая рота Экипажа

В награду за большой успех,

* Мазь от геморроя.

*Черна, как угольная сажка,
Парадом претя в зал потех.
Эх, зарубежной песни ноты!
Певец поет, как патефон,
Про то, что бэби без работы
Паучьим долларом пленен.
Седьмая рота Экипажа,
К седьмому небу воспаря,
Забыв казарменную лажу,
Сосет водяру втихаря.
Сей культпоход за доблесть плата,
За службу верную, без дум,
За усмирение штрафбата
Крутыми пулями «дум-дум».*

.....
*Здесь к покаянию с амвона
Весь мир священник призывал,
Но гвардии матрос Семенов
Про это дело не слышал.*





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В июне 1981-го мы снова собрались в путь, и снова через всю страну, своим ходом — из Лос-Анджелеса в столицу нации. Срок моей резиденции в Южнокалифорнийском университете истек, а тут как раз Институт Кеннана при международном центре Вудро Вильсона пригласил на годичный феллоушип*.

Честно говоря, мы уже устали от скитаний. Хотелось осесть, можно было найти какой-нибудь заработок и в Калифорнии, однако мы почему-то даже и представить себе не могли, что останемся насовсем в этом блистательном городе, где «Ягуары» и «Роллс-ройсы» столь же заурядное явление, сколь мотоциклы в Москве или сколь норковые шубы в Нью-Йорке, последние в свою очередь столь же в ходу, сколь кроликовые «под ондатру» шапки в Новосибирске, которые там так же привычны для глаз, как, скажем, велосипеды в Пекине, встречающиеся в этом городе, конечно же, не реже, чем «Ягуары» и «Роллс-ройсы» в Лос-Анджелесе; благодарю за внимание к этой замысловатой фразе.

Помимо глубинных эмоций вроде упомянутой уже «городской ностальгии», было нечто и более поверхност-

* Fellowship — научная работа, в ходе выполнения которой исследователю выплачивается стипендия.

ное, что отвлекало нас на Восток. Станным образом в этом городе (Лос-Анджелесе), где аккумулировано немало творческого потенциала, возникло ощущение отрыва от культуры, да и вообще от современной жизни. В 1975 году, когда я попал сюда впервые и ненадолго, я был увлечен мифологией Южной Калифорнии и не успел заметить ее реальности. После нескольких месяцев быта я стал ловить себя на том, что всячески стараюсь избежать при-скорбной мысли — «живем в глубинке».

Даже кинообщество не убедило нас в обратном. Случайно попав раза два-три на голливудские партии*, мы были удивлены какой-то странной томительной деловитостью собравшегося артистического народа, которому вроде бы полагалось быть легким, раскованным, заводным. Где же весь этот голливудский карнавал? Даже эрос как будто был отчужден от этих сборищ. В глазах читался один лишь немой вопрос — бюджет.

В таких случаях, впрочем, всегда стараешься себя убедить, что ты не на ту партию попал, не на основную, что основные дела где-то идут своей дорогой. Я уже говорил о том, как трудно в Америке сшить подушку из обобщений. Не сошьешь себе подушки и из Лос-Анджелеса.

Так или иначе, собрались в дорогу и двинулись. Двинулись и пересекли: Калифорнию, Аризону, Юту, Колорадо, Канзас, Миссури, Иллинойс, Огайо, Западную Вирджинию и Мэриленд. Пересекли и прибыли — в не отмеченный звездочкой на флаге дистрикт Колумбия. Въезжая сюда, мы еще не предполагали, что наша американская цыганщина завершается, что именно здесь мы поселимся с претензией на оседлость.

Майя родилась в Москве, а я двадцать пять лет жил в столице, прежде чем меня из нее выгнали. В Лос-Анджелесе нам говорили: только не думайте, что Вашингтон — настоящая мировая столица. В некотором смысле это про-

* Party — вечеринка.

сто небольшой южный город. Сочувствуем от всей души, целый год провести в такой глухомани.

Не без содрогания мы представляли себе место, которое выглядит глухоманью по сравнению даже с вымершими улицами Лос-Анджелеса, на которых слышится лишь шорох тысяч шин да из окон доносится бульканье джакузи*.

Как ни странно, мне понравился Вашингтон с первого же дня. Какой-то комплексочек из эмигрантского букета комплексов был удовлетворен. Уж не столичный ли призыв? Уж не причастность ли к империи?

Иные московские друзья плавают, как трепанги и каракатицы, в болотной воде нью-йоркского Сохо. Что касается меня, то я всегда подозревал в себе нехватку богемности. В официальных кварталах Вашингтона я вдруг обнаружил странную гармонию, которой мне как раз не хватало.

«Может быть, тебя тоска грызет по родной империи?» — спросил нью-йоркский приятель. В перспективе сбалансированных современных контуров мне нравилось увидеть готику святого Доминика. «Родную империю» это как-то мало напоминало. «Родная империя» скорее предпочла бы развалиться, чем поставить между своими министерствами и святынями абстрактные скульптуры, иные даже загадочнодвигающиеся с застенчивым призывом к философскому восприятию жизни, то есть к отказу от безобразных имперских претензий.

Любопытно развивалась в Вашингтоне наша городская ностальгия. В поисках жилья мы поначалу отвергли престижный Джорджтаун. Викторианские домики нам тогда еще ничего не говорили. Мы поселились на Юго-Западе. Что ж, это разумно, говорили нам наши здешние друзья, разумно с точки зрения близости к Вильсоновскому центру. В самом деле, разумно, когда ищут жилье поблизости от Вильсоновского центра, хуже, когда Вильсоновский центр не ищут по принципу близости к дому. Задним чис-

* Устройство для водного массажа.

лом, однако, мы поняли, что нашли этот район по принципу его безликости, то есть по принципу его похожести на иные жилые районы Москвы. Мы даже стали называть этот район на советский лад Звездным городком, так он напоминал офицерское поселение под Москвой, где обитают космонавты: многоквартирные дома, чистые пустые улицы, клумбы, эдакая функциональная жилая зона.

Круг вашингтонских знакомых тоже напоминал нам московскую жизнь: дипломаты, журналисты, специалисты по славистике и по изучению Советского Союза, то есть как раз те, кого мы у себя дома привыкли называть американцами или иностранцами. Русские эмигранты, между прочим, во всех странах рассеяния полагают коренное население иностранцами. С комплексом великой нации самих себя вообразить чужеродным элементом — выше всяких сил.

В Вашингтоне, пожалуй, больше, чем где бы то ни было, американцев, говорящих по-русски, людей, тем или иным образом связанных с «русской темой». В обществе принято даже щеголять русскими словечками (как в Москве английскими), вставлять в разговор разные *mezhdru prochim* или *chudesno*. Обозреватель Стив Розенфельд в статью о текущей политике, напечатанную в «Вашингтон пост», вставил красивое слово «задница», набранное кириллицей. Без преувеличения можно сказать, что это был праздничный день для всех русских читателей этого влиятельного органа.

На вашингтонских парти иной раз происходили удивительные встречи. Высокий дипломат вдруг обращается словно старый московский приятель:

— Привет, Вася! Помнишь 1966 год?

— Помню, помню, это как раз тот самый, что наступил после 1965-го и закончился 1967-м.

— Неужели ты не помнишь, как в 1966-м, весной, мы пошли большой компанией на пасхальную службу в Новодевичий монастырь, а за нами все тащился бородатый субъект, и мы называли его ка-гэ-битник?..

Памятный год занимает свое место, и выплывает имя старого приятеля: «Билл, сколько лет, сколько зим!» Бес-

конечные партии наших первых месяцев в столице почти слились в одну сплошную «многопартийную систему». По гостеприимству вашингтонцы бьют даже калифорнийцев и приближаются к Грузии со столицей в Тифлисе (не путать с Атлантой). Грузинские же хлебосолы еще в отдаленные времена покорили меня заздравным тостом:

— Выпьем за нашего знаменитого писателя Напомни-Мне-Свою-Фамилию-Дорогой!

Вашингтонцы пока что постоянно напоминают друг другу, что они живут в столице нации, однако город развивается столь энергично, что вскоре, вероятно, не будет нужды в этих напоминаниях. Пока что близость Нью-Йорка придает теме столичности некоторую особую чувствительность. Однажды на большой партии общество было озадачено, когда один из гостей сказал, что, на его вкус, Нью-Йорк провинциален в сравнении с Вашингтоном. Ну, это уж слишком, сэр, попытались было урезонить дерзкого вашингтонца. Нью-Йорк все-таки мировой перекресток, там вся наша литература, весь театр, там рождаются моды, там все кипит... Дерзкий вашингтонец только лишь улыбался: скоро все поймут, что я имею в виду...

Соперничество двух столиц — знакомая русскому тема. Москва и Петербург долгое время были непримиримы. В 1905 году московские миллионеры даже подняли восстание (известное теперь как первая русская революция) против петербургских аристократов. Восстание было подавлено гвардейскими полками, но соперничество не прекратилось. Большевики предпочли Москву, поскольку она подальше от границы. Помпезность великого византийского города соединилась с крикливой безвкусицей коммунистического самовосхваления. Нынче, впрочем, многие ученые считают, что обратный перенос русской столицы из Москвы в Петербург неизбежен.

В Америке, к счастью, до таких метаний дело не доходит. Спор идет, как я понимаю, лишь о переносе столичного настроения.

В Вашингтоне на самом деле есть места, где, напоминая не напоминая, все равно не поверишь, что находишься в столице Америки, а стало быть, и всего «свободного мира», а стало быть, и всего современного человечества. Полуразвалившиеся низкие домишки, свисающие над ущербной мостовой вялые ветви пыльных деревьев... пыльный ржавый блюз Богом забытого Юга... Все это, однако, отодвигается все дальше и дальше от сердца города, уступает место новой столичной архитектуре, столичному ритму, меняющему даже походку горожан.

Изменения происходили на наших глазах. В даунтауне вырастали дома с зеркальными стенами. Вдруг исчезали целые районы трущоб. Прибрежный район Джорджтауна день за днем превращался в стильный, полный какого-то особого, может быть, даже приключенческого духа плей-граунд наподобие Гринвич-Виллидж (только лучше) или Латинского квартала (пока еще хуже). Вокруг Дюпон-серкла плодились кафе парижского стиля со столиками на тротуарах.

На глазах менялся и образ жизни города. Объехав много американских городов, могу сказать, что в Вашингтоне нынче самая оживленная уличная дневная и вечерняя жизнь. Как-то мы оказались после десяти вечера в даунтауне на перекрестке М-19 вместе с поэтом Биллом Смитом. Билл несколько лет назад жил в Вашингтоне, будучи штатным поэтом при Библиотеке Конгресса. Теперь он стоял на перекрестке и разводил руками. Не могу узнать этот город. В прежние времена по ночам тут только кошки бегали, да изредка темные тени появлялись и прятались, боясь друг дружку. А сейчас, позвольте, да это же просто Сент-Жермен-де-Пре...

И впрямь, по проезжей части двух улиц медленно двигался поток машин, по тротуарам — поток людей. Все столики в открытых кафе были заняты, а в singles-bar «Rumours»* стояла большая очередь молодежи. Это мес-

* Бар для неженатых и незамужних «Слухи».

течко, где еще недавно мухи дохли на лету от скуки, стало настолько популярным, что открыло филиал несколькими кварталами ниже. Между главными «Слухами» и дополнительными, минуя десятки других ресторанчиков, курсирует «шаттл».

В принципе, достаточно построить в городе хоть одно здание с такими острыми углами, как у восточного крыла Национальной галереи, чтобы в нем стала расцветать космополитическая столичность.

Не хватает еще своих Елисейских Полей, но и они на подходе; завершается реконструкция Пенсильвания-авеню — плиточные тротуары, фонтаны, стекло, реставрированная старина вроде Старой городской почты или отеля «Виллард».

Для парадов достаточно будет места, но вот удастся ли вдохнуть в эту улицу, столь великолепно завершающуюся Капитолием, «елисейскую» жизнь — это пока что под вопросом.

Пока что можно сказать, что от прежнего провинциализма в Вашингтоне в основном остался только его отвратительный климат, провинциально липкая влажность воздуха. Увы, для столицы в свое время была отведена самая влажная, глухая и заросшая часть нового континента. Может быть, и в климате теперь прибавится космополитического ветерка.

Разумеется, все в Вашингтоне пахнет политикой, даже чужак очень быстро улавливает ее запах. Среди джоггеров, трусящих вдоль Мола, нет-нет да замечаешь лица ТВ-звезд, политических комментаторов и конгрессменов. Дятелей такого масштаба в Москве без штанов не увидите: они предпочитают перемещаться в лимузинах с задернутыми кремовыми шторами окнами. Любопытно наблюдать, как в толпе перед концертом в Центре Кеннеди происходят политические перемещения. Второй помощник, скажем, третьего подсекретаря элегантно дрейфует по направлению к старшему заместителю младшего менеджера. В китайском ресторане за соседним столиком вы рис-

куете услышать разговор об экономических санкциях против режима Ярузельского. На парти в джорджтаунском доме разговор может легко соскользнуть на сравнительную стоимость американского танка (в рублях) и советского (в долларах). В этом последнем случае к вам обязательно обратятся как к эксперту, и вам ничего не останется, как посоветовать интересующимся джентльменам либо взять на вооружение курс черного рынка, где за один доллар идет четыре рубля, либо пересчитать сравнительную стоимость танков по стоимости джинсов.

Таков этот город. Вот дом, где обсуждают полеты Space Shuttle, вот дом, где печатают доллары, вот дом, где все эти доллары считают, вот отель, ночной сторож которого может записать на свой счет захват трех стран и избивание коммунистами одной трети населения Камбоджи, вот стена крупной каменной кладки, прижавшись к которой, подозрительный Ромео новой формации ждал президента...

My God, катя по фривею, ты видишь дорожные знаки «Пентагон» или «ЦРУ». В Советском Союзе этими словами пугают детей, а здесь это всего лишь выходы с фривея.

Cosed

Жизнь в Америке развивает в человеке особого рода дух соседства, связанный, очевидно, с пилигримской традицией, с форпостами европейцев на незнакомом континенте. Вот и я научился симпатизировать тем, кто живет поблизости. Есть тут у меня сосед, можно сказать, притча во языцех по всему миру. Повсюду его вспоминают, и не всегда добрым словом: несдержан, мол, на язык, жестковат, ничего, мол, удивительного — ковбойское прошлое. Мистеры Г. и Ч. в отдаленных краях, те так просто ярятся при его имени. А вот для меня он прежде всего сосед, а это важнее всего остального.

Вот иной раз под вечер некая Морин Баньян, особа, известная в околотке тем, что ежедневно в 6 часов рассказывает «что, где, как, зачем», но никогда не говорит «по-

чему», то есть не обобщает, сообщает про нашего соседа, что он только что вернулся из очередного путешествия. Сосед выходит из самолета и первым делом смотрит, откуда на него направлена кинокамера: профессиональная привычка — вторая натура. Мы с женой, конечно, как и все остальные обыватели, пытаемся сделать выводы — еще больше постарел или еще глубже помолодел? Сосед никогда не забудет бросить на ходу по дорожке от самолета до вертолета пару оптимистических фраз; вот этим он мне определенно нравится.

Мы едем в кино по улице Конституции, а он как раз перелетает эту магистраль по направлению к своему дому. Живот его вертолета скользит над нами, а если вовремя загорится красный свет, можно увидеть, как летательная машина садится на зеленую траву возле белых колонн. Сосед выходит, салют всему миру — и домой, на боковую! Работа у него нелегкая, но лаун* перед домом, надо признать, всегда в хорошем состоянии.

Вопрос такого соседства, как ни странно, весьма интересует моего московского друга, внутреннего эмигранта Фила Фофаноффа, с которым мы переписываемся из Москвы в Вашингтон и обратно посредством почтовых голубей.

Знаешь, пишет мне Фил, мой сосед очень зол на твоего соседа. Понимаешь ли, он разозлился сразу же после того, как твой сосед перешел в нынешний дом, что нынче по соседству с тобой, и заявил во всеуслышание, что мой сосед всегда все врет, что ему нельзя верить на слово, что он резервирует за собой право на любое хамство. Такого раньше про моего соседа никто не говорил (странно, неужели не замечали?), и потому он ужасно обиделся, как будто был оскорблен в лучших чувствах, и теперь всему миру несет, что твой сосед — грубый, нехороший человек, реакционер.

Мы здесь, в Москве (надеюсь, не забыл), привыкли к тому, что нас уже давно и стойко тошнит от нашего сосе-

* Lawn — газон, лужайка.

да. Как еще относиться к тому, кто вечно вваливается в твою личную жизнь и командует, какую картину на стену повесить, какую книгу читать, а какую нельзя, каких гостей принимать, а каким от ворот поворот. А вот скажи, Василий, как обстоит дело в Америке, где, как ты говоришь, столь развит дух соседства?

Мне мой сосед, отвечаю я другу, вообрази, Фил, совсем не мешает.

Ну хорошо, пишет Фофанов, внутренний советский эмигрант, а не мешает ли тебе этот дух соседства смотреть на твоего соседа критически? Замечаешь ли ты, например, что он довольно жилист, довольно стар?

Эх, признаюсь, отвык я уже от московской диссидентщины. Что ж, отвечаю, Фил, готов признать, что мой сосед не молод и довольно морщинист, и пуля у него побывала в боку, однако на лошади, смею уверить, скачет он довольно лихо.

Проходит первый вашингтонский год, и мы все больше убеждаемся, что этот город в нашем вкусе. Мы оставляем наше временное пристанище на Юго-Западе и переезжаем в более постоянное, в двухэтажный пентхаус, на холм Адамс-Морган с видом на крыши столицы. Вся американская демократия перед нами — Капитолий, монумент Вашингтона, памятник Линкольну. Лучшего места не найти для созерцания фейерверков 4 июля.

Что ж, говорим мы себе, ничего особенного не произошло: как жили в столице, так и живем в столице, в самом деле ничего особенного, просто-напросто — Capital Shift*.

Flag tower (Флаг-башня)

Смитсониевский замок в центре Мола не показался мне незнакомым. Он, очевидно, относится к тому типу зданий, что застревают в памяти при разглядывании почтовых открыток и туристических буклетов, хоть и не обращаешь

* Смена столиц.

на них особого внимания. Я только лишний раз подумал о поворотах судьбы: если бы мне сказали еще пару лет назад, что я буду здесь работать, да еще и сидеть в главной башне этого странного сооружения, идея показалась бы мне не менее вздорной, чем предложение написать роман в Спасской башне Кремля.

В Вильсоновском центре работают ученые и писатели со всего мира, каждому здесь дают кабинет, пишущую машинку, помощницу для исследований и достаточное количество долларов для умеренного пропитания во время работы. Народ трудится, спектр тем широк: ну, например, «Зависимость колебания цен на табак в Австралии от устойчивости цен на рис в Бразилии» или «Сравнение общественного поведения и моды молодежи в России шестидесятых годов прошлого века с шестидесятыми годами этого века в Америке». Иной раз попадают в научную среду и романисты, привносящие в исследовательский процесс еще большую иррациональность. Я, например, подал заявку на проект под названием «Бумажный пейзаж», роман о том, как под влиянием бумажных делопроизводств у жителя советской империи Велосипедова, помимо его физического тела, его астральной сути и его души, возникло еще четвертое, бумажное тело, которое и расположилось в кулуарах бумажного пейзажа. Явившийся с таким проектом в научное учреждение, в принципе, не должен ни удивляться, ни обижаться, если ему укажут на дверь. Вместо этого меня отправили в башню: терпимости американского академического мира нет границ.

В этом узком сооружении с часами и флагом один над другим располагались три офиса. Мой был в середине, подо мной сидел француз, надо мной — китаец. Я не знал, о чем они пишут, но предполагал, что что-нибудь близкое «Бумажному пейзажу», что-нибудь о построении социализма во Франции и капитализма в Китайской Народной Республике.

Передвижение вверх и вниз осуществлялось при помощи древнего лифта с раздвижными дверцами. Сидящая у

подиюжья башни Лиз Диксон уверяла, что это самая надежная машина в своем роде, однако каждый раз, поднимаясь на лифте в свой офис, я думал о ядерной войне. На всякий пожарный случай в полу каждого офиса и, соответственно, в потолке каждого нижеследующего был проделан люк, то есть в случае ядерной войны китаец должен был свалиться мне на голову, а потом мы с ним вместе на голову французу.

Шутки в сторону, год, проведенный в Институте Кеннана при Вильсоновском научном центре, оказался приятным, плодотворным и интересным. Замечательно находиться там, где ты никому не жмешь на мозоль, где и тебя никто не теснит, приятно быть целый год в обществе милых, интеллигентных людей, в меру любопытных, но никогда не нахальных, привыкших к космополитической пестроте вокруг и к звучанию имен, диких англоухому персоналу.

С директором Центра историком Джимом Биллингтоном мы были, как ни странно, знакомы уже шестнадцать лет. В 1965 году в тридцатиградусный мороз в Москве появился высокий краснощекий профессор в тонком черном пальто, оксфордском шарфе и светлой кепке, которую он называл «всесезонной» и которая, кажется, и в самом деле подходила для всех сезонов, кроме текущего.

Морозный пар сопровождал наши прогулки по Москве. Я отдал Джиму одну из своих бесчисленных меховых шапок, он подарил мне свою кепку. Уезжая, он показал мне большой чемодан и сказал, что там лежит рукопись его капитального труда по истории русской культуры «Икона и топор». Чтобы не быть голословным, он открыл чемодан и вытащил ворох страниц. Порыв морозного ветра вырвал ворох из его рук и закружил в воздухе над памятником основателю научного коммунизма Карлу Марксу. Мы прыгали с Джимом, пытаясь спасти труд, вырвать его из пасти безжалостной русской зимы. Марджори Биллингтон и трое маленьких детей с интересом следили за этой, пожалуй, символической сценой.

Любопытна судьба головного убора, который я в духе того десятилетия называл «Всепогодной Кепкой имени Джеймса Биллингтона». В самом начале Пражской весны, когда только-только еще началась капель с крыш, я подарил ее пианисту в пражском баре «Ялта» — очень уж хорошо играл. Пианист подарил ее скандинавскому саксофонисту, тот кому-то еще, кепка побывала в нескольких странах, прежде чем вернулась ко мне в Москву с запиской от японского борца дзюдо. Потом ее сорвало у меня с головы ураганным ветром на острове Сааремаа в Балтийском море.

Ни Джим, ни Марджори за истекшие шестнадцать лет не постарели, а вот трое их ребятишек подверглись сильному воздействию времени, превратившись в высоких и умных студентов.

Институт Кеннана при Вильсоновском центре занимается «продвинутым» изучением России и Восточной Европы. Три комнаты и библиотека с овальным столом; в наличии все эмигрантские и советские издания. Чтение «Правды», как сказал парижский писатель Виктор Некрасов, — это хорошее лекарство от ностальгии. Еще лучшее средство от этой напасти — визиты советских научных гостей и дипломатов с их скованными осторожными повадками. Один из них, мой в прошлом неплохой приятель, сидел на семинаре в двух метрах от меня, однако не замечал меня до такой степени, что я даже стал ощущать некоторую бесплотность.

Директор Института Кеннана в тот год, профессор Глисон, что ни неделя, собирался в дорогу «поднимать фонды», иными словами, кланчить деньги. Это довольно привычное для любого американского начинания дело оказалось для меня сущим сюрпризом. В СССР выпрашивание денег представляется, разумеется, делом зазорным. Впрочем, там и кланчить-то не у кого, только лишь у государства. Разветвленная система частных фондов, грантов*, пожертвований — явление совершенно необычное

* Grant — дотация, субсидия.

для пришельца из СССР, и я, честно говоря, не без изумления наблюдал, как иные из бывших соотечественников быстро к этому явлению приспосабливались.

В мою бытность в Вильсоновском центре мир социализма был представлен двумя персонами, причем обе были окружены какими-то облачками двусмысленности. Одна из персон, профессор Варшавского университета, после военного путча в декабре 1981 года пребывал в некоторой растерянности — кем себя считать, по-прежнему обычным визитером или политическим эмигрантом.

Второй соцперсоной был мой сосед по Флаг-башне, видный работник министерства иностранных дел КНР. Что с китайцами нынче происходит — ума не приложу! Вчерашние «синие муравьи» азиатского коммунизма цивилизуются в темпе «Великого скачка». Своего соседа я впервые увидел на коктейле. Облаченный в элегантный костюм от «Братьев Брукс», он с конфуцианской невозмутимостью попивал шерри «Бристольские сливки». Директор представил ему меня и заметил, что я лишен советского гражданства за мои книги. Похоже, что он ставил некоторый эксперимент: проверим, мол, какова будет реакция китайца. На невозмутимом лице соцперсоны появились следы благородной эмоции. Дипломат и, конечно, крупный партиец, он выразил мне сочувствие, а попутно и недоумение в связи с бессмысленным актом, — словом, он повел себя так, будто у него за плечами Британский парламент или по крайней мере Российская Государственная Дума третьего созыва.

Ритуал распития шерри в «Ротонде» — составная часть вильсоновского процесса. Ежедневно в полдень сотрудники и коллеги — феллоуз — собираются здесь, образуя более-менее кругловатую (что более-менее естественно для «Ротонды») толпу. В центре этой сравнительно круглой толпы имеется отчетливо круглый столик, на нем — бутылки шерри и пластиковые стаканчики.

Русский ученый-эмигрант, случайно оказавшийся на одном из таких сборищ, в изумлении спрашивает меня,

что все это означает. «Час шерри», — отвечаю я и на правах старожила объясняю новичку британскую традицию употребления напитка шерри.

«Вот так они доупотребляются шерри», — с философским пессимизмом вздыхает бывший советский специалист. Еще недавно он работал в каком-то институте АН СССР и исправно посещал партсобрания, на которых шерри явно не подносят, а теперь крепче антикоммуниста не найдешь. «Вот так они доиграются! — продолжает он. — В такое тревожное время, когда тоталитаризм надвигается на нас отовсюду, они стоят себе, болтают и попивают шерри». Успокойтесь, сударь, увещаю я его, ведь это в самом деле всего лишь маленькая традиция, далеко не столь существенная, как первомайская демонстрация трудящихся СССР. Кончится час шерри, и вся компания немедленно разойдется по кабинетам чистить дедовские карабины. Тоталитаризм не пройдет!

Надо сказать, что критиканское и даже несколько пренебрежительное отношение к американской академической жизни имеет хождение среди эмигрантов-интеллектуалов, особенно среди тех, которым еще недавно за железным занавесом все американское казалось образцом экстра-класса.

Я говорю в данном случае о славистике и об изучении политики Советского Союза и коммунизма. Иные эмигранты думают, что американцы ни черта не понимают, что они дико наивны, что у них даже не хватает сообразительности прислушаться к их, эмигрантов, мудрым советам.

Между тем за год, проведенный в Институте Кеннана, да и вообще, будучи постоянно связанным с комьюнити американских славистов, я пришел совсем к другим выводам.

Что касается американской славистики, то она по своему размаху, безусловно, является сильнейшей в мире, включая, как это ни странно звучит, и Советский Союз. Далеко не всегда эта разветвленная структура «славянских» департаментов при университетах, языковых школ и центров может похвастаться глубиной исследований или

личеством преподавания, но по своей широте она не имеет равных в мире. Съезд всеамериканской ассоциации славистов в вашингтонском отеле «Кэпитал Хилтон» напоминал конвент демократической партии.

Среди эмигрантов (да и не только среди них) распространено мнение, что американская советология ниже уровнем по сравнению с советской американистикой. Я склонен предположить обратное.

На протяжении года я каждую среду слушал в Вильсоновском центре доклады о делах Советского Союза. Московскому Институту США и Канады можно только мечтать о разносторонности американских исследований, не говоря уже об их беспристрастности. Толковые всезнайки из этого института скованы идеологическими ограничениями, невозможностью путешествовать (иные из них никогда по причине неполной благонадежности не посещали США), а главное — необходимостью подготовки той информации, какую от них ждут в Центральном Комитете.

Главным ограничением для американских исследователей Советского Союза является стоящая на грани идиотизма советская секретность. Буквой Н в прессе СССР обычно обозначается то, что не разрешается называть по имени. Сатирики Ильф и Петров когда-то писали: «Мы сидим в Ялте, на берегу N-ского моря». Американские исследователи умудряются все же проникать и в эти N-ские сферы, а самое главное, что и секретность сама по себе становится темой академического изучения.

В принципе, можно считать, что ни одна сторона ничего не знает о другой, но американское незнание все-таки выглядит активнее по сравнению с советским.

Итак, я провел год в этом несколько загадочном здании из красного кирпича с витражами, башенками и пущенным по стенам плющом. В конце концов китаец завершил свою работу и уехал в Пекин, француз отправился в Париж, и я, поставив точку в «Бумажном пейзаже», стал собирать свои манатки, предполагая покинуть Центр, но остаться в Вашингтоне на оседлом местожительстве.

Тут как раз секретарша Центра Френи Хант сказала мне, что во Флаг-башне постоянно находится еще один обитатель. Его офис, если можно так выразиться, располагается выше всех других, на чердаке башни. Это, собственно говоря, старая сова, сказала миссис Хант. Говорят, что она прилетела сюда с юга, когда это здание построили, то есть сто пятьдесят лет назад, и с тех пор покидает башню только по ночам, чтобы полетать над Вашингтоном.

В самом деле, ночью, когда флаг сильно хлопает под южным ветром, можно увидеть старика, выбирающегося из амбразуры и плюхающегося в воздушный потоп. По всей вероятности, это самый «продвинутый» мыслитель Международного центра, а может быть, и всего дистрикта Колумбия.

Многopартийная система

В пятницу вечером мы, как обычно, отправляемся на парти; на этот раз в Джорджтаун, на улицу О. Мистер и миссис Бенджамен Реджинальд Купер-Кларк (!) запрашивают удовольствия, выражающегося в нашем присутствии на их вечере.

Майя обычно замолкает, когда я начинаю искать парковку в пятницу вечером. Чтобы вдребезги не разругаться, лучше молчать, говорит она. Все-таки в какой-то момент она обычно не выдерживает и говорит: «Почему нельзя было вызвать такси?» Как раз в этот самый момент я нахожу какую-нибудь дырку и паркуюсь.

По кирпичикам улицы О под столетними деревьями цокали каблучки дам и щелкали подошвы кавалеров. В поле зрения было по крайней мере три ярко освещенных проезда, в которых принимали гостей. Группа людей в смокингах заворачивала за угол. Повсюду парти! Мы нашли нашу и попали сразу в гостеприимные руки хозяев. «Добро пожаловать!», «Как поживаете?», «Выглядите отлично!» Хозяин, взяв под локоть, отвел меня в сторону. «Ну, как вам это нравится?» — спросил он, подмигивая и бровями показывая направление — куда-то на юго-вос-

ток, кажется, в правительственные сферы. «Невероятно», — сказал я. «Вот именно», — сказал он. Разговаривая, он все время смотрел мимо моего уха. «Сейчас я вас представлю нашему таланту». Тут вошли новые гости, он извинился, и мы встретились с Майей.

— Ты уверен, что мы на нашей партии? — спросила она.

— Конечно, — сказал я. — Вон, посмотри, стоит Грэг и Найди, вон Мэл жует, а вот и княжна Трубецкая пьет пиво!.. Это, конечно, наша толпа, только мы многих здесь не знаем.

Гости, очень плотно заполнив гостиную, столовую и кухню, работали дружно, коллективом не менее шестидесяти персон. Стоял концентрированный и напористый, не ослабевающий ни на минуту гул.

Мы выпили белого вина, положили себе на тарелки крекеры, сыр, морковь, порей, редис, картофель, салат, шлепнули по ложке соуса и стали дрейфовать к стене, чтобы там, обезопасив себе хотя бы один фланг, спокойно употребить указанные выше продукты.

Едва мы прикоснулись плечами к стене, как к нам приблизился пожилой элегантный господин и сказал, что он чрезвычайно рад наконец-то с нами познакомиться.

— Вы, наверное, будете удивлены, как я вас узнал. Однако нет ничего проще, сэр. Я видел ваше фото в журнале, и оно мне запомнилось. Прекрасный был снимок, очень впечатляющий, а ваша собака — просто прелесть.

— Собака, сэр? — Я пришел в некоторое замешательство.

С одной стороны, наша собака Ушик вполне заслужила слово «прелесть», но, с другой стороны, я еще не фотографировался с ней для журналов. Может быть, любезнейший американский джентльмен просто ошибся?

— Нет, нет, — запротестовал он. — Прекрасно помню, у вас была собака на коленях.

Мы заговорили с женой на свойственном нам языке. «У тебя на коленях, кажется, была книга, — сказала она. — Может быть, на обложке книги была собака?»

Наш собеседник с уважением внимал звукам незнакомой речи. Тут кто-то еще подошел, и он представил нас как уважаемых голландских гостей... м-м-м... фамилию малость подзабыл.

Пришлось его обескуражить:

— Прошу покорно извинить, сэр, но я не голландец, а русский.

Теперь его смущению не было конца.

— Позвольте, но вы говорили с вашей женой по-голландски, не так ли?

— Ни в коем случае. Мы и разговариваем по-русски. Она тоже относится к этому племени.

— Но почему же я вас принял за голландцев? — продолжал недоумевать наш собеседник.

— Ничего удивительного. У русских с голландцами много общего. Во-первых, наши языки отличаются от английского, а во-вторых, они научили нас строить корабли.

В этот момент в глубине гостиной бухнули дубинкой в гонг, хозяин призвал гостей к вниманию, и сразу все выяснилось. Оказалось, что это прием в честь голландца...

— Вот почему я вас принял за голландца, — с милейшей улыбкой шепнул мне на ухо собеседник.

Голландец Эразм Роттербум, лауреат премии нефтяной компании «Эссо», оказался почетным гостем этого вечера.

Поднявшись на маленькую платформу, он поблагодарил за внимание, потом стал рассказывать о своих достижениях и слегка поиграл на скрипке.

Майя бросала на меня боковые взгляды.

— Удивительная все-таки страна эта Голландия, — сказал я ей. — Хоть и расположена ниже уровня моря, а какой огромный внесла вклад в историю цивилизации: мельницы, коньки, каналы, тюльпаны, торговля, мореплавание, вот этот наш скрипач, наконец... Ведь именно в Голландии нашего Генерального секретаря Петра Великого обучили разным наукам, по слухам, и «наукам страсти нежной»... Достойно сожаления, что русско-голланд-

ские связи за последние двести пятьдесят лет так ослабли. Когда-то ведь наши земляки ездили туда не реже, чем ныне в Венгерскую Народную Республику.

— Все это так, — сказала Майя, — но какое это имеет отношение к нашему приему?

Дождавшись очередных аплодисментов в адрес Эразма Роттербума, мы вышли на улицу О.

— Наверное, произошла ошибка в нумерации, — сказал я. — Должно быть, наш прием происходит вон в том доме с двумя маленькими колоннами и двумя крылатыми псами на крыльце. Видишь, как раз туда направляется наш знакомый контр-адмирал Т.

Мы прошли сотню ярдов вниз по улице О и вошли в дом. Здесь среди гостей преобладали дамы бальзаковского возраста. Казалось, в воздухе пахнет кружевным полотном. Мы успели к выносу главного блюда — жигу с бобами в отменном французском стиле. Я поинтересовался у соседней дамы, где же здесь мистер и миссис Купер-Кларк.

— Зови меня Лу, друг, — сказала дама и похлопала меня по плечу. — Право, не знаю, где сейчас старина Купи и крошка Клэр.

Похолодев, я подумал — уж не попали ли мы опять не на ту партию? Жена призналась, что испытывает такое же чувство, и если бы не присутствие контр-адмирала Т., и также Грэга и Найди, Мэла Дершковица и княжны Трубецкой, то есть все-таки людей из нашей толпы, она бы в панике убежала домой.

— Что же? — сказала Лу. — Все остается в силе, фолкс?

— Пока что тянем, — неопределенно промычал я.

— Давай, давай, друг, без всяких «пока что», — дерзко, как девушки эпохи буги-вуги, подмигнула она. — Клянусь, не пожалеете! Будем купаться голышом! А как там у вас, в Квебеке?

Жуя жантильное жигу, мы заметили на левой груди нашей собеседницы карточку с надписью: «Лу Смайли. Поцелуй в Лыхайне!» Оглядевшись, мы увидели, что подобные карточки украшают груди и других дам: «Дорис

Гарбовски. Смотри в оба, люби до гроба», «Нэнси Таран-тайн. На перевале судьбы», «Кэнди Амбиваленштейн. Позову сердца»... Что-то совсем уже комсомольское. Прислушавшись, мы поняли, что находимся среди участников всеамериканской конференции писателей романтического направления.

...На третью парти мы успели к десерту. Здесь мы сразу поняли, что попали не туда. Было очень тихо. Общество утопало в креслах. Один лакей катал тележку с тортами, другой обносил ликером. Люди нашей толпы, Грэг с Найди, Мэл Дершковиц, княжна Трубецкая и контр-адмирал Т., жуя чиз-кейк, облизывая муссы и заглатывая взбитые сливки, толпились поближе к выходу.

— Это опять не наши, господа, — говорил, потряхивая седыми бровями, адмирал. — Пехота. Общество покорителей Килиманджаро с восточной стороны.

Сдается мне, что мы все запутались в алфавите. Нам нужна не улица О, а улица Q... Точно такой же кружок, но сбоку у него болтается хвостик.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1975

Сочи. Будущий калифорниец Лева Грошкин «еще в Союзе» решил: никогда не постарею! Глупо как-то получается — из молодого превращаться в старого. Буду против этого бороться, заброшу все, но не постарею, потому что это несправедливо — терять молодость!

«Главное — четко следить за своими рефлексам, ни одному рефлексу не позволять загнивания», — объяснял Лева герою романа «Грустный бэби», с которым вместе бегал вдоль сочинской набережной под лозунгом Брежнева «Здоровье каждого — здоровье всех!». Два будущих американца совершали ежедневный забег посреди сугубо советской толпы.

— Здесь я, в принципе, не задержусь, — откровенничал на бегу Лев. — Слиняю в Америку. Там люди умеют не ста-

реть. Профессор Соутуспик, например, женился на правнучке своего одноклассника, и она родила ему двух малышек.

— А вам сколько лет, Лева?

— Это не важно. Главное, чтобы рефлексы не ржавели.

— Борода у вас, случайно, не седеет?

Случайный удар по больному месту. Лева раздраженно хмурится, сразу как-то стареет, однако берет себя в руки и улыбается усредненно молодой улыбкой.

— Никаких сведений о бороде, попросту не видел ее никогда. Усы вот густы и пшеничны.

— Are you comfortable in English?*

— Это лишнее! — махнул рукой Лева.

1980

Отвечающему за охлаждение воздуха в кондоминиуме «Пацифистские палисады» генералу Пхи менеджер Бернадетта Люкс иногда представлялась чем-то вроде Гренландии, а в те моменты, когда ему удавалось пристроиться к ее тылу, размеры могучей дамы как бы уже выходили за грань обычной физики и принимали символический характер.

Нуклеарным холодком веяло из шахт и кулуаров, склоны поверхностей золотились, будто глетчеры под лучами вечернего солнца, тяжелые «маммари»**, ложась в тонкие ручки генерала, жгли смуглую кожу, как дед. «Кулинг, — приговаривал он, — джаста кулинг»...*** Пхи принадлежал к международному поколению «обожженных» и очень нуждался в прохладе.

Рэнди Голенцо с трубкой в зубах с галереи созерцал это в целом-то совсем не плохое дело. Почему, черт, не произошло такой гармонии на поле брани?

* У вас хороший английский?

** Грудь.

*** Прохлада, такой прохлада.

Март. Студенческая местность близ «Казань юниверсити». Двадцатилетние оболтусы Филимон, Спиридон, Парамон и Евтихий на койках в наемной комнате своего дикого быта.

Вчера полночи бились на рапирах, в поединках и двое на двое. Электричество давно уже отключено за неуплату. Источники света, стеариновые свечи, торчат из порожней посуды. Дикие тени мечутся по стенам и потолку. Лязг холодного оружия и лошадиный хохот прорываются через замерзшие окна на улицу. Ночной прохожий оборачивается — что за странная радиопостановка?

Стены расписаны в футуристическом духе. Еще месяц назад вьюноши называли себя футуристами, теперь в связи с новым бзиком — фехтованием — стали мушкетерами.

А вот и чувихи с факультета иностранных языков, шпионки. Рапиры и маски — в угол! Надрачивается «старенький коломенский бродяга патефон». Самодельная пластинка из рентгеновской пленки вспучивается, однако, придавленная железной кружкой, начинает вращаться, извлекая из замутненных альвеол анонимной легочной ткани кое-какие звуки.

*Come to me, my melancholy baby!**

Задув свечу, парочки расползаются по углам. Дерзновенные проникновения под лифчик, под рубашечку, головокружительные рейды в штанишки. Позже один из четырех горько жалуется: «Что делать, чуваки, такое отчаяние, солопина мой, собака, мягкий, как колбаса». Двадцатилетнему человеку палец покажи, обхохочется, а тут — «колбаса»! Вторая половина ночи проходит в полном изнеможении.

* Приходи ко мне, мой грустный бэби!

Утром все делают вид, что будильник, сволочь, сломался, потом кто-то вспоминает, что семинар в университете сегодня «полуобязательный», потом начинают переругиваться, кому сегодня топить печку, в конце концов, разыскав на столе отвратительные чинарики, футуристы-мушкетеры курят среди убожества своих чохлых одеял.

Тем временем за дверью, в коридорчике коммунальной квартиры, начинают раздаваться громкие рыдания соседок. «Что же теперь делать-то будем, граждане хорошие, братья и сестры? Как жить-то будем без него?» Главная скандалистка Нюрка бьется в истерике. Дядя Петя сапогом грохочет в дверь к студентам. «Вставайте, олухи царя небесного! Великий Сталин умер!»

Долгая пауза — екэлэмэнэ — удвоих из четырех отцы, между прочим, загорают в лагерях за контрреволюционную деятельность...

1970

Хемингуэй и Фил Фофанофф.

*Пятерку «Ф» своих лелея,
Советский презирая быт,
Ф-ф читал Хемингуэя,
За что бывал нередко бит
В дискуссиях крутых друзьями,
Которые, уж отиаумев
Свои фиесты и усами
Обзаведясь и поумнев,
Читали Фолкнера. Все злее
Славянофильский ветер дул.
Нам всех коррид твоих милее
Простой йокнапатофский мул!
И все ж, как встарь, благоговя,
Чудак, пьянчуга, бонвиван,
Ф-ф читал Хемингуэя,
Врастая задницей в диван.*



ГЛАВА ПЯТАЯ

Не без чувства усталой гордости я представил в вашингтонский отдел иммиграции толстый пакет со всеми бумагами, необходимыми для получения «зеленой карты»* постоянного обитателя США. Это был уже пятый визит в эту контору. На сей раз я был полностью уверен в содержимом пакета; все наконец-то собрано, подколото, заверено; ни сучка ни задоринки. Гордость мою поймет всякий иммигрант, потому что этому моменту предшествовало множество унылого бюрократического вздора, который в Америке со столь неожиданной для выходцев из стран социализма красноречивостью зовется «красной лентой».

Все началось еще в Лос-Анджелесе. После того как стало известно о лишении меня советского гражданства, не оставалось ничего иного, как просить у Америки политического убежища. В лос-анджелесском управлении иммиграции нас привели под присягу, заполнили все бумаги, а потом... просто-напросто их потеряли. Больше года мы ждали в Вашингтоне калифорнийских бумаг, они так и не прибыли. Пришлось снова запрашивать политического убежища, уже в Вашингтоне. По-

* Документ, получивший это название по своему цвету, свидетельствует, что его владелец имеет статус постоянного резидента США.

том, съездив на европейские каникулы с беженскими документами, мы стали проходить следующую фазу бумажной адаптации в новом мире — оформлять вид на постоянное жительство.

Ирония (она, куда ни кинь, сопровождает нас повсюду) здесь состояла в том, что в Вашингтон я приехал с целью написать роман «Бумажный пейзаж», книгу о том, как барахтается маленький советский человек в волнах бумажного моря.

В течение года мы время от времени отправлялись на Е-стрит, высиживали там по несколько часов в очереди своих братьев — беженцев и эмигрантов, — предъявляли наши бумаги и отправлялись домой несолоно хлебавши: всякий раз чего-то не хватало или что-то было сделано неправильно; то медицинского свидетельства не доставало, то оказывалось, что оно не там было проведено, где положено, и т.д. и т.п. И вот, наконец, все препятствия устранены, все бумаги собраны, придраться, кажется, не к чему. Теперь-то уж они примут наши заявления.

Теперь, при всем желании, к нашим бумагам невозможно придраться: совершенство! бюро-шедевр!

И все-таки, по мере приближения к Е-стрит, все больше сосало под ложечкой: какой-нибудь капкан и на сей раз, наверное, ожидает. Всю жизнь я был «тяжел на ногу» в бюрократических делах, ни одна процедура такого рода не проходила для меня без заковырок, недоразумений, попросту опечаток. Там все списывалось за счет их проклятой системы, здесь, в Америке, оставалось только почесывать затылок.

Кто-то посоветовал мне сделать копии со статей обо мне и моих книгах в американских журналах и присовокупить их к документам. Я был несколько смущен: что ж, саморекламой, что ли, предлагаете заниматься? Ты не понимаешь американской жизни, объяснили мне. Глупо не использовать такую позитивную информацию.

Первое, что сделала делопроизводительница управления иммиграции, когда мы после нескольких часов ожи-

дания предстали пред ней, — отбросила эту «позитивную информацию» в сторону, не читая. Затем она с некоторым, как мне показалось, сладострастием погрузилась в пухлую стопку бумаг, время от времени поднимая на меня взгляд, мягко говоря, лишенный каких бы то ни было одобряющих флюктуаций. Это была красивая черная женщина с большими золотыми серьгами.

— А где же у вас форма FUR-1980-X-551? — спросила она бесстрастно, но мне показалось, что ее бесстрастность дается ей с трудом и что какая-то странная антиаксеновская страсть готова вот-вот выплеснуться и обварить мне ноги даже через толстую кожу английских ботинок.

Форма, запрошенная ею, как раз не относилась к числу обязательных. Никто из ее коллег прежде на ней не настаивал. Для получения информации по этой форме они просто нажимали клавиши своих компьютеров, и немедленно все нужное появлялось на экране.

Чувствуя, что снова тону, но все-таки делая еще беспорядочные плавательные движения, я любезно сказал делопроизводительнице, что форма FUR-1980-X-551 мной утрачена, но для получения соответствующей информации ей достаточно обратиться к компьютеру.

— Вы что, учить меня собираетесь моему делу? — спросила она.

Знакомая интонация советских чиновных сук будто наждачной бумагой прошла по моей коже, но что-то в свирепом тоне делопроизводительницы бурлило и новое, нечто мне прежде неведомое.

Вся моя пачка бумаг была переброшена мне назад с рекомендацией (сквозь зубы) для уточнения отправиться в другой отдел, то есть все начинать сначала.

Не успев еще даже спросить самого себя, почему я вызываю такие негативные чувства, но все еще пытаюсь спасти положение, я бормотал что-то еще о компьютере и о том, что раньше эту форму от меня не требовали.

Делопроизводительница тут взорвалась, как вулкан Кракатау:

— Что это вы тут разговорились, мистер?! У вас тут нет никаких прав, чтобы так разговаривать! Вы просто беженец, понятно?! Правительство США вовсе не настаивает на том, чтобы вы жили в этой стране!

Такого, надо признаться, я еще в Америке не встречал, да и не ожидал встретить.

Я уже знал к этому моменту, что в Америке существует вполне развитая и процветающая бюрократия (в отличие от дряхлой советской с ее комплексами вины, американская компьютерная бюрократия очень довольна собой), но до описываемого случая эта бюрократия всегда была отменно вежлива, в той же степени, в какой компьютер еще не обучен хамству.

Надо сказать, что русское понятие «хамство» с такой же относительностью передается английским словом *boorishness*, с какой американское понятие *privacy* объясняется советским оборотом «частная жизнь».

Впрочем, может быть, это и хорошо, что нас с этой чиновницей разделяли кое-какие языковые экраны, иначе мы бы сказали друг другу гораздо больше: у нее, без сомнения, многое еще было в запасе.

— Что с вами? — спросил я. — Вы не слушаете меня, леди... Мне кажется, не принято в порядочном обществе...

Впоследствии я разобрался, что слово «леди» в этих обстоятельствах звучало неуместно. Она вскочила:

— Если вы считаете, что с нами трудно иметь дело, можете убираться из нашей страны!

Возникла кинематографическая пауза. Мы смотрели друг на друга. Это был редкий момент. В глазах ее читалась если и не ненависть, то, во всяком случае, формула взрыва. Чем я вызвал такое сильное чувство? Даже если глупость какую-нибудь спорол, чего уж так-то сильно яриться?

Я знал, конечно, всем опытом жизни в России, как малые начальнички, все эти «старшие помощники младших дворников», любят глумиться над людьми, от них зависящими, но тут присутствовало, повторяю, что-то новое, прежде мне неведомое и непонятное.

— Друг мой, неужели вы не понимаете? Это была расовая ненависть, — сказал польский беженец, случившийся быть в той же комнате.

— Однако с вами занималась тоже черная и была мила, — возразил я.

— Однако и не все ведь белые расисты. Вот вы ведь, мой друг, не расист?

В самом деле, я никогда не был расистом, однако никогда и не воображал себя объектом расизма. Принадлежность к белой расе как бы исключала возможность негативных расовых чувств. Стало быть, подсознательно я тоже был под влиянием расистских стереотипов: с одной стороны, в системе этих стереотипов как бы предполагалось, что расистом может быть только белый человек, а черный человек уж никогда расистом быть не может, а с другой стороны, как бы само собой подразумевалось, что белый человек не может быть объектом расовой неприязни, а уж тем более жертвой ее. Иными словами, хоть я и приехал из страны, где расовая проблема не столь горяча, как в США, все-таки и во мне сидели комплексошки белого, некоторая снисходительность по отношению к черным братьям.

Да полно, был ли это расизм? Может быть, просто такая уж сволочь попалась, вне всякой связи с цветом кожи? Поляк сказал:

— У нас, восточноевропейцев, положение в этой стране довольно двусмысленное. Мы похожи на большинство, а между тем, с нашими акцентами и рефлексами «культурного шока», относимся к меньшинствам. Комплексошки отчужденности от черных или снисходительности к ним у нас сильнее, чем у американцев, которые рядом с ними живут из поколения в поколение. Негры это прекрасно чувствуют.

Вот вы входите в эту комнату, — продолжал он, — белый человек с акцентом, но акцента этого отнюдь не смущающийся; жена у вас блондинка, то есть вы оба вроде бы принадлежите к доминирующей расе. Как бы вы себя ни держали, легче всего вас заподозрить либо в высокомерии, либо в снисходительности. Даже и унижаясь, вы

ного не избежите. Вот, подумает она, даже и унизиться им перед нами не унизительно! Сознайтесь, было у вас что-то внутри, когда вы смотрели на ее черное лицо?

— Просто думал, что за сволочь бюрократическая, ну просто как советская, но ничего не думал. насчет расы...

— А если копнуть поглубже?

Пришлось почесать в башке.

— В самом деле, не знаю. Может быть, что-то и мелькнуло: вот, мол, какая начальница, черная...

— Ну вот, видите, дело тут не в бюрократизме.

Оказавшись в американском обществе, мы стали участниками расовых отношений. Этого не избежать никому из эмигрантов так называемой «кавказской расы». Даже прогуливаясь по улице, ты участвуешь в составлении расового пейзажа.

Один из моих черных знакомых (увы, я до сих пор могу сосчитать их по пальцам, хотя и живу в городе, где семьдесят процентов населения черные) как-то попытался разъяснить мне эту двусмысленную позицию со своей точки зрения.

— Я родился в этой стране, — говорил он, — так же, как и мои родители, и их родители. Тот, кто родился в Африке, очень далек, я его не проследил. А вы, старина, здесь чужак, не так ли? У вас сильный акцент. С первого же слова в вас узнают иностранца. Однако пройдет десяток лет, и вы, ну, как представитель «кавказской расы» избавитесь от иностранного акцента и станете одним из них. Что касается меня, то я никогда не смогу быть одним из них. При взгляде на меня первой мыслью у каждого из них будет «вот черный», а уж потом — кто я таков, как я одет, в каком я настроении и так далее.

Причем в моем случае это отношение усугубляется, потому что я очень черный. Вообразите, процент пигмента в коже тоже играет роль.

Он и в самом деле был очень черным, этот мой приятель.

— А вообще-то разве у вас есть какие-нибудь основания жаловаться? — спросил я. — Вы — процветающий адвокат, у вас отличный дом в дистрикте, «Мерседес-450»... Белые девушки, как я заметил, вовсе не чужаются вашего общества.

Он улыбнулся, улыбка его похожа на flash-light* на фоне черного лица.

— Мой оттенок, кажется, считается недурным. Вообразите, оттенки черного цвета имеют значение. Приятные оттенки имеют больше шансов на успех в обществе, но наилучшими шансами обладают черные совсем не черные, те, кого называют high yellow**, которые выглядят ну просто как белые после вакаций во Флориде.

— И все-таки ваш пример опровергает многие обобщения, мой друг, — сказал я ему. — В самом деле, вам вроде бы и не на что жаловаться, а?

— Я и не жалуясь, — сказал он. — Мы говорим не о притеснениях, даже не о предубеждениях, а об отчуждении, очень тонком, почти неназываемом; оно будет, вероятно, существовать еще двести лет, не меньше.

Мы пытаемся разобраться в нынешней расовой ситуации со всеми ее тонкостями и грубостями. Собственно говоря, мы не разбираемся, а просто живем среди этих тонкостей и грубостей. В таком месте, как Вашингтон, эта тема волей-неволей возникает чуть ли не ежедневно. Иной раз она оборачивается легкой, юмористической стороной, в другой раз предстает перед нами, чужаками, странной, вывернутой, исполненной смутной угрозы, абсурда ядовитых испарений.

Боб Кайзер, уроженец Вашингтона, как-то рассказывал нам, что еще в начале шестидесятых годов негров не пускали здесь в партер театров, они могли сидеть только на галерке. Сейчас это трудно вообразить в городе, где

* Вспышка магния при фотосъемке.

** Здесь — светлокожий.

мэр и почти весь муниципалитет черные, и все-таки, столь недавно... слишком малый еще срок, чтобы забыть те безобразные унижения.

Из всех жителей Штатов только негры приехали сюда не по собственной воле, хотя — может, это прозвучит кощунственно — именно грязный бизнес работоторговцев по иронии истории и привел к созданию общины черных американцев, с прогрессом которой во всех отношениях не может сравниться ни одна страна Африки.

Именно «общины черных американцев», а не «нации негров». Приехав из многонационального Советского Союза, мы не сразу разобрались в том, что нация, собственно говоря, здесь одна — американская — и что корни черных уходят к разным этническим группам Африки в той же степени, в какой белых — к разным нациям Европы.

Я пишу сейчас, собственно говоря, не о «черной проблеме», а о том, как она предстала перед нами, эмигрантами из Советского Союза. Негр для нас с детства был клишированным символом империалистического угнетения, объектом нашей солидарности, умозрительного сочувствия, чего угодно, только не человеческих чувств.

Позже, в период диссидентских настроений, многие в СССР склонны были думать, что черной проблемы вообще не существует в Штатах, что все это вымыслы лживой советской пропаганды, что на самом деле в Америке уже давно царит расовая гармония.

Мы восхищались черными джазистами и спортсменами, и нам казалось, что это гарантирует нас от расистских чувств. Оказавшись жителями Америки, мы вдруг поняли, что мы большие расисты, чем коренные американцы. Это вовсе не означает, что у нас появились дурные чувства к неграм. Наоборот, наш расизм, может быть, сказывался в том, что мы культивировали только хорошие чувства к нашим черным соседям. Резкий тон, скажем, по отношению к негру казался бессмысленным. Потребовалось время, чтобы осознать, что черные люди вовсе не нуждаются в нашей снисходительности.

Честнее других, может быть, оказались одесситы с Брайтон-бич в Нью-Йорке, которые говорили черным бруклинским хулиганам: «Мы ваших дедушек, мужики, в рабство не продавали, поэтому валите отсюда!»

Ханжеская любезность в отношении черных приводит к недомолвкам и иносказаниям: когда говорят о каком-нибудь районе города «не совсем благополучная «эриа», а имеют в виду, что там живут черные, когда о неблагоприятных поступках, совершенных черными, вообще предпочитают не распространяться, поджимают губы и переходят на другую тему. Такой «прогрессизм», конечно, имеет расистскую подкладку. Негров, очевидно, лишь оскорбляет эта снисходительность и приторность.

Почему мы можем сказать, что среди русских или ирландцев много пьяниц, и почему мы не можем сказать, что среди черных подростков нынче немало таких, что склонны к блуду, к охоте за дешевым кайфом?

Черная комьюнити ежедневно оборачивается к нам множеством своих разнообразных лиц: здесь и блестящий молодой джентльмен Карл Льюс, и ублюдок сыщик, без разговоров застреливший в нью-йоркском дворе отца эмигрантского семейства, здесь и такой благородный деятель, как мэр Бредли, и исламский нацист Фаррахан, здесь и мой пехт доог*, вечно улыбающийся художник Роберт, и свирепая чиновница из вашингтонского отдела иммиграции и натурализации... Так или иначе это наши соседи, наши новые сограждане.

Негры под американским снегом

В Вашингтоне зима начинается где-то в середине января. Конечно, по сравнению с Россией вашингтонские снегопады выглядят несерьезно, но иногда, милостивые государи, так завалит, что впору вспомнить и остров Сахалин.

* Сосед по площадке.

В такие дни город преобразается. Движение сокращается до минимума. Там и сям видишь брошенные машины. Забавно выглядят под снегом основные представители населения нашего города, то есть негры. Иные черные мужички, как будто это для них привычное дело, берут лопаты и ходят по иностранным посольствам, откапывают. Другие демонстрируют некоторый эстетический вызов белому засилью. Вот передо мной раскачивается на тонких каблучках красотка фунтиков на двести. Она облачена в серый тренировочный костюм, поверх костюма на округлости натянуты красные шорты, над головой зонтик из желтых, зеленых и синих клиньев. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет...

Повсюду житель озабочен взаимовыручкой. Помогают толкать машины, прикуривать от аккумуляторов. У моего друга не заводится. Мы возимся большой толпой. Скрип тормозов, рядом с нами останавливается вэн*, то есть одно из тех многоцелевых во многих смыслах транспортных средств, что пилотирует особого рода народ, так называемые таф — жесткие ребята.

В данном случае из вэна выскакивает черный красавец под шесть футов. «В чем дело, народы? Аккумулятор сел? Прикуривателей нету? Я знаю, где достать. Поехали со мной!» Дело было в воскресенье, все магазины в округе закрыты, и я залез в его вэн, хотя во внешности молодца не было, мягко говоря, кричащей надежности, чем-то неуловимым скорее смахивал он на пирата.

Его звали Стив Паддингтон, что звучит приблизительно как Евгений Онегин. Он лихо гнал через метель и не особенно-то подтормаживал перед светофорами. Кричал мне в невероятном возбуждении:

— Я люблю помогать людям! Обожаю помогать людям! Невзирая на цвет кожи! Мне наплевать на цвет кожи! Главное, чтоб человек был хороший! Верно? Чему нас Мартин Лютер Кинг учил? Помогать людям! Я такой от-

* Van — фургон.

личный парень! Бабы от меня без ума! Мне тридцать четыре года, а у меня уже семь женщин в разных местах, четверо детей в разных местах! Я мужик что надо! А ты чем занимаешься?

Как не ответить на редкий вопросительный знак среди урагана восклицательных.

— Книжки пишу, — сказал я.

В восторге Стив сильно хлопнул меня по колену:

— Вот это удача! Давно мне так не везло!

— В чем же удача, Стив?

— Не понимаешь? — изумился он. — Я напишу дневник своей жизни, ты сделаешь из него роман, деньги поделим! Теперь дошло? Мне очень деньги нужны! И знаешь для чего? Чтобы хорошо жить! Дошло? Чтобы наслаждаться жизнью.

Мы мчались сквозь пургу все дальше и дальше, в какой-то весьма сомнительный район города. Стив развивал, хохоча, идею замечательного предприятия. На вырученные за нашу потрясающую книгу деньги мы покупаем два автобуса и начинаем на них возить игроков из дистрикта Колумбия в игорные дома Атлантик-Сити. Сколотив на этих экскурсиях достаточное состояние, мы открываем свой собственный игорный дом прямо здесь, в дистрикте. Почему люди должны ездить играть в Атлантик-Сити? Почему они не могут играть прямо здесь, в столице страны? Успех обеспечен, потому что все люди хотят хорошо жить! Все хотят наслаждаться. Успех! Деньги! Лайф-де-люкс!

Я его спросил, почему он так уверен в успехе его дневника, переработанного мною? Потому что у него большой жизненный опыт, объяснил он. Три раза сидел в тюрьме за попытку вооруженного ограбления. Нет, никого не убивал, это противоречит его принципам, вообще оружия не любит, но кое-что есть, чтобы защитить себя и своих людишек. С этими словами он показал мне пару пистолетов и здоровенное мачете. «Этот арсенал, — подчеркнул он, — я купил на свои собственные деньги».

Несмотря на все эти восклицания, Стив нашел бустер*. Мы вернулись на место происшествия, завели машину, после чего я пригласил Стива и его подружку Кэйт к нам поужинать. Возбуждение его испарялось, он успокаивался с каждой минутой. Оказалось, что он не сторонник алкогольных напитков, а скорее склоняется к хорошей самокруточке. Выяснилась также и вполне мирная профессия Стива — водитель школьного автобуса. Он очень любит свою девушку Кэйт, однако так же сильно любит Лизу, которая подарила ему вот эту кожаную куртку, отороченную мехом койота. Что касается политических склонностей, то он предпочел бы видеть президентом космонавта Джона Глена, а вице-президентом — черного священника Джесси Джексона.

Я спросил:

— Стив, а раньше ты русских встречал?

— Не то что русских, — сказал он, — вообще никаких иностранцев никогда не видел, кроме китайцев. Вот именно, кроме китайцев, — добавил он, чуть-чуть подумав.

Мы много говорили потом об этом неожиданном знакомстве. Таких парней, как Стив, тысячи на улицах Вашингтона, но вот впервые мы так, случайно, соприкоснулись с их жизнью. Расовое равенство с утра до ночи дебатировалось на телевидении. Все знакомые американцы говорят, что за последние годы черное население сделало колоссальный прогресс, и это очевидно. В Чикаго, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Филадельфии, Атланте, в десятках других городов черные мэры, повсюду встречаешь черных юристов, правительственных чиновников, богатых бизнесменов, дети ходят вместе в детские сады и школы — нет лучше зрелища, чем группа малышей разных рас, — молодежь вместе занимается спортом, не так уж сильно дискриминируется в любовных утехах, не говоря уже о танцах брейк... И все-таки разделение, во всяком случае психологическое, еще существует, и черные, кажется, помнят об этом лучше белых.

* Booster — бустер, усилитель.

Знакомый черный музыкант однажды сказал нашей общей приятельнице, что собирается в Вашингтон и хочет навестить Аксеновых. Та предположила, что он может у нас остановиться. Музыкант был смущен: не уверен, что это будет хорошо, все-таки мы с Васей «на разных сторонах улицы». Узнав об этом, был смущен и я, потому что полагал себя с ним на одной стороне, on the sunny side of the street...*

Трудно ломаются психологические стереотипы, если на них еще наслаивается биологический стереотип. Познакомившись со Стивом Паддингтоном, мы соприкоснулись и в самом деле с «другой стороной улицы», с совершенно чужой жизнью негритянских масс, полной какой-то странно детской и, конечно, марихуанной жажды, пронизанной монотонным ритмом модного рэгги.

...На следующий день опять шел густой снег. Позвонил Стив Паддингтон и прокричал: «Василий, я уже начал писать свою книгу. А ты над чем сейчас работаешь?»

Негры под советским снегом

Как развивался «образ» негра в советском сознании? В 1937 году, в разгар мрачных сталинских чисток, кинорежиссер Г. Александров создал шикарную музыкальную комедию «Цирк». Помимо трюков, чечеток и хохм, в фильме была сентиментальная линия, мелодраматическая история американской актрисы варьете, умудрившейся в расистской Америке родить черного ребенка.

Толпа разнузданных расистов несется по железнодорожным путям, пытаясь догнать поезд, на котором спасется наша героиня в исполнении ослепительной блондинки голливудского типа Любови Орловой; так начинается фильм. Впоследствии мать негритенка попадает с трупом варьете в Москву. Она стыдится своего ребенка, прячет его от советского актера, с которым у нее начинается

* На солнечной стороне улицы.

роман, пока не убеждается, что в Советском Союзе все нации равны, все свободны. В апофеозе она поет: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» А ее черного младенца с нежными улыбками передают друг другу советские люди, зрители цирка, случайно представляющие все национальные республики и меньшинства Советского Союза.

Младенца, между прочим, в черный цвет не красили. Его роль играл только что родившийся Джим Паттерсон, сын американских коммунистов-негров. Этот мальчик все свое детство наслаждался неслыханной славой, летними каникулами в Крыму, в привилегированном пионерском лагере «Артек»; когда вырос, стал советским поэтом, увы, весьма посредственным.

Позднее нужда в черных киноактерах стала удовлетворяться менее патетическим путем. Во время войны в Архангельске, куда приходили корабли союзников, пять процентов детей рождались черными. Один из этих негрятят играл черного юнгу в фильме «Максимка» по повести Станюковича, в котором проводилась идея о стихийном интернационализме русских людей и о сочувствии к угнетенным.

В шестидесятые годы в театральном мире Москвы был весьма популярен молодой актер Гелий Коновалов. Он родился в русской семье, но был совершенно черным и со всеми признаками негроида: курчавостью, толстогубостью, белоснежностью улыбки. Пользуясь своей «спецификой», он читал в концертах стихи с каким-то невыносимым акцентом, хотя не знал никаких языков, кроме своего родного — русского.

Всюду перед ним открывались двери, люди обращались к нему с исключительной осторожностью — как бы не обидеть «представителя угнетенных наций». Так он и шествовал сквозь московские метели, научившись не без цинизма пользоваться своей странной уникальностью. Только лишь в театральном ресторане при приближении к определенному градусу общего подпития Гелий терял свою «специфику» и избавлялся от советского расизма

навыворот. Там актерская братия, знавшая гримы всякого рода, к цвету его кожи относилась без всякого пиетета.

В целом же в течение всех советских лет под влиянием «интернациональной» демагогии, фальшивости фильмов и спектаклей, а также не без помощи личностей вроде знаменитого певца — «друга СССР» Поля Робсона, в сознании советского человека рядом с другими стереотипами утвердился и стереотип черного человека, который не может быть никогда ни злым, ни хитрым, ни глупым, ни коварным, никаким, кроме как лишь утиетенным.

Даже и «критический советский человек» привозит в Америку этот стереотип и долго носит его с собой, пока реальность не выколотит его, словно пыль из одежды.

По Пятой авеню в час пик мирно шествуют плечом к плечу в обоих направлениях и филиппинец, и индус, и мексиканец, и эскимос, и мавр, и ацтек, и грек, и финикиянин, и перс, и ассириец, и галл, и кельт, и скиф, и печенег, и римлянин, и карфагенянин, и «гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык»; не исключено, что попадают тут и атланты, амазонки, кентавры...

Бывший советский человек, хоть он, может быть, по цвету кожи и не отличается от большинства населения, явление на самом деле не менее диковинное в американском обществе, чем, скажем, троянец; в сознании своем он долго носит догмы покрепче, чем мировоззрение идолопоклонника Новой Гвинии.

Взять пресловутый национальный вопрос. С детства в нас вбивались понятия так называемой ленинской национальной политики с ее принципами интернационализма и равенства наций, а на деле у нас совершенно не было никакого опыта совместной с другими народами жизни; в принципе, мы не знали других наций, кроме советской, хотя внутри оной пресловутый пятый пункт, то есть национальность, строго контролируется. Показной интернационализм на деле оборачивался диковатыми изоляцио-

нистскими клише, привязанными в основном к освободительной борьбе, к колониализму и т.п.

Вот, например, клише «рикша». С раннего детства он сопровождал нас, этот несчастный тонконогий «трудящийся Азии», согбенный под своей конусовидной шляпой, влекущий коляску с восседающим в ней жирным империалистом. У империалиста в зубах сигара, кованный каблук упирается в тощий задок желтолицего. Хотя и стали впоследствии клише такого рода предметом юмора, все-таки оказались они довольно живучи и въедливы, иначе не был бы я так удивлен рикшами Гонолулу.

Там, на Вайкики, велорикши все как на подбор оказались белыми парнями и девушками, загорелыми и белозубыми, напоминающими лучшие экземпляры американской университетской породы. Энергично крутя педали, они катали по Калалахуа японских туристов. Клише оказалось полностью перевернутым.

Мы не знали реальной жизни так называемого третьего мира, она была заменена фантомами интернационализма.

Америка не прокламирует интернационализм, она попросту заполняется многоязычной толпой экзотических иностранцев. Помню, как-то ехали мы через снежные холмы Мэна и на одном из этих холмов вдруг увидели ресторан полинезийской кухни. Здесь, в Америке, можно в реальности увидеть не-ленинскую национальную политику, то есть реальную жизнь разных народов, узнать, что и как разные люди едят, как они молятся, как они трудятся, как они развратничают...

Вот вам еще одно клише, которое после опыта американской жизни переворачивается в сознании русского эмигранта.

Всегда у нас считалось, что декадентская западная цивилизация является в мире главным источником греха разврата, наркомании, половых извращений. Советские люди в этом глубоко убеждены, что, впрочем, не только не отталкивает их от западной цивилизации, а, напротив,

наряду с изобилием товаров является дополнительным, а иногда и основным соблазном. Существуют иронические клише типа: «Эх, Запад! Как красиво он разлагается!» «Секс-шопы» с пластмассовыми гениталиями, порнографические «нон-стоп» кинотеатры, проститутки обоих полов, алчущие кайфа толпы в клубах марихуанного дыма — вот образ «тлетворного Запада» в сознании советского гражданина.

Признаюсь, после нескольких лет жизни на этом самом декадентском Западе у меня сложилось впечатление, что основным источником декаданса и блуда является третий мир, который в клишированном идеологическом представлении выглядит как бы невинной жертвой. Именно из третьего мира идут на Запад разнузданный секс, мастурбирующие ритмы, одуряющие травы и порошки, всепоглощающая тяга к кайфу.

Ошибочно вообще представление о том, что цивилизация неизбежно влечет за собой падение нравов. По идее, если непредубежденными, неидеологизированными глазами посмотреть в глубь истории, можно увидеть, что чем ниже уровень развития, тем выше уровень дебоша. Достаточно вспомнить «художества» австралийских аборигенов. Человеческие группы, не озабоченные задачей цивилизации, то есть развития, улучшения (к этому относится и религиозный поиск), озабочены в первую очередь жадой кайфа. Самые изощренные формы половых извращений и наркомании родились не в цивилизованном обществе, а в дикарских группах. Западная цивилизация, особенно в ее англосаксонской форме, является, по сути дела, последней фортецией здравого смысла.

На эту фортецию из темноты третьего мира идут валы кайфомании. Цивилизация в силу своей либеральной толерантности не отвергает примитивного гедонизма, но адаптирует, переводит эту всепоглощающую страсть в русла субкультуры, шоу-бизнеса, секс-коммерции, то есть организует, вводя даже эту дикую стихию в систему некоторого порядка.

Говоря это, я вовсе не хочу унижить тех людей третьего мира, что работают там ради просвещения и благоденствия своих народов. Эти люди не нуждаются в снисхождении, в высокомерном попустительстве, они же, думаю, меньше всего заинтересованы в том, чтобы сваливать все грехи на западную цивилизацию.

Среди так называемых трех миров в отношениях друг с другом, по сути дела, находятся только первый и третий. Для так называемого второго мира, из которого мы пришли, третий — лишь место приложения марксистско-ленинской «единственно верной» исторической науки.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1980 — 1981

По выходным дням ГМР мало напоминал аттенданта с автопаркинга у ресторана «Эль Греко». Одежда от лучших фирм. Если уж костюм, то «Тед Лapidус». Если уж плащ, то «Барберри». Если уж ботинки, то «Черч». Кто догадается, что куплено на блошином рынке? Скорее уж подумают — эдакий джет-сеттер* в поношенных любимых вещах.

...За его приближением со ступеней собора Святого Матвея следил американский нищий, красивый малый лет под сорок, рыжие кудри перехвачены кожаным ремешком, босые гноящиеся ноги — trade mark**. Впрочем, может быть, это и не нищий, а просто-напросто осколок «поколения протеста». Просит, во всяком случае, с достоинством, какому и Боб Дилан бы позавидовал:

— Could you spare one dollar for me?***

«Вот он, уровень инфляции, — подумал ГМР, — когда-то ведь, помнится, пели «Браток, подай мне гривенник».

* Jet-setter — пассажир салона высшего класса.

** Фирменный знак.

*** У вас найдется доллар для меня?

Достав выдавший виды бумажник «Диор», ГМР отщелкнул нищему точно по запросу однодолларовую купюру.

— Thank you, — удивленно сказал нищий. — I was sceptical about you*.

— Отчего же, — пожал плечами наш герой, — я даю это вам как нищий нищему. Есть такое слово «солидарность».

1982

Рэнди Голенцо в связи с продвижением по службе пригласил как-то кучу народу к себе, в наследственный таунхаус. Накупил гамбургеров, не забыл и про соус А-1. Родственников предупредил, подмигивая: «Будет чудаковатый народ из «Пацифистских палисадов».

И действительно, явилась троица — закачаешься! Великолепная Бернадетта-декольте сразу же привнесла в парти аромат чего-то греко-римского. Генерал Пхи в парадной рубашке хаки со следами боевых наград и с новеньким зайчиком «Плейбой-клаба» тут же принялся за обследование охладительной системы резиденции Голенцо. Скептически покачивал он хорошо причесанной головой — «вот так и мы рассчитывали на нашу стратегическую инфраструктуру».

Третьим в компании оказался русский бегун Лев Грошкин, с которым Бернадетта недавно познакомилась в Санта-Мелинде во время роликобежных уроков.

Лева в Америке процветал, не старея. Получая помощь по программе «велфер»** и подрабатывая иногда наличными в транспортной фирме «Голодающие студенты», он обеспечивал себе 120 миль еженедельного набега, что в сочетании с научной диетой и контролем над рефлексами повернуло все процессы его организма в обратную сторону; он выглядел теперь вместо своих полста на

* Спасибо. Вы не внушали мне особого доверия.

** Welfare — благотворительность.

чистый четвертак. Таким молодцом он и воспринимался теми, кто не знал его раньше, а тех, кто его знал раньше, Лена старался избегать. «Старая шваль», — думал он о них с понятным презрением.

«Чемпион», — представлялся он новым знакомым. Это хорошее русское слово было понятно местным народам. Дружба с Бернадеттой Люкс внесла в систему циркуляции дополнительную гармонию. «Постарайся понравиться мистеру Голенцо, Лайв, — сказала она. — Рэнди близок к сферам». Лев кивнул. Это нетрудно. Не понимая ни слова по-английски, он хорошо соображал. «Эге, — сказал он, — гамбургеры! — И добавил: — Ого!»

Рэнди такой подход к делу явно понравился. «Вам кажется, что это гамбургеры? — хитро улыбнулся он. — А вот попробуйте-ка покрыть их соусом А-1. Получатся настоящие стейкбургеры!»

Племяш Джейсон цапнул из рук толстенное угощение. Эва как широко и сокровенно открывается рот у малыша! Гамбургер, а на вкус стейкбургер!

— Эй, это твоего дяди стейкбургер! — вскричал Голенцо, вырывая едальное устройство из рук несовершеннолетнего человека.

Все замечательно захохотали. «Стейкбургер, — подумал Лева. — Государственная котлета, из спецфонда. Бернадетта, видимо, не врет. Рэндольф — важная шишка!»

1953

День смерти Иосифа, увы, совпал с днем рождения Филимона. Вот уж двадцать лет 5 марта безраздельно принадлежало ему. В день трагического совпадения он собирался вести всю кодлу в ресторан, для чего заложил в ломбарде фамильную реликвию, статуэтку Лознгринна.

Кодла неделю уже предвкушала поход в «Красное подворье», где играл по вечерам золотая труба Заречья Гога Ахвеледиани, по слухам входящий в десятку лучших трубачей мира, сразу после Луи Армстронга и перед Гар-

ри Джеймсом. И вдруг такое неприятное совпадение — умер великий вождь народов, знаменосец мира во всем мире, попросту гений человечества. Веселье маленькой группы совпало с несчастьем космического масштаба. Такое, конечно, случается, но, согласитесь, не часто.

В тот день в стране не хватало грустных прилагательных, траурных мелодий и черного тюля. На лицах был, как сказал поэт, «влажный сдвиг, как в складках порванного бредня». Скандалистка Шура, хватанув с дядей Петей привозного первача, билась за стенкой в истерике: «Жидов-то недобил, жидов-то недобил, отец родимый!»

Вся компания мрачно сидела на койках с учебниками по марксизму на коленях. «Отчего ребята такие смурные, — думал Филимон, — из-за вождя или из-за того, что «Красное подворье» отменяется? Спроси самого себя, — сказал он сам себе, — и без труда поймешь внутреннее состояние товарища». Вслед за этим фундаментальным умозаключением именинник водрузил на голову шляпу, выкраденную из реквизитной оперного театра, где периодически подрабатывал в толпе итальянских карбонариев, забросил за спину шарф и сказал:

— Похиляли, чуваки!

Три панцирных сетки мощно прогудели, три тела выплеснулись из лежбищ, словно морские львы.

— Куда похиляли?

— В «Подворье», экэлэмэнэ!

— Да ведь закрыто же небось?!

— Не факт!

— Да ведь арестуют же за гульбу-то сегодня, в такой трагический для человечества день!

— Не обязательно!



ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сидя во Флаг-баднe между Капитолием и памятником Вашингтону и озирая прекрасные окрестности, я писал свой — позвольте сосчитать — вот именно, четырнадцатый — роман под названием «Бумажный пейзаж».



Это была в то же время моя первая вещь, название которой возникло сначала по-английски, а уж потом было переведено на родной. Произошло это оттого, что мне нужно было вначале сделать на этот роман заявку для получения стипендии в Институте Кеннана. В замысле была история бедной души, потерявшейся в бумажном мире современной бюрократии, политики, журналистики, литературы; отсюда и возникло словечко «paper-scape» по аналогии с «sea-scape» и «landscape»*.

Герой романа Игорь Велосипедов, автомобильный инженер, барахтается в потоке различных справок, заявлений, газетных статей, самиздатских рукописей, доносов, анкет, досье... Будучи в курсе (как и многие другие советские интеллигентики) йоговской философии, он размышляет о том, что у человека в современном мире, кроме ниспосланных ему с Небес трех тел (физического, астрального и духовного), появляется еще и четвертое тело, тво-

* «Бумажный пейзаж», «морской пейзаж», «ландшафт».

римое «нимперией», — бумажное тело на фоне бумажного пейзажа.

Велосипедов бунтует, ему хочется вырваться из фальшивого (как он полагает) бумажного мира, но даже и бунт способствует образованию (в соответствующих организациях) его бумажного образа бунтаря. В конце концов, в результате развития литературной, то есть опять же «бумажной» судьбы, наш герой оказывается в Америке, в Манхаттане, где скопление небоскребов иной раз напоминает ему стопки машинописи самиздата.

Реальность в данном случае иронически улыбалась не только в адрес героя, но и сочинителя. В сравнении с американским бумажным потоком советский оказался всего лишь ручейком. В СССР существует одна лишь государственная бюрократия, в США — множество разных бюрократий, которые и обрушивают на человека несметное количество бумаги.

Советская государственная бюрократия, унаследовавшая от царской всю ее тупость и преумножившая это качество во сто крат, стара, малопродуктивна, терзаема неопределенным комплексом вины. Она неповоротлива, плохо оснащена, процесс изготовления бумаг громоздок, отвратен не только получателям, но и производителям.

Американская бюрократия моложе русской, оснащена компьютерами, энергична и, кажется, очень довольна собой. Проходя через упомянутое уже выше управление иммиграции и натурализации, а также оформляясь внештатником на «Голос Америки», я заметил, что система продуцирует свои многочисленные формы с отчетливым удовольствием. Иной раз передо мной оказывались устрашающе огромные листы бумаги с многочисленными параграфами, пунктами, клеточками, с крупным шрифтом и нонпарелью, на которых практически нужно было лишь поставить в каком-нибудь углу «yes» или «no».

К счастью, правительство не охватывает всех сторон жизни общества. К несчастью, кроме правительства, име-

ется множество других бумажных структур, заваливающих обывателя бумажным хламом. Я говорю «к счастью» или «к несчастью», хотя, в принципе, не вижу альтернативы. В отличие от моего героя — бумагоборца Игоря Велосипедова, — я не знаю, может ли общество ограничить свое бумажное обжорство.

Так или иначе, но по мере вrastания в американскую жизнь я становился реципиентом все большего количества бумаг. Не зная еще, что существует такое понятие, как *junk mail**, я приходил в отчаяние, глядя, как на моем столе к концу каждой недели вырастает гора конвертов и пакетов. Пытаясь ответить на настойчивое и любезное внимание моих новых сограждан, я в течение первого года жизни в Вашингтоне выписал восемь кредитных карточек (четыре из них совершенно ненужных), вступил в отношения с тремя разными компаниями страхования жизни, был втянут в какие-то идиотские *sweepstakes*** и, как полный балда, растирал присланным никелем какие-то посеребренные поверхности, дважды вступал в Ассоциацию спортсменов-любителей и почему-то стал получать по три экземпляра их ежемесячного журнала, присоединился к обществам «За чистый воздух», «За охрану животного мира», стал посылать свою ленту в Армию спасения, в World vision, в Союз весенних даффоделей, в United Way, выписал шесть еженедельников, некоторые из которых, например «Тайм», стали почему-то приходить в двух экземплярах, заказал за сто восемьдесят долларов кожаную куртку (за углом такие стоили сто сорок), зажигалку в виде патрона времен Первой мировой войны, после чего вполне естественно вступил в Клуб лучшей книги месяца и получил шеститомную биографию какого-то Адлая Коперстайна, за которую, к счастью, не заплатил ни цента, потому что она, как видно, была послана мне по ошибке...

* Почтовый мусор.

** Вид лотереи.

Срастание коммерческого бюрократа с компьютером придает всем этим отношениям несколько юмористический характер. Предположим, из кредитного общества вам приходит счет, в котором даже вы, бездарный неуч, обнаруживаете ошибку в восемьсот долларов не в свою пользу. С одной стороны, приятно думать, что это не какой-нибудь индивидуум пытается тебя обжулить, а просто компьютер зарапортовался, а с другой стороны, нельзя не вздохнуть: почему машина никогда не ошибается в твою пользу, не насчитает тебе лишнюю сотню, почему она жмет на тебя, а не на себя?

Странное чувство возникает, когда ты вдруг выясняешь, что за тобой идет многомесячная электронная охота. Например, через два с половиной года после отъезда из Калифорнии я получил из Сакраменто категорическое требование немедленно заплатить этому штату должок в размере 1900 долларов. В бумаге сообщалось, что все предыдущие попытки отдельных индивидуумов укрыться от выплаты калифорнийских налогов кончались плачевно, то есть тюрягой.

Надо сказать, что в бытность мою в Калифорнии, то есть в самом начале американской жизни, я и понятия не имел об американских налогах и только лишь удивлялся, почему мое университетское жалованье сокращается к выплате чуть ли не вполтину.

Пока я пребывал в недоумении, из Сакраменто пришли с интервалом в один день еще три угрожающих бумаги — компьютерная охота завершилась успешно, жертва на крючке. Тень решеточки уже маячила в отдалении: плати или садись! Платить ни с того ни с сего не хотелось, садиться тоже. Посадка в американскую тюрьму вызвала бы полное недоумение у кураторов в Москве, на площади Дзержинского. Я пошел к своему аккаунтанту*, мистеру Адамсу. Вот такие, говорю, дела, Чарлз, спаси от тюрьмы. Чарлз Адамс ловкою рукою встряхнул калифорнийс-

* Accountant — банковский служащий.

ние угрозы. И улыбнулся: попытаюсь. Через неделю компьютерная охота завершилась совершенно неожиданным образом. Штат Калифорния вернул мне 680 долларов. Оказалось, не я им должен, а они мои должники, а ведь мне и в голову не приходило угрожать им тюрьмой.

Все американское «финансовое» становится на первых порах полнейшей головоломкой для советского эмигранта. В Союзе денежные отношения между людьми и финансовой структурой общества находятся на добанковском уровне: никаких чековых книжек, а о кредитных карточках никто и не слышал. Финансовые отношения между отдельными людьми в принципе держатся на уровне Золотой Орды. О банках советский человек знает лишь то, что банкиры — это империалисты. Фондовая биржа для меня и до сих пор является самым загадочным американским институтом, и я, видимо, просто никогда не пойму, как, почему и для чего происходит торговля всеми этими *commodities**, почему повышаются или понижаются учетные ставки и что такое «дефицит платежного баланса».

И тем не менее при всей моей финансовой тупости в американской жизни даже я становлюсь маленьким финансистом.

Жизнь в Америке являет на свет, как я понимаю, кроме четвертого, «бумажного тела», еще и пятое, «финансовое тело» человека. Деньги, положенные в банк, равно как и деньги, взятые из банка, это не просто твои сбережения и траты, это как бы твои контуры внутри финансовой реальности. Тратя и вкладывая, оплачивая счета и беря кредит, ты составляешь о себе мнение.

Невинные социалистические души волей-неволей становятся осведомленными в таких понятиях, как «баланс» и «кеш флоу». Банк шаг за шагом вовлекает тебя в какие-то свои таинственные мероприятия, он делится своим мнением о тебе с другими банками и кредитными общества-

* Товары потребления.

ми и еще какими-то организациями. Вначале все это кажется тебе порядочным абсурдом, ты не можешь понять, чего от тебя хотят эти «тузы» и «воротилы» (советская терминология), почему они заинтересованы в твоих жалких деньгах, потом вдруг осознаешь, что стал хоть и ничтожным, но элементом этой страшной жизни и что к твоим малым деньгам банк относится с тем же автоматическим уважением, что и к миллионному куску.

Сложность этой банковской жизни, в которую вовлечен рядовой гражданин, поначалу шокирует советского простака. Вначале даже обыкновенная банковская машина, выдающая наличные, вызывала у нас остолбенение. Помню, как мы изумленно наблюдали на Мэйн-стрит в Анн-Арборе: какой-то типчик хипповатого обличья стоит у стены какого-то дома, нажимает какие-то кнопки, и из дома выскакивают ассигнации, и типчик засовывает их в карман. Теперь и я сам с ловкостью, какой тот типчик, может быть, позавидовал бы, отщелкиваю на этой машине различные трансекшн, беру чистоганом, делаю депозиты, осведомляюсь, «сколько луидоров у нас осталось», и т.п.

Пока мы научились более-менее шевелить мозгами, чтобы извлекать удобства из банковской системы, мы попросту зверели от всех этих «балансов», «кредитов», «дебитов», «депозитов»... Должен признаться, что некая система «Чекстра», в которую меня вовлек мой банк, до сих пор кажется мне формой замаскированного грабежа, хотя я и понимаю, что она направлена на мое благоденствие.

Еще более сложным и, кажется, совсем уже непостижимым (во всяком случае, на текущий момент) кажется нам соотношение между списанием с налогов, займами в банке и учетными ставками. В этих делах я вряд ли когда-нибудь научусь «шевелить мозгами». Разобраться, почему выгодно (или невыгодно) покупать дом, платить банку огромные проценты или, наоборот, не покупать дом, а платить «ренд» за квартиру, представляется мне почти невозможным. Иногда нам с Майей кажется, что мы уже достаточно американизировались и можем теперь хоро-

ню во всем разобраться. Мы садимся за стол и начинаем что-то высчитывать и через некоторое время, полностью запутавшись, бросаем это дело. Иногда нам кажется, впрочем, что и никто в этом не разбирается, включая и тех, что дают нам советы.

О вложении денег — о всяких там инвестициях — и говорить нечего. К моменту эмиграции мой адвокат Лен Шройтер собрал для меня из разных издательств некоторую сумму. Мы ее потратили на путешествия в Европу, Океанию, Грецию. Один из новых друзей как-то нам сказал, что эту сумму за это время можно было увеличить вдвое.

Система американских налогов и списаний в ее запутанности и сложности поначалу показалась мне едва ли не идиотской. Только сейчас я начинаю понимать, что эта система стимулирует инициативу, заставляет людей то трагить, то зажимать деньги, то выискивать всякие лазейки (помню, как мы были поражены, увидев по ТВ рекламу фирмы, которая помогает гражданам находить лучшие tax shelter*, то есть увиливать от налогов), то жертвовать на благотворительность, то начинать какое-нибудь предприятие, то сворачивать; то есть эта система как бы обеспечивает постоянное впрыскивание энергии в камеру внутреннего сгорания национальных финансов, иными словами, эта система рассчитана вовсе не на таких лопухов, как я.

Оглядываясь вокруг, я не без некоторого почтительного содрогания думаю о том, что большинство окружающих нас людей, по сути дела, — американские финансисты. Иной раз видишь пару мужчин, прогуливающих вдоль набережной, или сидящих в кафе, или загорающих возле бассейна. О чем они говорят, думаешь ты. Ну, вряд ли о «Диалогах» Платона или о стихах Эмили Дикинсон, однако вполне возможно, что о женщинах, о спорте, о политике. Прислушавшись, ты чаще всего услышишь, что парочка хоть и с некоторой курортной вялостью, но все же увлеченно обсуждает вложения, учетные ставки, списания, по-

* Списание с налогов.

иски бюджета... Впрочем, и те, что толкуют Платона, и те, что иронизируют в данный момент по этому поводу, вовлечены в финансовый метаболизм этого общества.

Среди разительных несходств советского и американского обществ находится отношение к трате денег. Там трата денег, щедрые покупки, скажем, или гульба в ресторане всегда является чем-то не очень пристойным, каким-то щекотливым делом, здесь трата денег — почтенное и общественно полезное занятие.

Среди еще более разительных различий находится информация об экономической жизни. Гражданин так называемого организованного общества с его плановой экономикой не имеет ни малейшего представления о том, что происходит в стране (несмотря на оглушающие радостные крики о победах и достижениях), — будто под ним гигантское мертвое тело.

В Америке ежедневно в газетах и по ТВ мы видим реальные цифры подъемов и падений, а колебания этой таинственной биржи как бы отражают движение могучего брюха, вздутие мышц, раздувание альвеол, эрекцию кавернозных тел этой неплановой, то есть как бы хаотической, экономики.

Благотворное неравенство

Почувствовав себя частичкой этого общества, я не мог не подумать о неравенстве. В самом деле, в стране, где проживает миллион (sic!) миллионеров, каждый 240-й из встреченных вами на улице является таковым, в то время как 239 таковыми не являются, то есть страдают от неравенства.

Однажды в Вашингтоне зашел спор на эту тему. Вообразите, он происходил на кухне, то есть в московском стиле. Понятие «кухня московского интеллектуала» уже вошло в литературный жаргон во всем мире. Вариантов спасения человечества было на этих кухнях предложено гораздо больше, чем рецептов пирога.

В Америке кухонный период общественной жизни как-то выпадает из наблюдений. Здесь дискуссия перенесена в обеденный зал: тысячи тематических ланчей и обедов еженедельно по всей стране. Я и сам не раз побывал на таких мероприятиях — и гостем-спикером, и едоком-дискуссантом уже посидел немало.

Спор, о котором я сейчас говорю, по мизансцене напоминал московскую кухню, но, согласно американской культурной традиции, никто не старался перекричать оппонента или открутить ему жилетную пуговицу.

Речь шла о равенстве и неравенстве. Свеженькая темка, не правда ли? Копий и дров наломано столько, что хватило бы, пожалуй, на растопку не одной, а десятка цивилизаций. «Вот, Василий, выскажись, ведь ты приехал из общества полного равенства». — «Э, нет, господа, прошу не разводить мелкобуржуазную уравниловку! Конечно, СССР — самое равноправное общество на земле, но, как говорил теоретик Снежок из романа «Скотский хутор»: все животные, товарищи, равны, но некоторые все-таки равнее!» Творческая мысль в СССР признает, что нынешнее самое справедливое все-таки еще не вполне справедливо, еще не вполне совершенно, ибо еще предстоит нам дорога к нашему идеалу — «от каждого по способностям, каждому по потребностям», то есть к этим зияющим, виноват, сияющим вершинам.

Маршу мешают скептики, малoverы. Каждому по потребностям воздать невозможно, говорят они. Получится безобразное обжорство, глупейшее расточительство, разгул и разврат, никакая экономика не выдержит, крикнет даже самая передовая, та, что нынче такими успехами поражает человечество. Скептики, конечно, не правы. Они танцуют от капиталистической печки и говорят о капиталистических потребностях. Между тем принцип «каждому по потребностям», очевидно, достижим, если как следует поработать над потребностями, то есть снизить их до необходимого уровня или научиться ими управлять в зависимости от возможностей экономики. Таким образом, господа, нам не очень-то

следует обольщаться, говоря об удовлетворении потребностей: ведь речь-то идет об удовлетворении иных, не нынешних, коммунистических уже потребностей. В определенном смысле работа по выработке этих новых потребностей началась давно и идет довольно успешно, хотя не без некоторых досадных огрехов и сбоев. Духовные потребности населения, например, доведены до блестящего минимума, и нынешний уровень, конечно, еще не предел.

История дает впечатляющие примеры. До 1917 года в России была огромная потребность в религии, и вдруг она разом в огромном масштабе прекратилась. Нынче эта потребность как-то нежелательно возросла, однако опыт по ее снижению накоплен основательный, и в нужный момент ее, очевидно, можно будет спустить до прежнего минимального старческого уровня. К очень подходящему уровню сведена потребность общественной активности, примером тому многомиллионная организация сторонников мира во главе с Ю. Ж. Этот же товарищ олицетворяет наши потребности в журналистике и политической активности. Высылка доброй сотни русских писателей за границу говорит о потребностях в литературе.

Итак, история показывает нам знаменательные изменения духовных потребностей, ну, а что касается самой истории, то в ней потребность попросту микроскопическая. Словом, в духовной сфере советское общество семимильными шагами идет к полному равенству. Этого пока, увы, не скажешь о потребительской сфере. Тут гражданин еще жаден, капиталистичен. Подавай ему пищу повкуснее да подороже, одежду попрочнее да поизящней. Экономика, нацеленная на равенство, никогда не справится с этими потребностями неравенства. Как это противоречие преодолеть, да и преодолимо ли оно? Строгими дисциплинарными мерами, конечно, можно добиться желательного снижения потребительских потребностей, ну, а экономика уж сама себя покажет. Если невозможно стремиться к повышению качества жизни, то для достижения равенства можно стремиться к снижению качества жизни.

Тут в споре всплыла известная формула Черчилля: «Капитализм — это неравное распределение блаженства, социализм — это равное распределение убожества». Кто-то тут же сказал, что в наши дни эта формула нуждается в поправке.

Социализм, или то, что называется сейчас «реальный социализм», в самом деле вызывает всеобщее убожество, однако распределяется оно неравномерно. У одних его (убожества) больше, у других (особенно у тех товарищей, что равнее равных) меньше. Исправленная формула Черчилля звучала бы так: «Капитализм — это неравное распределение блаженства, социализм — это неравное распределение убожества». Однако даже убожество, распределенное не поровну, все-таки больше соответствует человеческой природе, чем утопии равенства, они ужасают и в самых блестящих вариантах.

Равенство, на каком бы уровне оно ни возникло, пусть даже на самом богатом и преуспевающем, быстро приводит к снижению уровня и убожеству. В неравенстве — залог прогресса. «Мне нравится, что в обществе есть недоступно богатые люди», — сказал один из участников дискуссии. Помните, как у Фицджеральда: «Богатые — это другие». Присутствие элиты делает жизнь интересней, попросту забавней. Мне самому, например, наплевать на золотые часы «Роллекс» или «Конкорд» с бриллиантами, прекрасно обхожусь «Сейкой», работает не хуже, но вот почему-то приятно, что кто-то рядом носит эту бессмысленно дорогую штуку.

Англичане недаром (даже и при лейбористских правительствах) поддерживают институт королевского двора. Это эталон замечательного общественного и эстетического неравенства. Принц Чарлз в интервью с американским журналистом Питером Осносом показал ясное понимание своей роли как общественного эталона «британства». Питер продемонстрировал удивительное портретное сходство с принцем и схожую манеру одеваться, однако отметил не без удовольствия, что костюм высо-

чайшей особы в два раза дороже. Вполне естественно, что в споре зашла речь о другом полюсе неравенства, о бедных и обездоленных. Уж не собираются ли сторонники неравенства представить наше общество идеалом в то время, как пресса и телевидение ежедневно сообщают о тысячах бездомных, об очередях к благотворительному котлу, о нуждающихся и безработных. Какой уж там идеал! Никто пока что в реальном мире и не предвидит идеала. Наличие нищеты и убожества — это одна из главных общественных проблем, «головная боль», как здесь говорят. Убожество, однако, не ликвидируешь, отобрав у богатых их излишки и распределив среди бедных. Надолго не хватит. Динамично развивающееся общество борется за своих бедных гораздо более сложными и многообразными путями. Допустимый уровень бедности соприкасается с уровнем человеческого достоинства. Всякий человек должен иметь свое жилище, за исключением, разумеется, тех, кто не хочет его иметь, а таких тоже немало. Экономическое неравенство в присутствии человеческого достоинства — вот о чем, собственно говоря, следовало бы вести речь. Не против богатых, но за бедных — таков, кажется, смысл современной экономической справедливости.

Клуб американских миллионеров, если можно так сказать, — это сердцевина процветания в этой гигантской стране. Социальная демагогия проваливается в обществе, где каждый хочет стать миллионером, где неравенство вызывает снизу не желание отнять, а желание подняться выше, получить и потратить больше. Любопытно, что, вступив в эру новой технологии, общество потребления предлагает новую форму равенства, основанного не на марксизме или других социальных теориях, а на практике современной торговли.

Спорщик, высказавший эту мысль, приводил примеры из сугубо практической жизни. Ну вот, извольте. Миллионер покупает «Роллс-ройс» за сто тысяч, а бедняк покупает «Фольксваген-кролик» за пять тысяч. Неравенство,

дикая социальная несправедливость как будто бы налицо, однако «кролик» катит не намного хуже, чем «серебряная тень», так же, как «роллс», он дает вам прикурить, развлекает музыкой, рессоры у него отличные, кресла удобные, хоть и не из марокканской кожи, а из пластика, имеется внутри и кондиционер воздуха, и отопитель; транспортные возможности бедного человека приближаются к миллионерским. Кто-то тут попутно рассказывает курьезную историю. Оказывается, гаражи не принимают «Роллс-ройсы» на стоянку: очень уж страховка высока. Дискриминация миллионеров.

Ну, вот еще примеры. Появляются, предположим, технологические новинки, какие-нибудь новые модели стерео- или видеосистем. Поначалу они доступны только очень богатым людям, но не проходит и года, как цены на эти товары фантастически падают, а еще через год или менее того они уже становятся доступны практически всем. Это происходит на наших глазах. Промышленность и торговля в жажде продать побольше, то есть в жажде развития, постоянно усовершенствуют свои открытия и удешевляют их массовое изготовление.

Появляется новый стиль в одежде. Шестифутовые манекенщицы демонстрируют тряпки баснословной цены. Проходит месяц, и огромная индустрия начинает выбрасывать точно такие же тряпки на рынок по вполне доступным ценам. Ориентация на богача плавно переходит в ориентацию на середняка, а потом и на бедняка. Не надо делать богача беднее, надо сделать бедняка богаче.

Современному бедному человеку доступны наслаждения, которые были ранее только достоянием богатых. За пятерку можно слушать лучшие оркестры мира, за десятку — смотреть великолепные репродукции. Бурно развивающаяся видеомузыка дает еще большие возможности. Перелеты через океан становятся все дешевле, несмотря на инфляцию.

Все доступней становится копирувальная и множительная техника, домашние компьютеры и проч.

Так возникает новый мир, и так возникает это странное новое равенство посреди неравенства. С марксистской точки зрения это, конечно, не подлинное равенство.

Да, скажем мы, к счастью — не подлинное.

От неравенства экономического мне очень легко перепрыгнуть в неравенство политическое, ибо в этой сфере американской жизни у меня пока что нет никаких прав, за исключением права возвращаться в эту страну из заморских путешествий.

Прилежно выплачивая налоги в течение пяти лет, я в конце концов заполучу право гражданства и вместе с ним возможность участвовать в великой борьбе «слона» и «осла», однако должен признаться, что пока я никаких особенно пылких гражданских эмоций в отношении американской политической структуры не испытываю, за исключением одной — чтобы она держалась.

Американцу, должно быть, редко приходит в голову, что его демократия может покачнуться или вдруг развалиться. Нам, людям из Восточного блока, на первых порах демократия кажется хрупкой и уязвимой, как Красная Шапочка в лесу. Привыкшие к беззаконию наших бывших правительств, к постоянному глумлению над личностью, мы долго еще считаем эти качества проявлением силы, в то время как американская демократия кажется нам избыточной и мы за нее просто боимся.

Вот, например, Уотергейтское дело. Американская пресса осуществила свое право на критику любой личности, включая и президента. Газета «Вашингтон пост» изгнала из офиса первого человека страны. С одной стороны, последствия этой кампании оказались более чем трагическими. Кризис института американского президентства привел к установлению тоталитаризма в нескольких странах Азии и Африки, к уничтожению красными трех миллионов камбоджийцев, к глобальному падению авторитета демократии.

Не без содрогания выходец с Востока думает о том, что может произойти в дальнейшем, если что-то вроде этой

истории повторится. Развал Соединенных Штатов, тот самый «последний и решительный бой», о котором они поют в своем гимне?.. Нелегко нам увидеть вторую сторону этого дела и представить его как один из катаклизмов, необходимых для укрепления американской демократии. Нам трудно понять тот факт, что американцы, в гигантском большинстве патриоты, не отождествляют страну с правительством. Коммунисты всем вбили в головы, что они и есть Россия, что их партия — это и есть Советский Союз, государство, воплощение национальной гордости и патриотизма. Не чураясь и метафизики, они внедряют в головы людей страннейший постулат «Народ и партия — едины!».

Огромность и мощь Америки автоматически вызывает у советских людей предположение, что и здесь происходит нечто подобное советским процессам, что где-то существует единый (может быть, невидимый?) центр, контролирующий всю американскую жизнь. Иначе как, мол, можно все это удерживать и приводить в действие?

Прошлой зимой несколько моих студентов университета Джонс Хопкинс и Гаучер-колледжа побывали туристами в Советском Союзе. Масса впечатлений и возбуждение немалое. Один щеголяет в советской флотской шинели, которую где-то выменял на пару джинсов. «Как же вы там обходились, Тим, без джинсов? — спросил я. — Ведь холодно». — «Запасные, сэр, — пояснил он. — Основные оставались на мне». Двадцатилетние американцы были поражены некоторыми вопросами, которые им задавали советские люди об американской жизни. У нас сложилось впечатление, говорили они, что многие там всерьез считают Штаты тоталитарной страной. С неподражаемым сочувствием спрашивают, как в Америке осуществляется «промывка мозгов». Уверены, что ФБР — повсюду, что университеты, скажем, кишат стукачами, инакомыслие повсеместно подавляется, телефонные разговоры подслушиваются, письма перлюстрируются, и все это направляется президентом Рейганом, настоящим диктатором. «Мы

просто руками разводили, — говорили студенты, — видно было, что ничего не докажешь, да к тому же, знаете, как-то смешно защищаться от таких обвинений, находясь в Советском Союзе».

В самом деле, проще всего было бы отделаться замечательной русской поговоркой «чья бы корова мычала, а твоя бы молчала», но все-таки присутствует в этом деле некоторый аспект, который призывает продолжить разговор. Дело в том, что не только те люди, что задавали нашим студентам подобные вопросы, то есть не только те, кто подавлен ежедневной и ежечасной антиамериканской пропагандой или попросту осуществляют оную, но и независимо мыслящая российская публика имеет некоторые сомнения в отношении Соединенных Штатов. В Европе, дескать, это да, настоящая демократия, а вот в Америке все-таки, знаете ли, все сверху управляется, там очень крутая администрация, там военно-промышленный комплекс, ФБР, ЦРУ и проч. Мало кто по-настоящему понимает, насколько демократично американское общество, как здесь развито не просто инако-мыслие, но разно-мыслие.

Чего только не писала советская пресса о Рейгане, особенно в начале его президентства; называла его чуть ли не вторым Гитлером — о Сталине почему-то в этих случаях не вспоминается. Конечно, мыслящие люди в СССР этому не верят, но даже они не представляют себе той простоты, с которой президент располагается в порядках американской жизни. В России народ любит рассказывать анекдоты о своих правителях; кто шепотком, а кто и громко. Здесь устных анекдотов о Рейгане вы не услышите. Почему? Боятся ФБР, так, разумеется, объяснит «Литературная газета». На самом же деле все анекдоты о Рейгане немедленно печатаются в газетах и журналах, изображаются в карикатурах и распространяются в миллионах экземпляров. А между тем прессу в США советские газеты называют «машинной американской пропаганды».

Восхитила меня история с шестнадцатым блоком Пенсильвания-авеню. Однажды в вечерних новостях мы ус-

мышали, что Белый дом хочет по соображениям безопасности закрыть эту часть улицы для траффика. После этого в местной прессе печатались бурные протесты. «Пен» принадлежит вашингтонскому люду, а не президенту Рейгану, заявила мэрия города. Хотел бы я увидеть, как Моссовет вот так же осаживает Горбачева.

В Вашингтоне немало магазинчиков с левым уклоном различного градуса. Недавно я шел мимо одного из них (в десяти минутах ходьбы от Белого дома, между прочим) и увидел в витрине сатирический плакат. Он назывался «Анатомия нашего президента». На нем был изображен Рональд Рейган в трусах. Надписи и стрелочки обозначали его органы. Уши президента, гласила одна надпись. Левое не действует, президент внимает только звукам справа. Руки* президента — чрезмерно развиты. Сердце президента работает ритмично, потому что он спит восемнадцать часов в сутки. Разумеется, чем ниже шли стрелки, тем сомнительнее становились надписи.

Это Америка. Сомневаюсь, что британские смутьяны выставят в таком виде свою королеву или французы — Миттерана. В Европе еще сохранилось традиционное почитание первого человека страны.

Рейган — американец, и это его не очень-то волнует. Должен сказать, что этот президент вообще, как мне кажется, неплохой парень. Когда пуля ублюдка попала ему в грудь, на лице его не мелькнуло даже тени страха. Это видела вся страна сотни раз в бесконечных повторях. Удар в грудь, и вслед за этим лишь жесткий взгляд — откуда атакуют? Известно, что лидер одной другой большой страны в обстоятельствах менее серьезных сходил под себя. Походкой и жестикующей президент почему-то напоминает мне моего покойного друга Статиса, отличного графика и пловца. У него неплохое чувство юмора и даже самоиронии, поистине уникальное качество для государственного деятеля. На последних выборах американцы

* Английское слово «агт» означает и «рука», и «оружие».

продемонстрировали свое отношение к этому, как один репортер выразился, *ultimate product of Hollywood**.

После пятилетней жизни здесь смешно встречать в советских газетах выражение «американская машина пропаганды», тем более смешно читать, что администрация Рейгана манипулирует этой машиной. Знаю по собственному опыту, как трудно советскому человеку до конца уяснить, что американские средства информации (за исключением только сравнительно небольшого правительственного информационного агентства) не имеют никакого отношения к правительству, а, напротив, как бы противостоят ему.

Порой становится не очень-то приятно наблюдать, как газетчики и репортеры телевидения чуть ли не преследуют президента, ловят его на каждом слове, сообщают (даже) результаты его последнего медосмотра, пересчитывая все лимфоциты и эозинофилы, вслед за хирургами лезут президенту в кишки. (В СССР кишки вождя — высшая государственная тайна.)

Комментаторы ТВ считают своим долгом прежде всего поставить под сомнение любое заявление президента. Сначала усомнимся, а потом поговорим — вот принцип. Например, если президент говорит, что надо улучшить дисциплину в школах, по телевидению тут же сообщается, что в этом нет никакой нужды, что в школах и так все в порядке. Без сомнения, если бы он сказал, что дисциплина хороша, тут же показали бы всякую гадость.

В интеллигентских кругах возник определенный стереотип леволиберального фрондерства. Чтобы сказать в адрес президента несколько положительных фраз, надо в общем-то обладать каким-то уровнем независимого мышления. Русским эмигрантам поначалу все это кажется катастрофичным, но потом они начинают думать, что, может быть, именно на этом разномыслии и зиждется американская мощь с ее гибкостью и взаимозаменяемостью частей.

* Конечный продукт Голливуда.

Любопытно, что в антирейгановском раже советские газеты нередко перепечатывают американские статьи, бьющие по президенту, и на тех же своих страницах убеждают читателей, что Рейган задушил малейшие проявления свободы.

Иные из антирейгановских сатирических плакатов в окнах левых книжных лавок бывают не лишены остроумия, другие отличаются изрядной тупостью. Недавно я видел одну такую карту — «Мир согласно Рейгану». На ней изображен был, например, крупнейший Тайвань и съжившийся коммунистический Китай. Огромная Польша с надписью «Солидарность» подавляла мелкие страны Европы, охваченные пацифизмом. Отечество для палестинцев было найдено в Северном Ледовитом океане. Над СССР было написано «Страна безбожных лгунов». Простите, ребята, но в последнем случае ваша ирония, как унтер-офицерская вдова, «сама себя высекла».

И все-таки я не все понимаю, если не сказать большего. Американская демократия, видимо, основана на психологических структурах, мне неведомых.

Впервые с самого начала наблюдаю избирательную кампанию. К моменту написания этой строки в ней начинается очередной скандал. Первое в истории страны выдвижение женщины на пост вице-президента вызывает общенациональную эйфорию, а через пару недель газеты и телевидение с изартом начинают выяснять запутанные финансовые дела ее мужа. С экрана ей задается вопрос: «Что вы там прячете, мэм?» Но в то же время многотысячные толпы встречают ее восторженными воплями, а серьезные политики говорят, что, каким бы ни оказалось раскрытие финансовых махинаций, оно не повредит ее шансам на выборах.

Нам, американофилам из СССР, кажется, что демократический процесс должен осуществляться какой-то особой породой безупречных людей, а он между тем осуществляется людьми обычными, среди которых есть и глупцы, и показушники, и честолубцы, а чаще всего людьми, в которых чего только не намешано. Народу приходится де-

лать отбор среди всех этих качеств. Проблема выбора, столь часто встающая перед американцами, кажется нам, людям, уставшим от тотального политического обмана, тяжелой ношей. Один огромный всеобщий обман, конечно, проще массы всевозможных маленьких приемов и уловок.

Вашингтон — Москва с почтовыми голубями (предвыборная переписка)

В кинофильме «Москва-на-Гудзоне» русский беженец падает в обморок, не в силах выбрать в супермаркете сорт кофе из дюжин, расставленных на полке. Слишком обширный выбор оказывает слишком сильное действие на нетренированные мозги.

Подобного же рода головокружение я испытывал, наблюдая теледебаты девяти демократических кандидатов на одно место соискателя одного стула. Девять! И каждый лучше предыдущего, и так по кругу, то есть наоборот! Не слишком ли щедрый выбор?

Благодаря мудрым и дальновидным иммиграционным законам я еще не имею избирательных прав, так что можно не волноваться, однако мне как-то не по себе в этом году, все время спрашиваю себя, что бы я сделал, будь избирателем?

Намерения всех кандидатов в президенты США столь благородны! Как определить высший уровень благородства?

Я поделился своими сомнениями со старым московским другом, по имени Фил Фофановф, известным в Москве как смесь Чайльда Гарольда и Санчо Пансы, человеком из нынешнего урожая российской интеллигенции, иначе говоря, внутренним эмигрантом. Мы умудряемся сноситься друг с другом посредством почтовых голубей.

Вашингтон — Москва

Дорогой Фил, впервые в жизни я наблюдаю американскую избирательную кампанию с самых ее истоков. Сейчас каждый вечер в нашей гостиной шумят отголоски таинствен-

ных событий, имеваемых «праймериз» и «кокусы»*. Эти американские «кокусы» не имеют никакого отношения ни к московским кактусам, на один из которых ты однажды по пьянке сел к полному неудовольствию твоего зада, ни к Кавказу, где мы когда-то с тобой карабкались.

Возможно, ты помнишь, что мы прекратили голосовать еще в 1956 году, когда впервые обнаружили смехотворный обман в советских избирательных бюллетенях. Инструкция на этих листках гласила: «Оставьте одного кандидата, остальных зачеркните». Ты сказал: «Смотри, здесь нет никаких «остальных», здесь только одно имя. Они нас принимают за имбецилов». С тех пор слово «выборы» у нас не вызывало ничего, кроме тошноты.

Сейчас волей-неволей я чувствую даже и себя вовлеченным в местную гонку, и я не исключение в нашей эмигрантской общине. Собираясь, мы обмениваемся дежурными фразами об Андропове и Черненко, а потом не без пыла начинаем обсуждать все эти «кокусы», толковать такие вздорные предметы, как «каризма»**, и вслед за всей нацией выкрикивать: «Where is the beef?!»***

Спрашиваю себя — что это такое: подсознательная потребность человеческой природы или азарт болельщика?

Птахи нынче летают быстро. Вскоре я получил ответ.

Москва — Вашингтон

Дорогой Василий, вообрази, ваши американские выборы нынче совпадают с нашими советскими выборами!

* Primary — предварительные выборы, голосование для выставления кандидатов. Caucus — секретные, закрытые совещания лидеров партий для сговора о кандидатах, заключения компромиссов; предвыборный митинг сторонников какой-либо партии.

** Charisma — притягательная сила, обаяние, шарм, Божий дар.

*** «Где же мясо?!» — фраза касалась популярных в США котлет — гамбургеров и прозвучала в одной из телевизионных передач. Эмоциональность и выразительность, с которой она была сказана, сделали ее крылатой.

Как раз когда я читал твое письмо, раздался стук в дверь. Вошла хорошенькая девушка и сказала:

— Привет, я ваш агитатор. Мне нужно зарегистрировать ваше имя, возраст и пол для приближающихся выборов в Верховный Совет.

— Вы появились вовремя, — сказал я. — Не могли бы вы разъяснить мне разницу между советскими и американскими выборами?

Она заглянула в «Спутник агитатора» и разъяснила:

— В американских выборах все кандидаты являются ставленниками военно-промышленного комплекса.

— То есть вы хотите сказать, что и американские избиратели не имеют никакого выбора?

Хорошенькая агитаторша пожала плечами и вздохнула:

— Что вы задаете такие страшные вопросы, товарищ? Лучшие скажите, что записывать в графе «пол». Мужчина?

Вашингтон — Москва

Дорогой Фил, третьего дня один из этих «ставленников военно-промышленного комплекса» яростно атаковал проект бомбардировщика Б-1. Выступая перед студентами университета, он заверял их, что отнимет жирные куски у ненасытной военной машины и отдаст их им, худощавым молодым людям. Он явно рассчитывал на взрыв аплодисментов и восторга, подобных тем, что когда-то тут получал тот, с которым его сейчас сравнивали, однако студенты по совершенно непонятным причинам хранили ироническое молчание.

К счастью, все это пока ко мне не имеет отношения. У меня нет прав оценивать кандидатов по их философской мощи или интеллектуальным возможностям.

Единственное, что я в самом деле могу оценить, это их внешность. Посмотрев на них с этого угла, я нахожу их всех довольно привлекательными — высокие, подтянутые, костюмчики неплохо пошиты, аккуратные прически. Лысины не просматриваются. Улыбкого человека, похоже, мало шансов на избрание.

Конечно, кандидаты — не самые красивые люди в этой стране, но они и не должны быть «самыми», иначе от них можно было бы потребовать и комбинации других «самых-самых» качеств. Они просто должны быть fit* для президентства, вот в чем дело.

Кроме каризмы, дорогой Фил, у них еще должны быть рекорды. Нужно иметь лучшие рекорды, чем у других, чтобы стать президентом или хотя бы кандидатом в президенты. У меня довольно смутное понятие о том, что это означает, поэтому я продолжаю концентрироваться на их наружности. Например, когда один из кандидатов гордо заявил, что у него лучший рекорд по вопросу гомосексуализма, я заметил, что костюм у него в то утро был безукоризненный, но из левого уха торчал пучок седых волос.

Как выбирать, кому отдавать предпочтение? Возьмем, к примеру, трех парней из девяти, сидящих на сцене. Все они за nuclear freeze**, но у одного физиономия самодовольного кота, другой напоминает лося, в то время как третий отличается скользящими, как у морского льва, телодвижениями...

Москва — Вашингтон

Дорогой Василий, твой новый «физический» подход к соискателям в американских выборах заставил меня подумать о наших проблемах. Не кроется ли в этом решение наших неразрешимых однопартийных самовыборов? Отягощенный этими мыслями, я направился за советом к могущественному товарищу ХУН, секретарю Союза писателей и депутату Верховного Совета.

— Товарищ ХУН, почему бы нам не иметь двух кандидатов на одно место? Пусть оба будут членами нашей единственной и единственно возможной партии, но один

* Годный.

** Замораживание производства атомного оружия.

будет, скажем, кудрявым, а другой — хромым. У людей появится шанс сделать выбор, и таким образом мы заткнем рот буржуазным клеветникам, говорящим, что у нас выборы без выборов.

— Не пойдет, — сказал мрачный товарищ ХУН после продолжительного молчания. — Люди не смогут решить сами, что лучше — кучерявость или ущербная нога. Кроме того, физические данные кандидатов могут затмить неоспоримое совершенство марксистской теории. Наша партия решила раз и навсегда: один — это лучше, чем два. Удовлетворены моим объяснением, гражданин Фофанофф? Не советую вам поперед бабки в пекло лезть. Всего доброго.

Вашингтон — Москва

Дорогой Фил, хотя мы и потеряли по пути несколько седовласых парней, американская избирательная кампания грохочет все сильнее. Вроде бы меньше стало кандидатов, а количество черт, из которых надо делать выбор, все увеличивается. Тут у нас и возрастные морщины, и неточная нумерация прожитых лет, оттенки кожи и произвольные движения языка... сходимость с прототипами и несходимость ни с кем, усы, пробор в волосах, неожиданный набор «новых идей»...

Становится все более очевидным, что идеальная композиция невозможна, а как избрать лучшую? У меня нет навыка к демократии, Фил. Предпочтение одного другому — не кроется ли в этом какое-то аристократическое высокомерие? Все время спрашиваю себя, как примирить все эти противоречия?

Москва — Вашингтон

Дорогой Василий, вслед за Пушкиным, «откупори шампанского бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро».

1982

Бернадетта Люкс, взяв старт от Центра долголетия, мощно катила на роликах вдоль океана. Волосы за ее спиной развевались наподобие хвоста знаменитого коня Буцефала, мемуары которого вот уже неделю лежали у нее на ночном столике. Трудно было узнать в этом очередном подобии Джейн Фонды некогда ленивую домоуправляющую. Аэробика превратила ее в вечную девушку, агента по недвижимости.

Рядом с ней скользил другой агент по недвижимости, а именно Рэндольф Голенцо, давно уже сменивший пивную рыхлость на мускулы молодого мужчины. Гордые и независимые male и female, имея на головах усовершенствованную звуковую систему, общались друг с другом на фоне Героической симфонии мистера Бетховена.

— I made up my mind, — сказала Люкс. — And the answer is «yes».

Голенцо кивнул со сдержанным счастьем:

— Let's go to my place. I have coffee «Better choice» for further ideas!*

Так образуется новая прослойка населения, известная теперь под именем «яппи».

Надо ли добавлять, что вскоре на горизонте появилась ритмично бегущая пара — Лев Грошкин и генерал Пхи.

1953

Скорбь и мороз сковали город. Светилась только вывеска аптеки, что еще можно было кое-как понять, и ресторан, что было нагло и бессмысленно: кто же захочет со-

* Я окончательно решила... и мой ответ «да». — Пошли ко мне. У меня есть кофе «Лучший выбор»!

мнительных ресторанных удовольствий в такую ночь, когда все человечество рыдает?

И вот, оказывается, нашлись негодяи! Четверка, задумавшая отметить день рождения Филимона в день смерти Иосифа, пробиралась по пустой и темной улице Карла (Маркса).

Ресторанчик «Красное подворье» пользовался в городе дурной репутацией. Там собирались, согласно данным комсомола, городские плевелы, трутни, плесень рода человеческого. В этом месте и в обычный вечер можно замарать репутацию, а в такой трагический момент потери человеческого великана можно оттуда с ходу «загреметь» в «Бурый овраг», как называли в городе штаб-квартиру местных органов.

Вот уже появилась знаменитая круглая афишная тумба, оставшаяся в городе с тех пор, когда на этой улице, называвшейся тогда Капитальной, преждевременно ликовавал капитализм. Порывы морозного ветра треплут край желтой афиши, она тем не менее гласит:

«Республиканская филармония. Всего шесть вечеров. Знаменитый негритянский певец, танцор и художник Боб Бимбо. Сатирические портреты поджигателей войны. Песни и танцы угнетенных народов мира». В овальной рамке на афише портрет молодого чернокожего.

Эта афиша уже несколько дней будоражила город. Посреди замерзших мочевых потоков повеяло «бананово-лимонным Сингапуром». Говорили, что Боб Бимбо одним росчерком грифеля рисует на доске портреты Черчилля, Трумэна и Джона Фостера Даллеса, вместе взятых. Университетские циники, правда, шептались, что у Боба Бимбо «яйца белые», но эта деталь, естественно, только подогревала провинциальное воображение.

1983

Лева Грошкин однажды для поддержания своей молодости нашел неплохую ночную работу, три раза в неделю

швейцаром в ресторане «Нувориш». Приклеив усы а-ля маршал Буденный, он выдавал себя за сербского князя Онто-Потоцкого, личного врача президента Тито в период партизанской войны на Балканах. Хронологическая чепуха никого не смущала, может быть, потому, что в «Нуворише» никто толком не говорил по-английски, а может быть, и потому, что все были немножко не теми, за кого себя выдавали.





ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несколько лет назад, когда в Европе происходили массовые антиамериканские демонстрации, случилось мне беседовать на эту тему с одним важным лицом в Вашингтоне.

Вообще-то, говорю я, на все эти довольно постоянные антиамериканские чувства в Старом Свете можно посмотреть в аспекте черной неблагодарности. В принципе-то Америка ведь не сделала Европе ничего плохого, кроме хорошего. Дважды помогла выбрать-ся из военных пропастей, помогла отстроиться на руинах, соорудила надежный щит на восточных рубежах. Откуда же берутся негативные эмоции в самых разных, и не только левых, слоях европейского населения?

Все очень просто, сказал мой собеседник, мы богаты, нам завидуют.

«У-упс», — подумал я уже на американский лад (на свой лад я подумал бы «о-опс»). Важное лицо, невзирая на свой сорокалетний возраст, находится в плену клише тридцатилетней давности. Разве Европа нынче так уж бедна по сравнению с Соединенными Штатами, сэр? Разве «Мерседес» завидует «Кадилаку»? — спросил я.

Конечно, конечно, кивнул он. Они сейчас не так бедны, однако, согласитесь, ведь мы все же гораздо богаче всех прочих; вот отсюда и зависть.

Я подумал тогда об этом до сих пор еще живучем феномене — априор-

ном восприятии своей Америки как «самой, самой»... Не требуя доказательств, чтобы воспринимать свою Америку как самую богатую и могущественную страну мира (что, в принципе, так и есть, хотя и требует некоторых доказательств), американскую науку как самую передовую в мире, американское кино как самое увлекательное, американских атлетов как самых сильных и искусных и т. д.

До сих пор еще меня восхищает, как, ничтоже сумняшеся, здесь объявляют бейсбольный финал «мировой серией», хотя никто, кроме американцев, в розыгрыше не участвовал. Подразумевается, что им, чужим, и нечего участвовать — заведомо слабее. Чемпионов NFL и NBA* величают чемпионами мира. Скорее всего, и те и другие действительно сильнейшие в своих видах спорта, особенно футболисты за полным отсутствием соперников, но ведь все же чемпионами мира становятся в соревнованиях на первенство мира, а не на первенство Соединенных Штатов, не так ли?

Иные американские интеллигенты склонны видеть в этом проявление американского великодержавного шовинизма, а мне скорее это представляется деревенским простодушием, сродни тому, как суперсилач на ярмарке рвет цепи и орет утробным голосом: «Я самый сильный человек в мире!»

Можно гадать: то ли это априорное, почти не нуждающееся в доказательствах чувство превосходства приводит американцев к определенной изоляции от Европы или, наоборот, изоляция, оторванность вызывает это чувство — ясно, однако, что оно раздражает друзей. Мы, новые американцы, столкнулись здесь с неожиданным и щекотливым обстоятельством. Из Советского Союза американцы представлялись нам «гражданами мира», полиглотами, космополитами. В реальной жизни они оказались в большей мере замкнутыми на своей стране, на американской планете.

Взять хотя бы все тот же спорт. Будучи болельщиком некоторых видов спорта, я обычно в Советском Союзе не-

* Национальная футбольная лига, Национальная баскетбольная ассоциация.

годовал, что телевидение скупо освещает международные соревнования, приписывая это, разумеется, специфике советского общества, его идеологической закрытости. Каково же было мое изумление, когда я обнаружил, что для американской публики международный спорт попросту не существует. Ожесточенно щелкая кнопками телевизора, я не мог найти не только репортажа о соревнованиях в Европе, но даже сообщения о них в программах новостей. В Америке был какой-то другой спорт, совершенно иная концепция этого вида человеческой активности, к которой я долго не мог привыкнуть.

Помнится, в тот месяц, когда мы сюда приехали, проходили международные соревнования по хоккею на Кубок Канады. В СССР это считается главным спортивным событием: вновь в который раз решается трагический вопрос современности — кто сильнее, славянская «ледовая дружина», составленная в основном из офицеров армейского спортклуба, или «надменные суперзвезды» профессионального хоккея? Напряжение нагнетается с каждым матчем, в подтексте разумеется схватка социализма с капитализмом. Все матчи транслируются в Москву, и улицы обычно в эти часы вымирают.

Прорыскав в Америке по всем каналам, я так и не нашел не только ни одного репортажа, но и ни одного сообщения об этом турнире. Вместо хоккея по экрану неторопливо бегали немолодые уже дяди, нередко с отвисшими задами и животами, в форме, напоминающей зимнее белье, махали палками, ловили мячи в кожаную перчатку, осерчав, бросали в судью песком.

Боясь погрязнуть в невежестве, я рыскал по газетам, пытаюсь найти хоть какое-нибудь сообщение о Кубке Канады. Наконец в «Нью-Йорк таймс» в глубинке спортивной страницы я обнаружил несколько строк, из которых следовало, что русская команда разгромила звезд канадского хоккея со счетом 8:2. Сомневаюсь, что, кроме русских эмигрантов, эти строчки кем-либо были тут обнаружены. Пропали, стало быть, втуне столь могучие усилия

доказать преимущество социализма при помощи хоккейных клюшек.

Спустя некоторое время начался внутренний хоккейный чемпионат на Кубок Стенли, и вот тут-то пошли репортажи, и сообщения в новостях, и интервью в раздевалках — словом, разгорелся «настоящий», то есть внутренний, американский спорт.

Однажды вечером в ряду этих сообщений, кажется на «Би-си», появился заголовок, от которого я просто ахнул: «Может ли Иван играть в хоккей?» И дальше рассказывалась уникальная история ленинградского игрока Виктора Нечаева, который, женившись на американке, переехал в Штаты и подписал контракт с командой «Лос-Анджелес кингс». Гляньте-ка, какие чудеса, повествовал комментатор, приехал вот один тут «Иван», и оказалось, что он умеет играть в нашу игру. В невежестве своем комментатор, очевидно, и не слышал никогда о том, что русские уже много лет были чемпионами мира по хоккею и довольно стабильно громили лучшие хоккейные команды мира. Вот, смотрите, господа, удивлялся комментатор, русский, а вон как скользит по льду и клюшкой орудует; где же это он научился, всем на удивление?

Между тем Виктор (я с ним позднее познакомился) несколько сезонов играл в высшей лиге советского хоккея. Когда его спрашиваешь об уровне игры калифорнийских «королей», он пожимает плечами и со свойственным этой профессии лаконизмом бросает: «Это несерьезно».

Я подумал, что, если бы в составе какой-нибудь русской команды появился американский или, скажем, лапландский игрок, с ним бы носились как с писаной торбой. Парадоксально, но в закрытом обществе СССР общественный интерес (и, конечно, не только в спорте) направлен вовне, в то время как в открытых демократических США он целиком устремлен внутрь.

Внешнее гораздо меньше интересует американцев, то ли потому, что априорно подразумевается, что оно хуже, то ли потому, что своего слишком много.

В газетах критиковали Эй-би-си за освещение Олимпиады: дескать, насаждали шовинизм, сосредоточившись только на американских спортсменах. В самом деле, за все эти недели (а я очень плотно следил за событиями) я ни разу не видел интервью, проведенного с переводчиком. Казалось бы, какой соблазн, как любопытно, как, в конце концов, просто забавно проинтервьюировать китайца, индуса, француза. Увы, ничего ни забавного, ни любопытного работники Эй-би-си среди ста сорока делегаций не обнаружили. Только в последний день, когда португалец победил в мужском марафоне, комментатор, пообещав зрителям удивительный эксперимент, подошел к Гомешу с переводчиком.

Сомневаюсь, однако, что в этом проявились какие-то особые шовинистические наклонности Эй-би-си. Вполне справедливо звучат их оправдания: публике это просто не так интересно. Телевидение старается следовать интересам публики. Публика развивает свои интересы под влиянием телевидения. Отличный возникает порочный круг. Крути его на бедрах день-деньской, будто обруч хулахупа.

Вот, может быть, в этом искреннем отсутствии интереса, в тенденции к отгораживанию от жизни мира, в утилитарном восприятии Европы лишь как места летних вакансий и кроется один из источников антиамериканских чувств?

Парадоксально, но, несмотря на идеологический железный занавес, Советский Союз во многих сферах ближе к Европе, чем лидер свободного мира Соединенные Штаты. Советским футболистам, оказывается, легче пересечь железный занавес, чем американским квортербекам и теклам* махнуть через Атлантический океан.

Футбол без ног

Любопытно, как все это американское иное, свое, непохожее быстро здесь развивается. Казалось бы, страна населена великим множеством народов, здесь-то и расцветать

* Tackle — полузащитник.

космополитизму, однако все эти выходцы, беглецы, перемещенные лица никакими космополитами не становятся, а становятся американцами еще до того, как получают американское гражданство. Я и сам ловлю себя на довольно быстрой американизации вкусов. Быть может, Фил Фофановф при встрече скажет: «Да ты, мой друг, основательно обамериканился!»

А ведь поначалу многое здорово раздражало. Запах попкорна — жареной кукурузы, например, в киношках. Вообще запахи, милостивые государи, все эти пинат батареи, кетчупы, тэкос...

Тут дело, возможно, в биохимии. «Тоска по родине», возможно, во многом биохимическая проблема. Мы не просто за границей, мы за океаном. Америка и в самом деле немножко другая планета. Меняется (пусть ничтожно, но меняется) химия воды, воздуха, земли, травы, листья — и далее — хлеба, молока, масла... В ностальгическом катаклизме, возможно, немалую роль играет биохимия. Ученые могут заняться этим, если не лень.

Баланс запахов нарушен, иные выпятились, иные ступевались. Эмигранта часто бесит и общий недостаток запахов. В Америке «клубника не пахнет», «люди не потеют»... — привычные темы эмигрантских разговоров. Видимо, в них есть резон. Прошлым летом в Париже вошли мы в одно собрание и даже вздрогнули от терпкости — духи вперемешку с потом. М-да, переглянулись мы, у нас и в самом деле так не потеют.

Футбол, конечно, тоже дико раздражал. Где-то шумели великие побоища Европы, сотни тысяч людей вдували всю свою страсть в малейшие передвижения маленьких фигурок на дне ревущих стадионов, а здесь это даже и не называлось футболом. Какой-то соккер, как бы развлечение в носочках. Чуть ли не женский спорт, видите ли... А вот привычным и столь волнующим словом «футбол» называют игру, в которой за целый час лишь три или четыре риза бьют футом по болу. Экая все-таки странность: мяч

передается руками, но игру не называют хэндбол, перетаскивается мяч (впрочем, подходит ли для этой штуки слово мяч?) под мышкой, однако игра все-таки не называется армлитбол, а именно гордым словом «футбол», к которому не имеет никакого отношения.

Долгими эмигрантскими вечерами в унылой квартирке в Анн-Арборе, в мотелях по дороге на Запад, в санта-моникском прибрежном доме, который только тем отличался от мотеля, что там не заправляли постель, я смотрел на перемещение молодых с утрированными плечами, в свирепых касках... все это описывается в советской пропаганде как апофеоз американского «культа насилия и жестокости»... и думал: какая скука!

Однажды профессора Штольц и Фонвизин пригласили меня на стадион. Там я наконец-то понял, что означают слова *touch down* и *interference**, оценил искусство *marching band***, проникся экстазом толпы... Впереди нас сидела парочка в ковбойских шляпах с перышками. И ему и ей было лет под шестьдесят. Они страстно целовались и, сидя, оглядывались, как бы приглашая и других болельщиков разделить их счастье. В перерыве матча над стадионом появился самолетик, влачащий красноречивый призыв: «Марджи, давай поженимся! Твой Даг». Парочка подскочила, сияя до невозможности. Он обратился к окружающим:

— Это я! Я — Даг, она — Марджи! Не так дорого, фолкс! Всего двести бакс, и ваши чувства в небе! Она согласна! Ну и девочка эта Марджи!

Профессора Фонвизин и Штольц отечески улыбались. Именно в эти массы они несут просвещение.

Признаюсь, небесное признание в любви стало кульминацией матча не только для Дага и Марджи, но и для меня. Перипетии футбола оставили меня равнодушным. По-прежнему я выискивал на спортивных страницах эмигрантских газет сообщения о настоящем футболе и даже представить

* Футбольные термины.

** Оркестр, проходящий по стадиону перед матчем.

себе не мог, что в скором времени стану вместе со всеми жителями Вашингтона жертвой «краснокожей лихорадки».

В воскресенье 22 января 1984 года весь город вымер: все собрались на партию вокруг телевизоров. Это был для Вашингтонцев день предполагаемого торжества — футбольный матч на Суперкубок по американскому футболу, в котором наша команда «Редскинс» («Краснокожие») должна была победить калифорнийских «Рейдеров». Уже два года бушует в столице так называемая краснокожая лихорадка. В прошлом году «краснокожие», разгромив в финале флоридских «дельфинов», впервые стали чемпионами. Мы с женой поехали тогда в веселый старинный район города — Джорджтаун — посмотреть, как будут ликовать болельщики. Ну, право, не ожидали такого неистовства, таких страстей. Наша машина застряла в многочасовой пробке. Толпа плясала на улицах, в окнах домов, на крышах строений и экипажей. Фейерверки с поверхности и в небе, с вертолетов. Все это напоминало конец войны. Слава, слава «краснокожим», чемпионам мира.

После этого триумфа нашего города (о, этот американский community spirit!*) я стал постепенно вникать в футбол и научился разбираться, чем занимаются на поле юркие нападающие бегуны, ударные силы атаки, квартирбек и «такелажники» защиты.

В СССР американский футбол изображается как торжество звериных инстинктов, империалистический вид спорта, в котором игрокам только и остается делать, что зубы выбивать у противника или собирать в кулак свои, выбитые. Между тем я с удивлением обнаружил, что в сравнении с хоккеем этот вид спорта даже корректен, на поле дело почти никогда не доходит до драк, несмотря на то, что применяются такие силовые приемы, после которых человек, кажется, больше не встанет.

Через некоторое время я стал настолько разбираться в игре, что даже смог объяснить ход сражения одному советс-

* Дух соседства.

кому визитеру, доставившему в сапоге письмо Фила Фофановфа. Посмотрев игру, этот человек, в прошлом крупный спортсмен, отошел от телевизора и торжественно заявил:

— Нация, которая занимается этим видом спорта, непобедима!

— Да ведь никто, кроме этой нации, в американский футбол и не играет, — сказал я и добавил, к собственному удивлению: — И это весьма прискорбно.

Наш гость с удивлением на меня посмотрел:

— Я не футбол имею в виду.

Тут уж я удивился:

— Что же?

Он пожал плечами:

— Неужели не понимаете? Все!

В реакции гостя сказался советский глобальный подход к вопросам спорта. Мы-то были озабочены другим: повторяют ли в новом сезоне «краснокожие» свой триумф?

...Снежным вечером 22 января в Вашингтоне никто не сомневался в победе. По пути к финалу мы обшoppedали своих самых злейших соперников, «ковбоев» из Далласа, легко выиграли у могучей команды «Сан-Франциско-49», буквально разгромили лос-анджелесских «баранов». «С ними невозможно играть, — сказал один из «баранов», — они просто чертовски хороши». В барах Вашингтона гремела рок-песенка «Вашингтон Рэдскин уорлд файнест футбол машин», чем-то явно напоминающая знаменитый шлягер «Распутин».

Матч проходил на юге, в Тампе. Команды приехали туда за неделю, переполненные самолеты подвозили болельщиков. Шел бесконечный карнавал. Вашингтонцы снисходительно посматривали на ожесточающихся с каждым днем калифорнийцев — дескать, жаль вас, ребята, да ничего не поделаешь, придется бить. Наши звезды Джо Тайзман, Джон Риггинс, Дэйв Бац позировали перед камерами в привольном настроении. И вдруг...

Мне тяжело говорить об этом, но «краснокожие» позорно продулись. Ничего не получилось у них в тот день.

«Рейдеры» выломали все спицы из нашей футбольной машины. Их квартирбек посылал такие пасы, что президент Рейган в тот вечер сравнил его с секретным оружием и предположил, что СССР, очевидно, потребуе: его демонтажа.

Снег засыпал в тот вечер столицу. Печально брели под ним болельщики в головных уборах «краснокожих». Сосед спросил меня: «А вы, наверное, ничего не понимаете в этой игре?» — «Увы, — сказал я, — все понимаю».

Я и в самом деле многое уже понимал, и не только в футболе. После нескольких лет жизни здесь ловишь себя на новых ощущениях. Я обращаюсь к спортивным страничкам наших эмигрантских газет с некоторой уже вялостью: русские и европейские страсти отдаляются, затуманиваются. Космополитический мой пафос испаряется, и не только в спорте. Волей-неволей я втягиваюсь в огромный (в том-то и дело, что он непомерно велик) и яркий мир американского провинциализма.

Как-то раз я открыл популярный журнал и увидел в нем портрет моего старого товарища, знаменитого советского кинорежиссера, недавно оставшегося на Западе. Ага, подумал я тогда не без злорадства, приходится все-таки иной раз вспоминать и чужих, не только Линдой Эванс и Спилбергом развлекать сограждан. Что ж, от таких звезд, как Т., и в самом деле не отмахнешься.

Текст под фотографией, однако, охладил мое злорадство.

«Т., — гласил он, — знаменитый советский режиссер. В 1962 году его первый фильм получил премию Золотого Льва на международном фестивале в Венеции. В дальнейшем он получил высокие призы на других важнейших международных фестивалях, включая Каннский. Имя Т. совершенно никому не известно в Америке...»

Чего в этой неосведомленности больше — невежества или высокомерия? Может быть, ни того, ни другого, а просто лишь огромное, непомерное, неподдельное количество всего своего для того, чтобы еще знать что-то чу-

жое?.. Бесконечный поток американских celebrities* сбивает обывателя с толку. За пять лет жизни в этой стране я не запомнил и одного процента из здешнего корпуса звезд. Недаром к этому словечку теперь прибавляется «супер»; может быть, хоть оно поможет выделить твой процент из бесконечного ряда этих по-дурацки хлопающих глазами знаменитостей; однако и суперзвезд слишком много. Сколько раз нужно повториться, чтобы задержаться в общественной памяти, если этот «мусоропровод» можно назвать общественной памятью? Я ведь и сам уже в этом исходящем золотым паром муравейнике маленькая букашка-знаменитость. Эва сколько уже собралось газетных вырезок, да и на телевизоре не раз уж побывал. Рядовая никому не известная знаменитость.

Однажды столичная газета бухнула интервью со мной и портрет отпечатаала невероятных размеров, чуть ли не на всю полосу. Неделью спустя где-то познакомился я с журналистом из этой самой газеты. Оказалось, что он никогда даже не слышал моего имени. Его можно понять: защищаясь от потока информации, от бесконечных взломов его дома жаждущими его признания «знаменитостями», человек вырабатывает своего рода спасательное невежество.

Где уж там иностранные, от своих-то задыхаемся! При виде трудночитаемого имени человек немедленно пролистывает журнал. Однако попробуй объясни в Европе, что Америка не знает их кинозвезд и писателей не из высокомерия, а только лишь из самозащиты.

Почему эту странную Америку нужно завоевывать, почему не она должна увлекаться, скажем, балетом, а балет должен понравиться ей, почему не она, деревенщина, должна тянуться к классической музыке, а классическая музыка должна тянуться к ней? Такие вопросы задает себе ущемленное европейское самолюбие. Возникает ксенофобический кризис, столкновение европейской и американской деревенщины. Иначе это име-

* Знаменитости.

нуется «сопротивлением американскому культурному империализму».

И все-таки отдаленность Америки от праматери Европы удивительна. Как-то в порядке эксперимента я стал спрашивать своих студентов, каких европейских кинозвезд они знают. Оказалось, что почти никто из этих «детей хороших семейств» не слышал ни о Феллини, ни о Бергмане, не знают ни Жана Маре, ни Роми Шнайдер, ни даже Мастроянни, не говоря уже об Анук Эме. Вот Софи Лорен они знали, видимо, потому, что она рекламировала по телевизору духи «София».

Прогуливаясь как-то по Пятой авеню в Нью-Йорке, я вдруг заметил в толпе невысокого человека с характерным узким лицом, быстрым взглядом смысленных глаз и иронической улыбкой в углу иронического рта. Боже мой, да это не кто иной, как Жан-Поль Бельмондо собственной персоной! Прогуливается просто так, не окруженный ни толпой репортеров, ни любителями автографов, попросту говоря, никем не замечаемый, еще проще — никому не известный!

Кафе «Ненаших звезд»

Я приподнял шляпу, то есть то, что было вместо шляпы на голове; кажется, ничего.

— Мсье Бельмондо?

Он вздрогнул:

— Откуда вы меня знаете?

— Я видел по крайней мере десяток фильмов с вашим участием.

Бельмондо засмеялся, вытащил пачку «Гитаны».

— Как видно, сэр, вы здесь тоже иностранец.

— Из России, Жан-Поль, с вашего позволения.

— Так я и думал. Меня здесь знают только русские иммигранты.

Я хотел было уже откланяться, но Бельмондо уцепился за меня.

— Вы бы, Василий, не лияли б так быстро. Я бы вам рассказал, как снимаются различные эпизоды кино. Вообще, почему бы нам хорошенько не выпить? В русском стиле, ха-ха-ха, как в Москве на фестивале, с утра... С русским революционным размахом и с галльским острым смыслом, давайте, что ли, пообедаем? Я, знаете ли, очень ценю, что вы узнали меня в американской толпе. Сначала, знаете ли, я даже наслаждался тем, что меня здесь никто не знает, как будто стал невидимкой, а потом, признаюсь, стал нервничать. Что ж, думаю, получается, что все труды как бы просто насмарку, в жопу, иными словами? Сеешь, как говорится, уже два десятилетия разумное, там, доброе, вечное, а в этой наглой Америке никто у тебя даже автографа не попросит. Помогает общение с товарищами, что оказались в таком же положении. Один предприимчивый одессит открыл здесь неплохое кафе «Ненаших звезд». Мы там собираемся. Едим, грустим...

...В самом деле, в кафе «Ненаших звезд» на задах Лексингтон-авеню Жан-Поля Бельмондо знали. Бармен сделал ему пальцем европейский жест от уха в пространство, наше, мол, вам с кисточкой! Официант без фамильярности, но вполне по-свойски взял его кожаное пальто, шумно стряхнул с него капли дождя, которые в Нью-Йорке пахнут чем-то двусмысленным.

— Как всегда, Жан-Поль, пожарские котлеты?

Мы разместились в углу.

— Вы кто по профессии, Василий? Наверное, дантист?

С любезностью необыкновенной Бельмондо предложил мне не стесняться при разборе меню.

— Вот, узнал меня на улице местный американский дантист Василий, — гордо пояснил он завсегдатаям, слегка, как видите, приврав.

Свидетель Зевс, вокруг за столиками сидели мировые звезды. Я узнал японского режиссера Куросаву, советского поэта Окуджаву, Шопена Ф., варшавского музыканта, философа из Кенигсберга э-э-э... Канта... были также мел-

ние европейские нобелевские лауреаты вроде Канетти и Голдинга.

— Кстати, о Канте, — сказал я Жан-Полю Бельмондо. — Вы слышали, что Кенигсберг переименован в Калининград, то есть в город козлобородого большевика Калинина? Недавно секретарь Калининградского обкома партии назвал Канта «нашим великим калининградским философом». Не знаю, будет ли это приятно Иммануилу?

Назвав великана Иммануилом, я почувствовал, что вхожу в душу этого кафе, в общую атмосферу панибратства. Гости Америки, будь это Клавдия Кардинале или Франц Беккенбауер, попадая в эти стены, вздыхали с облегчением, вместе с каплями дождя как бы отряхивали скверну неузнавания. Кое-кто из них приводил с собой «местных дантистов» вроде меня, за ними с любезностью ухаживали.

Изобретатель пиццы средневековый повар Габрелиус Пицца с улыбкой рассказывал Фолкеру Шлондорфу и Анджею Вайде о том, что в Америке полагают это блюдо подлинным американским изобретением.

Вдруг все смешалось в доме В. Р. Эбэлонских (имя предпримчивого одессита из крепостных евреев князя Степана Облонского). Вбежала некая брюнетка в декольте. Вечернее платье с блестками носило следы жадных рук, под ним угадывались стройные ноги, дрожащие в результате бегства.

— Спрячьте меня, друзья, — задыхаясь, сказала дама. — Меня преследует толпа!

Все присутствующие повскакали со своих мест. Не верилось глазам. Это была она, Алексис, из нашей бесконечной «Династии», наш вариант Сары Бернар и Веры Комиссаржевской, несравненная наша американская Джоан Коллинз!!!

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1985

Не исключено, что в роман может ворваться, будто некий летучий дух Америки, какой-нибудь мистер Флитфлинт —

из тех парней, что до середины января ходят в ти-шорт* и неизменно на матчах superbowl** раскачивают над головой огромный картонный палец. На своем вездеходе «вождь чероки» он может закатить на остров сервиса имени Фенимора Купера, что лежит в излучине быстротекущего фривея № 95, отлить излишки пива «Бад», проверить за четвертак свои биоритмы, прожевать бургер, подрочить клавиши видеоигры... На все дела семь с половиной минут, и — дальше! Вдогонку бравурная интерпретация «Грустного бэби».

1953

Такого покоя, как в тот вечер, ресторан «Красное подворье» не знал со дня своего основания, когда не обладал еще своим эпитетом, но всегда имел в наличии чистые салфетки. Даже встречающий гостей на лестнице двухметровый медведь, переживший и времена капиталистического бума, и троекратную смену власти в период Гражданской войны, и «угар нэпа», и все убожества социализма, казалось, как-то изменил свою похабную посадку и порочный перекося морды и преисполнился гражданской скорби.

С таким же медвежьим выражением скорби на лицах поднимались по лестнице четверо студентов. Не схватила бы только «медвежья болезнь»! «Мы просто покушать», — шепнули они старшему официанту Лукичу-Адрейнычу. Старый стукач смотрел на них с непроницаемым выражением опустившегося лица. Нынешний вечер напоминал ему короткое затишье весной 1919 года, когда вдруг замолчала канонада над Волгой, после чего в ресторацию ворвалась орда чехословацких офицеров. Тоже хотели просто покушать.

«Бутылку-то принести?» — спросил он медленно, приняв заказ на четыре пожарские котлеты. «Разве что одну, Лукич», — пролепетал Филимон.

* T-shirt — то же: тишэт, тишэтка — майка.

** Суперкубок.

Зная за этими четырьмя тенденцию к сомнительным разговорам, Лукич-Адрейныч соображал — спровоцировать или нет, и решил, разумеется, спровоцировать. «Не знаю, — сказал он, — все ли искренне скорбят нонче по нашему отцу? В Америке, наверное, водку пьют, котлетками закусывают...»

1975

Весной того года ГМР приехал в большой закавказский город. Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Рафаил Байджиев предложил ему поставить в местном театре, где безраздельно главенствовал уже десятилетия два лет, пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжера».

Первое, что увидел ГМР, выйдя из поезда, был большой портрет Мерилин Монро. Выглядело это как-то неправдоподобно рядом с портретом Брежнева, памятником Ленину и лозунгом «Решения партии — в жизнь!».

У таксиста над щитком приборов также фигурировала фотография Мерилин, этот ее магнетический вид с полускрытыми глазами и полуоткрытым ртом. «Кто это у вас тут?» — спросил ГМР водителя, армянина лет сорока в типичной для тех мест тяжелой плоской кепке, именуемой аэродромом. «Артистка, — охотно ответил тот, — фамилии пока не запомнил. Фильм у нас сейчас идет «В джазе только девушки». Весь город влюбился. Такая женщина! Каждый день хожу ее смотреть, дорогой. Весь город за концы держится. Такая женщина!»

ГМР сообразил: кинопрокат выпустил наконец на широкий экран старую ленту «Some like it hot», которую он смотрел еще лет пятнадцать назад на закрытом просмотре в московском Доме кино.

Плакаты кинотеатров сопровождали их путь. Лицо Мерилин преобразило советский город. Наглядная агитация и монументальная пропаганда пятидесятилетнего социализма как бы задвинулась вглубь. «Как мало, ока-

зывается, нужно для того, чтобы...» — продумал ГМР свою очередную антисоветскую мысль.

— Если она к нам придет, я сразу к ней пойду! — говорил шофер. — Мы с женой десять лет живем, хорошо живем, понимаешь, а все же я ей прямо сказал: «Если эта артистка придет, я сразу пойду!» И знаешь, дорогой, что мне жена ответила? Если, говорит, она сюда придет, я тебе сама скажу: «Тофик, иди!»

— Она не придет, — сказал ГМР, — она, видишь ли, умерла еще в 1962 году. Покончила с собой.

Такси дернулось.

— Что ты говоришь?! — вскричал шофер. — Как так может быть?! Я каждый день ее смотрю!

Перед красным светофором он высунулся из окна своей машины и закричал водителю по соседству:

— Арчил, тут человек говорит, что эта артистка умерла давно!

Соседний шофер ответил ему взрывом закавказской речи и характерными, рубящими снизу вверх движениями ладони. ГМР понял из этой смеси грузинского, армянского, азербайджанского и русского, что Мэрилин Монро не умерла, не могла умереть, потому что Арчил Сулакаури ходил ее смотреть еще сегодня утром, до работы.

...Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Рафаил Бабекович Байджиев, располагаясь за директорским столом в мягкой манере средиземноморского партийца, положил изнеженную ладонь на экземпляр пьесы «Смерть коммивояжера».

— Друг мой, вы лично не знаете этого... хм... автора? ГМР солидно крякнул:

— Артура Миллера? Встречались, встречались...

НА СССР и ГСТ Байджиев с досадой поморщился:

— Он что? Ненормальный? Такую женщину оттолкнуть! Не сберечь для... человечества, понимаешь!

— Старая история, — пробормотал ГМР, — так уж все у них тогда сошлось.

Еще большая досада прошла по лицу народного артиста и героя.

— Друг мой, пожалуйста, не обижайтесь. Как художник — да? — я понимаю: пьеска недурна. Как политик — да? — понимаю: важно для прогресса. Как мужчина — да? — протестую! — Он сделал режущий жест ладонью снизу вверх. — Пьесу ставить не будем! На Кавказе Артура Миллера не поймут!





ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Однажды серым влажным душным утром (худший вариант вашингтонского «плохого климата») плетусь из дома к Треугольнику Калорамы, имея целью пару бутылок содовой и пачку сигарет в магазинчике «7 — 11». Вдруг — забарабанило!

В глубине Коламбия-роуд появилось многокрасочное шествие с воздушными шарами, полотнищами, лентами и транспарантами. Это еще что за оказия? Куда идут трудящиеся массы? Чем ближе подходила колонна, тем меньше она напоминала первомайскую демонстрацию на Красной площади в Москве, тем больше вызывала в памяти процессии из фильмов Федерико Феллини. Ага, вот в чем дело: вашингтонская «гей комьюнити» на марше!

Ничего особенного: мужчины в дамской одежде, розовые платья с оборочками, обнаженные мясистые и мускулистые спины, мучнистый грим с ярко-синими пятнами глаз, ярко-красными ртами; женщины в мужском наряде вообще выглядели заурядно в свете современной моды.

Среди карнавального шествия проплывали декорированные грузовики с открытыми платформами и шевелящимися гирляндами, напоминающими китайский Новый год. Стройный ковбой, затянутый в черную кожу, в характерной позе, пощелкивая пистолетными курками, висел на одной из плат-

форм. Сзади, однако, у агрессивного самца были обнажены круглые ягодички, которыми он призывно и не без юмора поигрывал, являясь, стало быть, отчасти и самочкой.

Любопытно, что среди этой феллиниевской вакханалии странными выглядели не ряженные педики, а суровые ряды идеологических гомосексуалистов, то есть людей, которых в обычной толпе не отличишь от «прямых» — обыкновенные джинсы, обыкновенные сникерсы*, костюмы, юбки, блузки, галстучки, обычные мужские и женские лица, только лишь исполненные суровой половой идеологии.

Нельзя удивляться человеческим парадоксам: движение, начавшееся как борьба против общественного ханжества, приобретает черты могущественной идеологии и вместе с ними свое собственное ханжество.

Мне пришлось как-то раз выступать в ночном шоу Си-би-эс. В эфир мы выходили под первые петухи, в четыре часа утра. «Кто нас будет смотреть в этот час?» — спросил я молодого корреспондента. «Семь миллионов людей, на которых не действуют снотворные пилюли», — бодро ответил он. (Несколько человек с нездоровым цветом лица помахали мне следующим утром на улице.) Поклевывая носом, я сидел со звукопроводящей пробкой в ухе перед телевизионной камерой и отвечал на вопросы бессонных, касающиеся Советского Союза. Вопросы в значительной степени отражали уровень представлений о восточном гиганте, характерный по крайней мере для бодрствующей части населения западного гиганта.

Джентльмен из Буффало спросил меня, например, как советские власти относятся к черной части своего народа, и очень был удивлен, что таковой в СССР не существует. Постоянные разговоры о паритете с Россией, видимо, создали у моего собеседника представление о полной идентичности противостоящего Америке государства.

* Sneakers — спортивная обувь.

Вопрос, поступивший из Сан-Франциско, касался гомосексуализма. В какой степени «гей комьюнити Ю-Эс-Эс-Ар» осуществляет свои права в политической и общественной жизни?

Увы, пришлось ответить мне, что в не очень-то значительной степени, ибо мужской гомосексуализм в стране победившего социализма считается уголовным преступлением и по статье такой-то Уголовного кодекса РСФСР карается тюремным заключением на срок три года.

Странным образом женский гомосексуализм, то есть лесбиянство, такой чести не удостоился и официально не пресекается законом. Представляется загадкой, унижены ли в данном случае права женщин или, наоборот, приподняты над мужскими?

Мой собеседник с западного побережья (его, видимо, нельзя было даже отнести к разряду страдающих бессонницей, просто, может быть, что-то интересное отвлекло его от своевременного отхода ко сну), кажется, не очень-то мне поверил. Гомосексуализм в Америке дружит с левым либерализмом, а тот почему-то нередко принимает правду об СССР на свой счет и обижается.

Поверил — не поверил, не важно. Важно то, что гомосексуализм считается в атеистическом советском обществе грязным грехом, а в советском законе довольно серьезным преступлением. В этой связи можно только представить себе чувства свежего иммигранта из России при виде всех этих гордых гейских парадов, шумных митингов и фестивалей, гейской прессы и открытых обсуждений предмета на телевидении; не говоря уже о журнальчиках...

Америка, конечно, прошла огромный путь от своего исконного сексуального ханжества, а ханжество было здесь, очевидно, еще почище русского, если даже и сейчас в законодательствах некоторых штатов «орал секс» котируется как преступление.

Да, этот «бэби» (грустный бэби, а?) прошел немалый путь с берегов Миссисипи, из городка Тома Сойера, до книжечек о кровосмешительстве, согласно которым шуст-

рый Том через пять-шесть страниц должен был бы спать со своей тетей.

Как почти во всем, и здесь, в сексуальной либерализации, сделано несколько лишних шагов. Начинание перерастает в одержимость, в массовую свистопляску, новую моду на деревне и, стало быть, в дикую безвкусицу.

Помню, в первый мой приезд сюда я слышал проповедь священника по ТВ. Он бичевал своих сограждан, скатившихся к массовой содомии. В стране сейчас насчитывается двадцать миллионов гомосексуалистов, гремел он. Куда мы идем?

Этого не может быть, подумал я тогда. Двадцать миллионов? Невозможно. Это просто одержимость устрашающей статистикой.

Увлекаясь статистикой, американцы считают, что она должна ошеломлять. Откуда вдруг берутся сногшибательные цифры социальных бед, столь охотно подхватываемые советской пропагандой?

Каждое утро в новостях нас поражают цифрами. Восемьсот тысяч американцев в прошлом году стали глухонаты на левое ухо, зато шесть миллионов в году текущем обратились с жалобами на плоскостопие...

Среди этих цифр иной раз выпрыгивает нечто поистине ужасающее. Два миллиона похищенных детей! Сколько у нас всего детей? Пятьдесят миллионов? Шестьдесят? Каждый тридцатый ребенок, стало быть, пропал, похищен? Да если это в самом деле так, то почему мы все еще работаем, занимаемся гимнастикой, проводим избирательные кампании? Если и в самом деле в этой стране похищены два миллиона детей, нужно бросать все дела и всем выходить на улицы с ружьями. Если же мы не выходим, то, значит, либо мы — равнодушные и тупые ослы, либо эта цифра дутая, преувеличенная дурацкой статистической одержимостью.

Позднее выясняется из обстоятельного доклада ФБР: цифра действительно... хм... несколько гиперболическая.

Пропало не 2 000 000, а 30 000 детей. Половина беглецы, а две трети оставшихся похищены разведенными родителями.

Ну, ничего страшного: ноль туда, ноль сюда, немного перестарались.

Так же вот и двадцать миллионов гомосексуалистов... Эксцессы статистики? Трудно как-то себе представить, что такое огромное число людей с гормональным дисбалансом (то есть вот именно тех, кто является настоящим гомосексуалистом и заслуживает общественного признания как полноправная человеческая личность), двадцать миллионов гормонально разбалансированных людей родилось и возросло в одной, хотя и довольно большой стране. Исходя из этой цифры, можно, значит, предположить, что в СССР — двадцать семь миллионов, а в Китае может оказаться сто миллионов гомосексуалистов...

Насчет Китая одни догадки, но в СССР «голубая дивизия» (так называют там gays) далеко не так многочисленна, иначе, согласно советским законам, возник бы новый гигантский гомосексуальный ГУЛАГ.

Недавно откуда-то выскочила более реалистическая цифра — не двадцать, а всего лишь восемнадцать миллионов насчитывается в американской «веселой общине». Два миллиончика туда, два обратно... Одно лишь ясно — это не настоящие гомосексуалисты, конечно. Большая часть этой многомиллионной армии является участниками очередной американской «одержимости». В этой связи американский гомосексуализм стоит на удивление близко к аэробическим упражнениям.

Может быть, я дико ошибаюсь, но у меня как новосела этой страны складывается впечатление, что массовый гомосексуализм относится в определенной степени к простодушию и неизощренности американских молодых масс, а также к явлению, что всегда сопровождает все эти *obsessions**, к эстетическому кризису, к провалу чувства меры и вкуса.

* Одержимость, мания.

Я ничего не имею против гомосексуализма. Напротив, я всегда испытывал сочувствие к тем реальным «голубым дивизионерам», которые становились жертвами общественного лицемерия и ханжества. Однако навязывание гомосексуального образа жизни или, еще пуще, использование этого генитального интима в политических целях ничем, кроме массовой безвкусицы, объяснить не могу.

Когда сенатор С. в ходе предвыборной кампании появляется на огромном ралли «гей комьюнити» и кричит, что никто другой, кроме него, не имеет столь блестящих характеристик в отношении к гомосексуализму, покрываешься гусиной кожей, ибо волей-неволей воображаешь этого почтенного семьянина в довольно двусмысленной позиции.

У нас тут вокруг Дюпон-серкла, в кафе и книжных магазинах, много молодых людей, так сказать, с левой резьбой. В кондоминиуме по соседству, этажом выше живет супружеская пара, черный и белый мальчики-музыканты. Эти люди уже стали для меня как бы неотъемлемой частью нашего Дюпон-Адамс-Морган винегрета, без них как-то было бы уже и скучновато, одно лишь только условие совместной жизни кажется обязательным — не надо навязываться! Однажды один парень говорит: гомосексуализм — это все равно что другой цвет глаз, ничего больше. Допустим все-таки, что это нечто более существенное, чем «другой цвет глаз», а также вспомним о том, что навязывание «голубоглазия» однажды привело к мировой войне.

Принятие гомосексуализма просто как элемента жизненного многообразия — это одно дело, а пропаганда гомосексуализма, прошу прощения, все-таки ведет к тупику. Тупик на греховой дорожке человеческой расы; листва опадает на веки, и отмирают деревья.

Американская одержимость своими одержимостями очень часто связана с нижними этажами нашей сути, с

проблемами пола. В американской половой жизни, в отличие, скажем, от французской или английской, покоя нет — вечные, так сказать, поиски.

Вот, скажем, женское движение, то есть движение женского пола против мужского. Спору нет, «бэби» прошли долгий путь, чтобы перестать быть «бэби». Нынче я уже как-то научился различать взгляды этих амазонок, поставивших целью загнать в загон уцелевшие еще табуны американских кентавров, но поначалу они были для меня сущей загадкой.

Расскажу о довольно курьезном столкновении с движением феминисток в первый год нашей американской жизни.

Мадам Совценз

На кампусе большого университета проходила международная конференция «Писатель и права человека». Одна из панелей* была посвящена цензуре. Слово «цензура», как ни странно, в русском языке относится к женскому роду. Английскому уху это, может быть, и смешно, но именно так обстоят дела в нашем «великом-могучем-правдивом-свободном» (как в свое время прокламировал русский язык Иван Тургенев, что дало нам возможность соорудить довольно удобный, хотя и напоминающий слегка военно-морские силы, акроним ВМПС); итак, в нашем ВМПС не только среди вещественных, но и среди отвлеченных понятий существует половое различие. Например, радость — это женщина, а восторг — мужчина. Существуют также и слова, аморфно проплывающие по разряду среднего пола, например, — государство; таковых, леди и джентльмены, великое множество. Большое раздолье для фрейдистских (феминистических или гомосексуалистических) структурных толкований.

В чешском языке, очевидно, царит такое же безобразие. Иначе почему выступавший передо мной чешский

* Panel — семинар.

писатель Иржи Груша несколько раз по отношению к censorship* употреблял местоимение she?***

Мы сидели за длинным столом, несколько писателей-беженцев и несколько писателей-хозяев, то есть американцев. Среди беженцев были чех, русский, поляк, южноафриканец, аргентинец и чилиец. С последним, правда, произошла небольшая накладка.

Он был молод и выглядел как настоящий революционный левого крыла изгнанник: свитер, продырявленный на локтях, мятежные кудри а-ля Че, взгляд, отражающий блики «пылающего континента». Все этому юноше ужасно сочувствовали, еще бы, вырвался из лап режима Пиночета, как вдруг оказалось, что он «вырвался из лап» только на время вот этой конференции, по завершению которой добровольно в эти лапы возвращается. Оказалось, что юноша — издатель левого литературного журнала в Сантьяго — никакой и не беженец вовсе, а просто гость. Выступит здесь, ударит по цензуре, а потом свободно вернется в свою продолговатую страну продолжать дерзкую литературную деятельность. Мне как редактору разгромленного «Метрополя» это была наука — не сочувствуй по пустякам.

Вернемся, однако, к Иржи Груше, который только что завершил свою речь чем-то вроде общеславянской декларации:

«She would never ever succeed in her attempt to suppress the creative spirit of Central Europe!»***

Наши хозяева, то есть американские писатели, поначалу при слове «she» чуть-чуть вздрагивали, но потом привыкли. К их чести надо сказать, что они всегда очень тактичны в отношении наших усилий изъясняться на языке Шекспира.

* Цензура.

** Она.

*** Она никогда бы не преуспела в своей попытке подавить творческий дух в Центральной Европе!

Настала моя очередь щегольнуть своим английским, который одна журналистка охарактеризовала как *epigrammatical rather than grammatical**. Подмигнув своему симпатичному товарищу по драпу, я сказал, что если «цензура» в соответствии с нашими славянскими делами — это «она», следует предположить, что это довольно истеричная дама. Когда-то она была молода и некоторые даже находили ее привлекательной. Она сама себе все испортила, требуя от всех без исключения окружающих всепоглощающей и безоговорочной любви. С возрастом, однако, советская цензура, или мадам Совценз, вдруг обнаружила утечку этого единодушного чувства. Появились некоторые люди, которые манкировали своими любовными по отношению к ней обязанностями, а иные стали и открыто нос воротить, высказывая что-то похожее на отвращение. Дама нынче бесконечно мечется, припудривается социалистическим реализмом, устраивает клиентам громоподобные истерики, увы, все напрасно, лучшие годы прошли, любви все меньше и меньше...

Развивая эту вполне сомнительную метафору, я вдруг заметил, что в зале воцарилась тишина, не вполне соответствующая шутливому тону спикера, какая-то густая враждебная тишина, похожая на заседание правления Союза писателей СССР. Дальнейшее развитие негативной ситуации — переглядываются. Завершение развития ситуации — начали шикать и букать.

Вдруг вскочило нечто розовощекое, с коротким и густым чубом, взмахнуло рукой.

— Как вы смеете?! — при резком движении в размахе здорового пиджака мелькнуло нечто округлое; как будто девушка. — Как вы смеете сравнивать советскую цензуру с женщиной?!

— Простите, — запнулся я, — мне кажется, вы меня не поняли. Мой говенный английский, возможно...

* Более эпиграмматический, чем грамматический.

— Стоп-стоп-стоп, — по-комиссарски, как из советской «Оптимистической трагедии», моя обвинительница выставила руку ладонью вперед. — Мы вас отлично помнили, сэр!

К первой комиссарше присоединилась вторая, кожанки сближала ее еще больше с Ларисой Рейснер.

— Вы сравнили свою паршивую цензуру с женщиной, страдающей гормональным дисбалансом! Вы оскорбили всех присутствующих ребят женского пола! Позор!

В зале воцарился неакадемический шум.

— Позор! Позор мужскому шовинизму!

— Господа, господа, товарищи женщины, — пытался отмахиваться я, — меньше всего я хотел оскорбить женщин, это просто ведь метафора, ничего больше, шутливая метафора.

Незадолго до этого я прочел роман Джорджа Ирвинга «Мир по Гарпу» и сейчас не без пупырышек на коже вспомнил одну из сцен этого сочинения. Шум в зале не затихал.

— Позор таким гадким метафорам!

— Руки прочь от женского движения!

Кто-то из немногих сочувствующих (кажется, одного со мной пола) крикнул:

— Оставьте русского, это у него следы векового рабства!

— Вот именно, следы, — попытался оправдываться я. — Следы векового, господа! Именно в результате векового рабства произошло разделение русских существительных по каким-то странным, пожалуй, метафизическим признакам. Может быть, в связи с этой же причиной у нас нередко именуют советскую власть Степанидой Власьевной, а Государственную Безопасность — Галиной Борисовной, то есть присваивают им имена каких-нибудь московских старух, на которых, по наблюдению одного проницательного иностранца, и покоится весь советский режим, вернее, его нравственная база. В некотором смысле, господа феминисты и все сочувствующие (а к таковым позвольте

отнести и вашего покорного слугу), эти явления свидетельствуют, возможно, не об унижении женщин, а как раз наоборот, о преобладании наследия матриархата над показушным патриархатом Политбюро — не кажется ли вам? Прошу понять меня правильно, господа комиссары американского женского движения, неосторожно употребленная мной в отношении советской цензуры метафора и в самом деле явилась результатом векового рабства, однако частично — и это может служить для меня хоть небольшим оправданием — ее можно отнести ко временам седого славянского матриархата, то есть к эпохе гармонии.

— Короче говоря, извиняетесь или нет? — примирительно вдруг спросила румяная активистка.

— О да! — вскричал я. — Извиняюсь всеми четырьмя конечностями и... вообще извиняюсь!

— Ну хорошо, — кивнула она. — Ваши извинения приняты. Только уж извольте больше никогда не употреблять вашей несуразной метафоры.

Я поклонился:

— Обязуюсь, мадам. С этого момента метафора изолирована.

Так довольно легко сошло мне с рук выступление на панели «Цензура в рамках международной конференции «Писатель и права человека».

Позже я не раз вспоминал этот эпизод и пытался копнуть поглубже, — может быть, и в самом деле в моей метафоре было что-то антиженское, ведь я как-никак имею некоторое негативное отношение к советскому феминизму. Моя теща от первого брака, напористая дама по имени Берта Менделеева, в тридцатые годы поступила не в какой-нибудь педагогический или медицинский институт, а в Академию бронетанковых войск, которую и окончила перед началом Второй мировой войны. Ее любимой поговоркой было популярное среди советских жлобов выражение: «Порядок в танковых войсках!» Уже выйдя в отставку в чине полковника, она ходила в мерлушковой папаше и

офицерской шинели и отдавала распоряжения высоким надтреснутым голосом. В период всенародной критики сталинизма она соглашалась — да, у Сталина были ошибки, и главная ошибка заключалась в том, что он в 1945 году остановил наши танки на Эльбе вместо того, чтобы позволить им прокатиться до Атлантики: ведь американские «Шерманы» не шли ни в какое сравнение с советскими «тридцатьчетверками».

Она принадлежала к поколению активного советского феминизма тридцатых годов, символом которого была знаменитая летчица Валентина Г. с лицом хоккейного защитника. Советские женщины тех времен упорно продвигались в такие области, о которых американки тех лет и не мечтали, — в армию, на флот (было несколько «пропагандистских» женщин — капитанов кораблей), в авиацию (несколько сокрушительных сверхдальних перелетов по «пропагандистским» трассам), становились суперзвездами труда, героями социалистического соревнования и так называемыми «слугами народа», то есть депутатами Верховного Совета.

Самыми большими «слугами», то есть хозяевами народа женщины все-таки не стали. В Политбюро за все эти годы заседала (короткое время) только одна женщина, Екатерина Фурцева, да и та была из этого органа выставлена со свойственным тамошним мужичкам отсутствием элегантности и переброшена на управление культурой, видимо, потому, что культуру полагали делом как бы женским.

Сейчас в Советском Союзе от всех феминистских вольностей, пришедших по наследству от радикалок типа Рейснер и Коллонтай, почти уже и следа не осталось. Ни в войсках, ни на дипломатической службе, ни в правительстве женщин практически нет. Зато на дорожных работах их сколько угодно — перетаскивают тяжеленные шпалы, орудуя ломami и лопатами, а пьяненький мужичок с карандашиком при них бригадирствует. К тридцати годам средняя советская «баба», обремененная семьей, стоянием в очередях и тяжелой работой, почти что уж забывает

«науку страсти нежной», ей не до секса, тем более не до доминирования в сексе; амазоночкой при таких условиях не поскачешь.

Те, что чуть выше среднего уровня, городские девушки, студентки, артистки и прочий женский люд такого рода, из кожи лезут вон, пытаясь соответствовать западному стилю.

Одна из главных московских тайн — как умудряются секретарши при месячной зарплате в сто двадцать рублей щеголять в итальянских сапожках, которые при редкой удаче найдешь на черном рынке по двести рублей за пару.

Советская женщина озабочена проблемой сохранения привлекательности настолько, что мысли о доминировании над мужчиной ее посещают весьма редко. Прибавьте сюда семейные хлопоты, поиски доброкачественной пищи, которая тоже всегда находится в процессе этих таинственных кружений, и вы увидите, как далеки заботы средней советской женщины от забот средней современной американки с ее четко отрегулированным весом, продуманными диетой и половой жизнью, аэробическими упражнениями и общественной деятельностью в рамках феминистских обществ.

Официальное советское женское движение, Комитет советских женщин с его повсеместными филиалами, имеет малое отношение к реальной женской жизни, являясь лишь малоубедительной деталью в советских потемкинских деревнях. Неофициальное женское движение, начатое в Ленинграде группой энтузиасток, выпустивших самиздатский журнал «Мария», было немедленно задавлено внеполовым полицейским брюхом в его неизменных усилиях учинить насилие над всем, что не получило одобрения «соответствующих органов».

Волна американской одержимости, именуемой сексуальной революцией, достигла, впрочем, и русских берегов, расплескавшись, однако, среди славянских холмов в довольно причудливых формах.

В стране, где издавна бытовал зов вечной бабьей недодоенности («Ваня, приходи вечером, пол-литра поставлю»), сексуальная революция если и принесла женщинам чуть побольше радости, то не принесла им свободы ни на грош.

В России женская половина эротического акта всегда, даже с лексической стороны, унижена. В английском языке вы можете сказать *she fucked him*, поставив этим ее если не в доминирующее, то в равное положение. В России выражение «она его ебала» в обычном порядке не применяется. В обычном порядке, однако, употребляется множество глаголов и глагольных модификаций, унижающих женщину, всегда размещающих ее в распластанной позиции рабыни под всемогущим кобелем.

В принципе, сексуальная революция, пришедшая с Запада в СССР, революцией не является, но является дальнейшим расширением российского блудства, распутства, дебоширства.

Вспоминая весь этот советский, так сказать, *background**, я подумал о том, что, может быть, и в мою цензурную метафору подсознательно вошло что-то оттуда, может быть, неосознанно пренебрежительное, снисходительно-ироническое отношение к женщине.

Впрочем, подумал я далее, что-то в таком же роде, очевидно, было и у атаковавших меня феминисток. Ведь не придут же в ярость мужчины из-за какой-нибудь метафорической шуточки, связанной, скажем, с мужской импотенцией.

В разгаре феминистской одержимости даже и галантность могла показаться пренебрежительной мужской метафорой. Осенью 1980 года в Чикаго американский друг сказал мне: «Ты зря пропускаешь вперед дам. За такие вещи можно теперь и по морде получить». Увы, привычка — вторая натура, и я постоянно придерживаю двери, всякий раз вглядываясь в лица проходящих дам и ожидая

* Здесь — опыт.

пощечины. Ни разу этого еще не случилось. Больше того, кажется, дамам, даже самым атлетическим, это приятно.

Вот два лица американской сексуальной постреволюционной действительности. Однажды меня пригласили в класс creative writing* одного женского колледжа в окрестностях Вашингтона. Предварительно будущие писательницы пожелали ознакомиться с каким-нибудь моим рассказом в переводе. Я выбрал для них напечатанный в «Партизан-ревю» «Гибель Помпеи», в котором погребенный под вулканической лавой римский курорт не очень-то отдаленно напоминает советскую Ялту со всеми вытекающими оттуда реалистическими деталями.

На уроке мы говорили о чем угодно, но только не об этом рассказе. Мне казалось, что никто из учениц его не читал. Я спросил учительницу: «А в чем дело? Кажется, вы не давали студентам «Помпеи»?» Учительница, вполне соответствующая облику американской передовой женщины, неожиданно покраснела. «Простите, — пробормотала она, — но нашим девушкам вроде бы не стоит читать такие рассказы. Там слишком много секса». — «Помилуйте, Глэдис, — секса? Вы сказали секса? Однако мне кажется, что там вообще нет секса в американском его понимании; сплошной лишь советский дебош...» Мы разошлись, пожав плечами и обменявшись неопределенными взглядами.

Глэдис, налив себе чашку кофе из кофейного источника, пошла в факультетский клуб и стала смотреть ТВ, где на канале PBS случилась интересная беседа об оргазме. Целомудренные студентки тем временем жевали гамбургеры на фоне объявления о дискуссии по поводу хирургического изменения пола с участием трех трансвеститов. Вот американская сторона проблемы — дискуссионный, почти научный, популярный секс в рамках освободительного процесса.

Я живу среди целомудренных американцев, и таких, кажется, в стране большинство. На углу в лавочке «7 — 11»

* Писательское мастерство.

среди предметов первой необходимости продаются журналы «Плейбой», «Пентхаус» и «Хаслер», которые для самого грязного развратника в СССР являются символом буржуазного нравственного разложения. Казалось бы, при такой доступности всего «запретного» давно уж все общество должно превратиться в сплошной «свальный грех». Однако в окружающей нас повседневной жизни никакого особенного разврата мы не видим; во всяком случае, не видели ни в Анн-Арборе, ни в Санта-Монике, ни на Вайоминг-авеню в дистрикте Колумбия.

Между тем советское общество, которое, казалось бы, в силу железных ограничений всего неидеологического (попробуй найти в киосках Союзпечати журнальчик с голый натурой) должно было стать полностью пуританским, на самом деле таковым не только не является, а, напротив, в жадной охоте за запретными яблочками, бьет иной раз все западные рекорды. Тяга к «запретному разврату» во много, много раз превышает интерес жителей треугольника Калорама к упомянутым выше журнальчикам в магазинчике «7 — 11».

*Mr. Hefner goes to USSR**

В декабре 1983 года журнал «Плейбой» отмечал свой тридцатилетний юбилей. Я неоднократно пытался перевести это название на русский язык и не нашел лучшего слова, чем «Стиляга». По любопытному совпадению, журнал этот появился на свет Божий как раз в те времена, когда в Советском Союзе процветало молодежное движение, известное как стиляжество. По всем параметрам этот журнал был «органом» как раз того поколения советской молодежи, хотя она его, разумеется, и в глаза не видела.

Основатель журнала, «великий Хью Хефнер», облаченный в свой неизменный халат из тяжелого шелка, в юбилейные дни появлялся на телеэкранах и рассказывал,

* Мистер Хефнер посещает СССР.

как ему пришла в голову идея выпускать журнал с фотографиями голых девушек, в некотором смысле отражением пресловутых мужских фантазий. Женское тело для меня, говорил Хью, всегда было и остается воплощением романтики. Мистер Хефнер, безусловно, относится к тем давним и многообещающим временам, ранним пятидесятым; в его журнале нет — или почти нет — более поздней похабщины. По отношению к женщине он демонстрирует джентльменство, едва ли не в стиле романа «Великий Гэтсби».

Как-то на Эй-би-си была устроена дискуссия о «Плейбое» с участием феминисток. Я с интересом ждал избиения, однако вместо криков о «сексплуатации» феминистки снисходительно заговорили о некоторых заслугах «Плейбоя» в деле преодоления ригидности пятидесятих годов, а значит, и в деле освобождения женщин, хотя, конечно, заслуги журнала ни в какое сравнение не идут с мерами по контролю над рождаемостью.

К сожалению, дискуссанты не отметили юмор «Плейбоя», а он не всегда плох. Вот, например, славная картинка. Молодая художница в костюме Евы позирует сама себе, стоя перед зеркалом. В дверях ее друг, думает: «В Советском Союзе крошке пришлось бы рисовать трактор».

«Плейбой» в Советском Союзе — это благодатная тема. На черном рынке один экземпляр стоит 50 рублей, в Грузии, возможно, в два раза больше.

Вот вам три истории о приключениях детища Хью Хефнера в стране «победившего социализма». Две из них основаны на собственном опыте, третья — на рассказе очевидца.

Однажды я поехал на профилактику своей машины в огромный московский центр автосервиса. Центр-то был огромный, но очередь машин значительно огромнее. Сразу стало ясно, что тут надо потерять день, а то и два.

Вдруг ко мне с гостеприимной улыбкой направился старший приемщик, за ним с улыбками, еще более ярки-

ми, шли два жулика поменьше. Без лишних разговоров они взяли мою машину и провели ее на конвейер без очереди.

Что случилось? Может быть, я узнан как популярный писатель? Вдруг я догадался — «Плейбой»! Кто-то из служащих автоцентра углядел на заднем сиденье моей машины экземпляр «Плейбоя».

Конвейер на некоторое время замер. Рабочие, для которых, как известно, главное — удовлетворить свою «родную коммунистическую партию», струдились вокруг журнала, прискорбно забыв о социалистическом соревновании.

Впрочем, по достоверным сведениям, трудовые показатели этого дня неожиданно подскочили на несколько процентов.

Второй случай имел место на священной границе СССР. Я возвращался поездом из Парижа. На станции Брест советские таможенники проводили досмотр багажа. Вдруг — ЧП! У западной туристки обнаружено шесть экземпляров «Плейбоя»!

Не знаю уж, зачем ей понадобилось столько; может быть, она сама в этом выпуске фигурировала в качестве одного из «зайчиков», а может быть, хотела сделать небольшой бизнес... однако — скандал! Нарушение таможенных правил СССР, запрещающих провоз антисоветской и порнографической литературы.

Пока таможенники с неподражаемой важностью и хмуростью заполняли протокол конфискации, один из экземпляров оказался в руках солдата-пограничника. Он замахал своим товарищам: ребята, вали сюда, «Плейбой» полистаем! Вскоре толпа солдатиков собралась в коридоре вагона. Персонажи гедонистического журнала явно приводили их в восторг. Непроницаемость священного рубежа в тот день была нарушена. Надеюсь, что кто-нибудь этим воспользовался.

И наконец, третья история, происшедшая за священными пределами, однако на «плавающей территории СССР».

Советский крейсер (назовем его «Стража»), выполняя «визит доброй воли», стоял во французском порту Тулон. Разбитые на небольшие группы во главе с офицерами, политработниками и комсомольскими секретарями, моряки даже и во время прогулок выполняли свою миссию, иными словами, как предписывалось, «гордо несли», «с достоинством представляли» и т.д. и т.п.

На борту возвращающихся с берега прямо у трапа встречал помощник командира по политчасти и специальный наряд, проверявший морские запазухи и даже щупавший промеж конечностей — нет ли чего лишнего.

И вдруг — тревога! — извлечен из штанины агент американского империализма журнал «Плейбой»! Вбеженный «помпа» (так матросы называют политработников) приказал трубить сигнал «все наверх!».

Те, кто был на борту, человек около сотни, построились на верхней палубе. «Помпа» произнес яростную речь против тех, кто пытался запятнать плейбойским позором краснознаменный крейсер, а потом стал вырывать из журнала одну страницу за другой и бросать за борт, в струи средиземноморского ветра.

Матросы мрачно смотрели, как кружатся и улетают прочь фотографии отменнейших девиц, столь любовно отобранных редакцией для всех мужчин планеты, и не в последнюю очередь для личного состава военно-морских сил, а когда «помпа» рванул и швырнул складную главную фотку с Мисс Август в одних лишь сетчатых чулочках, по строю советских моряков прошло глухое ворчание. Совершалось на самом деле грязное идеологическое надругательство над мечтой моряка. Мисс Август могла оказаться детонатором почище пресловутого котла с борщом, взорвавшегося в 1905 году на борту броненосца «Потемкин». Крейсер «Стража» в тот день был на грани восстания. По приказу вернувшегося с берега командира корабля для матросов был устроен просмотр кинофильма «В джазе только девушки».

Американское общество уникально. Иной раз охватывает оторопь — на чем держится этот огромный конгломерат при столь малой степени ограничений, при таком попустительстве природным человеческим страстям и страстишкам.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1953

«Простенько покушаем, простенько покушаем», — повторяли Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий. Между тем котлетки лежали недожеванными, картофельное пюре застыло, как зимняя пустыня Каракум, в то время как третья очередь хлебного вина, сиречь водки, проходила с завидной легкостью. «Простенько покушаем», — прослужился в очередной раз Евтихий, и вдруг вся четверка грянула немым хохотом и так, молча, тряслась, почитай, десять минут: юность, ничего не поделаешь.

Старший по залу Лукич-Адрияныч, глядя на трясущуюся кучку молодежи, решал нравственную дилемму: звонить или не звонить куратору «Красного подворья» майору МГБ Щедрина. Дилемма, естественно, была решена в позитивном ключе, и Лукич привычным шепотом зажарил в трубку:

— Считаю своим долгом коммуниста сигнализировать... Реакция разгулялась... Кошунственно злоупотребляют алкогольные напитки в день всемирного траура... Просьба нанести неожиданный удар, как по белочехам.

С ханжескими физиономиями появились музыканты, мужчины-репатрианты Жора, Гера и Кеша и их выкормыш из местных, юноша Грелкин. Первые трое происходили из бигбэнда Эрика Норвежского, что возник в недалеком прошлом в международном китайском порту, захваченном ныне красными ордами Мао Цзэдуна. Оказавшись, хочешь не хочешь, под властью самой передовой теории в китайском варианте, русские джазисты преисполнились патриотических чувств и устремились в объятия

исторической родины России-СССР. Увы, объятия были какими-то наждачными, у музыкантов задымилась кожа. Руководителя Эрика Норвежского отправили адаптироваться за Полярный круг, а остальные, теряя американские ноты, попрятались малыми отрядами по местным кабакам.

Что касается юноши Грелкина, то он, хоть и из исконной комсомолии происходил, попал под тлетворное влияние «музыки толстых», выказал значительные таланты и был приобщен «шанхайцами» к тайнам запрещенного искусства.

Официально в репертуаре у четверки значились народные шедевры вроде «Березки» и «Голубки», однако за полчаса до закрытия заведения, «под балду», играли они «Сент-Луис блюз» и «Грустного бэби». Увидев знакомых футуристов-мушкетеров, Грелкин подошел к сверстникам и стал угрюмо лицемерить: «Ах, какая большая лажа стряслась, чуваки! Генералиссимус-то наш на коду похилил, ах, какая лажа...»

«Надо сомкнуть ряды, Грелкин, — сказали ему друзья. — Хорошо бы потанцевать! Вон уж и наши чувишки подгрести — Кларка, Нонка, Милка, Ритка, смотри, не померзли по дороге, только рожи чуть перекосились. Слабай нам, Грелкин, чего-нибудь в стиле».

Бух, маленький взрыв. Помолодевший за время попойки мороз с мясом вырвал из окна форточку. «Заткнуть, заткнуть, не выпускать тепло!» Паника. Кто-то несется с диванной подушкой.

Слово «заткнуть» еще сильнее долбануло, чем «покушать». Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий в корчах стали сползать со стульев. «Кочумай, чуваки, — сказал, задрожав и оглядываясь, Грелкин. — Совесть у вас есть лабать, кирять, бирлять и сурлять в такой день? За такие штуки нас тут всех к утру расстреляют».

Вдруг, матушки, быстро из зала в зал прошел кто-то лиловатый и как бы без штанов. Боб Бимбо, американский угнетенный, в кальсончиках!

1985

Летучий дух Америки, мистер Флитфлинт, в принципе, может преобразиться и таким, скажем, образом.

Сильнейший сплин в тот сезон сковал воображение Ф-Ф. Радости Малибу не помогали — рутина; все как-то приелось.

Марш за моря, и вот мы за морями. Тут вроде пожизненно. Подразделение пляжных девушек, тридцать три сардинки, ножками к воде, головками к кафе, и все улыбаются Флитфлинту как обладателю карточки «Мастеркард интернэшнл».

Вечерами, подтягивая галстук-бабочку, спускаемся в центр Европы. Устрицы, седло барашка, брюле... вся эта снедь в курсе событий. «Мастеркард интернэшнл», ветер головокружительных приключений.

1983

Однажды ГМР отправился в экспериментальный театр, что под эстакадой Санта-Мелинда фривея, справа от входа в тоннель. В перерыве спектакля послал записку за кулисы:

«Почему бы вашему Ромео по пути к балкону не вернуться в край занавеса и не вздуться наподобие агавы, имитируя неумолимость и трансцендентность своего желания? Почему бы вашему Меркуцио не передвигаться на одноколесном велосипеде, жонглируя факелами как символами Возрождения? Принципиально против появления няни из левой кулисы! Она всякий раз должна парашютировать с колосников...» и так далее, всего шестьдесят четыре предложения.

В городе вскоре заговорили о новом потрясающем спектакле. ГМР пришел опять. Ромео вздувался агавой. Меркуцио, крутя педали, глотал огонь. Няня с загипсованной ногой висела посреди сцены на застрявшем парашюте.

После спектакля вышел режиссер и показал на человека в зале. Леди и джентльмены, всем этим мы обязаны ему! Перед вами мой учитель, второй Станиславско-Немирович-Данченко, третий Мейерхольд, четвертый Любимов, корифей Московского Театра-на-Бочонке, мистер... м-м-м...

Итак, ГМР опознан и признан! Начинается новая глава его американской одиссеи.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После летней духоты и долгой прозрачной осени (и то и другое столь не похоже на Россию) наступает середина января, и в Вашингтоне недели на три воцаряется настоящая русская зима: то завьюжит, то вдруг уляжется посреди морозной голубизны. Эмигрантская пара в такие дни, неизбежно напоминающие школьные хрестоматии, бесцельно прогуливается по нумерованным улицам даунтауна. Воздух пахнет Пушкиным, Бульварным кольцом Москвы. Бесцельное заглядывание в витрины. «Смотри, Майя, хорошие новости — смокинги подешевели!»



Магазин готовой одежды «Бертран Рассел» предлагает пятидесятипроцентную скидку на супербуржуазные одеяния. Хорошего русского слова «смокинг» они не знают и называют эти спецовки званых приемов «таксидо». Момент идеологического колебания у дверей магазина.

В СССР со времен нэпа никто никогда не играл в гольф, не ел устриц и не носил смокинг. Приобретение оно — шаг, возможно, не менее серьезный, чем эмиграция. Ну что ж, логика антиидеологии толкает нас перешагнуть порог «Бертрана Рассела».

...Едва мы вернулись с покупкой домой, как прозвучал звонок телефона. Звонили из Нью-Йорка, из писательской организации.

— Господин Аскин... Аксэи... ну, словом, Василий, не хотели бы вы посетить ежегодный гала-прием со сбором в пользу литературных меньшинств Канады?

— Гала-прием? Разумеется, хотел бы, но, позвольте, как вы догадались позвонить мне сегодня, именно в этот час, когда я оказался так блестяще подготовлен?

— Ха-ха-ха! Немного мудрено, но мы вас ждем.

На следующий день гудела пурга. Видимость вдоль Восточного коридора приближалась к нулю, однако скоростной метролайнер мчался в Нью-Йорк с лихостью не меньшей, чем тройка гусара Дениса Давыдова по пути из Москвы в Петербург. «Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся и пьяным в Петербург на пьянство при скачу...»

Глядя сквозь снежные вихри в сторону Атлантического океана, я думал, как и подобает эмигранту, о странностях судьбы и о той американской, некогда мифической художественной сцене, в которую я нынче вхожу пятидесятилетним новичком.

Отвечая на ответ

Прошлым летом по дороге к вермонтским идиллиям мы завернули в Амхерст, Массачусетс. Я был приглашен принять участие в проводившейся там конференции Группы театральных коммуникаций. В Амхерсте между тем процветала его собственная идилия: центр города представлял собой большую лужайку, окаймленную каштанами и белыми соснами, за стволами виднелись низкие домики с лавками в первых этажах, церковь и здания старого университетского кампуса. Отель, в котором нас ждала комната, назывался «Лорд Джеффри» и напоминал Стрэтфорд-на-Эйвоне.

Мы прибыли под вечер, а конференция работала уже с утра. Я включил телевизор — как раз время новостей, любопытно, что они расскажут о событии. «Дождись, расскажут, — проворчала жена. — Ты думаешь, театраль-

ния конференция — для них событие?» Майя настроена скептически к американскому телевидению, несмотря на то — или благодаря тому, — что является ревностным зрителем «Далласа», «Династии», «Бумажных куколок»... Эти серии, между прочим, для многих эмигрантов стали как бы пособиями в овладении языком Шекспира.

«Позволь, — сказал я, — не каждый день, ей-ей, в Массачусетсе проходит всеамериканская театральная конференция, на которую собираются более чем полтысячи театральных деятелей из более чем двух сотен театров, не говоря уже о таких знаменитостях, как драматурги Артур Миллер, Джон Гуер, Дерек Уолкотт, Янош Гловацкий, режиссеры Зельда Фичлендер, Питер Селлерс, Тадаши Сузуки, Оливье Чулей...»

Возгорелся «голубой экран». Первой новостью оказались расовые столкновения неподалеку от Амхерста. Выглядели эти расовые столкновения, впрочем, как обычная русская драка по пьянке, когда одна часть деревни задирала другую. Затем большой кусок новостей посвятили пожару в отельчике по соседству. Дым, языки огня, трехсотфунтовое мужское тело проламывает раму, шлепается спиной вниз на натянутый брезент. Впечатляющие кадры! На Руси пожар — это всегда праздник, мать Америка тоже любовно относится к этим народным событиям. Основной новостью дня оказалась, однако, не новость о пожаре и не драка, а драматическая исповедь некоей миссис Перкинс. Она призналась в том, что девятнадцать лет назад была сексуально потревожена директором местной школы. Интервью с ней продолжалось десять минут, суть дела несколько затуманивалась псевдоюридической терминологией, которую бойко употребляла жертва. Общественность напустила еще больше дыму. Директор же, печальный носатый мистер Гумберт, сказал, что он был бы рад способствовать установлению истины, однако никак не может припомнить той крошки.

О театральной конференции не было сказано ни слова — ни в тот вечер, ни в последующие. Больше того, за

все три дня исключительно интересных дискуссий на конференции не появился ни один репортер.

Пресловутое правило американской mass media показать человека, «кусающего собаку», толкает легион американских местных репортеров — колоссальный контраст, между прочим, в сравнении с блестящей школой американской международной журналистики, особенно с поколением, прошедшим Вьетнам, — выискивать в качестве новостей всякие гадости. Если же к очередному выпуску новостей новых гадостей не накапливается, то неизбежно освежаются прежние. Театральные конференции на этом фоне, конечно, не новости.

Актеры школы господина Сузуки говорили, что, оказавшись на сцене, они прежде всего стараются определить, откуда в данный момент на них смотрят глаза Бога. Люди американского театра стоя аплодировали урокам сценической пластики. Я подумал о том, что им, может быть, и удастся определить направление Божьего взгляда, но вряд ли они узнают, откуда на них смотрят глаза Америки. Талантливый и полный жизни театральный мир этой страны прочно выбит на задворки, обращен в бездоходного родственника. Где эти лица, полные мысли, воображения, юмора? Вместо них страна изо дня в день видит на экранах хорошеньких дурачков, наводящих только на одну мысль: есть ли предел бездарности и деревянности?

Кем-то (вот любопытно, кем же?) выработана незыблемая эстетика и пластика так называемого коммерческого телевидения. Постановщик недавней мини-серии «Фиеста» объясняет свое насилие над Хемингуэем тем, что ему пришлось убегать от импрессионизма книги. Импрессионистический подход, говорит он, не вытягивает и полутора минут на коммерческом телевидении. Ради Бога, что же он хотел сказать своей работой без «импрессионистического подхода»? То, что, не будь Первой мировой войны, Джейк и Брет были бы счастливы? В результате такого приспособленчества мы остаемся в замешательстве, когда фильм перебивается рекламой парфюмерии Эсти

Лодер, принимая ее за продолжение американской классики.

Фальшивый советский лозунг «Искусство принадлежит народу» странным образом осуществляется в Америке, потому что именно народ, то есть массы, а не эстеты-одиночки, платит массовые деньги и потому выглядит как бы в роли заказчика. Предусматривается, однако, что народ «прост», и тут концепция «простоты» нередко скатывается до «простоватости». Запросы народа вырабатываются предложенным товаром. По сути дела, ответ на «запросы народа» — это ответ на ответ. Взаимовлияние масс и массовой культуры крутится по замкнутому кругу. Чье влияние первично, на этот вопрос уже почти невозможно ответить. Что было раньше — курица или яйцо?

В этой связи трудно уже говорить об американской авангардной традиции. В журнале «Роллинг стоунз» я прочел, что голливудский гений Стивен Спилберг долго не мог получить своего первого «жирного бюджета», так как его подозревали в авангардистских наклонностях. Пришлось бедняге доказывать, что таковых не имеется. Пол Мазурский поставил великолепный и не лишенный авангардной романтики фильм «Буря» и провалился в кассе: народ не принял замысловатостей. Следующий фильм — «Москва-на-Гудзоне» — режиссер сделал уже по железным законам «мыла»^{*} и огреб кассу. Что остается делать режиссерам, если по результатам «бокс-офиса» нынче уже присуждаются академические награды? В Москве-не-на-Гудзоне мы называли эти дела не «мылом», а «соплями с сиропом».

Вот один из моих американских сюрпризов — зажим авангарда! Издалека, из царства социалистического реализма, нам казалось, что авангардная традиция в Америке по-прежнему процветает, что американская литературно-театрально-киношная сцена представляет собой пуль-

^{*} Намек на коммерческие телевизионные спектакли, называемые «мыльные оперы» (soap-opera).

сирующий и светящийся космополитический плейграунд. Глядя изнутри, видишь со все нарастающим удивлением, что эта сцена при всем ее гигантском размахе носит черты деревенской лавки — поиски «вернячка», боязнь риска, паника при слове «эксперимент».

Провинциализм, разумеется, не всегда отрицательное качество, особенно если речь идет о национальной литературе.

Фолкнер в конце концов провинциальный американский писатель, даже в большей степени, чем Достоевский был провинциальным русским, однако только сейчас, живя здесь, я начинаю понимать, до какой степени американская литература является чисто американским, а не международным делом. Наше прежнее отношение к ней стояло на мифологии.

Среди космополитических мифов существует — или существовал — дивный миф «Знаменитого Американского Писателя» — ЗАП (FAW).

В прошлые годы в Советском Союзе мне приходилось с этим типом встречаться, и я предполагал, что знаю, как себя вести при этих встречах. У моей жены опыта в этом меньше, и в связи с этим мы иной раз попадаем впросак.

Как-то раз звонит нам в Вашингтон один ЗАП, называет моей жене свое имя и делает паузу в ожидании соответствующей реакции. «Будьте любезны, по буквам», — говорит жена. К ЗАПу уже тридцать лет не обращались с такой просьбой, ошеломленный, он, запинаясь, спеллингует свое имя. Я прихожу домой, и жена мне говорит: «Тебе звонил американский писатель по имени «вот посмотри»... В ее транслитерации получилось что-то вроде Тутанхамона. Тут он позвонил снова: «Мистер... м... Акселотл, это звонит вам такой-то... — Неуверенно добавил: — ...американский писатель». — «Как?! — вскричал я, стараясь восторженной интонацией исправить промашку жены. — Это вы?! Тот самый?!» ЗАП вздохнул с усталым облегчением: «Да, это я, тот самый...»

В начале литературной жизни моего поколения, которое столь счастливо совпало с развалом сталинского железного занавеса, пятеро американских писателей захватили наше молодое воображение. Хемингуэй, Фолкнер, Фицджеральд, Дос Пассос и Стейнбек — мы называли их Великой Американской Пятеркой.

Встретиться пришлось только с одним из пяти. Осенью 1963 года Джон Стейнбек появился в Москве, живая легенда, в длинном и широком твидовом пальто: казалось, что в карманах там покоятся основательные запасы всякого добра, нужного ЗАПу в странствиях: табак, виски, мотки проволоки для скрепления сюжетов, крючки и леска для ловли метафор... Большое лицо в морщинах и алкогольных венозных паучках... Вот он, настоящий «кит» американской литературы XX века, космополит, бродяга, донжуан, пьяница, словом, «почти Хемингуэй». Последнее качество Стейнбеку, видимо, не очень-то нравилось.

«С этим вашим Хемингуэем, — говорил он, — я встречался только два раза. Первый раз платил за скоч он, в другой раз мне пришлось раскошелиться. Мы почти не разговаривали. О чем нам с ним говорить? Его интересовали какие-то титанические рыбы, а меня — размером не более сковородки».

Посол США Фой Колер пригласил меня (очевидно, как представителя «новой волны») на обед в честь Стейнбека. Классик к моему приходу, должно быть, уже хлебнул и приветствовал молодого писателя сильнейшим хлопком по спине. «Как пишется, Василий?» Я пришел в восторг — вот она, рука ЗАПа!

Он был полностью в образе и за обедом нес много очаровательной чепухи, тревожа дипломатов и секретаря Союза писателей Алексея Суркова. «Для чего человеку пуп? Друзья мои, если вам захочется ночью поестъ редиски, лучше солонки не найти!»

На прием в журнал «Юность» он пришел в другом настроении. Мрачно и сердито задавал молодым писателям какие-то темные вопросы: «Вы знаете, что лес уже

горит? Слышите треск сучьев, волчата? Будете драться за свои шкуры или превратитесь в шелудивых собак?..» Может быть, он имел в виду незадолго до этого проведенную партией борьбу с молодым послесталинским искусством? Лучшим ответом на его вопросы стала бы знаменитая песня Владимира Высоцкого «Охота на волков», но она к тому времени еще не была написана. Мрак леса не очень-то соединялся с деревенским праздником нашей молодости — его не смог испортить даже Хрущев. «Расскажите нам, пожалуйста, о ваших встречах с Эрнестом Хемингуэем, мистер Стейнбек!» Он презрительно замолчал, а потом сказал, что ему нужно в туалет, и скрылся.

Джон нахлобучил свой floppy hat* и вышел из «Юности» в промозглый сумрак поздней московской осени. Он знал по-русски название одного воровского района здешней столицы. «Мар-р-рь-ина Р-р-рош-щ-ца», смесь рычания с шипением. Так он и прорычал с шипением таксисту.

По дороге он думал о тяжелой доле нобелевских лауреатов. Повсюду сопровождающие лица, себе не принадлежащие. Русские, словно сговорились, все талдычат о Хемингуэе. Трудно понять, чем живет эта страна. Евтушенко, кажется, не типичный ее представитель. Посмотрим, каково будет в Марьиной Роще, куда рекомендуют не ездить...

Никакой рощи, разумеется, в Марьиной Роще не было. Унылые строения и битком набитые троллейбусы. Светилась одна неоновая вывеска «Гастроном». Вот здесь, за неимением баров, русские общаются друг с другом.

Он уже слышал о широчайшем распространении тройственных союзов. Три персоны скидываются по рублю и берут пол-литра. Почему-то всегда на троих. Почему? — вот вопрос. Что за таинственные тройные ячейки и почему милиции это не нравится? Надо попытаться проникнуть в этот секрет. Нобелевские лауреаты, конечно, не из числа тех, что предпочитают с дайкири нежиться под

* Мягкая складная шляпа.

гавайским солнышком, должны проникать в глубь народных масс, где бы то ни было, хоть в Северной Дакоте, хоть в Марьиной Роще.

Он вошел в кишачий народом магазин и с высоты своего роста огляделся. Гражданин в хорошо прожеванной одежде, сразу определив в нем единомышленника, делал знаки, показывая из-за пазухи дрожащий палец. Джон тоже выставил свой грешный указательный. Они сблизились. Подскочил третий пальчик. Все трое вынули по рублю.

С бутылкой, весело, головка к головке, троица вышла из магазина и прошла в грязный скверик. Хорошо прожеванный гражданин вынул из карманов пальто два стакана. Двое культурно, один — горнистом. «Лады, Большой?» — спросил он Стейнбека. Тот кивнул. «Tell me, — сказал он, — why is it always by three?»* — «Глаз-ватерпас, — сказал маленький пальчик. — Каждому по сто шестьдесят шесть граммчиков, два грамма Большому на рост. Вздрогнули!»

После первой бутылки хорошо прожеванный гражданин извлек еще один хорошо прожеванный рубль. Маленький пальчик последовал его примеру. «Большой», то есть Джон Стейнбек, тоже не заставил себя ждать. Вторая бутылка прошла гладко и в темпе. Джон хлопнул друзей по спине. «You bastards, tell me, why is it always by three?»** — «Ты много разговариваешь, — сказал маленький пальчик. — Тот, кто много знает, тот мало разговаривает». — «Once more?»*** — спросил Стейнбек. Вот это дело. Друзья стали выцарапывать мелочь из складок одежды. Джон дал три рубля. «Большой!» — восхищенно ухнули двое. После третьей бутылки Джон Стейнбек тяжело опустился на обледенелую скамейку и закрыл глаза. «This bloody good will mission»****, — пробормотал он и слегка отключился.

* Скажи мне, почему всегда на троих?

** Вы, ублюдки, скажите мне все-таки — почему всегда на троих?

*** Еще?

**** Эта проклятая миссия доброй воли.

Очнулся он от толчка в плечо. Над ним стоял милиционер и требовал документы. Морозный ветер скрипел в ветвях. Аптека, улица, фонарь. «Что за птица, — думал милиционер, — кажись, не наша». Стейнбек вспомнил еще два слова, которым его научила переводчица Фрида Лурье.

— Амэр-р-рикански пис-с-сатэл, — сказал он. Рычание со свистом.

«Так и есть», — подумал милиционер и взял под козырек:

— Добро пожаловать, товарищ Хемингуэй!

Из этой довольно популярной московской легенды видно, что даже московская милиция в некоторой степени была знакома с образом «знаменитого американского писателя» тех лет, к которому наш замечательный Джон Стейнбек волей-неволей был пристегнут.

В разгаре хемингуэевского бума конца пятидесятых и начала шестидесятых Папа был идиолом российского студенчества и интеллигенции разных возрастов и направлений. Даже так называемые международники, иными словами гэбэшники; что шуровали на Кубе и в Латинской Америке, были под хемингуэевским влиянием.

Попав впервые в Париж, я нашел, что он окрашен для меня не только своим собственным тысячелетним очарованием, но и промельком тех мимолетных американцев конца двадцатых, пьяной свитой поклонников леди Эшли. В конце бульвара Монпарнас, где сквозь листву платана просвечивает статуя маршала Нея и доносятся звуки пианино из «Клозери де лила», я вспоминал фразы «Фиесты»; магия тех простых фраз.

Культ Хемингуэя возник в России от того, что его лирический герой совпадал с идеализированным, то есть неверным, а может быть, как раз очень верным, в некотором астральном смысле, образом американца; он воплощал в себе то, чего так драматически не хватало русскому обществу, — личную отвагу, риск, спонтанность. Набо-

ков как-то раз пренебрежительно назвал Хемингуэя «современным Чайльд Гарольдом». Довольно точное определение, но тут надо вспомнить, что и Байрон в свое время поразил русское общество, возбудил дворянскую молодежь. Уникальные таланты Пушкина и Лермонтова начинались по разряду провинциального байронизма. Восстание гвардии в декабре 1825 года было вызвано байроническим вдохновением.

Существенным моментом притяжения был также хемингуэевский алкоголь. Излюбленный недуг России требовал периодической романтизации, каковую в девятнадцатом веке он получал от гвардейских гусар и кавалерийского поэта Дениса Давыдова. Теперь можно было пить на современный, американо-космополитический, хемингуэевский манер. Алкогольные эксцессы нашего поколения, конечно же, имеют отношение к творчеству Папы, а распутство литературных девочек отходит к эскападам Брет Эшли.

Потом вдруг как-то все устали, все вдруг как-то стало слабеть, тускнеть, и неудивительно: Хемингуэй — ренессансный писатель, и, когда ренессанс испаряется, испаряется и хемингуевина. Этот термин, звучащий слегка как похабщина, стали употреблять московские снобы, подхватившие чью-то фразочку «хвост мула у Фолкнера стоит дороже всех взорванных мостов Хемингуэя».

Нам говорил скабрезный демон моды: не смешите меня своим Хемингуэем, хоть он у вас и вышит сингапурским мулине по шведской парусине. Подумайте сами, сколько уж лет он у вас висит. Сегодня выносите всех своих хемингуэев на свалку! Пришла теперь пора прощаться... Прощай, прощай, Хемингуэй! Я встретил тебя однажды ночью, и ты мне рассказал нехитрую историю про «кошку под дождем». Прощай, солдат свободы! Мы больше не встретимся в Памплоне и не будем дуть вино прямо из меха. Прощай, веселый твой, солдатский, лихой американо-средиземноморский алкоголь! Увы, нам уже не въехать вместе на джипе в пустой, покинутый немцами Париж, не опередить армию! В сумерках среднего возраста

та мы забудем твою науку любви, ту лодку, что вечно отплывает, и науку стрельбы по буйволам, науку моря, зноя и горного кастильского мороза. Прощай, тебе отказано от дома, ты вышел из моды, гидальго XX века, первой половины «Ха-Ха», седобородый Чайльд, прощай!

Попрощавшись с ним таким вот макаром, я сообразил, что это новая встреча.

...Итак, мы едем на литературный гала-прием. Снегу в тот вечер было, как в Москве. Крутило. Таксист-нигериец в ужасе смотрел на несущиеся снежные космы. Доехав каким-то чудом до места назначения, он признался, что всего два месяца, как водит такси в Нью-Йорке, потому что и вообще два месяца, как в Нью-Йорке, и ничего подобного вот этому белому и холодному песку, который так неумолимо сыплется с неба и делает дорогу такой безобразно скользкой, он не ожидал здесь увидеть.

Я стою в толпе на приеме в центре Манхэттана. Есть что-то античное в этих стоячих американских парти, — кажется, будто кто-то тут околачивается с парой кинжалов за складками тоги. Где же Цезарь? А вот и он, автор чего-то «самого захватывающего, самого фундаментального». Знакомых лиц мало, пара-другая — из тех, что когда-то посещали Москву, однако чувствуется, что ты в центре литературного истеблишмента. Поражает число высоких женщин. Высокие красавицы, как молодые, так и старые, — отбор, очевидно, идет давно.

Я вдруг подумал не без грусти, что меня сейчас не очень-то интересует современная американская литература. Вдруг я осознал, что произошло какое-то испарение ностальгии. Сигаретные дымки над головами высоких женщин, чуть пониже симпатичные седины и плечи моих американских коллег, окна, охватывающие полнеба, за окном подмигивание стоэтажных финансовых столбов... грустный момент утечки одного из ранних очарований.

Что случилось? То ли сама эта человеческая группа вместе с воплощающим ее образом ЗАПа так изменилась с прежних хемингуэевских времен, то ли она просто ока-

налась не такой, какой представлялась издалека, то ли я сам изменился в брюзгливости среднего возраста, то ли наша человеческая группа, именуемая «современной русской литературой», так основательно изменилась после того, что пришлось хлебнуть... Рассеялась аура отдаленных пространств, открытого мира, рискованного предприятия, нынче для меня американская литература просто встала в ряд других западных литератур.

Аурой рискованного предприятия нынче окружена сопротивленческая литература Восточной Европы и Советского Союза. Может ли современный писатель найти для себя более головокружительное приключение, чем литературное изгнание?

Сказав об утечке особого интереса, я вовсе не расписываюсь в равнодушии. Напротив, я полон профессионального любопытства и на правах члена Американской авторской гильдии я постоянно обзираю уже частично как бы и свое профессиональное поле.

Образ ЗАПа и в самом деле престраннейшим образом изменился под увеличительным стеклом американского быта. В принципе, ведь и везде писатель озабочен созданием и сохранением персонального обличья. В Советском Союзе поэт Островой, автор бессмертной строки «Я в России рожден, родила меня мать», — ни при каких обстоятельствах не снимает тяжелых очков. «Народ знает меня в этих очках!» — заявляет он. ЗАП тоже не меняет обличья, не запускает бороды или, наоборот, не бреется, если был бородат к моменту своей славы, держит в зубах погасшую сигару, даже если она ему осточертела, живет в отшельничестве, если за ним повелась репутация отшельника.

Общество обожает ЗАПа, он — любимец, такой немножко как бы капризуля; из множества мифов он один из самых обаятельных, он, кроме всего прочего, и сам является персонажем американской литературы. Процент «писателей» из общего числа персонажей — весьма внушителен. Начинаящий писатель пишет роман о начинающем писа-

теле. Приходит первый успех, и появляется книга о первом успехе. Разочаровавшись в приманках славы, писатель пишет о писательском разочаровании. Начинается период семейных неурядиц, измен, адюльтеров, и появляется роман о писательских разводах, изменах, адюльтерах...

Соблазн велик, знаю по себе. Каждое утро, садясь к столу у окна над крышами Вашингтона, хочу написать: «Мистер Акселотт, писатель в изгнании, сел к своему столу у окна над крышами Вашингтона». Увы, обуживаю свой нарциссизм: надо подумать, господа, и о молодых литераторах.

Первая проба профессионализма — написать не о себе. Начинающий писатель, однако, смотрит на своих старших собратьев: все пишут о собственных геморроях, а почему мне нельзя? В результате в «Атлантиках» и «Харперсах» появляются почти неотличимые друг от дружки рассказы, составленные по такой приблизительно схеме.

Сентябрьским вечером, сидя на крыльце своего дома, Шейла М. ждала гостей. Она была стройна (120 фунтов) и обладала пышной каштановой гривой, парой (!) голубых глаз и смугловатой кожей, залитой закатным солнцем (sic!). Спокойно и грустно она думала о своих литературных успехах и о недостатках своей половой жизни. Недавно она получила за первый сборник своих рассказов большой приз от Национального фонда искусств, но зато Брюс В., который только что ее покинул, спал с ней не чаще чем два раза в год, то есть за те пять лет, что они провели вместе, он спал с ней десять раз. Иные спят по десять раз за раз и ежедневно, то есть три тысячи шестьсот пятьдесят раз в год или семнадцать тысяч двести пятьдесят раз за пять лет. В чем причина нашей странной бессонницы? В стареньком «Фольксвагене» подъехали гости, университетская подруга Шейлы М. Джин С. (несомненно, вторая Шейла М.) и ее бойфренд Гордон Ш. (несомненно, третья Шейла М.). С первого взгляда было видно, что пара наслаждается избытком половой жизни, близким к вышеупомянутой калькуляции.

Втроем они сделали салат из латука и немножечко покушали. Ночью Гордон Ш. пришел к Шейле М. и разбудил в ней женщину. Возможны варианты.

Утром они снова ели салат из латука и обсуждали свои литературные дела. Шейла рассказывала замысел своего романа об одинокой женщине-прозаике. Джин говорила о премии, которую ей обещали в Национальном фонде искусств за новую книгу стихов, Гордон поведал о своих мощных усилиях в Голливуде.

Несколько перемещений в толпе манхаттанского приёма — подальше от Брута, подальше и от Цезаря, — и я оказываюсь рядом со знакомым ЗАПом; книги его читал еще в переводах, а самого встречал на международных конференциях. В разговоре он жалуется мне на неприятности с цензурой. Вот именно с цензурой, сэр! Вы думаете, только в России существует цензура? Недавно в Миссури школьный совет округа Тмутаракань постановил изъять мои книги из библиотеки. «Их, видите ли, смущают иные четырехзначные* слова и некоторые фривольности моих персонажей. Вот вам новое наступление ханжества, как во времена Маккарти! В Советском Союзе мои книги все-таки переводятся и издаются, не так ли?»

Я почесал в башке: «Кажется, сэр, я знаю, как решить проблему со школьной библиотекой в Миссури. Нужно сделать обратный перевод с советских изданий на английский, и, ручаюсь, никаких неприятностей у вас больше не будет».

Он посмотрел на меня в некотором смущении. «Прошу прощения, старина, в самом деле не очень-то уместно было говорить о цензуре с вами».

В одном университете после лекции меня спросили: знают ли в СССР ведущих американских писателей? Не без осторожности я задал встречный вопрос: каких именно писате-

* Fourletters word — то же, что в русском «на три буквы».

лей имеет в виду студент? Он назвал имена из списка бестселлеров. Пришлось развести руками. Эти имена почти неизвестны активно читающей публике в России. Я и сам их не знал, пока не приехал в эту страну, а между тем именно они волей-неволей направляют массовый литературный вкус, хотя, возможно, меньше всего думают об этом предмете.

Для читающей публики в России существует другая американская литература. Переводчики, надо отдать им должное, отбирают книги не по количеству проданных экземпляров, а по приметам так называемой серьезности. Конечно, в тех случаях, когда не удастся обойти идеологический часток, переводчики подвергают американских авторов порядочной стрижке с удалением не только излишней волосистости, но и кусочков плоти, но все-таки, благодаря высокому уровню переводческой школы, советские читатели смогли в течение последних двадцати пяти лет познакомиться с рядом блестящих имен.

Особенно четкой границы между серьезной и коммерческой литературами, как я понимаю, сейчас нет. Иной раз и серьезные попадают в золотые списки, другой раз и постоянные обитатели этих списков демонстрируют твердую руку и серьезность проблем. И все-таки ориентировка на списки торговых рекордов вызывает к жизни не только несметное число безвкусицы, но и особый тип пишущего человека.

Однажды я познакомился с романистом, который на вопрос, какого рода книги он пишет, ответил просто: «Бестселлеры. К сожалению, плоховато продаются», — добавил он.

В определенном смысле коммерческая литературная халтура имеет некоторое сходство с идеологической литературной халтурой.

Как-то раз на телебеседе дамочка-писательница делилась секретами своего ремесла. «Прежде чем начать новую вещь, — говорила она, — я тщательно изучаю спрос. Писатель, — она поднимала приятный пальчик, — должен знать литературный рынок». Легко воображаю эту даму в роли члена Союза писателей СССР.

Таким же благообразным тоном: «Писатель должен изучать последние партийные документы, быть в курсе решений партии по литературным вопросам».

Кружным путем сообщество авторов бестселлеров напоминает советскую партийную номенклатуру: в нее трудно попасть, но из нее почти уже невозможно выйти. Нынче в американской литературе книга часто становится бестселлером, потому что она написана автором бестселлеров. Читатели доверяют этим авторам, полагая, что вкладывают деньги в стоящее солидное дело. Авторы стараются поддерживать «торговую марку», выдавать на-гора то, чего от них ждет рынок. Вырабатывается коммерческая инерция, под которую нередко попадает и серьезная литература. Тут не до экспериментов.

К внутриамериканской торговой инерции я отношу и равнодушие в адрес иностранных книг. Успех итальянца Эко уникален. Один книготорговец как-то объяснял мне: пролистывая новую книгу и находя в ней иностранные «трудные» имена, наш массовый читатель автоматически откладывает ее в сторону. Забавно, не правда ли, для страны, где добрая половина населения состоит из Джонов Домбровичей и Джейн Дзапарелло. В России, между прочим, наоборот — при виде иностранных имен читатель заинтригован.

Любопытно, что литературная критика очень мало влияет на продажу, она как бы существует вне коммерческой сферы. Вряд ли найдете вы в солидных еженедельниках рецензии на самое «горяченькое», иной раз лишь что-нибудь сквозь зубы, глуховато-ироническое, однако авторы бестселлеров в положительных ревью, очевидно, просто не нуждаются: они уже в списке! Воспитание литературного вкуса происходит в замкнутом кругу лиц с хорошим литературным вкусом.

В общем и целом, я раскланиваюсь в любезной позе, насколько могу. В какой-то мере я и сам уже часть этой ли-

тературы (и не только на правах национального меньшинства), литературы, в которой все еще, несмотря ни на что, крутится хвост йокнапатофского мула, взлетают в воздух испанские мосты, бренчит джаз бит-поколения и ковыляет раненый кентавр Новой Англии. Страдает ли литература от сожительства с долларом или что-то от этого выигрывает? — вопрос еще открыт. Увы, человечество пока не придумало системы отношений более естественной, чем деньги. То, что нам предложил Карл Маркс, на деле оказалось возобновлением отношений доденежной поры. Это, впрочем, не может отобрать у писателя права на когти. Венецианский книжник-лев лицом своим располагает к чтению, к писанию — когтями!

Русские литераторы, вообще русская интеллигенция, выкарабкиваясь, по выражению Солженицына, из-под глыб тоталитарщины, рассчитывала на солидарность художественной интеллигенции мира. В шестидесятые годы многие блестящие таланты Европы были еще под влиянием так называемой прогрессивности, то есть если и выражали солидарность, то в адрес литературных бонз социалистического режима. К чести американских писателей следует сказать, что они реже попадали под власть идеологического гипноза.

Жан-Поль Сартр, например, высокомерно назвал Пастернака «строптивцем с Востока», он отказался от Нобелевской премии, не желая следовать за этим «непрогрессивным» писателем, в то время как столь многократно упомянутый выше Хемингуэй просто сказал: «Если Бориса вышлют на Запад, я куплю ему дом».

Уникальный сигнал солидарности пришел к русской литературе из совершенно неожиданного места — из штата Мичиган.

На высоте «Ардуса»

Зимой одного из семидесятых годов на снежные аллеи Переделкина высадился американский десант. Так, веро-

янно, и воспринималась соответствующими товарищами и их органами эта команда из девяти человек: глава злокозненного издательства «Ардис» Карл Проффер, его жена Элендея, их дети Иен, Крис и Эндрю, брат жены Билл, чья-то мама, по имени «бабушка», и две университетские девушки Нэнси и Таис.

Мальчики прыгали, как снегири, в своих ярких куртках и мун-бутах, Элендея с бодростью и энергией необыкновенной вышагивала под соснами, то распахивая, то запахивая заморское норковое роскошество, сам высоченный мистер Проффер (он в свое время играл в основном составе баскетбольной команды Мичиганского университета) неторопливо шествовал, иногда опуская порозовевший нос в грубые, если не сказать грубейшие, меха своего огромного русского тулупа. Он явно наслаждался: сколько вокруг России, сколько вокруг, черт побери, русской литературы!

Когда, после выпуска «Метрополя», социалистический реализм лишил Профферов доступа на русскую землю, они огорчались, может быть, не меньше, чем иные высланные русские писатели. Уникальная русофилия, выросшая на почве Мичигана и Индианы!

В американской русистике, сеть которой невероятно широка, но не так уж глубока, немало есть эрудитов, относящихся к предмету вроде как к минералогии; есть и такие, которым «русский дух» претит. Рассказывают, например, об одном таком «спеце», который, поддав, однажды высказался в таком духе, что предпочел бы изучать русскую культуру как древних греков, то есть как литературу мертвых.

Есть и редкие примеры удивительной самоотдачи, обычно всегда связанные с уникальными человеческими качествами и талантами. Патриша Блэйк в своей книге о знаменитом переводчике и ученом Максе Хейворте рассказывает, что Макс очень страдал, когда соцреализм навсегда отказал ему в визе. Однажды Патриша вернулась из Греции и сказала Максу: ты знаешь, эта страна напо-

минает чем-то наш «Анион»*. Так они называли между собой Советский Юнион. Луковый вкус слова имел некоторое отношение к традиционным русским куполам, к той России, которую они любили. Через неделю Макс позвонил ей в Нью-Йорк уже из Греции. Он облюбовал там какой-то остров и провел на нем большую долю своих последних лет. Сидя посреди Эгейского моря, он работал над русскими книгами и обсуждал со своими гостями последние московские литературные коллизии.

Благодаря Карлу Профферу в русскую культуру вошел (без сомнения, уже навсегда) Анн-Арбор, мичиганский «большой маленький городок», город-кампус с его университетской «так-сказать-готикой», ресторанчиками, лавками и копировальными мастерскими даунтауна, ярко освещенными до глубокой ночи книжными магазинами, толпами «студяра», запашком марихуаны, символизирующим либеральное меньшинство, и пушистыми зверьками, снующими среди поселений стабильного большинства, по всем этим улицам Хилл, Спрусс, Лэйк, Элм, проплутав по которым, русский писатель неизбежно в конце концов выезжал на немощенный Хитервей, чтобы увидеть там, в глубине, за стволами кленов и сосен, большой дом, бывший когда-то загородным клубом, и мягкие скаты поля для гольфа, по которым неторопливо движется высокая сутуловатая фигура, сопровождаемая парой собак и тройкой детей.

Именно здесь, по сути дела, возник новый период русского литературного сопротивления, непостижимыми «воздушными путями» идиллический пейзаж оказался связанным с пресловутыми кухнями московских и ленинградских интеллектуалов, с чердаками богемы.

Из американских славистов никто, пожалуй, так хорошо, как Карл, не понимал русской литературной среды. Он, в частности, улавливал некоторую этой среды «шпанистость» и даже сам был как бы тронут слегка этой «шпанистостью», во всяком случае, никогда не говорил о

* Onion – лук, луковица.

своем предмете ни с выспренними придыханиями, ни с академической холодностью, а вот артистическим матюком пускал нередко и с удовольствием.

Употребление этих выразительных средств, кстати сказать, и русской-то пишущей братией нередко выглядит курьезно, из предмета стиля они то и дело становятся неуместным попердыванием. Карл с удивительной для иноязычного человека тонкостью чувствовал русский литературный стиль и никогда его не терял.

К середине семидесятых годов Профферы, по сути дела, стали полноправными членами нашей среды. В Москве говорили о них не как о каких-то отвлеченных заморских меценатах, а как о своих, как о «ребятах». «На днях ребята звонили, снова к нам собираются...» — «Ребята хотят выпустить полного Булгакова...» и т.д.

Проникновение этих двух типичных «мид-вест» американцев в русскую культурную среду было настолько глубоким, что они даже в конце концов почувствовали тот легкий «напряг», который всегда существовал между артистическими общинами Москвы и Ленинграда. Ища в канальных жителях наследников Серебряного века, Карл и Элендея все же чувствовали и некоторый периферийный ущерб, дымок смердяковщины и вздор иных псевдоклассических претензий. С другой стороны, и Москва ими не идеализировалась, с ее склонностью к конформизму, гедонизму и говнизму. Все, однако, поглощалось необъятной страстью к русской литературе, которая (выпуск знаменитой «тишэтки») «лучше, чем секс», не говоря уже о рок-н-ролле. Великие вдовы нашей словесности Надежда Яковлевна Мандельштам, Елена Сергеевна Булгакова, Мария Александровна Платонова были в фокусе этой любви. Уж и Бродский казался Карлу хрупким гладиолусом невского побережья. Соколов был заброшенным пленцом Набокова, сам Набоков подплывал к «Ардису», как великолепнейший айсберг, Лолита наверху, пять Лолит под поверхностью; все это, конечно, не совсем так, но и не совсем не так.

Однажды я видел, как Карл разговаривал с двумя московскими писателями об издании их книг. Рядом с затертой, второго разбора, джинсовостью писателей он выглядел как настоящий заморский книжный делец — отличный костюм в полоску, крепчайший башмак, поза всегда расслабленная, как у баскетболиста в раздевалке, в глазах, однако, светилось полное отсутствие деляческих качеств — светящееся отсутствие, хм, — сопровождаемое присутствием любовного чувства, но не к объектам беседы персонально, а к нашей общей теме. Ключевой момент — беседа с двумя источниками словесности, попытка спасти их от загнивания в подполье.

Будь Карл Проффер дельцом, он, наверное, иначе поставил бы свое предприятие и, возможно, прогорел бы на этом. Такой малотоварный предмет, как русская литература, вряд ли выстоял бы на деловой смекалке и на торговой инициативе, ему потребны были иные, более аморфные качества, какие-то неясные сочетания артистичности и университетскости, приверженности к словесной игре, расхлябанного энтузиазма, чего-то еще, назовите это хотя бы среднезападной чудаковатостью.

Я услышал о Профферах впервые от Раи Орловой и Льва Копелева году, кажется, в 71-м. Тогда мы были соседями по лестничной клетке в аэропортовском кооперативе в Москве, теперь мы соседи по изгнанию — они живут на берегу Рейна, я — на берегу Потомака. Они мне показали первый ардисовский сборник «Russian Literature» и первый репринт — кажется, «Котик Летаев» Андрея Белого.

— Вот такие ребята, — с энтузиазмом восклицали Рая и Лев, — вот такие американские молодцы! Поставили у себя в гараже наборную машину и открыли издательство, первое американское издательство русской литературы!

— А кто же они такие?

— Молодые профессора Мичиганского университета, оба красавцы, а Элендея просто неопишущая красавица!

Так с массой восклицательных знаков, что в те времена еще не казалось перебором, пришла эта первая информация об «Ардисе».

— Милое начинание, ничего не скажешь, — кажется, пробормотал я, разумеется, даже не представляя себе, что это милое начинание, по сути дела, предложит альтернативный путь целому направлению или, лучше сказать, всей волне вольной современной русской литературы.

К тому времени в Советском Союзе уже окончательно установилось то, что принято называть «второй культурой» или «литературно-художественным подпольем». Возникшая на откате оттепели, пишущая братия уже не пряталась по углам и не закапывала сочинений на садово-огородных участках, а, напротив, собираясь кучками, под портвейн, громогласно читала свои вирши и прозаические опусы, провозглашала новых гениев. Среди богемной графомании иногда и в самом деле возникало интенсивное излучение основательных талантов, вроде поэтов Евгения Рейна, Генриха Сапгира и прозаика Венедикта Ерофеева. Да и у официальных «противоречивых авторов» в ящиках стола накапливалось все больше так называемой «нетленки», то есть вещей, негодных для советского глени, предназначенных как бы для другой, более осмысленной литературной жизни; многие писатели, хватившие славы в начале шестидесятых, становились «непроходимцами». Сужу по себе: продолжая, так сказать, развиваться в качестве писателя, я уходил все дальше от поверхности советской литературы, на поверхности же деградировал, там оставалось все меньше «написанного Аксенова» — две трети, половина, треть, узкий месяц... У Битова его лучший роман «Пушкинский дом» кусочками выбрасывался на поверхность под видом рассказиков и эссе, основная же глыба покоилась в глубине. Искандер из своего «Сандро» тоже выкраивал кусочки на прокорм, между тем как мюс все великолепнее разрастался.

Выход для всей этой культуры был только один — за рубеж. Забросить за бугор — такое стало бытовать попу-

лярное выражение. Однако печататься в русских эмигрантских изданиях вроде «Граней», «Посева» и позже «Континента» означало вставать в открытую конфронтацию к режиму, на это решались только политически детерминированные люди. Художественное подполье колебалось, и не только по своей обычной и вполне нормальной трусоватости, но и по подсознательному отталкиванию от какой бы то ни было политической ориентации, то есть по анархичности самой своей природы.

Появление независимого, неэмигрантского, но американского, да и не просто американского, но университетского издательства, основным критерием которого стала художественность, предлагало уникальную альтернативу.

Позднее, когда скандал с «Метрополем» разгорелся вовсю, цепные псы соцреализма, разумеется, объявили Карла Проффера человеком ЦРУ. Вот, дескать, какой хитрый ход придумали американские соответствующие органы. Для этой своры мир делится очень просто — то, что не КГБ, то ЦРУ.

Сейчас, когда наш друг, спустившись со склонов поля для гольфа, ушел в луга невозвратные, я думаю о том, что его вклад в русскую культуру невозможно переоценить, даже употребляя самые превосходные степени. Для того чтобы это осознать, достаточно обозреть продукцию «Ардиса» за десять лет его существования, однако дело тут не только в перечне названий, но в самом существовании этого холма как определенной эстетической и нравственной высоты, в самом появлении на пространстве русской культуры, в нужном месте и в нужный час этой фигуры, осуществляющей смехотворную по нынешним идеологическим и коммерческим параметрам, но все же существенную миссию артистической солидарности.

Впервые я оказался в «Ардисе» в июле 1975 года, будучи еще советским писателем, на обратном пути из Лос-Анджелеса в Москву. Дом был полон народу, молодых славистов и русских беженцев. Каждый день появлялись какие-то новые лица, охваченные эйфорией эмиграции. На

кухне (сказывались российские привычки) расслаживались от зари до зари. Карл и Элендея смеялись: никогда точно не знаешь, сколько народу тут пасется. Переговорить этих русских невозможно. Уходишь спать, оставляя за столом пятерку, скажем, гостей, а утром застаешь их на том же месте, хотя компания разрослась уже до семи, предположим, персон. Можно с ходу включаться в дискуссию, а можно и не включаться: на хозяев никто особого внимания не обращает.

Несмотря на бесконечное хлопанье дверей, в «Ардисе» продолжалась как семейная жизнь, связанная с произрастанием детей, так и книжное производство — в подвале дома, собственно говоря, и помещалось злокозненное издательство, вмешавшееся в русский литературный процесс без санкций ЦК КПСС. Там функционировала современная американская технология книгопроизводства, все эти принтеры, композеры, копировальные машины. Развитие этой техники и ее быстрое удешевление удачно совпали с бунтом в советской литературе. Карл был безмерно увлечен новыми возможностями. Уже будучи безнадежно больным, он как-то долго мне рассказывал по телефону о новом автомате, который прямо читает рукописи, останавливаясь на неясных местах, запрашивает уточнения и тут же производит текст, готовый для печати.

В сентябре 1977-го «Ардис» приехал на Московскую международную книжную ярмарку. Чудеса в решете — их принимали как официальных гостей, у них был свой стенд на ярмарке!.. Я стоял с Карлом и Элендеей возле стенда перед открытием экспозиции. Толпа московских книжников за барьерчиком все разрасталась, дрожа от нетерпения, словно свора борзых. Международные дельцы, представители фирм, проходя мимо стенда «Ардиса», пожимали плечами: что тут происходит? Они не знали того, что знали все эти москвичи: «Ардис» — это особое издательство, не просто американское, частично как бы свое, но свободное.

Разрешено было выставить только книги на английском языке, но в последний момент перед пуском Карл,

вспомнив свои баскетбольные дни, с быстротой необыкновенной расставил по полкам образцы и русской продукции — репринты забытых книг, стихи и прозу эмигрантов, внутренних и внешних, только что выпущенное любимое детище, альманах «Глагол». И вот наконец гордый русский клич: «Пушают!» Книжники кинулись к полкам. Без промедления начался грабеж. Книжки засовывались в карманы, за пазуху. Я заметил одного деятеля, который явно подготовился к посещению стенда «Ардиса» заранее. На нем были необъятные байковые шаровары, схваченные резинками на лодыжках и с резинкой на поясе. С невозмутимой миной он просто оттягивал резинку на поясе и бросал книги в эти необъятные глубины.

Вряд ли какой-нибудь грабеж ранее вызывал такой восторг у его жертв. Ни до, ни после я не видел Карла в таком счастливом возбуждении. С сияющими глазами он только и делал, что подбрасывал на полки все новые и новые «Глаголы». Грабители-интеллектуалы тоже ликовали — книги, книги, открылась пещера Аладдина, разомкнулись «священные рубежи нашей родины»!.. Это был редкий момент массового прорыва и вдохновения.

На следующую Московскую международную выставку «Ардис» уже не был допущен. Книги становились главной заботой пограничной стражи. «Букс», «бюхер», «ле ливр», «ксёнки» волновали таможенников больше, чем гашиш и кокаин. «Русская цепочка» все-таки существовала, книги, будто неуклюжие перелетные птицы, пересекали границу — туда в виде рукописей, обратно томиками с эмблемой в виде дилижанса. Так однажды и мои два тома «Ожог» и «Остров Крым» плюгачулись на лужайку в глубине улицы Хитервей.

Мы с женой приехали в Анн-Арбор через два месяца после эмиграции из СССР. Карл перебросил мне ключи от своего джила. Можешь ездить на нем сколько хочешь, только не забывай оплачивать штрафы за неправильную парковку. Шаг за шагом он и Элендея вводили нас в американскую жизнь; прежде всего это, конечно, касалось

такой труднодостижимой вещи, как поддержание баланса банковского счета. Вскоре они выразили нам свое приятное удивление — как это мы быстро научились справляться сами с ежедневными заботами, вот уже и квартиру сами снимаем, и телефон сами устанавливаем, предшественники ваши не проявляли такой прыти.

— Не надоела ли вам русская литература? — спросил я их.

— Даже больше, чем ты думаешь, — засмеялись они и вручили мне приглашение на гала-парад «Ардиса» по случаю выхода «Ожога».

Потом мы уехали из Анн-Арбора, но связь с Профферами не прервалась и на неделю. То и дело, ближе к полуночи (окна «Ардиса» обычно сияли в ночи, как сталинский Кремль), раздавался звонок. Карл спрашивал, «как дела», или «хау ар ю» (англизация наших бесед с каждым годом неизбежно увеличивалась), рассказывал какие-то новости из Москвы, и мы обменивались анекдотами свежей советской выпечки, только что поступившими в обращение через Париж или Копенгаген. Каждый раз, когда я слышал в трубке его голос, вспоминалась январская ночь 1979 года, кухня в квартире на Аэропортовской, метропольцы, сгрудившиеся вокруг приемника, завывание глушилки, интервью с главой издательства «Ардис» на волнах «Голоса Америки». Он говорил: «Мы только что получили из Москвы уникальную литературную коллекцию... Не знаем, будет ли она издана в официальном советском порядке... Мы выпустим ее в любом случае...» В отличие от иных наших так называемых братьев, эмигрантских писателей, которые стали сразу искать за инициативой «Метрополя» некий второй корыстолюбивый смысл, этот американец сразу понял его литературную и идеалистическую суть.

Кроме всего прочего, я любил чисто физическое присутствие Карла, как здесь говорят, «в нашей толпе». Периодические встречи в Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Милане, Париже... голова Карла приветливо маячит над среднеплечием толпы... Последний раз перед

началом его трагического и героического финала мы встретились на атлантическом курорте Рехобо-бич. Боб Кайзер с Ханной, мы с Майей, Елена Якобсон, Карл и Элендея сидели на балконе над темным океаном. Младшая дочь Профферов, крошка Арабелла, то и дело прибегала, делала страшные рожи, как видно, под влиянием каких-то мультяшек. Ничто не предвещало беды.

Через несколько дней после этого вечера Карла сразила дикая боль. В таких случаях вспоминается пастернаковское: «Стихи мои, бегом, бегом. Мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, где дней порвалась череда...»

Карл Проффер был исключительно американской и исключительно университетской фигурой, и в своем умирании он продемонстрировал исключительно американский, исключительно университетский, если можно так выразиться, «подход к проблеме». Не было никаких умолчаний или иносказаний. Он говорил, что хочет протянуть как можно дольше для того, чтобы маленькая Арабелла успела его запомнить. Он боролся два года, прошел через несколько операций и циклов изнурительной экспериментальной терапии, а в перерывах даже на больничной койке занимался переводами, писал статьи (сенсацию произвела его статья о собственной болезни в «Вашингтон пост»), работал над мемуарами и даже путешествовал на тропические острова и в Европу.

Однажды они летели компанией над Карибским морем в Майами. Вдруг в самолете началась сильнейшая вибрация, пассажиров попросили надеть спасательные жилеты. В чем выражается англо-саксонско-шотландско-ирландская паника? Карл рассказывал:

— Кэтти закрыла глаза и стала вспоминать любимые стихи, Лэн, как юрист, чтобы убить время, составлял свое финансовое завещание, Элендея старалась успеть дочитать детективный роман, а я успокаивал соседку слева — не волнуйтесь, самолет не упадет, потому что ваш сосед справа находится на пути к другому финалу.

Болезнь как-то особенно подчеркнула его человеческие качества, в глазах его светилась мягкость, доброта, улыбка. Видно было, что он наслаждается каждой данной минутой, что даже дружеская болтовня для него сейчас — дар Небес, каждый стакан воды — благо.

Вот теперь он ушел, сорока семи лет, провожаемый не только детьми, но и родителями. Русская литература, американский университет, мировая община писателей потеряли человека позитивного действия, столь редкого в наше время хлопотливой и бессмысленной суеты, когда никто не дослушивает друг друга до конца, когда книги не дочитываются, но лишь приоткрываются с единственной целью дальнейшего «по поводу» словесного блуда, когда творцы бешено колотят по своим пишмашинкам, одержимые возвышенными идеями попасть в коммерческие книжные клубы, огрести лопатой пресловутые «роялитис», захватить очередной «грант», а то и самого «нобеля», ублажить мегаломанические свои страстишки, хапануть-хапануть-хапануть, создать вокруг себя клику подхалимов и отшвырнуть подальше малопочтительных коллег, которые и сами, погрязая в бесконечных пустопорожних интервью, презентациях, публичных дискуссиях, зверея от телефонных звонков, гонят, гонят, гонят круговую безостановочную гонку без промежуточных финишей, стараясь хоть на секунду задержать внимание совершенно озверевших под потоками книжного дерьма читателей, поразить мир злодейством, стащить штаны, продемонстрировать пенис, плюнуть в суп соседу по коммуналке, в наши дни, когда хрипящий в идеологической астме стражник призывает и дальше высоко нести знамя, создавать возвышенные образы современников, — в эти дурацкие дни из мира ушел один из немногих людей прямого позитивного действия, учивший студентов, писавший книги, сделавший делом своей жизни спасение униженной и оклеветанной литературы, поднявший свое издательство на уровень этого все-таки довольно высокого предмета.

1953

Боб Бимбо был настоящим негром из Абхазии, где в восемнадцатом веке неведомыми путями оказалось несколько сот его африканских предков. Звали его по-настоящему не Боб и не Бимбо, а Багратион Албар. Он говорил на жаргоне черноморских ресторанов, в котором преобладало звучное междометие «блабуду».

«Чувачки, блабуду, Бимбо — мое сценическое имя, блабуду, псевдоним. В солнечной Абхазии есть негритянский колхоз, я оттуда, мой друг Фазыл не даст соврать. Какая нелегкая занесла нас туда, блабуду, скрыто во мраке истории. Барухи в вашем городе, чувачки, однако, не очень гостеприимные, кинули мальчика без штанишек передком в сугроб. Нет сочувствия к угнетенным народам мира. В такой волнующий день выступаю не в лучшем виде. Тому, кто нальет хоть полстакана, блабуду, скажу «сенкью вери мяч»...

В «Красном подворье» между тем становилось все оживленнее. Появился известный в городе жуир Вадим Клякса. Далеко не все знали его как эмгэбэшного куратора зланных мест майора Щедрина. С благодушной улыбкой он поманил пальчиком Филимона. «Несколько слов лично с вами, Филя. Присядем».

Он отсел с Филимоном в сторону под картину Исаака Левитана «Над вечным покоем» с ее скорбной одухотворенностью. Почесывая длинным ногтем мизинца пробор набриолиненной прически, стал задавать вопросы: «Ну, как дела в университете, Филя? Хорошие ребята в группе? Держится еще у вас волейбольная команда? А как девчата? Вот эта черненькая твоя подружка Мила, не беременна еще? В Дом специалистов на танцы ходите?»

Лукич-Адрияныч принес майору одну за другой две большие рюмки коньяку, одну тактическую, другую стратегическую. Засим майор Щедрина шарахнул кулаком по столу и грозно выдохнул прямо в глаза Филе:

— Где спрячешь оружие, свинья?

Обычно от таких вопросов пьяный народ трезвел. С Филимоном этого не случилось. В глазах у него прыгали три вишневеньких книжечки МГБ на фоне трех вариантов линий судьбы майора, то есть в том смысле, что Вадика Кляксы.

— Да че ты, Вадим, да кончай ты...

— Перед тобой не Вадим, а представитель органов пролетарской диктатуры! Я тебя могу расстрелять еще до утра! Сукин ты сын, неблагодарная тварь! Великого Сталина заблевали, не успел умереть! Кому родину предаешь, признавайся!

«Вот он, мой последний день рождения, — подумал пьяной головой Филимон. — Невольно хочется пройтись в грустном танго. Эх, чего-нибудь бы напоследок угарного,zybкого, увядающего...»

Коммунальная жизнь нередко приводит к тому, что хорошие идеи одновременно зарождаются в четырех и более головах. Спиридон, Парамон и Евтихий уже танцевали. Нонна, Рита и Клара сдержанно извивались в объятиях мужской молодежи. Откуда же происходила музыка, если музыканты в тоске по ушедшему гиганту еще не играли, а только лишь бесплатно употребляли фирменное варево солянку «Кр. подворье»? Музыка стекала с губ самих танцоров, сначала «Утомленное солнце», потом «Кампарсита», затем уже и наголоватая «Мамба итальяно».

Интересно, что число танцующих увеличивалось. К футуристам-мушкетерам присоединились как-то странно (неадекватно!) оживленные венгерские студенты, на которых ведомство Кляксы уже подготовило немалый материал. В вихре самодельной мамбы мелькал уже и отчаявшийся именинник со своей подружкой Милкой, известной в городе не только своей сногшибательной попкой, но и парой туфель на каучуке в бродвейском стиле. Танцы напоследок. Хей, мамба, мамба итальяно!

«Что делать? Вызывать наряд? Дежурному по городу звонить? Еще одну стратегическую принять?» — такие мыс-

ли, будто вихрь демонов, пронесли в ошеломленном сознании майора Щедрины. Вдруг к нему приблизился стройный и лиловатый, как поздняя сирень, юноша без наружных брюк. Внутренние брюки, иначе кальсоны, начинали уже оттаивать, и скопившаяся промеж ног сосулька готова была отвалиться. «Вы кто такой?» — гаркнул пораженный майор. «Я Багратион Албар, — признался беглый кавказский колхозник, — он же Боб Бимбо, жертва американского расизма». — «Вы танцуете, молодой человек?»

1985

По сообщению телевизионной программы «Интертеймент тунайт» киноактриса Джейн Фонда сделала головкружительное признание журналу «Стар». Оказывается, она в течение последних двадцати (20!) лет страдала патологическим обжорством и для того, чтобы поддерживать то, чем сейчас восхищается все прогрессивное человечество, в пристойной форме, ей приходилось по несколько раз в день возбуждать рвоту.

Джейн! На ГМР, который находился в приступе глубокого экзистенциализма, это сообщение произвело впечатление разорвавшегося патрона с горчичным газом. Начались метания со скрипом разладившихся суставов. Значит, и тогда, Джейн, в те времена, гудящие под ветром — они ведь тоже входят в зону вашего двадцатилетнего признания, — значит, и тогда, Джейн, вы по несколько раз в день... блевали, дорогая?



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В течение двух лет еженедельно я выходил в эфир на волнах русской службы «Голоса Америки» с десятиминутной программой под рубрикой «Capital Shift». В названии рубрики, ясное дело, присутствовала двусмысленность: с одной стороны, речь шла как бы о капитальных изменениях в жизни, а с другой — как бы подразумевалось отсутствие таковых; ничего, мол, особенно не случилось — раньше жили в русской столице, а теперь в американской.



Решив остаться на берегах Потомака с претензией на оседлость, мы стали искать квартиру за пределами функциональной жилой зоны Юго-Запада, поближе к реальной жизни «Новых Афин».

За те деньги, что дерут со съемщиков домовладельцы из дистрикта Колумбия, можно снять целый дом за рекой, в Вирджинии, или в мэрилендовских пригородах, однако мы все еще были чужды американской привязанности к suburban life*, и нас как раз тянуло в самый центр дистрикта, к тому району, что называется здесь Круг Дюпона, с его кафе парижского типа и книжными магазинами, открытыми за полночь.

Иные знакомые увещевали нас: да как это можно в даунтауне селиться, опасно же! Дом одного из этих знако-

* Жизнь в пригородах.

мых в пригороде Сильвер-Спринг был между тем за последний год ограблен дважды. В первый раз воры вынесли столовое серебро, во второй — телевизор, однако оба раза не тронули бесценных русских икон шестнадцатого века. Может быть, он полагал, что в дистрикте более искушенное жулье? В поисках квартиры сказывается эмигрантская двойственность: с одной стороны, ищешь то, что напоминало бы прежнее, с другой — хочется заполучить такое, чего в прежней жизни не было, да и быть не могло. Увы, квартиры, которые мы смотрели, не отвечали этим диким требованиям, а были самыми обыкновенными вашингтонскими квартирами.

Однажды мы приехали по объявлению в газете на робкие склоны единственного в городе холма, на улицу Вайоминг, вошли в дом и сразу поняли, что нашли искомое. Квартира эта, вся белая, двухэтажная, с винтовой лестницей, в прежней нашей жизни существовать не могла, но в то же время она и напоминала нечто прежнее, а именно: смутные «заграничные» видения московских сумасбродов.

Из огромных окон нашего нового дома открывался вид на всю американскую демократию, то есть за скоплением викторианских крыш и стеклянными плоскостями центра мы, благодаря расположению на вершине холма, могли видеть и купол Капитолия, и монумент Вашингтона, и колоннаду памятника Линкольну. Над всеми этими святынями простиралось огромное небо, по периферии которого непрерывно проходили самолеты к аэропорту Нэшнл.

Грохот их, однако, до нас не долетал, а скольжение дельфинистых очертаний лишь усиливало чувство простора.

Решено! Мы поселяемся здесь, на границе двух популярных городских зон — Дюпона и Адамс-Моргана.

Цена, которую мы согласились платить за это очаровательное жилище, оказалась достаточно дикой — двенадцать сотен в месяц. Если пересчитать эту сумму по курсу московского черного рынка 1:4, получится 4800 рублей, то есть двадцать четыре средних месячных зарплаты со-

ветского трудящегося (по официальному же курсу получится шесть месячных зарплат). Звучит, пожалуй, абсурдно, однако, если вспомнить упоминавшиеся уже ранее сравнительные расчеты стоимости советского и американского танков, все придет к неожиданной гармонии.

Явился менеджер, молодой человек из племени «яппи», мистер Брик. (Позже выяснилось, что он литовского происхождения и по-настоящему его фамилия звучит как Олбрикаускас.)

— Я должен вам, наши дорогие русские новоселы, показать одну вещь, которая может вас основательно удивить, но впоследствии, я гарантирую, доставит вам удовольствие и облегчит трудности быта, в частности доставку покупок из супермаркета.

Что же это за херация такая, которая так скрасит наше существование, думали мы, следуя за мистером Бриком на лестничную площадку к дверям лифта, у которого он и остановился.

— Вот, посмотрите, перед вами кнопка, — сказал он. — Стоит вам ее нажать, как через непродолжительное время эти стальные двери откроются и перед вами окажется небольшое кубическое помещение. Входите внутрь без опаски. — Он проделал вышеописанную операцию, и мы вошли в лифт. — На этой панели, — продолжал мистер Брик, — вы видите кнопки с указанием этажей. Сейчас мы с вами наверху, то есть на четвертом этаже. Вы нажимаете вот эту нижнюю кнопку, и двери этого кубического помещения закрываются. Не впадайте в панику, друзья, кабина благополучно доставит вас на уровень улицы Вайоминг, где эти двери откроются автоматически. Ту же самую процедуру вам нужно проделать для подъема, только в обратном порядке. Не правда ли, не так уж сложно?

— Дэйв, ради Бога, не говорите нам, будто вы думали, что в России нет лифтов, — сказали мы ему на американский манер.

Мистер Олбрикаускас был, очевидно, смущен. Россия с лифтами? Эта новость, должно быть, разрушила

целую образную систему. Сделав для себя это революционное открытие, он теперь показывал все прочее оборудование в небрежной, даже как бы пренебрежительной манере: вот, мол, тут вот этот пустячок, вот, мол, еще эдакая фиговина, испокон веков известная в просвещенной России... — а между тем о многом из этого оборудования мы и в самом деле знали только понаслышке.

Во-первых, отопительно-охлаждающая система, автоматически поддерживающая нужную температуру и экономно выключающаяся, когда в ней нет нужды. Во-вторых, стиралка-сушилка, встроенная просто в небольшой шкафчик. В-третьих, электрическая самомоющаяся плита с каким-то там еще таймингом, в котором мы до сих пор не разобрались. В-четвертых, в-пятых, в-шестых и так далее. Микроволновая плита, вытяжная система, затем машинка, для которой и подходящего-то русского слова не подберешь, разве что блюдомойка-сушилка, потом фиговина, полностью пребывающая за пределами русского языка, так называемый гарбидж-диспозал, поглощающий без остатка пищевые отбросы (может быть, мусоропоглотитель?), и, наконец, компактор, который прессует весь домашний мусор, включая бутылки и банки, в небольшом ведре в течение двух недель, да еще и брызгает на собранную массу специальным раствором, отбивающим запах...

— Ну, вот это, — сказали мы мистеру Брику, — уже похоже на буржуазный декаданс.

Домоуправляющий просиял: все в порядке, фолкс, вы в Америке!

Отвлекаюсь на минуту от бытовых описаний, чтобы окинуть взглядом технологическую цивилизацию. В Америке ты ощущаешь себя в самом ее центре. Может прдрать лошадиная оторопь: каждый твой шаг, малейшее движение сопряжено с размахом технологии. Твой белый куб, разделенный перегородками и перекрытиями, со спиральной коммуникацией вверх и вниз, буквально набит технологией. Кроме перечисленных уже машин, он завален кас-

сетами, пластинками, магнитофон вверх, магнитофон вниз, радио вверх и вниз, проигрыватель вниз, телевизор вверх и телевизор вниз, видеорекордер, копировальная машина, четыре пишущих машинки (одна из них электронная), автомобиль «Бэби-Бенц» под окном, «Омега» жены запаркована на улице, фотоаппарат обычный и «Полароид» и, наконец, персональный компьютер с принтером, не говоря уж об освещении, сушилке для волос, оборудовании ванн, холодильнике, кофеварке, фуд-процессоре, кофемолке, тостере, автоутюге, пылесосе, щипцах для завивки, электросбивалке, калькуляторе, электрогрелке, массажном душе, тренажере-велосипеде... Это то, что окружает нас, двух немолодых людей и молодого коккер-спаниеля, каждую минуту, попеременно вступая в действие, превращая частично уже и само существование в технологическую акцию.

Есть ли предел этому развитию? Советский ученый Борис Раушенберг (не брат ли американского художника Раушенберга?) считает, что технологическая цивилизация сама по себе не может продолжаться более ста двадцати лет и по прошествии этого срока самоуничтожается. Если отсчитывать, однако, от изобретения парового котла, то окажется, что мы раушенберговский срок покрыли уже дважды. Никто, впрочем, не отрицает за братьями Раушенберг права на дерзновенные пассажи, ибо оба являются гордостью технологической цивилизации (один сфотографировал темную сторону Луны, другой наклеивал на холсты кусочки других материй), однако, отставив на время в сторону апокалипсические предсказания как необходимый, но несрочный элемент цивилизации, зададимся более скромным вопросом: есть ли тупик, иными словами, есть ли предел всей этой роскоши, ибо как же иначе еще назовешь образ жизни многомиллионных человеческих масс, если не массовой роскошью?

Иной раз можно слышать: американское процветание остановилось. Елки-палки, если оно и приостановилось, то, может быть, лишь потому, что дальше некуда

идти. Так называемый капитализм привел людей конца XX века едва ли не в тупик процветания, сделав роскошь достоянием многомиллионных масс. Дальнейшее развитие капитализма, если он намерен развиваться, может быть, направится в каких-нибудь других направлениях — скажем, к улучшению массового вкуса.

Впрочем, у нас под окном, на задах нашего элегантного дома в дворовом проулке, капитализм пребывал еще в стадии, весьма далекой от совершенства, демонстрируя свою грохочущую суть, столь справедливо осужденную Карлом Марксом. Каждое утро с шести начиналась конкурентная борьба четырех мусорных компаний, одна из которых носит имя лауреата Ленинской премии мира, французского поэта Арагона «Aragon Waste». Один за другим четыре огромных трака наполняют наши зады грохотом раннего капитализма.

Наши зады, вообще, это особый случай. Несмотря на запаркованные там «Мерседесы», «Ягуары» и «Корветы», они (зады) являют собой разрозненность, корявость, аляповатость, которым может позавидовать и рязанская «затоваренная бочкотара». Каждое домохозяйство асфальтирует кусочек почвы для своих паркингов, проезд, однако, остается ухабистым, как дорога между Ухолово и Покровским; объединяющие действия отсутствуют, или, как поется в песне Окуджавы «Черный кот»: «Надо б лампочку повесить, денег все не соберем».

Есть на этих задах и свой *enfant terrible* — мрачный, некогда белый, дом, крытый бугристым варом с пучками дикой травы, с жутким подвалом, к которому иногда посреди ночи «Роллс-ройс» подвозит нескольких оборванцев, черных и белых. Скопление мусора возле этого дома, граничащего с так называемой террасой ресторана «Баобаб», временами поднимается выше человеческого роста. Хозяин отвратительного строения, человек с социалистическими наклонностями, отказывается участвовать в конкуренции мусорщиков. Он абсолютно убежден, что его мусор должно убирать правительство дистрикта. Правительство, очевидно, придер-

живается другой точки зрения. Кто должен позаботиться о крысах, населяющих подвал, неизвестно.

Сначала мы отказывались верить своим глазам, когда видели, как здоровенные крысы неторопливо пересекают проезжую часть нашего двора. Это, должно быть, просто особого рода домашние животные, успокаивали мы друг друга, не может быть, чтобы крысы вот так запросто тут бегали, в столице Соединенных Штатов Америки. Потом мы обнаружили однодохлое «домашнее животное» на своем паркинге; это была явная крыса, черт возьми. Побежали к соседям, побежали к капитану нашего блока, мистеру Бернсу, — тревога! Наши соседи — «яппи», народ чистый и спортивный, как с рекламы, — только плечами пожимали: подумаешь, крыса, забудьте об этом, не принимайте всерьез. Капитан Бернс пообещал воздействовать на капиталиста-социалиста. Куча мусора исчезла, видимо, заключен был контракт с «Арагоном» об одноразовой очистке авгиевых конюшен. Крысы продолжают бегать. В Советском Союзе в связи с этим была бы объявлена тревога по всей городской санитарно-эпидемиологической службе. Поразительно, что в Америке это никого особенно не волнует. Что уж говорить о тараканах! Обнаружив у себя дома дюжину усатых, поэт Евгений Евтушенко разразился поэмой «Тараканы в высотном доме», полной «гражданского мужества». Здесь тараканы, по всей вероятности, не ассоциируются со Сталиным.

В СССР гражданин часто «берет на горло», обнаружив что-нибудь гадкое: «Да как же это возможно при социализме?! Да вы же позорите наше социалистическое общество!» В Америке никому в голову не придет «качать права» в такой манере, вопить «да как это возможно при капитализме?!». Никому, кроме советских эмигрантов.

Для нас капитализм — это современная технология, здоровые денежные отношения, отличное обслуживание, социализм же, без демагогической маски, — гниль и перекося. В Советском Союзе люди, чтобы не пропасть, стараются всту-

пить друг с другом в первичные рыночные отношения: ты мне — я тебе, услуга за услугу, деньги за услугу, услуга за предмет и т.д. Парадоксально, можно предположить, что СССР постепенно вырастает в капитализм, в то время как в капиталистическом обществе русский эмигрант удивленно обнаруживает немало черт социалистического перекоса: ухудшение сервиса, наплевизм, обезличку, халтуру...

Жена несет мой пиджак в швейную мастерскую по соседству. Дело несложное, укоротить рукава на полдюйма. «Через десять дней будет готово», — говорит приемщица, неприветливая черная девчонка, не отрывающая глаз от музыкального шоу по телевизору. Десять дней, чтоб обрезать рукава?! М-да... В СССР в таких случаях дают приемщице трешку сверх счета и получают пиджак через час. Здесь вроде так не принято. Через десять дней приемщица не может даже найти мой пиджак. В ответ на возмущение жены издевательски ухмыляется: может себе позволить под защитой профсоюза.

Хваленый мусоропоглотитель выходит из строя. Звоним в домохозяйство. Там обещают прислать водопроводчика и действительно присылают, но только через неделю. В Советском Союзе в таких случаях появляется человек — чаще всего его зовут Николай, — и за пятерку чистоганом тут же чинит все что надо.

Упомянутое выше «кубическое помещение», призванное так ярко скрашивать нашу жизнь, поднимая над уровнем улицы Вайоминг, около полугода бездействовало в связи с диспутом между компанией подъемных устройств и консорциумом владельцев недвижимости. Мы пока, как в Древнем Риме (а там тоже, как выяснилось, были четырехэтажные здания) корячились с пакетами на четвертый этаж. В СССР в таких случаях жильцы кооператива складываются и дают «на лапу» тому, от кого что-то зависит. Разрешение диспутов стремительно ускоряется. Социализм это или капитализм?

Замечательный опыт у нас был с торговой фирмой «Хект», вернее, с ее мебельным отделом, еще точнее — с

отделом доставки, и еще точнее — с секцией мебельной доставки, а также с анналами этой фирмы, то есть со складами в зоне Большого Вашингтона.

Купив однажды комплект мебели, а именно стеклянный стол на стальных ножках, полдюжины стульев и кресло, мы взялись ждать доставки. Обещано было через две недели. Две недели! В СССР обычно в таких случаях находят соответствующего человека — обычно его тоже зовут Николай, — дают ему «на лапу», и мебель под чутким руководством этого Николая Второго прибывает на следующее утро. Здесь так не водится, и, может быть, поэтому мы прождали не две недели, а три. Через три недели характерный голос по телефону попросил мистера Эскин-тоу не выходить из дому с девяти до пяти. Маленький праздник начался дома — едет! Мебель из «Хекта» прибывает! Радость была преждевременной: мебель не прибыла ни в тот день, ни на следующий, ни через неделю. В ответ на мои звонки телефонистки «Хекта» неизменно спрашивали: «What's your name? How'd you spell it?» — и, получив спеллинг, говорили: «Hold on»*. Затем в телефонии появлялась следующая девица, которая снова просила spell it, тщательно выясняя — «s» as in «soup»? «V» as in «vase»? — только лишь для того, чтобы перепихнуть меня на третью дуру, которая вновь просила spell it, с исключительной дотошностью уточняя: «a» as in «air»? «K» as in «kite»? «S» as in «soup»? «Y» as in «young»? «O» as in «office»? «N» as in «new»? «O» again as in «offer»? «V» as in «vase»?**. На пятый день подобных переговоров — в конце каждого из этих дней я получал утешительное «your delivery is in the process» — я проспеллинговал свое имя таким образом: «a» as in «anapest», «k» as in «kibitzer», «s» as in «surrealism», «y» as in «Yoknapatopha», «o» as in «oratory», «n» as in

* Как вас зовут? Скажите по буквам... Подождите.

** «A» как в слове «воздух»? «K» как в «воздушном змее»? «S» как в слове «мыло»? «Y» как в слове «молодой»? «O» как в слове «офис»? «N» как в слове «новый»? «O» опять как в слове «заказ»? «V» как в слове «ваза»?

«nepotism», «p» again as in «orgasm», «v» as in «ventriloquism»*.

В ответ на это последовало молчание. В глубинах «Хекта» загудел ветер. «Are you with me?» — спросил я осторожно. «Yes, sir», — пробормотал неуверенный голос. «What's your name?» — спросил я. «Nancy Roosevelt», — был ответ. «R» as in «Renaissance»?** — спросил я. Она повесила трубку.

На следующий день, то есть через полтора месяца после покупки, мебель из «Хекта» была доставлена. От кресла была утеряна подставка для ног, полдюжины стульев оказались из другого семейства, но зато стеклянный стол был в порядке. «Я за эту путаницу не отвечаю, — сказал старый грузчик, — обращайтесь в компанию. Я — просто рабочий». В глазах у него был немой вопрос. Он был очень похож на нашего Николая, несмотря на иную расовую принадлежность. Не пришла ли пора и здесь вернуться к первичным отношениям?

Адамс-Морган

маленький Вавилон в больших Афинах

В столице множество улиц названы в честь штатов, большинство остальных идут по алфавиту или просто пронумерованы с учетом сторон света. Исторически тут сказывается некоторый дефицит фантазии. Однако он восполняется изощренностью городской планировки. Вашингтонцы иногда шутят, что план города напоминает небрежно брошенный на тарелку комок спагетти. Улицы текут, загибаются, пропадают, потом появляются снова в самых неожиданных местах. Наш Вайоминг, например, беря на-

* Ваши вещи на доставке... «A» как в «анapestе», «ю» как в «зануде», «s» как в «сюрреализме», «Y» как в «Йокнапатофе», «o» как в «оратории», «p» как в «непотизме», «o» опять как в «оргазме», «v» как в «чревовещании».

** «Вы слушаете?» — «Да, сэр»... «Как вас зовут?» — «Нэнси Рузвельт»... «R» как в «Ренессансе»?

чало в районе дипломатических особняков, вдруг исчезает, но, если вы пройдете полквартала по Двадцать третьей стрит, вы снова его обнаружите, превосходно пересечете одну из главных магистралей города Коннектикут-авеню, чтобы опять потерять на перекрестке с двенадцатью углами, однако при некоторой настойчивости вы опять его обнаружите за перекрестком, а далее он уже упрется в веселую Восемнадцатую и завершится. Впрочем, не исключая, что где-нибудь на востоке он начнется снова, но я в тех местах не бывал и ничего об этом не слышал.

Через два месяца после переезда к нам в дверь постучали и вошел пожилой господин в плаще «лондонский туман». Он отрекомендовался как мистер Рэй Бернс, капитан нашего блока, то есть квартала. «Добро пожаловать на Вайоминг, — сказал он. — Мы здесь стараемся быть как одна семья. Надеемся, сэр, что вам у нас понравится».

С тех пор я вижу мистера Бернса почти каждый день, и всегда он занят каким-нибудь полезным для улицы Вайоминг делом — то постригивает газончики, то сажает цветы, то убирает осколки разбитой посуды, и никто ему за это, разумеется, не платит ни цента.

Битые бутылки для меня — все еще одна из больших американских загадок. Ни разу еще не видел самого процесса битья, но осколков полно повсюду. Среди огромных разниц Америки и России есть и эта — в СССР пьющие люди бутылки сдают, а здесь бьют.

Мистер Бернс с понимающей улыбкой осколки эти собирает. Иногда мне кажется, что именно на таких вот стариках, англо-шотландцах, и держится здравый смысл этой страны с ее пестрым космополитическим населением.

Капитан нашего квартала преподнес нам выпуск газеты нашего квартала «Сторожевой листок авеню Вайоминг». Это была написанная от руки красивым почерком миссис Бернс и размноженная на ксероксе штука плотной бумаги. Открывалась она поздравлением по случаю Рождества Христова и пожеланием счастливого Нового года. Затем сержант Джерри Кейгер из Третьего дистрикта полиции

призывал обывателей включиться в борьбу по профилактике преступлений. Статистика на улице Вайоминг, сообщал сержант, вообще-то благоприятная. За полгода — всего пять непривлекательных случаев: одно ограбление, пропажа велосипеда и три раза из запаркованных на улице машин кое-что слямзили. Сержант просил граждан не оставлять ничего в машинах, чтобы не соблазнять воришек.

Департамент общественного обслуживания полиции сообщил также, что он распределил двадцать пять праздничных корзин с едой для нуждающихся семей. Сообщалось также о предстоящем детском празднике в школе Святого Павла-Августина. Граждан улицы Вайоминг пригласили жертвовать для этого мероприятия деньги и игрушки.

Затем следовал написанный с определенным изяществом исторический очерк. «В ноябре 1937 года президент Рузвельт начал свой второй выборный срок, продолжая выводить страну из депрессии. В списке музыкальных боевиков оказались песни «Мой забавный Валентин», «В тиши ночи», а также «Леди Бродяжка». В это же самое время Клэр Сайзер и ее муж переехали в дом № 1829 по Вайоминг-авеню».

Звучит это, между прочим, почти как начало романа Эдуарда Доктору «Рэгтайм», который я когда-то перевел для журнала «Иностранная литература».

«Сегодня, сорок лет спустя, — пишет мистер Бернс, — я разговаривал с миссис Сайзер, которая продолжает жить по тому же адресу. Она поделилась со мной ломтиком истории.

Дома в нашем квартале были построены между 1910 и 1920 годами. У района была прекрасная репутация (эти слова многозначительно подчеркнул мистер Бернс) благодаря его расположению и выдающимся обитателям.

Здесь жил, например, личный врач президента Калвина Кулиджа доктор Стайлс, который лечил от заражения крови младшего из президентских сыновей вплоть до трагической смерти последнего. Здесь также жил — подумать только! — покоритель Северного полюса коммодор

Роберт Пири. Памятная доска размещена у входа в его дом, в котором ныне содержится семь отдельных квартир».

Поразительно то, что мистер Бернс выдерживает стиль романа «Рэгтайм» вплоть до помещения одного из героев этой книги на улицу Вайоминг.

«Миссис Сайзер, — пишет он, — в свои девяносто два года все еще милая и живая леди. «Я не хотела бы жить нигде, кроме Вашингтона, — говорит она. — Я здесь родилась, и, что бы ни случилось, хорошее или плохое, я люблю это место».

Далее в «Сторожевом листке» дебатруется проблема одностороннего движения, предлагается вниманию обывателей расположенный поблизости общественный центр, где можно заниматься спортом, рассказывается о мероприятии по добровольному высаживанию крокусов и даффоделей, благодаря которому сделан еще один шаг не только в сторону украшения нашей улицы, но и в сторону развития духа комьюнити.

Не обошлось и без коммерческого объявления — закон капитализма. Соседка Софья Подольски сообщила, что продает морские ракушки, а также изготавливает из них фигурки слонов, уток и сов.

К образу улицы Вайоминг следует еще добавить, что она застроена в основном трехэтажными домами викторианского стиля. На ней всего два магазина, торгующих необходимым. В первом, круглосуточном «7 — 11», можно купить горячую сосиску и пожевать. Во втором магазине продается пища духовная, а именно: оккультные книги и загадочные предметы.

Благодаря тому, что мы расположены на вершине холма, из наших окон можно великолепно наблюдать национальные фейерверки. В День Независимости однажды перед нами открылось фантастическое зрелище. Праздничный фейерверк совпал с колоссальной грозой. Происходило как бы соревнование многоцветных людских шутих с поперечными и продольными небесными молниями. Завершилось это на удивление мирным дождем.

Наша улица расположена таким образом, что ее можно отнести к трем районам города — дипломатической Калораме, артистическому Кругу Дюпона и этническому Адамс-Моргану, который круто опровергает установившийся в мире стереотипный образ американской столицы с ее торжественными фасадами.

Адамс-Морган получил свое название от слияния имен двух десегрегированных школ, сам себя он называет маленьким Нью-Йорком, что, к счастью для нас, его обитателей, — большое преувеличение. У Нью-Йорка же пока не хватает зазнайства называть себя большим Адамс-Морганом.

На Нью-Йорк мы похожи прежде всего пестротой своего населения. На субботнем базаре на перекрестке Восемнадцатой улицы и Коламбиа-роуд кого только не увидишь: белые фермеры с внешностью советских хиппи, жители Карибских островов с их «бочечными оркестрами», какие-то странствующие французы, корейцы, китайцы и вьетнамцы, индусы и арабы; Латинская Америка представлена во всех вариантах. С чернокожими тут тоже не все так просто, далеко не все они американские негры, много встречается и иностранцев, в частности нигерийцев — милейший, между прочим, вежливый и веселый народ.

Однажды жена пошла за покупками и сказала черной продавщице, что у нас скоро праздник — православная Пасха. Так ведь это и наш праздник, воскликнула продавщица, мы тоже православные, из Эфиопии бежали от полковника Менгисту.

Основательная здесь также процветает и социальная пестрота или, как выразился бы советский классик Анатолий Софронов, — контрасты, контрасты. Среди машин, запаркованных вдоль тротуаров, можно увидеть новенькие «Ягуары» и «Мерседесы» рядом с огромными полуразвалюхами, оставшимися от шестидесятых годов.

Очень много в нашем районе писателей. Из многих окон стрекочут пулеметики пишущих машинок. Однажды пошли мы на блок-парти, стали знакомиться с соседя-

ми и выяснили, что добрая половина из них писатели. Каково же было их удивление, когда они узнали, что и я — писатель.

Немало здесь и бродяг, похожих на знаменитых французских клошаров, но в американском варианте, для которого в здешнем наречии немало имеется словечек, их называют и «трамп», и «бам», и «хобо», все приблизительно соответствуют советскому слову «бич», которое — образите — берет свое начало от английского beach и определяет людей, предпочитающих отдых на пляже работе на море. Иногда мне кажется, что и эти бродяги — писатели. Один из них, например, всегда просит у меня пять долларов. Явно писательский размах, не правда ли?

Народ здесь нередко настроен на шутку. Собачники друг друга спрашивают: как часто ваша собака водит вас погулять? Старушка, хихикая, обращается к бегунам, затормозившим у красного светофора: вы что, ребятки, хотите пи-пи? Иногда появляется черный красавец в огромном розовом тюрбане, желтом развевающемся халатике и зеленых кисейных штанишках. Скромно потупив глаза, понимая, какое огромное удовольствие доставляет окружающим, он прогуливается от моста Дюка Эллингтона до кафе «Станция Колумбия».

Среди всех этих пестрот района Адамс-Морган наблюдается и политическая пестрота. Вот, например, два приятеля, владельцы антикварных лавок. Один сбежал из Венгрии в 1956 году, второй — из Румынии лет десять назад. В их разговорах, надо сказать, мало присутствует симпатии к «самому передовому учению». По соседству, однако, располагается и другая лавка «Революционные книги». Хозяева ее с присущей этому типу людей бездарностью навалили в витрину книги наших старых знакомых — Маркса, Ленина, Сталина, портреты Брежнева, обнимающегося с Кастро, Кастро, обнимающегося с Ортегой — сандинистским Ворошиловым. Задник витрины выполнен в красках мятежного Октября, то есть красным и немного черным — как бы вихрь.

Раз, проходя мимо витрины «Революционных книг», я вспомнил боевой орган трудящихся всего мира, московскую «Литературную газету», в частности статью некоего Изюмова под названием «США — стоп-кадр» или что-то в этом роде. Статья была преогромнейшая, как бы отчет по командировке, и основной ее темой оказался, как товарищ Изюмов оригинально в духе Анатолия Софронова выразился, «разгул реакции в Америке». Вернулись времена маккартизма, сообщает он советским читателям, простые американцы сейчас находятся под жесточайшим идеологическим контролем. Если что-нибудь читаешь не то, если даже получаешь письма из лагеря мира и социализма, немедленно «пополнишь собой» — ох, нравятся мне эти обороты! — «ряды безработных», а то и в тюрьгу загремишь. Администрация Рейгана, пишет Изюмов, наглухо закрыла доступ к источникам правдивой информации, «Литературная газета» запрещена повсеместно. Во избежание знакомства американцев с истинами марксизма-ленинизма в стране жестоко возбраняется продажа коротковолновых радиоприемников.

В другой раз как-то остановились мы перед этой витриной с приятелем. «Странное дело, — сказал он. — Почему-то не видно здесь книг Троцкого. По идее, здесь ведь должен быть и Троцкий, не так ли?»

Мы зашли внутрь. Два молодых продавца левоамериканской наружности сидели под огромным, в полный рост и в натуральную величину, портретом Ленина в кепке и с бантом. Любопытно, почем этот кот? Наверное, не продается. Так и оказалось — святыня! «А какие у вас есть книги Лео Троцкого?» — спросили мы. Молодые люди замялись. «Видите ли, мы не держим книг Троцкого, потому что у него был довольно односторонний взгляд на революцию. Впрочем, есть у нас очень хорошая книга профессора Гаванского университета Реригеса «Порочная сущность троцкизма». Вам завернуть?»

Вдоль стены висели портреты разных людей, отличавшихся разносторонними взглядами на революцию, — Ста-

лина, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна, Брежнев, Суслов, Чапаева...

— Как вы думаете, джентльмены, кто привлекательнее, Сталин или Мао? — спросили мы.

— В каком смысле? — несколько опешили молодые люди.

— Ну, в смысле мужской красоты.

Молодые люди переглянулись, нахмурились, пожали плечами.

— Неуместный вопрос. В самом деле неуместный, бестактный вопрос.

— А нет ли у вас портрета или какого-нибудь произведения маршала Лаврентия Павловича Берии? — в шутку спросили мы.

Шутка, увы, тоже оказалась неуместной. Нам тут же была предложена книга Берии «К истории большевистских организаций Закавказья» в дивном английском переводе, даже передающем кавказский акцент автора.

Может быть, где-нибудь в других районах и в самом деле реакция — в Адамс-Моргане, как видим, революция продолжается.

Шел однажды ночью по Вайоминг-авеню один наш друг, по имени Эли Ливайн, в руке нес авоську с двумя предметами, одним авангардистским — рукописью романа «Палисандрия» Саши Соколова, другим традиционным — пирогом с капустой.

Навстречу пружинисто двигался «чегевара», горел глазами. Эли Ливайна трудно не ударить: уж слишком интеллигентная наружность. Революционер так и сделал — бенз Эли по башке, хватъ авоську и был таков!

Ночь прошла для нашего друга в зыбких рефлексиях, в мучительных сопоставлениях исторических параллелей. Для революционера, как выяснилось, ночь тоже не прошла даром. Утром, бледный до серости, он появился у порога Эли Ливайна, вернул ему авоську с содержимым и попросил прощения за акт непродуманной экспроприации. Сейчас, бежав из жарких бурь «пылающего континента», юно-

ша все больше склоняется к прохладному влиянию Вермонта. Хорошо подстриженный и чистый, он готовится к поступлению на русское отделение Джорджтаунского университета. Трудно все-таки предположить, что этот перелом произошел у него под влиянием пирога с капустой, скорей всего, все-таки под влиянием авангардной русской повести. А еще говорят о «нравственном дефиците» авангарда! Как Маяковский-то писал: «Да будь я и негром преклонных годов, и то б, без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Что уж говорить о молодом «чегеваре» из района Адамс-Морган!

В зоне нашего треугольника Калорама, между прочим, располагается немало советских учреждений: трехэтажный дом советских агентств печати на Восемнадцатой улице, генеральное консульство на Фелпс-Плэйс, торговая миссия в элегантном особняке напротив отеля «Вашингтон Хилтон», у стены которого странный «Ромео» разрядил свой пистолет в президента этой страны.

Мимо этого особняка я пробегаю по своему маршруту едва ли не через день. Однажды вижу: три сотрудника на виду у всего города с лопатами копают что-то в садике под бронзовым хвостом лошади генерала Маклеллана.

Я остановился посмотреть. «Что это вы, ребята, делаете? — спрашиваю. — Нашли что-нибудь ценное или, наоборот, прячете чего-нибудь интересное?» Они мрачно на меня посмотрели: «Ты, видно, сукин сын, забыл, какой сегодня день. Популярно объясняем для невежд: 21 апреля — Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник; иными словами, День Всенародного Окучивания. Грядочки копаем для крокусов и даффоделий».

Однажды, прогуливаясь, я неизвестно с какой стати купил в книжной лавке Джорджтауна «Одиссею» на английском языке и поплелся к Дюпону — редкий случай, когда выдался свободный час для предания любимому и на сто процентов неамериканскому занятию — шлянию по городским улицам.

Все кишело вокруг в деловитых пробегах. На углах торговали поросячьими носами к предстоящему матчу наших «Скинс» с чужими «Долфинс». В новоотстроенном полустеклянном «Вашингтон-сквер» открылась еще пара шикарных магазинов. На Дюпон-серкл я был остановлен дамой, которая спросила, почему русские писатели столь склонны к сатире. В целях гармонизации действительности, мэм, ответил я и последовал далее за фонтан. Был серый, прохладный, столь идеальный для городского шлянья день. За фонтаном собирали деньги в пользу жертв режима Хомейни. Я дал, что нашлось в карманах, файв бакс*. Далее пара рыженьких требовала демонтажа ракет «першинг». Им я не дал ни копей. Над пиццерией «Везувий» поднимался тревожный дымок. «Крамер-букс» вывалил в окно очередную свалку книжных шедевров. Проголодавшись, я толкнул какую-то дверь и оказался в заведении, где пахло фаршированным перцем. И, только лишь взяв меню, я сообразил, что сижу в греческом заведении, которое так и называется — «Эллада», что гипсовая статуя в углу — не кто иная, как охотница Артемида, и что в сумке у меня лежит не что иное, как «Одиссея», которую я купил час назад по неизвестному побуждению. Заказав стакан рицины — неужели Улисс пил такую же гадость? — я стал читать:

*...И голосом звонко-приятным богиня
Пела, сидя с челююком золотым за узорною тканью.
Густо разросишься, отвсяду пещеру ее окружали
Тополи, ольхи и сладкий лиющие дух кипарисы;
В листовенных сенях гнездились там длиннокрылые птицы,
Кобчики, совы, морские вороны крикливые, шумной
Стаей по взморью ходящие, пищи себе добывая...*

Итак, к Средиземному, к колыбели человечества; остров Калипсо, США.

* Five bucks — пять долларов.

Рассказывая о нашем быте в Вашингтоне, нельзя не упомянуть и наших побегов из столицы: ведь если из столицы нельзя убежать, она превращается в гнусную дыру.

Лучше всего из столиц удирается зимой. Из Москвы посреди зимы «рвут когти» в Крым или на Кавказ, из Вашингтона драпают во Флориду или на острова Карибского моря. Расстояния адекватные.

С зимними побегам в Америке мне повезло: январь — блаженный перерыв в академической деятельности, и можно сняться с места с той же легкостью, что и в Москве, где круглый год был блаженным перерывом в академической деятельности за полным отсутствием таковой.

Однажды в январе решили: стыдно не побывать в Ки-Уэсте, и вот мы в Ки-Уэсте, который соотносится с роскошным Майями примерно так же, как излюбленная русскими писателями восточнокрымская деревня Коктебель соотносится с профсоюзным великолепием Сочи. Здесь нет арабских шейхов с гаремами и телохранителями, каждый владеет своим телом на свой собственный риск, нет здесь и международных казино с их специфической публикой, а любители золота предпочитают добывать его в костюмах для подводного плавания. В центре старого Ки-Уэста на выставке сокровищ экспедиции Мэла Фишера наибольшее впечатление на посетителей производит золотой кубок губернатора провинции Куско, на дне которого лежит перстень. В перстень вправлен камень, называющийся, кажется, азурит, это сильнейший антидот мышьяку. Тирани при помощи этого перстня обезвреживал отравленное. Интересно, есть ли такие перстни у современных тиранов?

Первая же прогулка по главной улице Дюваль показала, что приехали недаром: публика здесь кучкуется незаурядная — заповедные хиппи шестидесятых годов, представители половых меньшинств, не пуганные критикой

писатели и кто-то еще. Дополнительную остроту придают прогулке надписи на лавках: «Heavily armed! You loot, we shoot!»*

Собственно говоря, остров Ки-Уэст известен каждому интеллигенту в России благодаря роману Хемингуэя «Иметь и не иметь». Мы тоже не лыком шиты и роман читали, хотя и не помним, что там происходит. Остались в памяти лишь только детали романа, и одна, например, вот такая странная. Хемингуэй пишет, что в Ки-Уэсте всегда стояла какая-нибудь эстонская яхта. Эстонские путешественники почему-то облюбовали остров для стоянок, посылали отсюда корреспонденции в свои буржуазные газеты и ждали гонорара, чтобы продолжить путь. Сейчас в порту Ки-Уэста всяческих яхт навалом, но эстонских мы не заметили.

Хемингуэй провел на Ки-Уэсте десять лет, и это были, кажется, самые его продуктивные годы. Остров гордится им. В его любимом баре, который называется «Неряха Джо», по всем стенам висят его портреты в дубовой раме и постановление мэра, объявляющее 21 июля Днем Папы Хемингуэя.

Открыт для обозрения и дом классика — окруженный пальмами большой двухэтажный дом богатого и стильного человека. В доме и вокруг масса грациозных котов. Я заметил двух рыжих, дымчатого и сиамца, но их там было, пожалуй, не менее десятка, словом, поддерживает-ся эта котолубивая хемовская традиция.

По вечерам над ресторанами... В старом Ки-Уэсте на каждом углу кабачки: окна без рам, двери открываются прямо на улицу, везде с гитарами чудаковатые певцы. В «Неряхе Джо» каждый вечер пели песню о нобелевских лауреатах, в первую очередь, конечно, о Хеме, потом о Фолкнере, Альбере Камю, упоминались также и наши — Пастернак и Солженицын; о Шолохове и Бунине почему-то забыли.

* Вооружены всерьез! Вы грабите, мы стреляем!

На закате на набережной ежезакатный фестиваль бродячих артистов. Черные ребята методично колотят в там-тамы, белые англо-американские, столь уже знакомые всему миру чудаки, на скрипках, цитрах, флейтах исполняют музыку средневековья, над толпой на ходулях проходит жонглирующий факелами циркач... в толпе людей и собак легкие поцелуи, легкие потасовки, здесь же ужинают, сидя прямо под ногами, пьют пиво, покуривают сладкую травку... Жонглер кричит: «Господа, я прямо из Брюсселя, без пересадки из Брюсселя!» Вообразите, в Ки-Уэсте Брюссель — это экзотика... А что, если объявить: «Я прямо из Коктебеля!»?

На набережной стоит плакат: «До Кубы 90 миль». Полтора часа езды по морю до «лагеря мира и социализма». Воображаю: если бы советский остров находился в 90 милях от «лагеря империализма и реакции», какую бы там устроили великолепную запретную зону, какие повсюду торчали бы вышки, как бы полосовали море прожекторами, как бы патрулировали все пляжи и бухты, лишь бы никто не сбежал. А здесь — плыви когда хочешь на все четыре стороны.

Однажды вечером на улице Дюваль мы встретили загорелую пару с пиратскими платками на головах. «Видишь, Майя, не мы одни такие умные, вон Юз Алешковский с Ирккой тоже в Ки-Уэсте».

Товарищ по эмиграции, московский писатель Юз сейчас учит студентов хорошим манерам в коннектикутском колледже, Ирина там же преподает балетные танцы, здесь они тоже на каникулах, медитируют на пляже, по вечерам толкуют труды философа Тросникова.

Мы объединились с дружественной парой, продвинулись в близлежащий устричный бар и заказали по дюжине устриц. Потом двинулись еще дальше и заказали по блюду даров моря под общим названием «Чайна клиппер».

Все вокруг дышало мировым океаном и настраивало на философский лад. После ужина мы пошли на пляж и стали толковать Тросникова. Мы сидели впятером, вклю-

чая собаку Ушика, под крупными карибскими звездами. Вокруг было тихо, из глубин океана, казалось, звучала томная гитара Фиделя Кастро. В такой обстановке долго на философии не продержишься — очень хотелось спеть что-то свое, напоминающее о других временах и нравах. И вот, почти не договариваясь, мы впятером запели кое-что ностальгическое. Можно поручиться, что остров Ки-Уэст впервые в тот вечер услышал любимую песню Коктебельской бухты, что у подножия Карадага в Крыму.

*Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознании познавший толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ — серый брянский волк...*

Другим студеным январем решили убежать еще южнее, и вот бежим на остров Сент-Мартин, что в Наветренном архипелаге.

Отправились сначала в Нью-Йорк, повидать приятелей, чету Нисневичей. «Город Желтого дьявола» поскрипывал от мороза. Таксист сначала думал, что мы советские дипломаты, и был суров, но потом, узнав, что мы на все сто процентов не советские дипломаты, разулыбался и не взял чаевых. Фотограф Лев Нисневич живет в артистическом Сохо в огромном лофте вместе с женой Тамарой и тремя котами — Сашей, Барсиком и Микки.

Коты, как видно, сейчас здесь в моде — скульптор Эрнст Неизвестный живет в лофте с пятью котами, однако ни по имени, ни по внешнему виду их не различает. Следует отметить одну немаловажную деталь, вполне достойную занесения в активы современной цивилизации: отсутствие кошачьей вони. Нынче все котоводы покупают какую-то специальную лажу, похожую на мелкий гравий, она отбивает вонь, коей иногда грешат эти очаровательные создания. Что касается Желтого дьявола, то если бы основоположник соцреализма Горький имел в виду китайских поваров, город этот и в самом деле бы заслу-

жил эту кличку. Что бы мы тут делали без этих чертей кулинарии?

За ужином в ресторане, куда нас повел Лев, один из этих желтых дьяволов спросил: «Вы из какой страны, господа?» — «Догадайтесь», — сказали мы. «Ума не приложу», — ответил он. «Мы из той страны, что расположена между Польшей и Китаем», — сказали мы. «К сожалению, я из Тайваня», — сказал он. «Ну, все-таки вспомните географическую карту, — настаивали мы. — Такая большая страница, напоминающая контурами дракона». Он сильно напрягся и наконец пришел к заключению: «Вы, должно быть, из Новой Зеландии, господа». — «Пожалуйста, еще одну порцию этих ракушек со столь загадочной начинкой», — попросили мы. «В конце концов география не моя специальность, — сказал он. — Спросите меня о сортах рыбы и получите исчерпывающий ответ». — «Известно вам, где живет судак?» — «Ну, стало быть, я правильно догадался — в Новой Зеландии!»

Пребывая в этой легкой географическо-гастрономической сумятице, мы отбыли на Антильские острова, и вот мы на Антильских островах. Теперь пришел черед приступить к политико-исторической части нашего рассказа.

Сразу должен признаться в полуневежестве по поводу расстановки сил и распространении сфер в регионе. Хромаю и по исторической части. Известны мне только иные курьезы и особенности некоторых отдельно взятых островов. Известно, например, что остров Куба все продолжает наращивать свою несокрушимую мощь по мере того, как Фидель Кастро приобретает все большее сходство с Фридрихом Энгельсом. С другой стороны, остров Гренада вдруг всему свету на удивление продемонстрировал «обратимость» социалистических изменений обратно в капиталистические изменения. Известно также, что многие острова в последние годы получили полнейшую независимость от своих метрополий, но, с другой стороны, остров Ангилья после семи лет независимости попросился обратно в Англию, чем подтвердил сложившееся у

меня впечатление, что Британская империя в последнее время медленно, но верно возрождается. Ну а вот остров, на который мы только что прибыли, тоже явление собой представляет уникальное.

В туристских проспектах остров преподносится как «две страны — один рай». Дело в том, что этот гористый и весьма изрезанный клочок тропической земли площадью 34 квадратных мили принадлежит двум странам — Франции и Голландии. По-французски он именуется Сен-Мартен, ну а по-голландски Синт-Маартин. Открыл его в День Святого Мартына, во время своего второго путешествия, разумеется, все тот же Христофор Колумб, о котором в туристском проспекте сказано не без некоторой элитности, что он был самым целеустремленным круизным туристом своего времени. Открыв, объявил навечно, то есть необратимо, собственностью испанской короны.

Увы, испанские изменения на острове оказались обратимыми, как и социалистические на Гренаде. В дальнейшем на острове начались франко-голландские потасовки, которые завершились в 1668 году подписанием соглашения о разделе острова на две приблизительно равные части, северную — французскую и южную — голландскую. С того времени соглашение нарушалось шестнадцать раз, но потом снова восстанавливалось, и на текущий момент оно является самым старым из всех международных соглашений, еще сохраняющих силу.

В первое утро после прибытия, отдернув шторы, мы увидели перед собой большой залив идеальной подковообразной формы, окаймленный полосой пляжей, низкими строениями голландской столицы Филиппсбург и невысокими горами именно таких очертаний, что привлекали во все времена искателей приключений. На внешнем рейде стояло несколько круизных лайнеров.

Балкон нашего номера на первом этаже выходил прямо на прибрежные камни, там живописно раскинута была небольшая морская свалка, вполне типичная для нынешних морских побережий, — обрывки резиновой рыбацкой

робы, кое-какое отработавшее свое бельинико, пластмассовый галлон из-под молока, отжатые пузырьки пляжного крема и т.д. Море, однако, в десяти шагах от нас было прозрачным, пара пальм раскачивала свои ветви, в них порхали желтогрудые колибри, среди отходов цивилизации сновали первозданные ящерицы. Решено было сразу после завтрака взять напрокат автомобиль и объехать остров, благо на все это дело, как следовало из туристского буклета, требовалось не более двух с половиной часов.

Итак, отправляемся сначала в столицу голландской части — город Филипсбург — поселение, расположенное на песчаной косе между морским заливом и соленой лагуной. На главной улице Фронт-стрит поражают витрины роскошных магазинов, иные из которых не уступят ни Пятой авеню в Нью-Йорке, ни Елисейским Полям в Париже. Они тем более выглядят удивительно, что мирно соседствуют с полудеревенским убожеством третьего мира, идиллически процветающим во всех боковых переулках. Снова вспоминаешь крылатые метафоры классика социалистического реализма Анатолия Софронова: «остров контрастов».

В самом деле, число контрастов по мере продвижения в глубину острова нарастает. Дороги, например, протоптанные, узкие, с ухабами, а нередко и просто грунтовые, но по этим отсталым дорогам мчится в больших количествах передовая автомобильная технология Запада, движение на удивление интенсивное, кажется, что все тринадцатитысячное население острова целеустремленно мчится куда-то за рулями личного транспорта, хотя непонятно, куда можно так бодро мчаться и какие цели преследует население на острове, что пятнадцать километров в длину и столько же в ширину.

В полное изумление приводит здесь американцев здешняя телефония — оказывается, не очень-то она работает. Надо сказать, что шоколадные голландцы и французы (а именно таков цвет кожи девяноста процентов местного населения) из своей телефонной недостачи тоже

сделали рекламу. Наш остров, говорит реклама, в своем бурном росте перерос свою телефонную систему. Лучший совет туристам — забудьте всяческую суету и вообще не звоните никуда, расслабляйтесь.

Мы едем мимо вилл, прилепившихся к склонам гор. Одна из них, белая и с американским флагом на крыше, принадлежит королю джаза Бенни Гудману. Вдруг мы замечаем, что вокруг стали мелькать французские названия, стало быть, мы уже во Франции, а вот и не больше не меньше как город Орлеан, десятка три домиков и католическая церковь, а вот уже и французская столица Маригот, мирно лежащая на берегу тихой бухты с парусниками и катерами; настоящие французские ажаны в их круглых кепи и в шортах позируют для туристских снимков.

В обеих частях острова, между прочим, поражает немалое количество грязи и хлама. Мусора тут, пожалуй, скопилось больше, чем во всей Голландии и Франции, — брошенные покрышки, гниющие корпуса автомобилей, ржавая проволока, ящики, бесхозные куски бетона, бутылки, банки, тряпье... Колонизаторы, черти, почему-то не научили островитян следить за чистотой. Население здесь явно не бедствует — мы видим вокруг добротные дома с хорошей мебелью, массу машин, детей и подростков в дизайнерских джинсах и маечках; красотки вообще на высшем уровне, с сигаретами, в грохоте музыки рэгги, за рулями своих «Хонд» и «Тойот». Потреблять здесь уже научились, а вот убирать за собой еще нет. Впрочем, многие считают, что вкус к потреблению — это основной путь третьего мира к дальнейшему ненасильственному развитию.

В магазинчике на главной улице голландского городка Филипсбурга две продавщицы, черная и белая, на пулеметной скорости общались друг с другом, употребляя довольно странные звуки и словосочетания. Покупателям они отвечали на обычном, так называемом «международном английском». «Простите, на каком языке вы говорите друг с другом?» — спросил я. «Это язык «папельяменто», — охотно ответила негритянка. Комбинация испан-

ского, английского, французского, голландского, португальского, итальянского, да Бог знает еще какого, все вместе звучит похоже на испанский и является основным бытовым средством коммуникации Нидерландской Вест-Индии, в состав которой входят, кроме Синт-Маартина, то есть его голландской половинки, еще пять островов, включая большой островище Кюрасао с его почти двухсоттысячным населением. Позднее хозяин бензоколонки рассказал мне еще больше об этом языке. На нем не существует ни литературы, ни газет в связи с отсутствием письменности, но между тем именно он является здесь основным средством коммуникации. Такая лексическая ситуация, разумеется, не могла не напомнить мне путешествия на Остров Крым с его комбинированным языком «яки».

Интересно было наблюдать за жизнью местного населения.

Честно говоря, я был даже доволен, что остров оказался не таким, каким он представлялся в воображении, то есть в соответствии с рекламными буклетиками, — вылизанным полем для гольфа с идеальными современными коттеджами и пальмовыми аллеями. Вместо этой глянцево-й поверхности мы нашли здесь гору мусора, неряшливость, пижонство, шелудивых собачонок и беспризорных овец, красоток в спортивных «Мерседесах» и «колхозниц» с ведрами на головах, постоянную и какую-то странную, на наш взгляд, как бы деловую озабоченность местного населения, некий дух причерноморской зоны, особенно Абхазии, переезды туда-сюда, толковища на углах, плутоватые физиономии у отелей и на пирсе, страннейших пластмассовых коней и петухов в витринах магазинов, алебастровые бра в коридорах гостиницы, каковых в западном мире вроде бы не может существовать и за которыми надо снаряжать экспедицию, скажем, в Караганду, продажу чего-то резного, деревянного, плетеного, нанизанного на ниточки, «козла», которого по вечерам в своих двориках забивают «шоколадные голландцы» с не меньшей увлеченностью, чем это делают ветераны армии и гос-

безопасности на московских бульварах; словом, мы нашли здесь как бы свой карибский вариант нашей «затоваренной бочкотары».

Самых нешоколадных голландцев на острове раз-два и обчелся, речь их на улицах почти не слышна, а вот французов не так уж мало — и в северной части, которая без всяких хитростей попросту считается частью Франции, и в южной, где они владеют магазинами и ресторанами.

Рестораны здесь, надо сказать, чертовски дороги, но и отменны, в них поддерживается французский шик и стиль.

Любопытно бывает обнаружить в какой-нибудь маленькой бухточке, среди деревенских дворов с бродящими курами и овцами, идеальный французский ресторан и в нем хозяина, эдакого парижского сноба в очках с тонкой золотой оправой, похожего на моего одного приятеля, что путешествует через океаны в первом классе, держа в одной руке бокал сухого мартини и томик Платона в другой.

Чтобы создать у читателя некоторое представление о ежедневной жизни островитян, приведу несколько сообщений из местной газетки.

«...Леди Джи-Си-Эм в полночь обнаружила у себя на крыльце незнакомого мужчину. Заметив, что обнаружен, мужчина убежал...»

«Во дворе дома на улице Гвоздик загорелась куча мусора. Подозревают, что причиной пожара стали бенгальские огни. Пожарные загасили огонь...»

«Джентльмен Ви-Пи запарковал свой грузовичок на Фронт-стрит, но, вернувшись, обнаружил его полное и удивительное отсутствие. Предполагают, что кто-то решил на грузовичке позабавиться...»

«Леди Эс-Эм-Эс явилась в полицию с жалобами, что джентльмен Эйч во время недавней с ней ссоры дал волю ру-

кам. Приветствие, сказала она, должно решительно пресекать подобное безобразие...»

«Иные из новоприбывших требуют на нашем острове предоставления им работы, однако не хотят пачкать руки. Джентльмен Кью, явившись на работу в пьяном виде, даже не представлял себе, в чем заключаются его обязанности...»

«Молодой герой. Четырнадцатилетний Тео Нейлингер спас утопающего в бурных водах Гайана-бич шестидесятилетнего гостя легендарного джазиста Бенни Гудмана, который, будучи бывшим морским пехотинцем, слишком переоценил свои плавательные возможности. Окруженный толпой, молодой герой сказал: «Ол райт. Так поступаем мы, антильцы...»

«Дорогая редакция, я являюсь красивым подростком. Недавно ко мне подошел красивый пожилой господин и предложил совершить на его яхте кругосветное путешествие. Что вы мне посоветуете?» — «Дорогой красивый подросток, мы советуем тебе завершить образование, получить хорошую работу, заработать деньги и совершить кругосветное путешествие без красивого пожилого господина...»

«Комиссар по туризму, культуре и спорту Сэм Хейзел (на нас смотрит круглая физиономия веселого плута) говорит, что при нынешнем развитии слово «конкуренция» на острове Сен-Мартин становится абсурдным. В отличие от других островов, мы не пытались ни построить социализм, ни развить промышленность, мы просто ждали. Теперь они испытывают кризис, а мы бурно развиваемся. Туризм — вот истинный путь карибской цивилизации».

Опускается вечер. Начинают стучать «бочечные оркестры». Признаться, я этот ритм рэгги терпеть не могу, однако положение туриста как бы обязывает восхищаться экзотикой. Как-то на пляже толпа человек в пятьдесят «шо-

коладных голландцев» танцевала часа четыре под одну и ту же песню. «Нравится вам наша музыка?» — спросил меня полицейский. «Музыка-то хороша, — слукавил я, — но, кажется, с кассетой что-то не в порядке, все время крутится одна и та же песня». — «Да что вы, мой друг, — удивился он, — это сорок четыре совершенно разные песни». Цезарю — Цезарево, быку — быково.

Продолжаем снова из Блока, как и в Ки-Уэсте: «По вечерам над ресторанами какой-то там воздух дик и глух и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух». Далее, из советского фольклора — «все в порядке, пьяных нет».

Пьяных и в самом деле мы за всю неделю не наблюдали ни одной персоны, и медицинский вытрезвитель, господа, хотя, возможно, это и прозвучит фантастично, попросту отсутствует. В связи с этим отсутствием не чувствуется как-то и тлетворного духа, если только нельзя к этому духу отнести ресторанный дороговизну. Вот тут уж, в этих островных ресторанах, на туристах отыгрываются вовсю, каждый ужин вдвоем подкатывает под сотню. Кухня, впрочем, во многих местах великолепная, особенно во французских заведениях «Эскарго» или «Журавлиный хвост» или в заведении с уклоном к международному авантюризму, именуемом «Хемингуэй». Опять он!

Наш хозяин, объяснили нам в этом ресторане, дружит с этой семьей, и внучки писателя, столь мило продолжившие фамильную славу Марго и Мэриэль, нередкие здесь гости. «Сегодня вечером не ждете?» — спросил я. «Мы ждем их каждую минуту, сэр», — был ответ. Заиграла музыка из знаменитого французского гомосексуального шедевра «Клеточка с приветом», и началось шоу — танцы трех существ неопределенного пола.

О скольких предметах я уже рассказал в этой серии побегов, но не коснулся пока что одного, из-за которого, собственно говоря, и все побеги возникают, а именно пляжа. Тут, впрочем, особенно-то и распространяться нечего за

пределы одного слова — восхитителен! Лежа под пальмами на песке, напоминающем пудру «Макс Фактор», рядом с прозрачной водой — странным образом никаких, даже мелких, нефтяных катышков не обнаруживалось, — мы посматриваем на сопляжников, американцев пожилого в основном возраста. Любопытно, что среди них немало типов, напоминающих персонажи коктебельского литфондового курорта. Вот, например, лежит поэт Поженин, читает мемуары автомобильного магната Йакова, хочет стать богатым. Вот, с коктейлем «Кровавая Мери», проходит правдист-международник Почивалов, вот раскладывает пасьянс армейская сильфида Юлия Друнина... На пляжах как-то особенно ясной становится конечная неизбежность идеологической конвергенции.

Кончается наш очередной побег, мы грузимся в «джамбо» компании «Пан-Ам» и летим, но не на север, а на юг, на остров Антигуа, чтобы забрать и там группу загорелых. Вслед за этим берем курс на Нью-Йорк, и вот мы в Нью-Йорке. Там свищет морозный ветер. К моменту посадки в поезд на Вашингтон начинается дикая пурга. Объявляют, что на трассе авария и что, возможно, за Филадельфией всем придется высадиться и продолжить путь на автобусах.

Американцы в таких случаях никогда не ворчат. Ворчат только иные русские эмигранты: стоило ли, мол, эмигрировать из метели в метель? Не лучше ли было сразу слиться на Карибы?..

...Говоря о зимних побегах из вашингтонского быта, следует несколько слов сказать и о возвращениях.

Однажды мы приближались к городу с юга, по хайвею № 95. Был воскресный праздничный вечер. В «Омеге» уже работала вашингтонская радиостанция, интеллектуалка, как мы ее называем. Шла Сороковая симфония Моцарта. При приближении к Пентагону шоссе расширилось до пяти полос. Вровень с нами на одной скорости шла машина других вашингтонцев, многие были загорелыми, видно, как и мы, провели неделю-другую во Флориде.

Открылись за Потомаком освещенные закатным солнцем постройки Мола, все эти святыни нашей уникальной демократии, само существование которой среди свирепого марксизма вызывает некоторое торжественное удивление.

Вдруг мы услышали какое-то восторженное попискивание. Наш двухлетний щенок Ушик, встав на задние лапы и упираясь передними в наши спины, восторженно взирал на Вашингтон. Радостный скулеж его усиливался по мере приближения к Адамс-Моргану. Пес радовался возвращению в столицу, а ведь рожден он был в Канзасе.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

Пресловутая наблюдательность русской литературы! Горлышко разбитой бутылки (Чехов), рой мошкеры над головой марширующего штабс-капитана (мое, и Чехову не отдам).

Пресловутый Запад делает вид, что спешит, кокетничает сам с собой: какой я нехороший, развратный, порочный... делает вид, что ему наплевать на русскую литературную наблюдательность; сейчас, мол, не до деталей!

Пишущему человеку впору впасть в транс: нечего уже наблюдать, все наблюждено, все наблюдено, продано по двадцать раз на корню в «шоубиз» с учетом колебания биржевых ставок. Классик и тот спасует перед мерами, направленными на подавление литературной наблюдательности, как на Западе, так и на Востоке.

Пишите — «вошла девушка»; этого достаточно. Вам кажется, что следует указать на ее несколько английскую внешность — выпуклый лоб, все чуть-чуть сужено, подбородок чуточку вперед, густые волосы малость пеговаты, — но это в самом деле никого не интересует, потому что подразумевается. Может быть, через полгода встречи заметите, что зрачок одного ее глаза (какого, забыл) начинает иногда бурно вращаться, но это и в самом деле

не имеет отношения к мировому интертейнменту*, это уж из вашей частной жизни.

Отцвели каштаны, скажете вы, проститутки на бульваре Ланн все, как одна, похорошели, однако и эти ваши наблюдения вряд ли имеют практическую пользу, поскольку слишком нагло располагаются во времени.

Улицы идут одна за другой в строгой последовательности — 31, 32, 33... Никого, кроме вас, не восхитит тот факт, что между 33-й и 34-й протекает улица Бетховена; ее можно было бы спокойно не заметить.

Пища для обобщений:

...В городе Red Bluff (Красный Блеф?), Калифорния, раскрылась интересная история. Семь лет назад рабочий с лесопилки мистер Хукер похитил двадцатилетнюю особу и с тех пор держал ее в заточении в качестве сексуальной рабыни.

Рабыня днем содержалась в специально для нее построенном ящике, а по вечерам мистер Хукер вместе с супругой (у них двое детей) извлекали ее оттуда, мучили горящими спичками, подвешивали ее к потолку, раскладывали на доске и «имели секс» с нею.

Обобщение: они все эро-монстры!

...Вся страна широко обсуждает главы из мемуаров восемнадцатилетней киноактрисы Брук Шилд «Как сохранить и поддерживать свою невинность».

Обобщение: в принципе, они все — чистопробные пуритане!

...Мистер Макферленд из Сан-Диего, Калифорния, спрыгнул на рельсы, чтобы спасти своего ирландского сеттера из-под колес подходящего поезда. Сеттер уцелел. Мистер Макферленд лишился ноги.

«Некоторые считают меня чудачком, — сказал этот тридцатичетырехлетний холостяк, — но я полагаю, что ради любящего и преданного мыслящего существа пожертвовать

* Entertainment — зрелище, развлечение.

ногой не так уж дико. Я получаю сотни писем со всей страны, и все меня одобряют. Большинство людей любит своих животных гораздо больше, чем мы иногда думаем».

Обобщение тут уже высказано, хотя оно и несколько противоречит лаконизму: No pets*, существующему в восьмидесяти процентах объявлений о сдаче жилья.

1953

Мрачное утро обездзугашвиленного мира. Филимон, Парамон, Спиридон и Евтихий поют коммунальную арию Каварадоси. Скоро расстрел.

Местная квартира органов пролетарской диктатуры, известная в народе под веселым именем «Бурый овраг», как раз над этим оврагом и располагалась. В последние годы руководство решило пробудить в населении добрые и веселые эмоции по отношению к этому месту, и в овраге был разбит детский парк с фанерными фигурами и аттракционами.

Сейчас, стоя по пояс в снегу, четверо осквернителей памяти почившего могли сказать последнее прости и Деду Морозу и Снегурочке. Майор Щедрина, он же стилига Клякса, держал их под мушкой своего браунинга. Десять «стратегических» рюмок коньяку до неузнаваемости изменили внешность «рыцаря революции». Рассыпалась набриолиненная прическа, съехали в сторону усики. В этот момент он напоминал нечто среднее между хорошо уже известным в СССР Чарли Чаплином и пока еще неизвестным Че Геварой.

— Кончай, Вадик, дурачиться! — пищали присутствующие в качестве зрителей подруги обреченных.

— Прощайтесь, белогвардейская сволочь! — гаркнул Клякса.

«Как плохо начинается новый возраст», — пробормотал Филимон. «И новая эра», — прошептал Парамон.

* Никаких домашних животных.

«А ведь ожидалась оттепель», — простонал Спиридон. «Не для нас», — зарыдал Евтихий.

Со стен ледяного городка, так ностальгически напоминавшего искусство передвижников, заиграл на аккордеоне юноша Грелкин. Лиловый негр Боб Бимбо запел с английским акцентом:

— Есть у тучки светлая изнанка...

Есть ли у тучки светлая изнанка? Майор Щедрина отшвырнул пистолет.

— Помогите мне, чуваки, пробраться в Западную Германию!

— Да зачем тебе в Западную Германию, Клякса?

— Чтoб в Америку сбежать!



ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Сент-Петербург во Флориде — может быть, самый странный город из тех, что мы посетили в Америке. Улицы унылого провинциального быта, заброшенные дома, тихо бредущие по корявому асфальту фигурки пенсионеров — и вдруг посреди этого убожества современная галерея с доброй сотней полотен Сальвадора Дали. Набережная с робкими лавчонками, руины розового отеля в стиле «Великий Гэтсби», длиннейший пирс, на краю которого высится мрачное бетонное сооружение, годное для съемок фильма о каком-нибудь тоталитарном заговоре против человечества, на деле же не что иное, как Westminster Fish Market, несколько рыбных ресторанов и видеоаркад... некоторую естественность пейзажу придавали лишь пальмы и паруса в заливе.

Мы ходили по набережной и искали памятник основателю города русскому негоцианту Дементьеву. Дело в том, что этот город — один из робких центров русского присутствия в Америке. Старые эмигранты его иначе, как Санкт-Петербургом, и не называют в память о своей прежней столице, переименованной в город Ленина с тем же правом, с каким сочинения Льва Толстого могли бы быть переименованы в сочинения Шолохова.

Дементьев высадился на этих плоских берегах в конце прошлого века, чтобы основать город под гордым име-



нем русской столицы, а свое собственное имя для удобства коммерческих операций трансформировать на американский манер и стать Деменсом.

«Деменс-лендинг», то есть «высадка Деменса», — так и называется это памятное место. Мы все оглядывались в поисках бронзовой или чугунной фигуры с какой-нибудь шпагой или ружьем в руке, но ничего подобного не видели. Подошли к группе стариков рыболовов, черных и белых, тихо увядающих с удочками в руках под белесым жарким небом.

— Вы, кажется, местные, джентльмены? Подскажите, где можно найти здесь монумент «Деменс-лендинг».

Старики замялись. Никто из них такого монумента в окрестностях не замечал.

— Просим прощения, монументами наша местность небогата, а вот высадка вот тут как раз неподалеку имела место, вот за теми пальмами, по слухам, и высаживались, нечистая сила...

Оказалось, что рыболовы полагают исторический пункт местом высадки каких-то флоридских «демонов», а об основателе своего города Питере Деменсе они не слышали ровным счетом ничего.

Монумент, поставленный Конгрессом русских американцев, представлял собой камень размером не более среднего чемодана, найти который за стволами пальм было нелегко.

В какой-то степени масштаб и скромность, если не сказать жалкость, этого мемориала отражает состояние русской этнической группы в США.

У русских в этой стране нет ни могущественных финансовых покровителей, ни политического лобби, ни образовательных институтов, ни даже развитой кулинарии, если не считать бруклинского населения в районе Брайтон-бич, именуемого «Малой Одессой», о которой речь пойдет ниже. Существующая организация, именуемая Конгрессом русских американцев, озабочена как будто

только одной темой: время от времени мы узнаем о ее существовании, когда она начинает протестовать против привычки американской прессы называть советских функционеров русскими.

А между тем русских-то здесь, кажется, пара миллионов, и на протяжении послереволюционных десятилетий они внесли немалый вклад в развитие нашего нынешнего общества: ведь это были русские далеко не худшей породы, достаточно, включая телевизор, вспомнить об инженере Владимире Кузьмиче Зворыкине; подняв голову к пролетающему вертолету — о конструкторе Игоре Ивановиче Сикорском, услышав современные лады музыки — о композиторе Игоре Федоровиче Стравинском...

В отсутствии национальной структуры, в мумификации культурного наследия русской общине никого, кроме себя самой, винить не приходится. Среди прочих других причин, вызвавших нынешнюю расслабленность, есть и идея так называемой «смерти России», то есть необратимости большевистских изменений. Идея эта была популярна в русской эмиграции много лет и вряд ли стимулировала у молодых поколений желание оставаться русскими.

...Все-таки, как мы выяснили приехав, что-то еще осталось. Главной объединяющей силой является, конечно, русская православная церковь. В праздничные дни в храмах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Вашингтона, Монреаля, Филадельфии мы видели основательные скопления сугубо русских персонажей, настолько русских и не тронутых той неуловимой и вместе с тем вполне отчетливой советской порчей, какой тронуты мы все, вновь прибывшие, что казалось, будто присутствуешь на съемках фильма о старой Руси.

Советская порча, или, если угодно, примета современной России, выделяет нас мгновенно из числа здешних русских. Она сказывается и в походке, и в жестикуляции, и в манере одеваться (кажется, более «западной», чем у наших западных соотечественников), не говоря уже о ма-

нере речи и о лексике, загрязненной (или обогащенной) всем советским периодом истории.

По манере речи почти немедленно отличаешь советского русского от американского русского. Как-то раз пожилая дама повернулась к нам в толпе на Коннектикута-авеню: «Ой, здравствуйте, а я иду и слышу, кто-то рядом говорит по-советски».

На самом деле речь, конечно, идет не о советском языке, а о современном говоре России, огромного языкового океана, в стремнинах которого мы провели всю жизнь, а с другой стороны, о консервированном (в лучшем случае) литературно-хрестоматийном русском, в худшем же случае о немыслимом «воляпюке», составленном из английских, французских, испанских и немецких слов с русскими окончаниями и падежами.

Вот, например, как некий русский, родившийся в Германии, воспитанный во Французском Марокко и проживший последние тридцать лет в Соединенных Штатах, рассказывает о дорожном происшествии. «Еду с супругой по хайвею в своем вуатюре. Неожиданно перед нами появляется рэклис спидер. Я каширую, супруга — вообразите! — уринирует... Кель кошмар, господа!»

Мы уже привыкли и не удивляемся, когда слышим, что кто-то из знакомых «выбежал из денег», «взял 95-ю дорогу»... Больше того, и сами то и дело ловим себя на таких примерно перлах: «Надо взять иншуранс, потому что он (?) такс дидактабл, иначе с нашим морттейджем мы не найдем своего шелтер...»

Подлинная жизнь русской эмиграции — это одно из главных открытий, сделанных нами в Америке. Прежнее «внутрисоветское» представление об этих людях было искаженным. В советской прессе, в литературе соцреализма давно уже установились железные клише в отношении эмигрантов. В худшем случае это законченный мерзавец, предатель родины, циничная «белогвардейская сволочь», в лучшем — опустившийся подонок, алкоголик, рыдающий в

каком-нибудь сомнительном баре по чистым березкам России.

Отказавшись от всех советских клише, мы стали воображать себе жизнь наших собратьев за пределами империи совсем в другом ключе и волей-неволей под влиянием все большего числа книг, просачивающихся из-за границы, перед нами возникал образ российского эмигранта, весьма близкий к полумифической личности Владимира Владимировича Набокова, великолепного писателя, усталого сноба и неугомимого охотника за бабочками.

На деле оказалось, что «Набоковых» в среде русских американцев не очень много, что, разумеется, вполне естественно — таких людей не может быть много. Большинство состояло из простых и вполне порядочных дам и господ, из которых пожилые были более русоватыми, а молодые, конечно, более американистыми.

Оказалось также, что все наши авангардные писания, рисования и ваения не имеют почти никакого отношения к этим русским. Для большинства из них русская литература если еще и существовала, то лишь в хрестоматийных образцах — «поблю грозу в начале мая», «вдь на Волгу, чей стон раздается» и т.д., — а вся наша богемная братия, явившаяся в Америку с московских и ленинградских чердаков и из подвалов, казалась людьми испорченными, непонятными и опасными.

В американских мегалополисах, среди переплетений фривеев и миллионов катящихся автомобилей, существовали маленькие русские общины с нравами российских уездных городов начала века.

На наших глазах однажды разыгралась вполне заурядная, но весьма красноречивая любовная драма. Московский художник, основательный пьяница и «ходок», стал встречаться с молодой русской американкой, матерью троих детей и женой респектабельного русско-американского мужа. Скандал разгорелся невероятный.

Мой друг был невольным свидетелем этой истории, он рассказал мне о ее скорее трагикомическом, чем трагическом характере. Все происходило в большом американском городе, полном людей всех человеческих рас, полном всех этих бизнесов, и малых и больших, сексуального освобождения всех видов, в городе, заваленном книгами, журналами и видеокассетами выше ушей, а между тем в маленькой русской общине царили нравы Пошехонской старины; скандал носил явно ксенофобский характер, кумушки, которые всегда в России были столпами нравственности, возмущались не столько самим фактом развала семьи, сколько вторжением чужака, как бы декадента, как бы иностранца.

Кажется, многие из русских пришельцев «новой волны» не очень соответствовали установившимся в Америке стереотипам в отношении русских.

Как-то мы столкнулись на вашингтонской улице с группой друзей, ну и, разумеется, разорались, расхохотались. Местные жители, сидевшие на крыльце, прислушивались не без удивления, а потом спросили:

— На каком языке вы говорите, фолкс?

— На русском, — сказали мы.

— Хм, — пожали они плечами. — Для русского звучит слишком весело...

С удивлением новоприбывшие обнаружили, что в русско-американской общине как в капле воды отражаются и многие гадости, привычные для большой России.

Довольно бодро, например, процветает старорежимный антисемитизм (чрезвычайно странная, между прочим, штука после антисемитизма новорежимного).

Однажды в церкви священник призвал прихожан молиться за спасение Елены и Андрея, то есть за Елену Боннер и Андрея Сахарова. В ответ он услышал возмущенные голоса каких-то теток, которым впору было бы заседать в советских органах: «А чего это нам за жидов молиться?»

Священник, просвещенный и глубокий в своей вере человек, так в этот момент растерялся, что стал объяснять: Сахаров-де не еврей, только жена его еврейка...

В закостеневшем невежестве немало здешних русских до сих пор полагают, что Советским Союзом и сейчас правят «жидовские коммунисты». Другие антисемиты, более сведущие в положении вещей, направляют свои страсти-мордасти в адрес диссидентов, говоря, что «жиды опять задумали погубить Россию, едва оправившуюся от их революционных делишек, пусть хоть и советскую, но зато такую величественную, всему миру на заглядение!».

Невежество и ханжество тоже никуда не пропали. Нередко приходится с этим сталкиваться на литературных чтениях в эмигрантской аудитории. Новоприбывшие модернисты и авангардисты вызывают нахмуренное недоумение и подозрение.

Как-то раз я читал отрывки из нового романа в летней школе русского языка. После чтения ко мне подошла дама, внешним видом как бы олицетворявшая образ советской ханжи: высокая прическа из тех, что в Москве называют «блошиный домик», платье пошива ателье Министерства обороны, поджатые в априорной обиде губки.

— Нам сказали, что будет выступать звезда русской прозы, и вот такое разочарование, — сказала она.

Я знал, что у этой школы есть программа обмена учителями с СССР, и был полностью убежден, что разочарованная дама приехала оттуда. Ну и ну, подумал я, вот каких мамаш они теперь в США направляют.

— Чем же я вас так сильно разочаровал, сударыня?

Она брезгливо сморщилась:

— Какая-то у вас в этом романе неприятная дидактика.

Дидактика? Чего-чего, но уж обвинения в дидактике я не ожидал. В том куске, что я читал, излагались страдания стихийного анархиста Велосипедова, в частности его рефлекс по поводу предстоящего медосмотра в военкомате.

Родина, полагал Велосипедов, как и всякая блядь, любит молодых солдат без геморроя. Она заходит сзади и говорит: нагнись, разведи руками ягодицы, надуйся! Если из заднего прохода не выскакивает шишечка, гордись — ты годен в бронетанковые войска. Ну а что, если выскочит? Свободен! Свободен, как партизан, как кавказский абрек!

— Дидактика, вы сказали?

— Ну а что же еще? Ну зачем вы описываете эти противные шишечки? Неужто без этой отвратительной дидактики нельзя обойтись?

— Вы давно из Советского Союза? — спросил я.

Оказалось, что она там ни разу и не бывала. Настоящая русская американка из семьи послевоенных «перемещенных лиц».

Обобщать, впрочем, и здесь невозможно, потому что, кроме этих теток и дядек, русская община Америки познакомила нас с множеством интересных типов, интеллигентов, чудаков, идейных борцов против коммунизма и безыдейных кутил с гитарным репертуаром цыганских варьете Санкт-Петербурга или просто с людьми, которыми мы были интересны, которые в общении с нами пытались составить для себя образ живой современной России.

«...You new arrivals brought up here some fresh air, you gave us a new pace... Thanks to you we the American Russians have realized that «russianness» doesn't necessarily mean a musty backwardness*, елки-палки!»

Этот тост поднимает all American** Ted Stanitz, при рождении нареченный Федором Станицыным.

В отличие от своих родителей, которые, родившись здесь в русской семье, растеряли и язык, и интерес к исторической родине, Тед стремится теперь вернуться к «русскости».

* ...Вы, новоприбывшие, принесли с собой свежую струю воздуха, вы дали нам новый ритм... Спасибо вам! Мы, русские американцы, поняли, что «русскость» — это не значит «затхлость» и «отсталость».

** Типичный американец.

Нам, новичкам, очень трудно было понять феномен «русского американизма». Постоянная путаница со словами «наши» и «ваши». Вначале тех, советских, обидчиков и лжецов, мы все еще называли «наши», а этих, американских, давших нам приют в своей стране, называли «они», «их», «ваши» и т.д.

«...Наши в Афганистане творят черт-те что... Наши сбили пассажирский авиалайнер... Американцы заявили протест... Американцы обогнали наших в космосе...»

И вдруг, раз за разом, я стал ловить себя на том, что употребляю слово «наши» по отношению к Западу, к Америке.

— Видишь, — говорил я жене или приятелю о последних новостях, — в Германии произошел обмен шпионами. Обменено четверо ихних на двадцать наших.

— Это невыгодный обмен! — возмущается жена или приятель. — Когда они наконец научатся иметь дело с нашими?!

Полная путаница. Они в данной интерпретации американцы. Наши?.. Кто они? Вдруг жена или приятель спохватываются, что называют нашими совсем «не наших», а тогда, значит, обмен выгоден: двадцать душ наших за четырех ихних.

— Ты говоришь «наши» про «наших»? — спрашивает жена. — Про наших советских или про наших американских?

— Давай договоримся: их наши — это уже не наши, а наши наши — это наши, о'кей?

В таких языковых спотыканиях и проявляется процесс американизации, так мы начинаем понемногу понимать, что означает — быть не просто изгнанниками, но русскими членами западного блока.

Русская Пасха в Вашингтоне

Недавно православная Пасха совпала и с европейской, и с еврейской. В канун праздника повсеместно в городе слы-

шались приветствия: «Хэппи Истер!» — «Счастливой Пасхи!» Последним из сферы обслуживания, сказавшим мне эту фразу, оказался черный автомеханик на станции «Эксон», заменивший прокладку в трансмиссии моей машины. «Вам также», — ответил я. Приятно, когда у тебя общий праздник со всем городом.

Ближе к полуночи мы отправляемся в северную часть города, в наш скромный храм Святого Иоанна Предтечи. Скромность вообще отличает все, что связано с русской жизнью в Америке.

В Вашингтоне, например, функционирует отделение Русского Литературного фонда, этой уникальной организации, основанной в Петербурге сто пятьдесят лет назад для помощи «неимущим и пьющим литераторам». Советский вариант этого учреждения представляет собой многомиллионный государственный бизнес, здесь в Вашингтоне под руководством энергичной и элегантной председательницы, профессора Елены Якобсон, Литфонд проводит свои скромные вечера в скромном зале протестантской церкви.

Что ж, может быть, эта скромность является хоть маленьким, но все-таки противовесом гигантомании социалистической метрополии.

Итак, мы съезжаемся на заутреню. В городе два православных собора. В Свято-Николаевском соборе, где настоятель — профессор русской литературы Джорджтаунского университета отец Дмитрий Григорьев, служба идет почти полностью на английском языке. Мы, разумеется, выбрали храм, где молятся по-русски. Немаловажную роль в этом выборе, конечно, сыграла и личность настоятеля собора Иоанна Предтечи отца Виктора Потапова. Мы с ним и его семьей за нашу жизнь в Вашингтоне хорошо подружились. В жизни отец Виктор — это приятный русский молодой человек, ему немного за тридцать. Трудно поверить, что в юности он говорил по-русски с акцентом, настолько жива и современна его русская речь сейчас. Родившись в Америке, отец Виктор посвятил свою жизнь русской

церкви. Он прекрасно знает литературу, и не только зарубежную, но и за интересными именами в России следит, дружит с Ростроповичем и Солженицыным. Часто в доме Потаповых в вашингтонском пригороде Сильвер-Спринг, душой которого (не пригорода все-таки, но дома) является жена Виктора Маша (трудно назвать матушкой молодую хорошенькую парижанку из известной семьи Родзянко), собирается по праздникам многолюдная компания прихожан. Веселые шумные вечера. Однажды отец Виктор извещил о радостном событии: в Вашингтон прибывает чудотворная икона Курской Богоматери. Она известна на Руси еще со времен татарского нашествия и вывезена была за границу в составе Добровольческой армии.

Мне нравятся проповеди отца Виктора, как их манера, так и смысл. Однажды я слышал, как он рассказывал прихожанам об иконоборчестве и в связи с этим вспомнил историю царя Авгаря.

Прикованный к постели царь послал придворного живописца в Палестину, чтобы запечатлеть образ Спасителя. Из-за большого стечения народа, а может быть, и из-за других причин живописцу никак не удавалось это сделать. Вдруг Иисус подозвал его, потом попросил кусок холста, так называемый убрус, и приложил его к своему лицу. На холсте отпечатался Его портрет. Это был первый нерукотворный образ Спасителя. Живописец отвез святой убрус своему повелителю в город Едессу. Впоследствии на протяжении веков нерукотворный образ Христа прошел через множество испытаний, кочевал из страны в страну. Поразительно то, что он несколько раз давал с себя отпечатки.

Мне этот рассказ отца Виктора пришелся кстати. Я в то время писал роман о фотографах и думал о непостижимой космической сути фотопроцесса.

Вокруг храма, в прилегающих тихих улицах, под огромными деревьями паркуются машины прихожан. Кирпичной кладки церковь стоит на перекрестке и на холме, маковка и крест по праздникам подсвечены. Церковь не

вмещает всех прибывших, народ стоит на ступенях и вокруг на склонах холма. В руках у молящихся свечи, огоньки трепещут на ветру, пасхальные ночи почему-то всегда выдаются тут ветреными.

В полночь звучит колокольный звон и появляется крестный ход. Возглавляют шествие дети, среди них Сережа и Марк Потаповы и пятилетний Филипп, сын писателя Саши Суслова. Я слышу, как, проходя мимо нас, дети тихо разговаривают по-английски.

Что подделаешь, все они умеют, благодаря усилиям родителей, говорить и читать по-русски, но естественно для них говорить, конечно, по-английски. Передавать язык из поколения в поколение — трудная задача для русской общины в Америке. В газетах можно увидеть приглашения в летние скаутские лагеря — «принимаются дети, хотя бы немного говорящие по-русски».

Все выходят из храма, и на холме собирается основательная толпа, человек не менее четырехсот. Удивительно много литературно знакомых лиц — типы Толстого и Чехова. В этом же старом русском ключе звучат, как ни странно, и фигуры военнослужащих, особенно фигуры русских парней в парадной форме американской морской пехоты, эти выглядят просто как прежние кадеты или нынешние суворовцы.

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...» — поет хор. «Христос воскрес!» — слышится возглас священника. «Воистину воскрес!» — отвечает народ. Невольно думаешь: Господи, сколько вокруг русских и полное отсутствие марксизма-ленинизма! Начинаются троекратные целования.

Американское телевидение теперь каждый год показывает сцены пасхальных служб и крестных ходов в Москве. На экранах все выглядит весьма пристойно, несмотря на присутствие огромного числа милиции и дружины или благодаря ему. Пасха, кажется, становится в России все более нормальным, радостным и значительным праздником, все меньше наблюдается истерического ажиота-

жа, когда огромные толпы ничего не понимающей полуньяной молодежи крушили решетки церковных оград.

Слово «радость», однако, по отношению к религиозному празднику у советских людей (и у бывших советских тоже) вызывает внутреннее неудобство. Безбожная власть семь десятилетий внедряет отношение к религии как к делу темному и затхлому, уделу немощи и уныния. Прimitивный позитивизм советского общества, это наследие унылых революционных демократов XIX века (как ни странно, он до сих пор еще в ходу в американских академических кругах), религиозное, мистическое чувство считает недостатком образованности, а праздник Воскресения Христова относит к суевериям. Возврат русских к поискам смысла Пасхи — протест против марксистского примитива и, может быть, шаг вперед, перешагивание негативного опыта.

Новые русские племена

В последние годы в этнической пестроте мира произошли не особенно значительные по масштабам, но довольно примечательные изменения. Появились новые русские племена. К курянам, смолянам, вятичам, новгородцам, москвичам, рязанцам и прочим, обитающим на исконной территории, присоединились (парадокс заключается в том, что присоединились, отъединившись) бруклинцы, чикагцы, калифорнийцы, не говоря уже о новом русском племени, расселившемся на библейских холмах.

Речь идет о новой еврейской эмиграции из Советского Союза. Всю жизнь находясь в положении подозрительных чужаков на коренной территории, страдая от всех этих омерзительных пятых пунктов, эти люди вдруг оказались русскими, покинув свою родину. В Израиле и в Америке нас назовут русским, даже если ваше имя Давид Пейсахович Ципперсон. Никого не смутит в этом случае ни курчавость ваших волос, ни форма носа, ни картавость.

Не думаю, что это такое уж замечательное приобретение или предмет гордости — замечательным приобретени-

ем для этих людей является как раз возможность больше не смущаться своего еврейского происхождения, а, напротив, гордиться принадлежностью к своей великой нации — это всего лишь данность; они не могли стать русскими среди русских, и они стали русскими среди нерусских.

Парадоксально в этой истории, однако, то, что, покинув современную Россию, эти люди оказались русскими не только номинально. Отряхнув с подошв пыль земли-обидчицы, они вдруг почувствовали, что убавили в своей «еврейскости» и прибавили в своей «русскости».

Корни этого парадокса чаще всего уходят в советский опыт новых эмигрантов. В старой России еврейство стояло прежде всего на иудейской религии, в синагогах возникал дух национальной общности и приобщенности к древней культуре. Советские евреи на протяжении долгих послереволюционных десятилетий были фактически оторваны от иудаизма, их религия представлялась им как нечто дряхлое, мрачное и отжившее. Биологическое, генетическое для них неизмеримо важнее, чем духовное.

Религиозные организации американских евреев, очень много сделавшие для вызволения своих предполагавшихся единоверцев из русского (читай советского) плена и для приема прибывших, были разочарованы весьма слабым энтузиазмом этой публики в отношении синагог. В свою очередь, новые эмигранты удивлялись — чего это их в какие-то там синагоги тянут. Один инженер из Свердловска рассказывал нам о беседе, которая была у него по приезде с координатором еврейского центра в Чикаго.

«Поздравляю, — говорит мне этот «товарищ» (словечко это, между прочим, и по сей день еще в ходу среди советских беженцев), — теперь вы свободный человек и сможете ходить в синагогу, сколько вам заблагорассудится». Вот чудак человек, да на кой она мне, его синагога...

Подобного рода бездуховность поражала американских евреев, но еще больше их сбивали с толку те интеллигенты, что были в какой-то степени приобщены к так называемому «религиозному возрождению» в Советском

Союзе. Почему-то к иудаизму неохиты в своих духовных поисках обращаются далеко не в первую очередь. Гораздо чаще встретишь среди них буддистов, кришнаитов, эзотеристов всевозможных окрасок, толкователей Блаватской и Гурджиева. Не говоря уже о христианстве. Если уж тянет современного русско-еврейского интеллигента в храм, то это скорее православная церковь, чем синагога.

Широкие массы новых эмигрантов, хоть их вообще трудно еще пока назвать верующими, тоже тяготеют к исполнению православных обрядов. Обитатели «Малой Одессы» на Брайтон-бич перед Пасхой отправляются в русские церкви освящать куличи. В России это можно было бы объяснить мимикрией, а чем объяснишь здесь?

Чем объяснишь совершенно поразительную советскую культурную ностальгию, на которой предприимчивые антрепренеры делают здесь неплохие деньги? Когда-то в Союзе за американскими фильмами гонялись — здесь гоняются за советскими. В телевизионном репортаже о жизни эмигрантов однажды показали компанию пожилых евреев, просматривающую на домашней видеомашине старый фильм военной поры и вытирающую глаза при звуках песенки «На позицию девушка провожала бойца».

В Москве это явление, очевидно, подвергается изучению и из него делаются соответствующие выводы. Иначе как объяснишь то, что в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго, Филадельфии то и дело через эмигрантские развлекательные агентства устраивают просмотры самых новых фильмов, на которых выступают подчас даже и участники, «звезды Восточного блока». Похоже на то, что прокат новых фильмов в американской эмигрантской аудитории стал предшествовать московским премьерам.

Года два назад в эмигрантской печати поднялась было кампания против концерта советской эстрады. На мачту был поднят могучий лозунг: «Не будем голосовать нашими долларами за советский коммунизм!» Группы активистов пикетировали концертные залы, обижали публику, идущую на концерт. Публика между тем жаждала увидеть

своих прежних кумиров, даже и пошлейшего «патриотического» певца Кобзона. К коммунизму, очевидно, это не имело никакого отношения.

Сейчас уже никому и в голову не приходит бойкотировать советских эстрадников. Сладкоголосый певец с внешностью типичного охотнорядца вызывает массовые всхлипывания бывших одесситов, киевлян и минчан песенкой о влюбленных лебедях. Евтушенко с присущей ему дерзновенностью читает в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе свои дерзновенности двадцатидвухлетней давности, показывает трехчасовой фильм о своем потревоженном детстве, и наши новые племена принимают его с восторгом и даже в ответ на критические отзывы в газете раздражаются письмами — не замай! Однако даже евтушенковские сантименты вряд ли имеют отношение к коммунизму.

Наиболее красноречивый показатель «русского патриотизма» этих новых — это, конечно, гастрономия. Например, тоска о твороге. Долгое время в эмиграции стоял сущий стон — где достать наш, настоящий русский творог, такой, как с Центрального рынка? Десятки всевозможных сортов американского творога в переполненных продуктах супермаркетах не удовлетворяли патриотов. Какая-то хозяйка натолкнулась на решение. Стали покупать некоторый вид йогурта, ставить его на малый огонь, и получался настоящий творог. Спустя некоторое время эмигрантские торговцы наладили массовое производство «настоящего творога».

А уж что говорить о колбасах, как мягких — ну прямо как настоящая «докторская» в лучшие годы! — так и среднего, и твердого копчений. Все эти «качества и количества», подвергшиеся столь сильной коррозии в пору «зрелого социализма», расцвели новым цветом в многочисленных русских лавках по всей Америке. В поисках настоящих, то есть русских, грибков торговцы бороздят пространства Нового Света, вступая в коллаборацию и с канадцами, и с поляками. Решена проблема и «вишни в шоколаде», и «зефира», не говоря уже о рыбных копчено-

стях. Из страны победившего социализма вождеденно заводится все, что там еще осталось вкусенького, — консервы осетра и судака, балтийские кильки...

Говорят, что гастрономическая ностальгия связана с самой сутью этого явления, с неуловимыми изменениями биохимического состава, вызванными переменой среды обитания. Так или иначе, но похоже на то, что многим новым американцам — или, если угодно, новым русским — возможность удовлетворять эту ностальгию благодаря безудержности капиталистического рынка кажется событием более важным, чем возможность отправлять иудаистские ритуалы.

Дело, конечно, не только в биохимии, ибо эстетические порывы к игре молекул все-таки не отнесешь. Посмотрите на названия всех этих новых ресторанов, открытых прибывшими в Америку русскими евреями. Никаких там «Эльдорадо» или «Лоунли стар», одни только свои, родные — «Садко», «Метрополь», «Националь», «Руслан», «Калинка»... А оркестры там играют, а девицы там поют — ну просто сочинский Госконцерт! А уж дерутся там к утру по-настоящему, по-русски — с размахом, с хрустом, «раззудись, плечо, размахнись, рука»!

Как известно, можно и клопа двумя пальцами растереть с блаженным вздохом — коньячком потягивает! Русский патриотизм еврейских эмигрантов из Советского Союза можно подвести под двоякое, троякое, многоякое толкование. С одной стороны, можно выразить вполне понятную печаль по поводу ассимиляции евреев, по поводу утраты связей с древней культурой и религией, однако, с другой стороны, нельзя не увидеть в этом свидетельства того, как удивительно могут сблизиться народы, несмотря на предрассудки и провокации. Русские и евреи прошли вместе и ГУЛАГ, и великую войну, вместе они построили свой тошнотворный социализм и вместе содрогнулись от содеянного.

Открыв газету «Новое русское слово», можно увидеть бок о бок последние приветы такого рода.

«Союз старшин Кубанского казачьего войска и чины бронепоезда «Георгий Победоносец» с глубоким прискорбием извещают о том, что... числа Волею Божьей скончался на 95 году жизни хорунжий Егоров...»

«... числа ушла от нас после продолжительной болезни Цилечка Нипдельштром. Она была человеком большой души. Родственники в Чикаго, Хайфе и Одессе...»

Можно, конечно, ухмыльнуться и сказать — вот, мол, ирония судьбы, гримасы истории, а можно и просто помолиться за две отлетевшие души.

Сталкиваясь с явлением этого на первый взгляд странного патриотизма, можно сказать, что евреи все-таки бежали не от русских, а от коммунизма. Не было бы коммунизма в России, сейчас, в отличие от времен погромов, не было бы и бегства; были бы просто переезды.

Русское лето в Новой Англии

В разгар лета в Вашингтоне температура стабильно подкатывает под сотню, то есть около сорока по Цельсию.

Столичный люд ныряет из кондиционированных автомобилей в кондиционированные офисы и обратно. У университетских людей, к каковым и я отношусь, все-таки есть преимущество — неоспоримые летние каникулы. Семинар мой закончился в середине июля, и мы стали быстро готовиться к бегству. Куда же? Возникла идея — в Вермонт!

Почему же именно в Вермонт? Разве нет других прохладных штатов? Тот же Мэн, например, с его бухтами, островками и знаменитыми омарами? Та же Аляска, от которой и до родного Магадана рукой подать? Идея Вермонта, однако, преобладала и в наших собственных размышлениях, и в разговорах с русскими знакомыми. Выяснились любопытные совпадения. Не только нас потянуло в Вермонт, многие и другие братья писатели туда отправились. Саша Соколов вообще уже два года живет в этом штате, Солженицын с семейством еще дольше. Вот и Ва-

лерий Челидзе, по слухам, купил там где-то землицы, ферму зачинает человек, и Нина Берберова уж которое лето проводит в Вермонте, и Леонид Ржевский, и вот еще такие имена все время всплывали в вермонтских разговорах — Юз Алешковский, Анатолий Вишневский, Михайло Михайлов, Иван Елагин, Игорь Чинов, Ефим Эткинд, Симон Карпинский, Виктор Некрасов, Наум Коржавин, Анатолий Антохин, Виктор Соколов (не путать с однофамильцем, вышеупомянутым Сашей), совсем уж неожиданный молодой московский поэт Бахыт Кенжеев (а я не знал, что он уже год как на Западе), Михаил Моргулис, Лев Люсев, Игорь Ефимов... Эге, да это уже получается что-то вроде подмосковного писательского кибуца Переделкино, хотя, конечно, без литфондовской столовой и без циркулирующих по аллеям классиков соцреализма Феликса Кузнецова, Николая Грибачева, Сергея Залыгина.

Вермонт, эта «добрая старая Англия» с ее крошечными белыми дощатыми городками, лежащими в долинах меж не очень высоких и мягких зеленых гор... Многие здесь сходятся на том, что природа и ландшафт Вермонта напоминают Карпаты и предгорья Польских Татр. Нигде, пожалуй, за пределами России не найдешь такого количества белоствольных берез. Куда ни бросишь взгляд, на любом склоне наши «скромные красавицы», в горном воздухе четко рисуются ветви и ствол, как будто бронхи, дающие воздух этим зеленым массивам. Сколько помнится, дома душа сопротивлялась всем этим березовым тучам пошлости, включая танцевальный ансамбль и валютный магазин «Березка» (не назвали же его березой или попросту липой, а вот уменьшительной красотостью наградили), а вот сейчас смотреть на эти деревья приятно, ну и немного грустно, конечно.

Не исключено, что именно березы привлекли в Вермонт создателей двух старейших в Америке летних школ русского языка. Иначе с какой стати именно здесь? Так или иначе, уже много лет в двух вермонтских городках — Мидлбери и Норсфилд, разделенных семидесятью миля-

ми гордых дорог, в июле и августе собираются несколько сот американских студентов, одержимых идеей овладеть «великим-могучим-правдивым-свободным», то есть ВМПСом имени Тургенева.

В старом колледже Мидлбери, кроме основной русской группы, есть еще группы французского, испанского, арабского, китайского и еще каких-то языков. В кафе и рестораниках здесь привыкли к группам молодежи, разговаривающим всяк на своей тарабарщине. Провинциальный городишко превращается в подобие Олимпийской деревни.

Студенты другой школы размещаются на пустующем летнем кампусе военного университета Норвич, впрочем, о близости вооруженных сил говорит только маленький пузатый танк возле футбольного поля. Кажется, он участвовал в высадке в Нормандии или на Филиппинах. Существует, правда, одно строгое, почти военное, правило — в течение семи недель запрещается говорить по-английски. Этот метод в Союзе, кажется, назывался «погружением», а студенты — «погружантами».

Мы поселились между двумя этими школами, в Шугар-Буш-велли, то есть в долине Сахарного кустарника. Сорок минут езды до Норвича через один перевал, час езды до Мидлбери — через другой.

Мы и не представляли, что «русская жизнь» в горах будет проходить с такой интенсивностью, что возникает даже какое-то странное неэмигрантское ощущение. Поневолле вспомнилась идея малой России, которая время от времени и не очень интенсивно, но все же дебатировалась на страницах американской русской печати.

Идея, как говорят старые эмигранты, не новая, существовала с самого начала русского рассеяния, были даже какие-то эксперименты по созданию русских анклавов в Парагвае, в Югославии...

«Третья волна» все прежние русские идеи основательно взбодрила. Есть люди, которые говорят: нас в Америке очень много, несколько сот тысяч, но все разбросаны на огромных пространствах этой страны. Неумолимо идет

процесс ассимиляции, подрастающее поколение теряет язык и т.д. Нужно попросить правительство выделить кусок земли для создания русского этнического округа. Поднимем там рядом с американским трехцветный русский флаг, выберем учредительное собрание, разрешим существование всех политических партий, кроме большевистской, ибо она, как известно, не разрешает существования никаких других политических партий.

Помилуйте, господа, улыбаются скептики, а что, если жители вашей мини-России, подобно гражданам Острова Крыма из одноименного романа, потребуют слияния с Великим Советским Союзом?

Серьезные люди говорят: искусственное создание подобных стран всегда кончается вздором, как, например, это случилось со сталинской Еврейской республикой в Биробиджане. Необходима экономическая или культурная почва, а лучше все это, вместе взятое. Вот если бы правительство помогло основать Русский университет, тогда вокруг него постепенно мог бы возникнуть русский город. Что ж, если этой идее когда-нибудь суждено сбыться, штат Вермонт для нее вполне подходящее место. Здесь даже есть городок под названием Москоу.

Саша Соколов и его жена Карен сняли нам студию в одном из современных поселений в долине Шугар-Буш на высоте примерно тысяча метров над уровнем моря. Едва мы вошли и включили радио, как густой баритон из Монреала запел: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты...» — как бы давая соответствующий настрой вперед.

Берут с нас здесь не дорого, всего лишь 400 долларов в месяц при всех удобствах, включая плавательный бассейн и сауну. В зимнее время, впрочем, эта цена поднимается втрое, а то и вчетверо, ибо этот «Сахарный кустарник» как раз и является зимним горнолыжным курортом.

Вокруг на дивных склонах тянутся парнокресельные подъемники. В лесах проложены трассы и для равнинных

лыж. В последние годы курорт, как, впрочем, кажется, и все курорты на земле, бурно развивается. Там и сям на зеленых склонах видны живописные ультрасовременные деревушки пресловутых кондоминиумов. Рядом с кондоминиумами располагаются спортивные комплексы с бассейнами, огромным количеством теннисных кортов и поля для гольфа.

Я все еще сопротивляюсь гольфу, хотя в моем нынешнем возрасте лучшего спорта ей-ей не найдешь. Идешь себе по чудному зеленому рельефу, махнешь палочкой, мячик катится в ямку, такое отсутствие социалистического реализма. И все-таки поеживаешься: это как-то все-таки слишком — гольф; это как-то уж чересчур для бывшего советского человека.

Любопытные все-таки на нас всех лежат печати и стереотипы «передового общества». Вот, например, сборы в дорогу. Три года мы уже живем на Западе, однако всякий раз, собираясь куда-нибудь на каникулы, невольно думаем, чем же нам надо на этот раз запастись, как, бывало, запасались растворимым кофе и мясными консервами перед отъездом в Коктебель. Жена недавно призналась, что у нее до сих пор все-таки слегка, как дома говорят, «не укладывается в голове», что в далеком Вермонте есть абсолютно все, что есть в столичных вашингтонских магазинах, в Калифорнии, в Чикаго, на Аляске, в горах и пустынях. Приезжаешь в торговый центр деревушки Вэйтсфильд в долине Мид-ривер, видишь там даже разные стильные магазинчики и «Дары моря» со свежими устрицами, креветками и омарами и понимаешь, что мы, дети сталинской карточной системы и брежневского коррумпированного худосочия, никогда к этому не привыкнем.

Многие ресторанчики и магазинчики летом закрыты. Зимой, рассказывает Саша Соколов, долина преобразается, как будто вливается новая кровь, масса лыжников и гуляк толпятся в барах, двери все время открываются, в клубах пара входят все новые гости, среди них много европейских профи.

Саша и Карен окопались здесь два года назад с целью написания романа вдали от «тревоги мирской суеты». Карен работает во французском ресторанчике. Саша в основном пишет, иной раз колет дрова, прокладывает лыжню, словом, почти как граф Толстой. За сушии пустяки они снимают две комнаты в мансарде дома, стоящего на отшибе в густом сосновом лесу. Хозяева дома представляют собой что-то вроде коммуны стареющих американских хиппи шестидесятых годов. Для этой славной публики характерны доброжелательность и расслабленность. С мирными песнями они выращивают кое-какие растения и овощи, по вечерам балдеют в сопровождении музыки рэгги, весьма напоминающей колотун сибирских шаманов. Один из них, по имени Скип, еще и скульптор, производящий небольшие белые формы, которые вдруг видишь в саду и думаешь — а это что за зверь?

Саше Соколову сейчас сорок. Четыре первых года этого срока он провел в Канаде, родившись в семье советского разведывательного офицера. Восемь лет назад он покинул необъятные просторы своей советской не-родины, получил канадский паспорт и теперь представляет собой характерную фигуру русского писателя-изгнанника. В этом месте можно поставить риторический вопрос — хватит ли двадцати семи лет русской жизни для дальнейшего существования русского писателя, которого сейчас считают одним из самых многообещающих прозаиков нового поколения?

Помнится, еще при нас в Москве интеллигенция носилась с первым романом Саши «Школа для дураков». Он написал его в Союзе, а издал в Штатах. «Новый автор, новая проза», — так говорили о нем. Владимир Набоков дал высокую оценку. Саша работает медленно, и второй роман «Между собакой и волком» появился едва ли не через пять лет после первого. Говорят, что и эта книга в Москве была принята «на ура». В эмиграции читатель пресыщенный, к тому же немало здесь и того, что в Союзе называется социалистическим реализмом, а здесь имену-

ется ханжеством, но тем не менее и здесь репутация «второго вермонтского отшельника» (первый, конечно, Солженицын) все более укрепляется.

Однажды вечером мы отправились через перевал Роксбери-Гэп в гости к профессорам Володе и Лиде Фрумкиным. Там собралась интеллигенция на литературные чтения. В программе вечера Саша Соколов с отрывками из нового романа «Палисандрия». Автор основательно волновался: кажется, первое чтение на публике, представление пятисотстраничного романа, которому и отданы были вермонтские годы.

Герой романа Палисандр Александрович Дальберг, незаконный племянник, а может быть, и сын маршала Берии, «кремлевский сирота», как определил его автор, что-то вроде «сына полка» в крепости Кремль. Это как бы вневременной, но внутриисторический дух, кочующий в особом рода литературе. Отрывок представлял собой кусок метафорической прозы, полной языковой игры. Поразило многих, насколько глубоко внутри русской культуры и языка находится этот человек, который иной раз месяцами не видит ни одного русского, у которого и жена американка, который и сам уже больше говорит по-английски. «Я совершенно не боюсь отрыва от языковой стихии, — говорит Саша Соколов, — мой русский никогда от меня не уйдет». Из этого следует, что молчит он по-русски.

Через неделю после приезда мы получили приглашение на фестиваль русского искусства в Норвич. Почетный директор русской школы в Норвиче — один из ее основателей, профессор Монреальского университета Николай Всеволодович Первушин. Ему восемьдесят четыре года, он бодр, доброжелателен и любознателен. Если бы мне предложили угадать происхождение этого человека по его внешности, я, наверное, не долго бы думал, прежде чем сказать: Казанский университет. Гадать не приходится, он оттуда и происходит, то есть мы с ним оказались двойными, если не тройными земляками. Самое замечательное, однако, заключалось в том, что Николай Всеволодович был

преподавателем моей покойной матери в Казанском университете, он и называет ее до сих пор Женей Гинзбург.

Когда знакомишься с преподавателями норвичской школы, частенько слышишь благозвучные или, так сказать, основные русские фамилии: Осоргины, Родзянки, Волконские и даже Нарышкины. Ничуть не хуже рядом с ними, во всяком случае для любителей литературы, звучит фамилия Некрасов.

Виктор Платонович Некрасов тем летом прибыл из-за океана, чтобы сеять «разумное-доброе-вечное» среди американских студентов. В последние годы я привык его видеть за столиком парижского кафе в дыму сигарет «Голуаз», поэтому весьма странно было найти его на фоне буколического пейзажа, в шезлонге под чем-то развесистым. «Наверное, от скукиходишь, Вика?» — спросил я. «Напротив, — ответил он, — блаженствую. Вив ля Вермонт!»

Некрасов принимал гостей, и среди них Светлану Гельман, которая когда-то, в бытность редактором на киностудии «Ленфильм», работала вместе с ним над фильмом «Солдаты».

Вместе мы отправились в местный театр. Фестиваль уже начался. Хор американских студентов исполнял русские религиозные песнопения.

Танцам в фестивальной программе была отведена львиная доля. Их поставила бывшая солистка Мариинского театра Калерия Федичева. Любопытно было наблюдать, как эта «суперстар», выступавшая на лучших сценах мира, волнуется за своих, прямо скажем, не очень-то профессиональных и иногда просто неуклюжих учеников. Мальчики и девочки, впрочем, компенсировали все свои недостатки избытком энтузиазма, ну а федичевская хореография была хороша.

Зрительный зал и сцена в этом театре очень были похожи на какой-нибудь клуб или Дом культуры в СССР, и иногда под звуки гопака или молдовеняски взгляд невольно начинал искать лозунг «Решения пятидесятого съезда партии выполним!». К счастью, взгляд этого не находил.

Звучали скрипки (Венявский) и рояли («Картинки с выставки»), забавный долговязый Нэтан изображал русского профессора, девушка из довольно известного семейства Дюпон, работая под простужку, вела конференс. С успехом были исполнены песенки Новеллы Матвеевой тремя студентками из колледжа Оберлин, где профессор Владимир Фрумкин активно знакомит студентов (в том числе и при помощи собственного исполнения) с творчеством современных советских бардов Окуджавы, Высоцкого, Галича и других. Особым успехом пользовалась песенка Новеллы Матвеевой «Миссури», воспевающая этот, между нами говоря, вполне бытовой штат. В России, да и вообще в Европе, все эти американские названия, все эти Оклахомы и Миннесоты звучат как синонимы приключения, увы, многие из них не более романтичны, чем Тульская губерния.

В программе фестиваля были театральные представления Русского домашнего театра. Сначала был показан водевиль В. А. Соллогуба «Беда от нежного сердца». Кари Эйнхаус, Лиз Херд, Пол Нильсен, Кэти Суза и Джим Шинник с товарищами разыграли немыслимой трогательности историю сироты Настасьи Павловны, отца и сына Золотниковых, Марьи Петровны Бояркиной и Катерины Петровны Кубыркиной. Акцент исполнителей в данном случае играл благую роль, придавая тексту нечто многозначительное.

Гвоздем сезона оказалась гоголевская «Женитьба» в постановке молодого драматурга Анатолия Антохина. Я не очень хорошо знаю его историю, но приблизительно она выглядит так. Лет пять назад за выдающиеся успехи в области советской драматургии Антохина приняли сразу в две отличные организации — КПСС и Союз писателей, а также наградили туристической визой в Италию. Последнее, так сказать, дополнительное, отличие оказалось основным: из Италии Анатолий домой не вернулся. История не столь уж нетипичная. Я знаю одного человека, который в течение нескольких лет делал комсомольско-партийную карьеру с одной лишь целью — получить визу

на Запад... и проследовать вслед за многозначительным многоточием. Чего-чего, а историй вокруг хватает. Чуть ли не все наши знакомые русские — это ходячие сюжеты для небольших или больших приключенческих романов. Драматург Антохин, например, недавно женился на принцессе из дома императора Хайле Селассие, и вместе они дали жизнь еще одной эфиопской княжне.

В Норвиче Антохин умудрился с непрофессиональными актерами и — скажем мягко — с весьма ограниченными средствами сделать забавный спектакль. Начинается он прологом в стиле Театра на Таганке. На сцене восемь осуждающих господ в черных сюртуках и котелках и два Гоголя в простых рубашках — один оправдывается, другой молится. Трюк состоит в том, что пролог идет на великолепном английском языке, а затем начинается основное действие на косноязычном русском.

Режиссер ловко приспособился к обстоятельствам. Если в примитивке Соллогуба английский акцент актеров как бы выручает текст, то в замечательной комедии Гоголя акцент как бы еще прибавляет сюрреалистичности. Решая все это дело в буффонадном ключе, Антохин точно разработал движения актеров и даже в костюмах добился выразительности. Удачей спектакля был живой оркестрик с большой трубой, благодаря которому гоголевские герои очень естественно то прохаживались в танго «Кампарсита», то подпрыгивались в ритме буги-вуги. Следует сказать, что в ту же ночь за двумя перевалами гор, у соперников в колледже Мидлбери, другой режиссер Слава Ястремский показывал спектакль по пьесе Евгения Шварца «Тень».

Кончилась программа фестиваля, и послышались призывы: «Господа, теперь к Пападжану!» Имелось в виду какое-то кафе. Откуда, думаю, армянское кафе появилось в центре Вермонта? Оказалось, что так называют здесь бар «Папа Джо». Все, кто пришел, уселись за длинными деревянными столами под луной и, вняв тосту Некрасова, выпили за три волны эмиграции; пусть они плещутся вместе.

Однажды вечером в программе местных новостей, передающихся из самого большого (и все-таки не очень большого) города штата Вермонт Берлингтона, мы увидели репетицию компании скрипачей и виолончелистов. Это был довольно уже известный в Америке Камерный оркестр советских эмигрантов под управлением Лазаря Гозмана. Сам руководитель выступил и сказал, как им приятно репетировать на берегах чудесного озера Шамплейн, а также пригласил на концерт в собор Святого Павла и добавил: в качестве солиста выступит пианист Дмитрий Шостакович, внук великого русского композитора. Митя! — воскликнули мы и сразу решили поехать в Берлингтон, благо что не так далеко, не более восьмидесяти миль по хайвею 89.

Несколько лет назад мы встретили Митю и его отца, знаменитого дирижера Максима Шостаковича, в Нью-Йорке. Это был, кажется, один из первых вечеров в Большом Яблоке, вскоре после решения не возвращаться более в страну, где до сих пор еще официально не отменено сталинское постановление «Сумбур вместо музыки». Компанией бывших москвичей мы сидели в открытом кафе, в том квартале Манхэттана, что называется «Маленькой Италией». Там, между прочим, на наших глазах, будто по заказу для новоприбывших, произошло довольно страшное столкновение двух враждующих кланов итальянской мафии.

Митя, тогда девятнадцатилетний мальчик, поразительно похожий на деда, смотрел, широко раскрыв глаза: вот это да, вот это Америка, вот это кино! В самом деле, все выглядело похоже на фильм Копполы «Крестный отец», только без выстрелов: работали ножами.

Спустя несколько недель после этого эпизода мы видели Митю и Максима в белых фраках в вашингтонском Центре Кеннеди. Они исполняли Первый концерт для фортепиано с оркестром деда и отца. Вот был триумф — дай Боже, не упомяну второго такого в концертных залах.

В берлингтонском соборе Святого Павла любителей музыки собралось не менее тысячи. Публика на таких кон-

цртах, видимо, везде примерно одна, что в Ленинграде, что в Вермонте, такие специфические лица, явно не худшая часть человеческой расы.

В программе вечера, как объявил Лазарь Гозман, было четыре гения, два английских — Перселл и Бриттен, и два русских — Шостакович и Прокофьев. По поводу последнего Гозман рассказал своей аудитории поучительную притчу.

Сергей Прокофьев и Иосиф Сталин умерли в один день. Газеты в тот день были заполнены всепародной скорбью по поводу отхода великого отца народов и вождя прогрессивного человечества. В них не нашлось места даже для сообщения о смерти музыканта. В марте этого года весь мир, включая и Советский Союз, отметил тридцатилетие со дня смерти великого Прокофьева. В газетах всего мира появилось множество статей о его творчестве. О смерти тирана не вспомнил почти никто.

История красивая, но не совсем точная. Многие газеты мира напечатали статьи к тридцатилетию смерти Сталина, рассуждая на тему, как еще силен сталинизм в Советском Союзе, делая разные выкладки политического характера и т.д. Другое дело, что никто не вспомнил чудовище добрым словом; это верно.

Оркестр советских эмигрантов (лучшего названия ребята не удосужились найти) составлен по принципу знаменитого баршаевского ансамбля. Сам Баршай тоже эмигрировал, но после эмиграции осел в Европе. Гозман и его друзья, однако, активно пользуются его оркестровками.

Митя Шостакович играл дедовский Первый концерт для фортепиано, ему сопутствовала на трубе приглашенная для этой цели Лорэйн Козл. Концерт этот написан был дедушкой Мити, кажется, в середине тридцатых годов, когда он был близок к возрасту нынешнего исполнителя. Полное фантазии сочинение с вплетающимися джазовыми ритмами и какими-то урбанистическими конструкциями.

Когда концерт закончился, мы пошли в комнату музыкантов. Приятно было услышать знакомый жаргон —

«чувак, чувак, эй, чувак». Музыканты эти, Саша Мишнаевский, Дмитрий Левин, Леонид Кейлин и другие, уже лет по восемь-девять живут на Западе, а вот все еще говорят в своем кругу на советском «лабухском» жаргоне. С одним из них мы слегка повспоминали сезон 1967 года в Коктебеле.

Мы пригласили Митю погостить в горах, он сразу же согласился, и мы поехали. По дороге нас догнала гроза. Молнии освещали белые домики и островерхие церкви. Митя рассказывал о своей жизни. За эти годы он окончил Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке и с отцом объездил уже полмира — Гонконг, Сеул, Мельбурн, Токио...

Сейчас собирается на гастроли в Австрию и Швейцарию. «Эх, Гонконг, — говорит он с чудеснейшим мальчишеским восторгом, — вот это город, такая там идет ту-совка...» Снова выплывает московский жаргончик. «Ну а как, Москву вспоминаешь?» — «Да, вижу иной раз, когда играю кое-что, как идет поземочка по Манежной...»

На следующий день в горах сияло солнце, и при виде ясных небес вспомнили популярное среди русской художественной интеллигенции слово «шашлык». Собралась большущая компания на пикник к Ирландскому озеру. Мы еще не знали некоторой специфики этого маленького круглого водоема, окруженного густым кустарником.

Верховодил шашлыком, разумеется, Юз Алешковский, известный своими кулинарными способностями не менее, чем своей густо наперченной прозой. Нагруженная припасами, наша многочисленная экспедиция с женщинами, детьми и собаками медленно продвигалась вверх по горной дороге к озеру Айриш-Понд. Медлительность ее движения была обусловлена бесконечными и довольно увлекательными спорами о... — как когда-то писал поэт Евтушенко — «о путях России прежней и о сегодняшней, о ней». Наконец мы приблизились к озеру, и тут вдруг обнаружилась особенность этого места. Из кустов на шум наших голосов вышли голые люди: здесь, оказывается, располагался лагерь nudистов. Один из них спросил:

— На каком это языке вы разговариваете, народы?

Прошу прощения за повторение своей собственной шутки, но я ответил:

— Пушкин.

— Бушкин? — удивился голый гигант. — Это где?

— Между Китаем и Германией, и далее — повсеместно.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1980

Боевой революционер Владимир Ленин Фиделькастро Карл Энгельс в майке Казанского университета по ночам гонял свой голубой «Порше» в богатых кварталах. Даже вот и так, даже вот и просто нарушая сон буржуазии, ты приближаешь мировую революцию.

1983

В жизни ГМР произошел странный эпизод. В компании TWA он стоял за тремя японками.

— Пожалуйста, наши транзитные билеты, — сказали японки на понятном английском кассирше.

Та любезно улыбнулась и предложила японкам доплатить по пятнадцать долларов. Те ни слова не поняли и забормотали что-то между собой, едва ли не в панике.

— Она говорит, что вам нужно доплатить по пятнадцать долларов, — любезно подсказал ГМР.

Японки просияли — дошло! Кассирша поблагодарила любезного господина за помощь. Последний остался в полном недоумении — на каком языке говорил с японками? Кажется, все-таки по-русски.

Пища для обобщений.

Радио в машине: «...Весь наш приход молится за то, чтобы семья Вильсонов поскорее преодолела трудности с водоснабжением... сгущение транспорта, начиная от выхода № 27 на протяжении пяти миль... молимся за то, чтобы Дэвисы выжили после бракоразводного процесса...

Мич Снайдер закончил пятидесятиоднодневную забастовку, которую он предпринял с целью убедить правительство открыть в дистрикте еще один приют для бездомных... Меня интересует, Тэд, какая сейчас погода в Бейруте? Такая же, как у нас, или еще хуже?.. Столкновение трейлера и грузовика. По поверхности разбросаны канистры с токсическим материалом. Обсуждается вопрос об эвакуации населения... Сад чудес приглашает на бесплатную пищу... новая гипотеза связывает происхождение торнадо с правосторонним движением... молимся за Линдона Хукса, начавшего ремонт своей фермы...»

1983

Когда бежишь, тебя никто не тронет. Кому ты нужен в беговом состоянии? Даже самому тупому ясно, что с тебя нечего взять, кроме пригоршни пота. Надо всегда бежать. Если бы я всегда бежал, я бы не попал сейчас в такое дурацкое положение.

Так рассуждал русский бегун Лев Грошкин, стоя под мушкой пистолета на темной улице Санта-Мелинды, возле дома вдовы профессора Девоншира, в котором он снимал за символическую плату альков, гардероб и душ. В гардеробе, между прочим, висели неплохие вещи покойного профессора, и вдова, которая души не чаяла в своем жилье, молчаливом улыбающемся русском, не возражала против их использования.

Может быть, как раз из-за твидового пиджака Лева и был остановлен в тот вечер тремя практическими революционерами, направившими на него свой большой пистолет.

— Give me your wallet, man! — сказал старшой. — Or I'll make your jar fixed for good!*

— Простите, ребята, я не понимаю по-английски, — улыбнулся Лева революционерам в стиле международной молодежи.

* Гони кошелек... или я начиню тебе физиономию будь здоров!

Ствол пистолета красноречиво пошевеливался, модуляции голоса были вполне убедительными, однако Лева и этого не понимал, потому что не понимал по-английски.

— You mother fucker, give me your money, your watch, your jewelery, give all you possess, or I'll squash you on spot!*

— Неужели непонятно, что мне ничего непонятно? — пожал плечами Лева и даже немного рассердился. — Идите на хуй, ребята, в самом деле!

Он повернулся и пошел прочь, думая о том, как в данном случае балансировать уровень адреналина в крови, чтобы предотвратить легкое дрожание лопаток. Над этим в будущем придется поработать.

Выстрела в спину не последовало. Революционеры сообразили, что ошиблись: думали, что пожилой буржуй идет в твидовом пиджаке, а оказалось — свой, молодой и в чужом.

1985

С труппой странствующего театра ГМР однажды оказались на юге Вирджинии. Местные интеллектуалы показали ему холмы, на которых сто двадцать лет назад проходила битва Северной и Южной армий. Пока повествовали, впади в крайнее возбуждение, забыли и о гостях в яростных спорах, откуда наступала пехота, когда подвезли пушки и где сшиблась кавалерия.

А какие же тут были потери, не без некоторой снисходительности спросил ГМР, но, получив точную цифру потерь, только присвистнул: побольше, чем при Бородине!

«Любопытное тут отношение к этой их Гражданской войне, — подумал ГМР. — С одной стороны, с таким пылом о ней говорят, будто она в прошлом году только закончилась, а, с другой стороны, никакой особенной ненавистью к противоположной стороне не пылают. Герои, и

* Еб твою мать, гони монеты, часы, побрякушки, все, что у тебя есть, не то от тебя останется мокрое место.

южные и северные, почитаются вместе. У нас же там (то есть там, у них) все наоборот. Гражданская война для людей едва ли не так же отдалена, как Ливонские походы Ивана Грозного, однако невозможно ведь себе представить в советском городе памятники «белым» Колчаку и Деникину рядом с «красными» Фрунзе и Котовским, как это можно увидеть, скажем, в Вашингтоне, где конные фигуры «северян» располагаются неподалеку от «южан». Советская хромограмма явно несравнима с американской магнитной стрелкой».



ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ты не возражаешь, если у тебя сегодня будет outdoor?* — спросила Ольга.

Февральское солнце заливало стены ее кабинета. Февральские цветы за окном чуть-чуть колебались под февральским деликатным бризом. Февральские зрелые грейпфруты по соседству отягощали ветви столь весомо и естественно, что казалось, без них вид из окна будет нелеп.

В такие «зимние» калифорнийские дни «индорное» местонахождение тоже представляется несколько нелепым. Разумеется, я не возражал. Мы покинули департамент русского языка и литературы и пошли по кампусу Южнокалифорнийского университета в сторону лужайки, на которой посреди магнолий и агав возвышалось несколько королевских пальм, из тех, что всегда вызывают в душе некоторый, пожалуй, уже курьезный, романтический сдвиг.

— Я должна тебя предупредить, — сказала Ольга со смешком. — Твои сегодняшние студенты будут немножко необычными.

— Они пока еще все для меня довольно необычные, — сказал я: это был мой первый академический семестр после эмиграции.



* Урок на свежем воздухе.

— Ну а сегодняшние, пожалуй, будут из ряда вон выходящими, — загадочно произнес мой женский друг профессор Ольга Матич и погрузилась в свои административные бумаги.

Мы сидели под пальмой. Множество колибри порхало в ветвях. Приятно то, что экскременты этих крошечных созданий совершенно невесомы; падая на тебя, они не оставляют следов, а их запах ничем не вредит всеобщему благоуханию.

— Что-нибудь вроде кентавров? — пошутил я, потому что в этом пункте полагалось пошутить.

— Что-то в этом роде, — буркнула Ольга и подняла голову. — А вот и один из них. Джошуа.

К пальме приближался черный юнец семи футов ростом. Вслед за ним появились два белых богатыря, косая сажень в плечах, Мэтью и Натан. Вскоре вокруг пальмы набралось десятка два гигантов и богатырей — Тимоти, Натаниэль, Бенджамин, Джонатан, Абрахам и прочие, баскетболисты и футболисты спортклуба «Троянцы»; позвольте не продолжать список славных имен.

— Дело в том, что в университете поднялась кампания против наших спортсменов, — шепотом объясняла мне Ольга. — Стали говорить, что парни совершенно не учатся, а только гоняют мяч, превращаются в профессионалов. Президент обязал всех атлетов записаться на учебные программы, и вот, вообрази, почти все они записались на русский факультет. Впрочем, что это я шепчу, они же не понимают ни слова.

Расположившиеся вокруг пальмы в сидячих, стоячих и полулежащих позах троянцы являли бы собой зрелище грозное и античное, если бы не их яркие T-shirts и мальчишеские улыбки.

— О чем же мне с ними говорить?

— Ну, расскажи хотя бы об альманахе «Метрополь», — сказала Ольга и похлопала в ладоши. — Ребята, мистер Аксенов, который всего лишь полгода как уехал из СССР, расскажет вам о попытке организовать независимый журнал «Метрополь».

— Странно, что вы называетесь «тройняцами», — сказал я студентам.

— Что же тут странного, сэр? — спросил Мэтью.

— Странно то, что существует какая-то очевидная юмористическая связь между, казалось бы, космически отдаленными явлениями. Дело в том, что альманах «Метрополь», редактором которого я имел честь быть, в Москве на партийном собрании советских писателей называли «тройняским конем империализма». Словом, у вас, тройняцев, сегодня появилась возможность узнать обо всех этих делах from the Trojan horse's mouth...*

Раскаты атлетического хохота качнули стволы пальм. Странно было рассказывать о наших московских вечных непогодах и слякотных литературных страстях этим столь прекрасным организмам, олицетворяющим, казалось, только лишь весь этот sun & fun** Южной Калифорнии, еще страннее было видеть на их лицах интерес к метропольской истории.

— А почему это вас не отправили в лагерь? — спросил Тимоти.

— В лагерь? — удивился Бенджамин. — Ты говоришь «в лагерь», Тим?

— Это не тот лагерь, о котором ты думаешь, — вмешался Натаниэль, — не спортлагерь, а концлагерь, как во времена Сталина.

— В чьи времена, Нат? — спросил Джонатан.

— Сталина. Передаю по буквам — Эс,ти,эй,эл, ай,эн...

Я поинтересовался у ребят, с какой стати они взялись именно за изучение русского. Пригодится, ответили они с весьма неопределенными улыбками. Восемнадцатилетний великан Абрахам, уроженец острова Самоа и текал футбольной команды, сказал, что русский, возможно, понадобится, когда придется играть в футбол в СССР.

* Из уст троянского коня.

** Солнце и радость.

— Однако в СССР, Эйб, не играют в этот футбол, — возразил я. — Там никто даже и не представляет себе этот ваш плечевой футбол.

Юноша нахмурился:

— Вы, конечно, шутите, мистер Аксенов? Давайте лучше поговорим о Достоевском.

С этого февральского урока прошло уже около пяти лет. За это время я повидал множество университетских кампусов по всей территории США:

Berkely, UCLA, Stanford, Sonoma State, Irvine, Santa Cruz, Occidental, the University of Washington, Indiana University, the University of Michigan, the University of Kansas, Oberlin, Vanderbilt, Miami University, Ohio State, the University of Virginia, the University of Richmond, Columbia, CUNY, Hunter, Amherst, the University of Maine, Dartmouth, the University of Chicago, Boston University, Norwich, Middlebury, Sweetbriar, Princeton, Georgetown, George Washington, Johns Hopkins and Goucher... по крайней мере, полсотни городов американской молодости.

В общем и целом, несмотря на то, что для коровы иронии и в кампусах найдется хорошее пастбище, все-таки можно сказать, что университеты — это чудесная, ободряющая, очень положительная струя в американской жизни.

Само понятие «кампус» как крошечной автономии внутри гигантского государства звучит необычно и вдохновляюще для пришельца с Востока. В России некоторые старинные университеты (в частности, моя alma mater — Казанский университет) еще сохранили некоторые жалкие, чисто территориальные — скажем, ворота, скажем, забор — следы прежней автономии от тех времен, когда ввод городской полиции на территорию университета вызывал скандал в либеральной прессе, однако это всего лишь жалкие следы, и миллионам советских студентов даже не снится жизнь, похожая на кампус. Традиции тщательной заботы о свирепой дисциплине и комсомольской воспитательной работе, почти все учебные заведения растворены в больших городах, из аудитории в аудиторию

часто добираются городским транспортом, да и не в этом дело — понятие университетской автономии звучит в СССР абсурдно.

Никогда прежде не думал, что буду заниматься просвещением юных умов. В Союзе писатель вообще далек от университета, а уж меня-то с моим статусом, который в течение последних лет быстро деградировал от «противоречивого прозаика» до «подрывного элемента», к учебному процессу и на пушечный выстрел бы не подпустили.

На американских кампусах фигура писателя привычна, как коккер-спаниель на лужайке перед домом. Престижная школа обязательно должна иметь одного или даже пару подобных субъектов, которые теоретически как бы облагораживают своим присутствием образовательное пространство, как бы вносят изюминку в тесто, парадокс — в коктейль-парти, чудаковатость — в общую панораму лиц, практически же — сидят на лагуне с отвисшими ушами, с полуоткрытым ртом (желательно, в нем трубка) и с теоретически невинным взглядом.

Кто больше выигрывает от этого симбиоза — университет или писатель? Я выигрываю от этого симбиоза ежемесячное жалованье, которое позволяет мне оплачивать хорошую квартиру в центре Вашингтона. Университет, оказывается, тоже имеет кое-какую экономию, если его писатель более-менее известен. Вот, например, Гаучер-колледж, где я уже третий год состою «писателем-в-резиденции». За рекламное объявление в «Балтимор сан» он платит цену, превышающую мое годовое содержание, между тем в любой статье обо мне или о моих книгах гордое имя этого столетнего института упоминается бесплатно.

Отвлекаясь, однако, от «низких» (как в России говорят) материй и не будучи вполне уверенным в том эффекте, который производит на жизнь кампуса мое присутствие, присутствие моей жены и нашего щенка Ушика, вечно проносящегося по школьным полянам с огромными палками в зубах и пытающегося постоянно (писательский пес!) снискать аплодисменты у студенток, могу лишь

сказать, что главным выигрышем от пребывания на кампусе считаю неизменный подскок настроения, когда обнаруживаю себя среди веселой и здоровой, как правило, благожелательной и любознательной молодежи.

Мэрилендские амазонки

Гаучер-колледж — одно из немногих оставшихся в стране сегрегированных по полу учебных заведений. Тысяча юных девиц — вот наш состав. В президентах у нас тоже женщина, историк Рода Дорси. К этому следует добавить, что вся мужская часть факультета — убежденные феминисты.

Америка, как известно, гораздо юнее России, она обделена многими нашими историческими активами, вроде татарских набегов, сражений на льду озер с рыцарями Тевтонского ордена, вроде корабельных побоищ со шведами под многотысячными парусами и тому подобным, однако в смысле университетского образования мы стоим в историческом смысле почти наравне. За исключением средневекового Дерпта, старейшие русские школы не намного старше американских, так что Гаучеровское столетие, которое празднуется в этом году, и для России звучит солидно.

Кампус расположен возле окружной дороги Балтимор, и для того, чтобы добраться до него от моего дома в районе Адамс-Морган, что в центре столичного дистрикта, я трачу час с четвертью, катя в неиссякаемом потоке комьютинга*.

Включаясь в программу advertising**, сообщу, что кампус — это 340 акров полян, паркинговых площадок и леса. На нем расположены учебные корпуса, включающие даже собственную астрономическую лабораторию, лекционные холлы, спортклуб с бассейном, библиотеку, экуменический храм; можно отправлять какие угодно обряды,

* Commuting — поездка на работу из пригорода в город и обратно.

** Реклама.

за исключением посещения мумии Ленина, да и то лишь по причине нетранспортабельности оной.

Кроме того, имеются три поля для игры в травяной хоккей и лакросс, шесть теннисных кортов и конный клуб с соответствующими площадками для конкура.

Лошади, надо сказать, весьма украшают наших студентов, да и сами выигрывают в изящности от присутствия на их спинах грациозных юных леди. В довершение ассоциации с амазонками, надо сказать, что стрельба из лука является здесь наиболее популярным видом спорта.

На этом сходство с мужикоборческими племенами, можно сказать, заканчивается. Особой враждебности к худшей половине человеческого рода мы здесь не заметили. Благодаря консорциуму с университетом Джон Хопкинс в наших классах можно видеть и мальчиков, а в автобусе shuttle, курсирующем между двумя школами, общение полов вообще нередко выходит из-под гуманитарного контроля.

Я уже упоминал в этой книге о панической стороне американской статистики. «Каждый десятый студент на американских кампусах — алкоголик!» Поверьте, господа, за все время своей академической активности, в поездках по всем этим многочисленным кампусам, перечисленным выше, я не видел ни одного студента, который был бы пьян в том смысле, что придается этому слову во Франции или Германии, не говоря уже о России.

Мои студенческие годы в Казани и Ленинграде были неизменно сопряжены с очень серьезными драками. Мы дрались из-за девушек на танцевальных вечерах, или по спортивным причинам, или (чаще всего) без причин. Дрались по одиночке, группа на группу, курс на курс, факультет на факультет, институт на институт. Однажды движение на Каменноостровском проспекте было остановлено грандиозной дракой горного факультета Ленинградского университета и Первого медицинского института, в другой раз электротехи форсировали городской канал, чтобы неожиданно напасть на бал Техноложки.

Даже намека на что-либо подобное я не заметил в американских университетах. Трудно себе представить, что когда-то эта публика или, вернее сказать, их молодые родители бунтовали на кампусах и жгли какие-то чучела.

Американские студенты (нынче?) весьма благовоспитанные молодые люди. Наши девушки в Гаучер-колледже, пожалуй, сродни благородным девицам из Смольного института, впоследствии, увы, утратившего свое благородство до нулевой степени, когда девиц разогнали, а дортуары заняли большевистские комиссары. Надеюсь, что история не повторится на северной окраине Балтимора, возле beltway* 695.

В поисках «русской комнаты» я прохожу по коридору студенческого общежития. Мое движение по этим заповедным краям вызывает легкую панику. Хлопают двери, высовываются носы и щеки девчонок. Кубарем прокатывается из комнаты в комнату кто-то, не совсем одетый, мелькают розовые пятки и прочие окружности. «Девочки, девочки, мужчина явился!»

Хоть и смущен, а все-таки лестно. Отражаясь в разъезжающихся стеклянных поверхностях, внезапно заявившийся, а значит, интригующий мужчина в тренч-коуте** в авангарде несущий пучок усов и трубку, в арьергарде шарф и зонт.

Появляются две панковые панночки, слева фиолетовый клоч, справа — зеленый. «Хелло, сэр, не хотите ли с нами проехаться в местный «Трезубец»?» Разноцветные хохлы дрожат от дерзновенности. Мямлю что-то неопределенное: спасибо за приглашение, как-нибудь в следующий раз, когда я немного повзрослею. Тут открываются все двери. Весь состав уже в полном порядке и высокомерен, как Мадонна. Ложная тревога, girls. Это всего лишь Аксенов, наш писатель.

* Кольцевая автодорога.

** Trench-coat — шинель, длинное пальто.

Засим я уже волокусь вдоль стены, стена на манер апдайковского кептавра...

Да, пожалуй, невзирая на все эти так называемые сексуальные и наркотические революции, американские студенты на удивление чисты, благовоспитанны и даже — пусть в меня бросят камень — целомудренны. Сладкой травкой кое-где, может быть, и попахивает, но гораздо чаще попкорном. На семинарах вроде бы нет закрытых тем, однако трудно заподозрить наших девиц и парней из Джона Хопкинса в чрезмерно открытых отношениях. Скорее уж можно вообразить «воздух всеобщей влюбленности» — Наташа, Соия, Николя, Денисов, Долохов, весь этот вальс начальных глав «Войны и мира».

Скорее уж можно сказать, что советские комсомолки более развратны, чем наши «амазонки».

Благодарение Богу, поле американской славистики неизмеримо широко. Обыгрывая русскую поговорку, можно сказать, что его и за несколько жизней не перейдешь. Пашут по этому полю, может быть, и не так уж глубоко, но с размахом; всходы кустистые. Не рискуя впасть в преувеличение, можно сказать, что американская славистика по масштабам не имеет себе равных в мире, включая и Советский Союз. Съезды двух основных ассоциаций американских славистов проходят в огромных отелях и напоминают атмосферу кинофестивалей.

Советским идеологическим держимордам эти масштабы не очень-то по душе. Среди них бытует мнение, что все славянские факультеты американских университетов — это филиалы ЦРУ. Для этой публики, надо сказать, весьма характерно, что они очень быстро начинают всерьез верить ими же изобретенной лжи. Еще охотнее они выделяют из какой-либо среды козлов отпущения и начинают их бурно, всеми своими «партийными фибрами» ненавидеть.

По сути дела, все ученые-слависты США под подозрением, по самым коварным, подрывным и злостным

ми считаются Морис Фридберг (университет в штате Иллинойс) и Деминг Браун (университет в штате Мичиган). Почему выделены именно эти два почтенных ученых джентльмена, сказать трудно. Скорее всего, их сочинения когда-то попались на глаза какому-нибудь цеховскому дядьке, скажем Альберту Беляеву, известному в Москве под кличкой Булыжник — Оружие Пролетариата. Возмущенный отсутствием марксистского подхода, то есть несогласованностью с вышестоящими инстанциями, БОП вставил мичиганца и иллинойсца в свои списки. С тех пор они там и фигурируют как главные враги, хотя за это время немало и других «врагов» появилось, покруче.

Разумеется, ЦРУ участвует в разработке некоторых программ и некоторые выпускники-слависты идут на работу в американские разведывательные ведомства, однако доля этих государственных дел на поле американской славистики невелика. Количество студентов, «берущих русский», из десятилетия в десятилетие колеблется, и трудно сказать определенно в зависимости от чего — спутник, детант, холодная война, культурная эмиграция из СССР, туризм, обмен женихами и невестами? Количество преподавателей же неизменно увеличивается.

Беженцы из России всегда находили приют на университетских кампусах. Легко ли придумать после всех революций, бегств, тюрем, расстрелов, чекистского любопытства лучшего refuge, чем описанный Набоковым. «...Слегка провинциальная институция, характерная своим искусственным озером в центре хорошо продуманного пейзажа, пересекающими кампус увитыми плющом галереями, настенной живописью, представляющей местных ученых мужей в процессе передачи факела знаний от Аристотеля, Шекспира и Пастера». Набоковский профессор Тимофей Пнин вновь появляется в обличье московских и питерских интеллектуалов 80-х годов.

Мне все-таки удалось избежать полного «пнинства», и дело тут не в том, что мне не случалось предлагать ауди-

гории wrong lectures (Пинн прочел «не ту» лекцию и не в «гом» университете), а в том, что университет вообще не был для меня единственным якорем. Можно было найти и альтернативы этому типу существования, однако все эти альтернативы посягали в большей степени, чем университет (во всяком случае, мне так казалось), на мое писательское время, и потому они меня раздражали.

Кроме того, по ходу моей так называемой «академической деятельности» я стал испытывать прежде мне неизвестное чувство.

Честно говоря, на университет я поначалу смотрел только лишь как на меньшее зло, однако со временем я вдруг стал получать прежде неизвестное удовлетворение своей университетской работой. Раздумывая над этим, я вдруг пришел к вполне старомодному заключению — я нашел свою работу здесь благодарной.

Американская молодежь, в принципе, космически отдалена от моего предмета — современной русской литературы. Даже у самой интеллигентной ее части, которая имеет о нашей словесности хотя смутное, но все-таки какое-то понятие, существует подход к этому предмету как к калеке. Да-да, конечно, имеются в наличии и благородные чувства, и симпатия, и желание помочь, но... — ну что тут поделаешь... все-таки скучно, ребята, согласитесь, не очень-то весело все время иметь дело с унылыми, пришибленными, ущербными, такими... хм... угнетенными...

Мне важно было показать, что в литературных событиях России трех последних десятилетий кипела такая страсть, какую здесь и не видели.

Вот основные вехи одного из моих первых семинаров «Существование равняется сопротивлению». 1956 год — альманах «Литературная Москва», бунт против литературного сталинизма. Пастернаковский кризис. Первая Нобелевская премия. Глумление над Пастернаком. Противостояние «Нового мира» и «Октября» как отражение духовной борьбы шестидесятых годов. Возникновение журнала «Юность», молодая проза и ее развитие до открытого ан-

тиконформизма. «Поэтическая лихорадка», суперзвезды поэзии. Магпитиздат, советские барды, «человек с гитарой» как символ сопротивления. Солженицынский кризис, вторая Нобелевская премия. Изгнание Солженицына, исход писателей, последующие высылки. Самиздат и тамиздат. Альманах «Метрополь» как последняя попытка прорыва через идеологические надолбы. Эмиграция...

...Когда говоришь с этими мальчиками и девочками из американских пригородов, которые могут быть без риска преувеличения названы страной массовой роскоши и благоденствия, о творчестве своих старых товарищей, говоришь о жизни, прежде им полностью неведомой, когда, вместо туманного и пугающего пятна, именуемого Россией, перед ними начинает вырисовываться картина сложной духовной борьбы, сопротивления человеческого достоинства тоталитарному нахрапу, тогда понимаешь, что университет — это не просто тихая заводь, место, где ты получаешь свой ежемесячный чек; понимаешь, что игра все-таки стоит свеч.

Семинар по программе «писательское мастерство» в большом среднеазиатском университете. Я прихожу на первое занятие и получаю от секретарши обескураживающую информацию: на ваш класс записалась одна студентка, но она, к сожалению, сегодня как раз бракосочеталась с другим (то есть не со мной) нашим профессором.

Очень хорошо, говорю я. Получается, значит, меньше, чем единица. В самом деле, какая прелесть. Надеюсь, мой счастливый коллега не будет возражать против наших редких встреч с его молодой супругой. А вообще-то с какой стати юная леди записалась в русский семинар накануне замужества? Перепутала с Индией?

На самом деле я, конечно, злось: не хотите ничего знать о моем предмете, ну и не надо. Паршивые обобщающие мысли — все, мол, они таковы.

Заглядываю в комнату, где должны происходить мои занятия с любознательной молодоженой. Там, оказыва-

ется, двадцать душ меня дожидаются. Оказалось, университетский компьютер немножко ошибся.

— Господа молодые американские писатели, будущие коллеги, скажите мне, что вы знаете о современной русской литературе?

В ответ — девять мужских улыбок и одиннадцать женских: ничего не знаем.

— Ну хорошо, кто, в конце концов, может похвастаться, что он что-нибудь знает о литературе? Чтобы пачать наш разговор, мне нужно хотя бы знать, какие имена современных русских писателей вам знакомы?

Общая молчаливая улыбка. Потом вверх полезла чья-то бровь:

— Как это? Солженицкин?

Я, признаться, многого и не ждал, но все-таки был удивлен, обнаружив, что выпускники университета, «берущие» уроки по классу писательского мастерства, то есть господа молодые американские писатели, не знают ни Ахматовой, ни Пастернака (тут, правда, кто-то поднял еще одну бровь — ах, да-да, «Доктор Живаго»... Джулия Кристи, Омар Шариф...), ни Мандельштама, ни Булгакова, ни даже наших эстрадных звезд Евтушенко и Вознесенского, не говоря уже об Ахмадулиной, Искандере, Трифонове, Битове...

Меня-то они как раз знали: в ту весну «Ожог» продавался во всех книжных магазинах, и обо мне чуть ли не каждую неделю писали в больших газетах. Потому-то и записались в мой семинар, что я был, как говорится, an issue of the day*.

— Стыдновато как-то, guys, — мягко пожурил я их.

Они мягко согласились: да-да, немножко стыдновато. Я видел, что на самом деле им не стыдновато.

Среди американской публики (тут, кажется, generalization** допустимо, и не только в отношении американской, но и вообще западной публики) распростра-

* Злоба дня.

** Обобщение.

нился страннейший снобизм. Если она чего-нибудь не знает, то это как бы означает, что это «чего-нибудь» просто еще недостаточно сильно, хорошо, примечательно, чтобы пробиться к просвещенному вниманию. Не публике должно быть «стыдновато», что она не знакома с предметом разговора, а самому предмету должно быть не по себе.

Слишком много всего, возражаю я сам себе, слишком много вещей, информации, рекламы. Однако если этот снобизм уместен в отношении сортов шампуня, он все-таки в отношении русской литературы попахивает просто-напросто цивилизованной деревенщиной.

Однажды молодой профессор-славист рассказал мне со смешком о лекции хорошего русского писателя. Он, понимаете, старается вовсю, а в аудитории его никто и не знает, ни разу даже имени не слышали. «Экие невежды», — сказал я. «Невежды?» — изумился профессор. «Ну конечно, профессор, ничем другим, как невежеством, этого не назовешь».

Позднее на семинаре, о котором я сейчас веду речь, снобистская улыбочка как-то естественно испарилась. Ребята вдруг поняли, что и в самом деле оказались невеждами; они, впрочем, в этом не виноваты, просто никто прежде им об этом не говорил, ведь не знать сейчас современной русской литературы — это все равно что не знать литературы американской.

Меня поразило, с какой скоростью они проходили материал.

Разговор шел о начальных творческих импульсах, о том, что будит воображение и что толкает писателя к перу, о том, что превалирует в разных случаях — эмоция или идея, о мере факта и вымысла и т.п., однако разговор носил далеко не абстрактный характер, ибо он базировался на анкете, которую я провел среди десятка первоклассных писателей еще в 1975 году.

Как из «ничего» возникает «нечто»? На этот вопрос, противореча друг другу (а очень часто и самим себе), отвечали Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Анатолий Гладилин, Юрий Нагибин, Фазиль

Искандер, Валентин Катаев, Юрий Трифонов, Анатолий Найман, Булат Окуджава.

Все эти авторы для моих студентов поначалу были пришельцами из *terra incognita*. Прошло, однако, не более двух недель, когда я получил первые papers.

Питер Оу написал о романе Фазиля Искандера «Сандро из Чегема», недавно вышедшем в английском переводе в издательстве «Рендом хауз». Роман этот, по сути дела, нескончаемый эпос, посвященный родине автора, крохотной стране Абхазии, о которой Питер Оу даже и не слышал до нашего семинара. И вдруг, оказывается, наш Питер уже полностью в курсе дела, уже знает, что Абхазия, расположенная на восточном берегу Черного моря, в предгорье Кавказа, не что иное, как страна Золотого Руна, за которым плыли аргонавты. Он уже соединяет Искандера с общими корнями средиземноморской культуры, уходя и в античные времена, к Гомеру, и к ренессансной традиции плутовского романа, говорит о специфике русскоязычного письма в сочетании с перусской национальной сутью и о метафизике сталинского злодейства.

Сьюзен Кей взялась за Катаева, восьмидесятисемилетнего патриарха русской авангардной прозы, по сути дела, совершенно неизвестного в этой стране. Она откопала в библиотеке немногочисленные британские переводы катаевских книг и пришла в неописуемый восторг: «Guys, this is something!»* Далее она углубилась в весенние катаевские времена, в «золотые двадцатые», и «вышла» на Булгакова, чтобы построить свою вполне оригинальную концепцию: молодые писатели двадцатых годов пытались преодолеть клаустрофобию советского быта.

К концу нашего семинара студенты уже запросто называли Ахмадулину Беллой, бодро расшифровывали криптограммы ее прозы и сравнивали метафору ее стихов с катаевской и ахматовской, вникали в рефлексии битовских героев, проникали в трифоновские сумерки, прощупывали

* Ребята, в этом что-то есть!

космические связи Вознесенского, попутно подвергая грибы и ягоды Евтушенко весьма тщательной инспекции.

На одном занятии мы устроили общую дискуссию на довольно веселую тему: «Есть ли будущее у русской литературы?»

Начал Крис Даблю. В отличие от всех других основных языков мира, а именно: от английского, арабского, испанского, французского, китайского, немецкого и даже португальского — русский язык является языком только одного государства. Эта особенность роднит его только с японским. Печальная особенность, вздохнул Крис. Из нее проистекает, что русская литература может развиваться только в СССР, правящие круги которой не понимают литературы.

В спор вступила Лиз Кью. Однако, сказала она, русская литература может развиваться и в условиях диаспоры. Мне, например, литература русской диаспоры кажется более интересной, чем литература метрополии. Не исключено, добавила Лиз, что лучшие произведения конца двадцатого и начала двадцать первого века будут написаны как раз в Русском Зарубежье.

Почему бы нет, сказал Джордж Оу, но, с другой стороны, можно легко себе представить, что диаспора не создаст шедевра и что через поколение русская литература за пределами России просто исчезнет. Давайте взвесим отрицательные факторы. Эмигранты оторваны от единственной русскоязычной страны. Этот момент не может не оказать отрицательного воздействия на их творчество. Теперь возьмем другую сторону «низкой прозы» — зарабатывать на жизнь пером в таких условиях чрезвычайно трудно. Следующее: вступает в силу процесс ассимиляции, который особенно интенсивно идет в таких странах, как США или Израиль, менее интенсивно во Франции и Германии. Этот процесс в конечном счете сработает, и второе поколение, ну, в лучшем случае третье — уже потеряет способность к воспроизводству русской литературы.

Давайте взвесим теперь положительные факторы, предложил Патрик Ди. Литература некоторых народов,

евреев, например, или армян, неплохо выживала в условиях диаспоры. Кроме того, число русских за рубежом сейчас, возможно, превышает население Англии времен Шекспира. Довольно значительная публика, и процент интеллигенции в ней очень высок. Следующий довод. Если на протяжении семидесяти лет пришли три волны эмиграции, почему нам не ждать четвертую? В шестидесятые годы в наших университетах беспокоились, что случится, когда преподаватели, чей родной язык русский, выйдут на пенсию. Точно вовремя СССР оказал нам братскую помощь путем третьей эмиграции. Может быть, он и еще раз войдет в наши обстоятельства.

Аудитория писателя-эмигранта, заговорил Хью Эм, не обязательно только эмигранты. Так или иначе, всегда существуют некоторые возможности перевода на язык страны-гавани, а в случае успеха и на другие языки. Нельзя упускать из виду и возможности распространения книг в Советском Союзе или с разрешения режима в периоды возможной либерализации, или без разрешения путем радиопередач, самиздата, тамиздата, пропикновения через кордон. Развитие современной технологии расшатывает идеологический забор. Космическое телевидение и передача информации в памяти микрокомпьютеров еще более расширяет эти возможности.

Основное преимущество, которое есть у русской зарубежной литературы, сказал Черил Си, состоит в том, что автор не скован нормами социалистического реализма, то есть советской цензуры. Кроме того, все, что он пишет, немедленно выходит в свет, ему не нужно писать «в стол», его не страшат наблюдающие органы.

Ну хорошо, вступил Мелвил Ар, давайте теперь поговорим о положении внутри Советского Союза. Один западный литературовед недавно писал, что, в принципе, советский режим ничего не имеет против хорошей литературы. (В этом месте, должен признаться, все присутствующие захохотали.) Этот ученый, продолжал Мелвил, пишет, что режим просто требует от литературы полного подчинения, а

если такая подчиненная литература будет еще к тому же и хорошей, что ж, тем лучше. Даже при Сталине иной раз появлялись неплохо сделанные произведения, нет оснований не ждать их при Горбачеве или при следующем генсеке. Репрессии, закручивание гаек в СССР носят волнообразный характер, нельзя исключить неожиданной и более-менее устойчивой либерализации. В истории было много неожиданных поворотов. Ленин в 1914 году кричал, что вряд ли доживет до революции. Поворот в СССР может быть любого свойства: технократический, военный, националистический, а может быть, и безо всякого поворота возникнет такая олигархия, которая наконец поймет, что литература — не такое уж серьезное дело, что она даже может быть полезной отдушиной для народного беспокойства.

Я бы тут добавил, сказал Роберт Эйч, что у писателей внутри Советского Союза, несмотря на «закручивание гаек», все еще остаются каналы самиздата и тамиздата. К сталинским временам сейчас вернуться трудно, сопротивляется прежде всего современная технология, магнитофоны, копировальные машины.

А что, если лет через двадцать и до советского населения дойдут микрокомпьютеры с программированием словесного производства, не знаю уж как перевести то, что здесь называется word processing? Какой шаг вперед делает самиздат! А что, если в недалеком будущем сама книга, как таковая, начнет принимать форму маленького мягкого диска?

Вот так они спорили три часа напролет, молодые американцы из среднеатлантических штатов. У всех был чрезвычайно умный и позитивный вид, а я все время спрашивал себя: неужели не возникнет? Все-таки возник! Такова была, видимо, природа предмета, что не мог он не возникнуть, и в конце концов в кондиционированном воздухе американского университета появился русский метафизический душок. Вскочил южанин Мэтью Эл и сказал, что, по его мнению, русской литературе необходимы репрессии! Без угнетения, без страдания она лишится свежести и

выразительности, перестанет быть в традиционном понимании «властительницей дум».

Что будем делать с этим Мэтью? Выгоним из класса? «Дайте ему подумать, дайте ему подумать!» — слышались голоса.

Мэтью с минуту постоял в задумчивости, а потом сказал, что снимает свое предложение. Русская литература и без советских закрутчиков всегда находила свои внутренние репрессии и страдания. Именно они дали ей место в мировой культуре, куда она со временем, рано или поздно, должна вернуться.

Время пробуждения: Восток и Запад

...Если бы случился в тот день на территории Гаучер-колледжа какой-нибудь советский визитер и если бы пришлось ему оказаться возле аудитории Kraushaar, не поверил бы он своим ушам: благопристойное учебное заведение для американских девочек оглашалось хриплым неистовым голосом Владимира Высоцкого, советского полуполюгального барда, кумира улицы, ставшего после своей смерти в сорок два года народным мифом и символом неофициального единства.

Идет охота на волков, идет охота!

На серых хищников, матерых и щенков!

Кричат загопщики, и лают псы до рвоты,

Кровь на снегу и пятна красные флажков...

Проходит некоторое время, и в той же аудитории звучат тоже не очень-то респектабельные, но все-таки более подходящие к обстановке песни Боба Дилана, Джоан Баез, Симона и Гарфункеля.

Так проходил полугодовой семинар на тему: «Шестидесятые — время пробуждения: Восток и Запад».

Перед аудиторией из ста девиц сидели четыре лектора — Фред Уайт, Руди Лентулей, Богдан Сагатов и Василий Аксе-

нов. Нетрудно догадаться, что я на этом форуме представлял Восток. Не будет хвастовством и сказать, что Гаучер-колледж вряд ли нашел бы в окрестностях Балтимора более подходящего человека для этой темы: я и в самом деле типичный представитель советских шестидесятых, и меня, как и многих моих товарищей по послесталинскому литературному поколению, в советских условиях называли «левым».

Мои коллеги — профессора Фред и Руди, между тем были типичными представителями «американских шестидесятых». Четвертый же, Богдан, американец русского происхождения, был молод и снисходителен.

...Мне вспомнился август 1968 года, когда внезапно, в одну ночь, за два года до срока, кончились советские шестидесятые. В партийной газете «Правда» в те дни можно было увидеть очерки собственных корреспондентов из Праги и из Чикаго. Тот, что сидел в Праге, писал: «Советские воины научились различать контрреволюционеров по внешнему виду. Джинсы, длинные патлы, усы и бороды — вот отвратительная примета контрреволюции...» Советский кор из Чикаго сообщал, пылая восхитительным негодованием: «Чикагская полиция, зверски работая дубинками, преследует демонстрантов. Джинсы, бороды, длинные волосы — вот приметы возмутителей спокойствия!»

Как видим, было что-то общее между Востоком и Западом, а тот год, который мы называли «шестьдесят проклятым», в странной степени оказался критическим для обеих частей света.

Некоторые исследователи полагают, что у американских шестидесятых прослеживается больше сходства с русскими шестидесятыми прошлого века, чем с нашим временем.

Мне случилось однажды быть на лекции профессора Тома Глисона в Кеннановском институте, когда он успешно сравнивал взгляды и вкусы американских либералов-шестидесятников с базаровыми и рахметовыми российского девятнадцатого века. Столь успешные сравнения, возможно, не пройдут в отношении времен нашего после-

сталинского ренессанса, хотя бы из-за путаницы с понятиями «левый» и «правый».

Советский опыт трудно сравнивать с каким-либо другим периодом истории по причине его уникальности. Даже германский нацистский эксперимент несравним, ибо он состоял только из взлета, завершившегося катастрофой, но не содержал в себе бесконечного периода гниения.

Два десятилетия назад Восток и Запад весьма смутно ощущали друг друга, процессы пробуждения Америки и России были различны, хотя временами просто диву даешься, как много было общего, особенно в сфере так называемой молодежной субкультуры.

Помнится, в сумерках Невского проспекта, у подъездов домов, где проходили запрещенные концерты рок-н-ролла, нам казалось, что Америка-то уж вся поголовно от мала до велика отплясывает вслед за Элвисом Пресли. Официальная пропаганда только подливала масла в огонь, изображая «американского империалиста» эдаким дергающимся рок-н-рольным ублюдком. Вместо Святой Троицы этот жестокий дикарь поклоняется изобретенной им самим тлетворной триаде — «дурманной кока-коле, оглупляющей трудящиеся массы, жвачке «гуинго» и шумовой музыке — «джаст». Разумеется, мы не знали, что столпы пуританского общества не очень-то поощряли свободные ритмы и в самой Америке.

В одном из первых фильмов, показанных на семинаре, я с удивлением увидел эпизод, в котором отцы какого-то провинциального города обсуждают репертуар юного Элвиса. Без большого напряжения эта сцена могла быть перенесена в отдел культуры Ленинградского обкома, и, что самое удивительное, — того же периода.

На этом семинаре профессора тоже были учениками. Мне, например, он дал немало пищи для размышлений. От чего пробуждалась Америка в шестидесятые годы? Может быть, прежде всего от своего провинциализма? Может быть, именно тогда великая страна, корчась в каких-то чуть ли не родовых муках, сметала рогатки изоляционизма, про-

бывала пелену застоя. чтобы стать не только экономическим и военным лидером Запада, но и его духовной частью, войти в интеллектуальное, нравственное и эмоциональное движение, называемое сейчас свободным миром, войти и возглавить его не только как самое сильное, но и самое свободное, самое открытое общество?

Чтобы представить себе силу этих родовых мук, падо вспомнить и предшествующее десятилетие, пятидесятые, когда погоду здесь делали консерваторы, и не те современные, просвещенные консервативные либералы, которым нынче я передко аплодирую, а довольно дремучие ребята.

Речь идет не столько о пресловутой комиссии сенатора Маккарти, число жертв которой за все годы ее существования нельзя сравнить даже с одним днем деятельности славных сталинских «органов», а обо всей той атмосфере ханжества и затхлости, которая тяготила выросшую американскую интеллигенцию.

Одним из ключевых моментов семинара был показ фильма «Выпускник». Символическая сцена, в которой юный Дастин Хофман стальным распятием разбивает двери церкви, чтобы похитить из-под венца свою «настоящую любовь», дочь его «светской любовницы», поразила меня своей наивностью, столь же неподражаемой, сколь и наивность юного московского актера Олега Табакова, рубавшего в каком-то фильме того же времени дедовской кавалерийской саблей дорогую мещанскую мебель в квартире родителей.

Дальнейшие параллели. Литература битников. Сомневаюсь, что она оказала какое-либо значительное влияние на современную ей русскую литературу нашего времени (то есть на нас), однако весь стиль и синкопированный образ жизни битников и в самом деле отразились на образе жизни их сверстников в Восточной Европе, в Москве, Ленинграде и Львове. Проследив же родословную всех этих молодежных неконформистских движений, мы неизбежно придем к футуристическим группам предреволюционной России. Любопытно, что образ жизни студенческой коммуны провинциального советского университета

(все эти Филимоны, Парамоны, Спиридоны и Евтихии, называвшие себя именно футуристами и культивирующие авангард) не очень-то отличался, в принципе, от жизни битнической среды.

Марши и фестивали протеста. Явлений, подобных американским, в Советском Союзе, конечно, быть не могло по причинам вполне понятным: там, где в США в ход шли дубинки, в СССР неизбежно пошел бы свинцовый дождь, однако «Бульдозерную выставку» русских художников по ее экстраординарности легко можно приравнять к самым дерзким эскападам американских радикалов.

Американская сторона на семинаре вспоминала романы Хеллера, Вошнэгута, Мейлера, русская (то есть ваш покорный слуга) говорила о Вознесенском и Солженицыне.

От какого кошмара пробуждался Советский Союз в шестидесятые годы? Вот тут уже все параллели растворяются в неевклидовом пространстве, ибо нельзя сравнить ни с чем неопишуемые злодеяния революции на ее подъеме и на их вершине, когда под руководством Сталина было создано безнадежное, казалось бы, общество стукачей, жалких конформистов и тупых карателей. Советский «сон» при самом бурном воображении нельзя было сравнить с American Dream, против которого бунтовали здешние радикалы. Это был кошмар ночных звуков и теней, застойная инерция страха.

В принципе, огромная кровавая работа, проделанная революцией, предусматривала возникновение поколения рабов. Пробуждение российской интеллигенции было категорически не предусмотрено, это было просто самое настоящее чудо.

Этот семинар открыл перед двадцатилетними американцами прежде совершенно неведомый мир. Они и свои-то шестидесятые еле различали сквозь калейдоскопическое мелькание ежедневных событий и лиц, а о советских вообще не имели никакого понятия. Достаточно сказать, что Никиту Хрущева многие из них полагали просто-напросто героем моего романа «Ожог».

Вдруг оказалось, что в Советском Союзе, стране тошнотворных даже для невинных мэрилендок социалистических соревнований, колхозов и обкомов, бушевала когда-то какая-то странная «поэтическая лихорадка», пели неофициальные барды, устраивались выставки запрещенных художников и тайные концерты джазистов, функционировал самиздат, это, пожалуй, уникальное явление мировой культуры, вспыхивали кампании так называемого подписантства, когда тысячи представителей прежде столь послушной советской интеллигенции ставили свои подписи под письмами протеста против возрождения сталинизма.

Карнавал американских шестидесятых принес в страну довольно сильное и продолжительное похмелье, однако и огромные достижения того времени очевидны. В целом можно сказать, что поколение шестидесятых в этой стране добилось своей цели, если видеть этой целью развитие американского либерального общества. Может быть, есть и какое-то разочарование, но там, где у американцев разочарование, у нас, советских шестидесятников, — крушение. Искоренение вольных надежд того времени — основная забота властей предрежащих. Так что для Советского Союза это время следует назвать не временем пробуждения, а скорее временем блаженного короткого сна.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1983

— Ложись! — крикнул ему встречный — джентльмен в костюме поло.

— С какой стати? — пожал плечами ГМР.

Комок уплотненного воздуха толкнул его в ухо. При отсутствии опыта уличных перестрелок не сразу разберешься, что мимо пролетела пуля.

Любезный встречный сам уже лежал, засунув голову за автомат кока-колы. Все, случившиеся быть в этот момент на перекрестке 19-й стрит и L, тоже лежали, одна лишь бойкая старушка в зеленых тонах сохраняла вертикальное

положение, маскируясь кустом пирамидального можжевельника, что призван был придать этому городскому перекрестку идиллический колорит. Только ГМР не лег и не замаскировался, не успев сообразить в течение этих очень важных секунд, что мечущийся по перекрестку черный юнец — вот именно — стреляет куда попало из пистолета.

Взвыли сирены, эти постоянные спутники нашего городского уюта. Черный мент прыгнул сзади на черного урку. Второго урку уже выволакивали из подъезда с заломанной назад рукою. Предвидя телевизионное око, он закрывал лицо полой разорванной рубахи. Телевизионщики и впрямь уже неслись, опережая и «скорую помощь», и тюремную карету. Камеры четырех конкурирующих компаний заработали, и все сразу заиграли для вечерних новостей — и комиссар, и детективы, и санитары, и копы оцепления, и публика.

— Восемь человек убиты наповал! — завизжал женский голос по-русски.

Кричала популярная в этом районе пищенка-эмигрантка, которая вот уже три года требует от американского правительства материальной компенсации за вывезенный из Витебска страшный химический секрет коммунизма.

— Что это все такое? — удивлялся ГМР. — Киносъемка какая-нибудь дурацкая или просто экзистенциализм в действии?

— Ни то, ни другое, мой друг, — сказал ему тот первый доброжелатель, джентльмен в костюме поло, отряхивающий с колен прилипшие пластмассовые вилочки и ложечки. — Просто те два гайз решили сделать холдап в ювелирном магазине «Свадебные кольца», а их там ждала засада. Весь беспорядок вызван именно этим недоразумением.

1985

Неудержимое развитие этнической кулинарии порой приводит к какой-то неслыханной дерзости. Чего стоит, например, французский ресторан, представивший на своих

стенах панораму города Ла-Рошели с только что выловленной из портовых вод зеленоватой мясистой русалкой на первом плане? Невольно усомнишься в благочестивости гугенотов.

Ну а в непальском храме еды по соседству можно неожиданно столкнуться с пренебрежением научными законами развития истории. Молодой хозяин вдруг начинает изъясняться с тобой настоящей московской скороговорочкой. Оказывается, пять лет проучился в Университете имени Патриса Лумумбы, но вот вместо продвижения передовой теории в практику «третьего мира» решил посвятить себя пищевому бизнесу в «цитадели капитализма». Знали бы товарищи из ЦК КПСС, куда порой уходят спецфонды.

Курьезы и курьезы. Всему миру Эфиопия представляется полем голода, а у нас, в Адамс-Моргане, один за другим открылись три эфиопских ресторана. Афганские муджахеддины и советские вертолетчики охотятся друг за другом в той далекой горной стране, а в ресторане «Кабул Вест», что в Бетесде, можно порой встретить советских любителей шашлычка.

Это сближает, как говорили когда-то в Москве, это и с толку сбивает: ведь русскому борщу нередко приходится отдуваться за немецкие мудрости с перцем.

1990

Спазмы ностальгии.

Из всего состава астронавтов на орбитальной станции «Америка Спейс» мистер Флитфлинт считался наименее сентиментальным, однако и он расхлюпался на концерте землянина Славы Ростроповича, а когда виолончелист закончил выпиливание своего Бетховена, Флитфлинт попросту попросил:

— А теперь, друг, сыграй нам, пожалуйста, «Грустного бэби»!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Однажды мы ехали вверх, из Флориды в Вашингтон. Радио внутри машины без перерыва несло какую-то местную чушь про суперпиццы и гипербарбику и передавало так называемую музыку, какое-то будто компьютеризированное варево из рэгги и рока с тяжелым грохотом и кошачьим подвыванием. Иногда я переходил на другую волну, но везде было то же самое.



Кончался зимний сезон во Флориде, и фривей выглядел как Коннектикут-авеню в час пик, с той только разницей, что все бесчисленные машины шли на скорости 65 миль в час.

По сторонам неслись символы цивилизованной глухомани, призывы бензина, жареного мяса, сластей и пощипывающих язык напитков.

Как вдруг я испытал острейшее ностальгическое чувство. Будто воочию, я увидел ночные пустынные улицы вокруг старого здания Московского университета, снежные сугробы вдоль тротуаров, луну в морозном кольце... ночная пустынька, конец первой молодости, очередная влюбленность...

В недоумении я даже замедлил бег. Боже правый, что вызвало столь острую московскую ностальгию на границе Флориды и Джорджии? И вдруг догадался — джаз! Станция университета в Джексонвилле пробила в мое радио с саксофоном Джерри Маллига-

на. Редкий гость американского эфира, американский джаз напомнил проезжающему по Джорджии эмигранту московскую ночь двадцатилетней давности.

Оказалось, что джаз не так уж и популярен на своей родине. Его едят здесь люди только определенного сорта; подпорченный чувством международного города сорт людей.

Для моего поколения русских американский джаз был безостановочным экспрессом ночного ветра, пролетающего над верхами железного занавеса.

Почему пацисты и коммунисты ненавидели джаз? Может быть, из-за его склонности к импровизациям? Может быть, если бы все игралось по нотам, они были бы терпимее?

Первые выловленные из эфира на программе «Голос Америки» в пятидесятые годы звуки «бибоп» распространялись в России на самодельных пластинках, сделанных из рентгеновских пленок. Труба Гиллеса и кларнет Гудмана проходили через тени грудных клеток, бронхов и потревоженных силикозом социализма легочных альвеол. Подпольная индустрия этих пластинок так и называлась «Джаз на костях».

Вот вам картина из далекого советского прошлого. Юнцы в свитерах с оленями вокруг чемоданного патефона. Придавленная в центре, чтобы не вспучивалась, перевернутым бокалом, крутится самодельная пластинка с тенью здоровенной фибулы или мандибулы.

В 1967-м ведущий программы «Час джаза» Уилис Канонер приехал в СССР на первый международный фестиваль джаза. За ним ходили, как за мессией. Бархатный голос американца в невероятном клетчатом пиджаке повергал в сущий трепет, слышался эллингтоновский «take «А»... все эти наши платонические randevu со свободой.

Переносясь в Европу, особенно в ее восточную часть, джаз становился чем-то большим, чем музыка. Он приобретал идеологию, вернее, антиидеологию...

В шестидесятые годы второй, после Штатов, джазовой страной мира была Польша, третьей, наверное, Россия.

Вначале играли на танцевальных вечерах, в каких-то занюханых клубах и арендованных школьных спортзалах. Постоянные скандалы с комсомольской дружиной. Поглом стали устраиваться специальные джазовые концерты в научных институтах. Комсомол вдруг объявил себя спонсором джаза при одном лишь условии — не играть фирменных, то есть американских, тем, развивать «джаз с русским акцентом». Джаз без американских тем, то есть как бы русская тройка без лошадей...

Образ джазового музыканта кочевал из одной моей книги в другую. Больше всего поражала меня преданность русских джазистов своему искусству. Эти немногословные юноши играли джаз без всяких надежд на успех, на деньги, на признание. Порой, во время сильных «зажимов», они, подобно древним христианам, уходили в буквальное подполье, играя в котельных и подвалах. Они как бы и не пытались оправдываться, выискивать объяснение своей преступной страсти, просто уходили, если их гнали, являлись без колебаний, если за ними посылали. Что поделаешь, как бы говорили их не особенно выразительные лица и согбенные фигуры, такой уж мы народ, джазовые.

Отделяясь от основной, здоровой массы, они даже выработали свой «птичий язык». Иные из них старели, другие оставались юношами всю жизнь.

Что я писал о джазе в разные времена?

1970. «Нью-орлеанские поминки на Новом Арбате»...

«...Я посмотрел вокруг и увидел сотни две или три знакомых лиц, музыкантов джаза и наших девочек. Все постарели немного, но все еще были красивы, а некоторые даже стали лучше...

...Все пришли в тот вечер и играли и hot и cool, как будто и виновник трагедии, погибший барабанщик, с нами, как будто просто шикарный jam, и только лишь времена-

ми из темных глубин заснувшей кухни просвистывал ветерок пронзительной печали...

...Вот так иногда хочется обратиться к широкой публике: «Прошу вас, сядьте! Прошу вас, прекратите стучать, хрустеть, цокать, щелкать, сморкаться и ржать! Прошу вас, дайте музыкантам играть: ведь жизнь коротка, а музыка прекрасна!»

1969. «...Из полуоткрытых окон неся жуткий вой, это играл на своем баритоне Сильвестр. Он заглушал все звуки и перекрывал аплодисменты... когда он дует в свою кривую трубу, кажется, что это нечистый дух... всю жизнь ему закрыл джаз... Переоценка ценностей. Как тебе не стыдно все это играть? Никакой ведь это не джаз и не музыка. Власть все-таки права — русских мальчиков нельзя никуда пускать, ни в джаз, ни в литературу, везде они будут вопить селезенкой и выхаркивать обрывки бронхов, и джаз превратят в неджаз...»

1977. «...Майским вечером на открытой веранде литературного ресторана «Набоков» Антон играл на саксофоне для своей беременной жены. Выпросил инструмент у музыкантов — дайте немного поиграть для жены, она у меня очень беременная. Дали, попросили только слюни не пускать... Кумир подземного перехода на станции метро «Шатле» заиграл в стиле ретро мелодию «Сентиментальное путешествие»...

...Хватит с меня политического дурмана, забуду все русское, буду на саксофоне играть... есть в самом деле другая, сентиментальная память...»

1963. «...Строителям коммунизма джаз не нужен, вся эта херня не нужна. Им песня нужна, романтика!

— Это ошибка, товарищ! Заблуждение! Джаз может помочь и строителям. Джаз ведь это тоже романтика! Я берусь со своим кларнетом за два часа привить вам любовь к джазу!

— Проверьте документы у этого товарища!..»

Американцам трудно представить размах этого довольно странного увлечения советской молодежи. В этом и в самом деле есть нечто загадочное — почему русские мальчики так страстно полюбили музыку столь отдаленной страны? Может быть, отгадка как раз и состоит в ее отдаленности, почти стопроцентной недоступности? «Западничество» русской молодежи уходило за дальний горизонт, Америка вбирала в себя все обертоны и синкопы «Запада», американская музыка придавала русскому мечтателю «лица необщее выражение».

Московские обиды

В середине семидесятых в Москву приехал Оскар Питерсон со своим трио. В аэропорту его встречали какие-то дубы из Госконцерта, которые, очевидно, никогда ничего о великом пианисте не слышали. Очевидно, они думали, что это просто очередная негритянская делегация, ну а раз негритянская, значит, прогрессивная, стало быть, можно не церемониться.

Питерсона и его ритм-секцию отвезли в клоповник по названию «Урал», да еще, кажется, поселили по двое в комнату. Пианист начал волноваться, потребовал другой гостиницы, первойклассной, ибо такой он и заслуживал. Ничего не получив, пригрозил уехать. В Госконцерте ухмыльнулись — никуда, мол, не уедет чурка. На следующий день еще и другие посыпались удары по самолюбию «звезды» — не пустили репетировать в том зале, где предстояло играть, привезли на репетицию в какой-то клуб, где рояль еле стоял на ногах из-за постоянного выколачивания на нем гопака и молдовеняски. Больше всего Питерсона поражало, очевидно, полное равнодушие Москвы к его приезду — ни прессы, ни телевидения, ни фэнов...

Между тем люди полуподпольного московского джаз-клуба носились по городу высунув языки, пытались установить, где живет великий и любимый.

Разъяренный Оскар собирает ноты. Видавшие виды полы гостиницы «Урал» прогибаются под его гневными шагами. Come on, guys! Let's go out of here!* Квартет, ничего никому не сказав, отчаливает в Лондон, к Ронни Скотту. Больше в эту слякотную промозглую бездушную Москву ни ногой!

Не знаю, справедливо ли оскорбился пианист или немножко слишком капризничал, может быть, расовое чувство как-то было ущемлено; в Москве нередко негры ловят на себе нехорошие взгляды, но все-таки не думаю, что он вот так запросто улетел, сорвал концерты, если бы увидел тех, кто пришел его слушать.

К вечеру на Берсеневской набережной, вокруг Театра эстрады, собралось несколько тысяч человек. Билеты были в лучшем случае лишь у одной трети толпы. Остальные скучковались только лишь для того, чтобы приобщиться, подышать хотя бы чуть-чуть воздухом мирового джаза. Многие прилетели из других городов, была даже целая когорта из Хабаровска. Грузинские фанаты, конечно, предлагали за билет любые деньги, коня, кинжал, жену...

Когда мы туда приехали с друзьями за полчаса до начала концерта, по толпе уже рябью пошли тревожные слухи. Концерта не будет! Разумеется, предполагалось поначалу, что власти запретили джаз. Опять они не дают нам слушать музыку. Вот гады, что им дался джаз?! Экое издевательство — пригласить Питерсона, а потом запретить! Вас только это удивляет? Да чем они там думают? Ты что, не знаешь — чем?

На ступенях у входа в театр можно было видеть массивную фигуру известного в наших кругах пианиста. Зажав в зубах паршивую сигарету, он хрипел молчание. Всю жизнь его называли Московским Питерсоном, он даже и похож был немного на черного прототипа. Приученное к огорчениям, его лицо, казалось, медленно сейчас свыкается с очередным фиаско, с крушением надежд увидеть Его своими глазами.

* Давай, ребята, отваливаем отсюда!

Я сказал, что слушал Питерсона в 1975 году в Лондоне в Ройял Фестивал-холл. Кто-то рядом услышал эту фразу. Слух быстро распространился — здесь есть человек, который слушал Оскара живьем! Толпа вокруг меня уплотнилась. Расскажите, пожалуйста, как это было.

Я стал рассказывать о том лондонском вечере и отвечать на вопросы.

— Какая там была публика?

— Молодежи было мало, в основном сорокалетняя публика и старше. Треть мест была пуста.

— Слышите, ребята, треть мест была пуста! А что он играл? Товарищ, что он тогда играл?

— В основном классику играл, золотой фонд.

— А ритм-секция в каком была составе? Басист такой-то? Ударный — такой-то?

На эти вопросы я не смог ответить. Они знали джазовые имена гораздо лучше, чем я.

— Там потом появился еще один старый саксофонист, — припомнил я. — Питерсон сказал, что это сюрприз.

— Как?! — вскричали фэны. — Прямо так и сказал?!

— Ну да, встал и сказал: сюрприз для почтеннейшей публики. Он очень хорошо играл, этот старик.

— Кто же это был?

— Да вот что-то не помню, имя как-то вылетело...

— Черный или белый?

— Простите, ребята, — сказал я не без смущения, — что-то не помню, черный или белый... помню только, что с седой козлиной бородою... Колмен Хоукис! — вдруг вспомнил я. — Да-да, это именно он.

— Колмен Хоукис! — вскричали люди в толпе. — Да как можно забыть это имя?! Братцы, этот товарищ в Лондоне слушал Питерсона и Хоукиса живьем!

Неожиданно я оказался в центре внимания. Мои не очень-то толковые воспоминания передавались из уст в уста в глубину толпы. Я чувствовал себя неловко, как будто что-то стащил с алтаря джазовой славы. Народ, однако, смотрел на меня с неподдельным восхищением и, как

в Советском Союзе говорят, с хорошей завистью. Никто, кажется, не понимал, что перед ними довольно известный писатель, я был здесь просто «товарищем, который Питерсона и Колмена Хоукинса слушал живьем». Стоявший вплотную к рассказчику провинциальный интеллигент снял шапку и вытер ею потное лицо.

— Ну вот, все-таки не зря прилетел из Саратова, — вздохнул он. — Все-таки хоть вас послушал, товарищ... Ну а в Америке вам не приходилось джаз слушать?

Для сохранения правдоподобия я соврал:

— Нет, не приходилось.

Толпа на Берсеневской набережной, охваченная общим и несколько пьянящим чувством разочарования, не могла разойтись в течение нескольких часов. Через реку на нас, словно бесстрастная стража, смотрела группа кремлевских башен.

В это время Оскар Питерсон в самолете приближался к Лондону. Праздные в тот вечер, его гениальные пальцы чуть-чуть пошевеливались на коленях, как бы нащупывая минорную импровизацию «Московские обиды»...

Среди новых русских иммигрантов в Америке есть некоторое число людей, которые оставили СССР и прибыли сюда не в последнюю очередь для того, чтобы слушать джаз. Удастся ли им на родине этого искусства, где легендарные имена их кумиров волей-неволей утрачивают часть своего серебристого звучания, сохранить свой энтузиазм сродни тому, которым, например, всю жизнь пылает мой одноклассник Генка Кваркин, ныне генерал советских военно-воздушных сил?

Страсть генерала

За полгода до выезда из СССР я встретил Генку Кваркина в подземном переходе на Манежной, и он пригласил меня в гости. Надо сказать, я удивился: меня уже тогда далеко не все друзья приглашали в гости, а тут еще советский генерал со здоровенными звездами на плечах. Впрочем, если он и слышал о моих делах, то уж только краем уха. В ушах

у него и в самом деле не очень-то много места было для посторонних звуков. Он всю жизнь был джазоманом и всегда напевал, насвистывал или просто пальцами постукивал по столу в такт джазовым мелодиям типа: I'm beginning to see the light или Those foolish things*.

В студенческие годы, когда я учился в медицинском институте, а он в военно-воздушном училище, мы оба были вовлечены в увлекательный бизнес «джаз на костях», обменивались рентгеновскими снимками и последними новостями, почерпнутыми из программ Уилиса Кановера и «Радио Монте-Карло».

Позднее, когда я уже стал писателем, а Генка делал свою военную карьеру, мы временами встречались и всякий раз начинали разговор с джаза. Рентгеновский период уже ушел в прошлое. Музыка переписывалась на магнитофонах с контрабандных западных пластинок. С увеличением звезд на плечах Генки Кваркина увеличивалась и его джазовая эрудиция, увеличивался и его энтузиазм. Однажды он даже прочел мне какие-то джазовые стихи, сочиненные, по его словам, каким-то его другом, но не исключено, что и им самим. Что-то в таком роде:

*Трубит Армстронг в свою трубу,
А во дворе играют дети...
Предугадавишему судьбу
Не так-то просто жить на свете...*

или

*...Но Майтзу Девису сказали,
Что вряд ли кто-то в этом зале
Его каденции поймет,
И он, встревоженный и хмурый,
Всю ночь сидит над партитурой,
Ошибку ищет... не найдет...*

* Я начинаю видеть свет. Эти глупости.

Любопытно, знало ли командование об этом увлечении офицера стратегической авиации, предназначенной, в конце концов, для бомбардировки страны джаза, то есть Соединенных Штатов Америки?

В истории советского джаза еще предвоенной поры есть одно удивительное имя высшего морского офицера, флаг-связиста Балтийского флота капитана Колбасьева. Он был, без преувеличения, самым крупным знатоком джаза, к его уникальной фонотеке в квартире на Моховой улице в Ленинграде обращались профессиональные джазисты. Следуя американской традиции, один из них написал для капитана Колбасьева пьесу «Блюз Моховой улицы». Трудно сказать, как реагировало флотское начальство на увлечение своего флаг-связиста, одно вполне можно вообразить, как реагировали на это чекисты ленинградского НКВД, в 1937 году арестовавшие и убившие славного капитана.

Времена нынче все-таки другие. Карьера Генки Кваркина развивалась вполне успешно, звезды на плечах через соответствующие промежутки времени увеличивались и числом, и достоинством.

Вот одно из преимуществ военной службы — жизнь отмерена пространством чина. Расхлябанное лицо свободной профессии теряется в годах, путает ориентиры — когда было это, когда случилось то...

Военному несколько легче: это было тогда, когда я был майором, а то случилось уже в бытность мою подполковником... Генка Кваркин, например, может сказать: я встретил своего одноклассника Ваську Аксенова через месяц после того, как получил генеральскую звезду.

«Приходи, — сказал он мне, подмигивая, — есть чем угостить».

Кроме новой квартиры и ужина с армейскими антрекотами, он угощал, разумеется, джазом. Предмет неслыханной гордости — квадрафоническая система. Звуки обрушиваются на гостя из всех углов. Генерал гордо демонстрировал одну пластинку за другой. Торжественная процессия королей и герцогов американского джаза.

Поскольку в магазинах Военторга этот товар не в ходу, постольку совершенно очевидно было, что генерал поддерживает прочные связи с миром музыкальной фарцы.

Подобно многим другим военным летчикам, Генка Кваркин имел страсть к высоким децибелам и не ограничивал звуковых возможностей своей аппаратуры. Никаких разговоров за ужином, разумеется, не велось. Знаками мы спросили мадам Кваркину, как она с этим справляется. Она молча вынула и показала нам на ладони специальной конструкции ушные затычки. Генерал ел мало, только лишь сидел с туманной улыбкой на странном, все еще мальчишеском лице (во всяком случае, мне оно казалось таким), только лишь глазами запрашивая восхищения в ключевых моментах пьес.

Когда возникла пауза, моя жена неопределенно вздохнула. Генка положил ей ладонь на плечо.

— Не вздыхай, Майечка, это еще не все. Сейчас еще будет Джонни Ходжес, а потом немного Капшонбол Эдерли.

После ужина, провожая нас к машине, он спросил:

— Ну как?

— Здорово, — сказал я. — Между прочим, знаешь, Генка, через месяц я уезжаю из России.

— Слышал, слышал, — кивнул он.

— Не исключено, что я буду жить в этой стране, — сказал я. — Буду слушать всю эту братию живьем...

Он посмотрел на меня, потом отвлекся взглядом на небо, за плоские крыши подмосковного жилого массива, где среди тяжелых ночных туч виднелся вытянутый длинным и нелепым крокодилом проем закатного неба.

— Это не то, — вдруг убежденно сказал он и в ответ на мой удивленный взгляд дал несколько неохотных пояснений: — Я вовсе не хочу их слушать живьем. Я и здесь-то не хожу на их концерты, а уж тем более не хочу, чтобы их было много, чтобы они превратились в живых, таких же, как я сам, субъектов. Это, понимаешь ли, разрушит мой мир. Я

хочу, чтоб их было мало, чтобы они были недоступны, где-то там, за закатом, чтобы оттуда шли эти звуки...

...И вот сейчас я живу на этой земле и могу любым вечером без всякой спешки, без всякого ажиотажа отправиться погулять по джазовым местам, скажем, Джорджтауна, могу зайти в «Чарли» послушать Мэла Торме, или, пройдя еще пару сотен метров, купить за 15 долларов стул и дринк в «Блюз Алли» и сидеть там, едва ли не упираясь коленкой в башмак легендарного Вуди Германа, или, совсем уже по-свойски, завалиться в рестораник «Одна ступенька вниз» и поболтать там с Янушем Маковичем и Лэсом Мак-Эном... Меня уж не поражает, что эти суперзвезды играют здесь запросто в маленьких кафе и здесь никто их не окружает, задыхаясь от восторга, как это происходит в Восточной Европе и в России...

Такие кисы...

«Мне приходилось играть в Советском Союзе, — сказал черный музыкант. — Русские — такие кисы...»

Вряд ли он имеет в виду физическую красоту или кошачью гибкость нашего народа, подумал я, скорее всего, его теплые душевные качества.

Вообще-то поначалу нас в этом подвале почему-то приняли за португальцев, несмотря на то, что среди нас были две блондинки — украинка и финка. Подошла хозяйка заведения — в темноте видны были только зубы и белки глаз, остальное сливалось — и спросила вежливо:

— Вы, наверное, из Португалии, фолкс, или из Бразилии?

Когда недоразумение выяснилось, пианист спустился к нам с эстрады.

— Русские — такие кисы, — сказал он. — Я там играл. Клево было.

Это был известный джазовый пианист, и я вспомнил, что он действительно лет шесть-семь назад гастролиро-

вал в СССР в составе какого-то замечательного трио или квартета. У меня тогда не было времени его послушать, и вот случайно наткнулся на этого пианиста вечером в Вашингтоне.

Ну в общем-то это не такая уж суперзвезда, не Оскар Питерсон, не Чик Кориа, но все-таки достаточно известный, чтобы создать панику среди любителей джаза и круглосуточную очередь за билетами.

Он стал рассказывать, как было в России. Ему явно повезло больше, чем Питерсону. Еще в аэропорту их встретили советские джазовые музыканты и фэны.

— О, Боже Всемогущий, они нас всех знали по именам, знали, кто с кем и когда играл, названия наших альбомов, даты выпусков, все клубы, в которых мы когда-либо играли, они и про других лабухов спрашивали, поверьте, они больше знали о джазе, чем мы сами. Среди них были два парня из Сибири, прилетели нас слушать — воображаете? — и одна девушка из Китая...

— Из Китая, Брайант? — переспросили мы его.

— Кажется, из Китая, — кивнул он. — В общем, из Азии. Ташкент, Ташкент! — вдруг вспомнил он со счастливой улыбкой. — Чудо из чудес, все они говорили по-английски, так что нам и переводчики не требовались. Они нам принесли цветы, а один даже вынул из кармана бутылку водки и пустил по кругу, чтобы все сделали по глотку. Такие кисы...

Я подумал, что, наверное, почти всех людей, о которых сейчас, спустя семь лет, рассказывал Брайант, я знал лично. Откуда взялась в России такая страсть к джазу?

— Мы с ними встречались после концертов, — продолжал пианист, — и очень хорошо выпивали и разговаривали. Но нас в гости к себе они почему-то не приглашали. Эта девушка из Ташкента, знаете ли... я спрашиваю — а вы где остановились, мисс? — а она говорит — это не имеет значения... Потом они говорят, давайте играть джем-сейшн. Мы с восторгом соглашаемся и в свободный вечер едем с ними в какой-то клуб,

предвкушаем удовольствие. Однако в клуб нас не пускают. Вокруг толпа фанатиков стоит, а в дверях несколько таких персонажей с красными повязками и говорят: ньет, ньет, ньет.

— Значит, не все русские кисы? — спросили мы Брайанта.

После некоторого размышления он сказал:

— Нет, не все, решительно не все. Впрочем, после этой неудачи один русский, как бы разозлившись, пригласил нас к себе домой, и мы там немного все-таки поиграли и опять хорошо выпили и поговорили... Мне кажется, что некоторые русские становились еще большими кисами, когда другие русские показывали себя такими не-кисами... Вот такое, в целом, впечатление.

Он вернулся на сцену, подмигнул нам и снова бурно взялся за клавиши в своем, как сейчас говорят, фанкующем стиле. Мы стали делиться джазовыми воспоминаниями. Илья Суслов рассказывал о первых концертах в кафе «Аэлита» на Садово-Самотечной. Боевое было местечко в начале шестидесятых годов. Стерто с лица земли бульдозерами. Алик Гинзбург сказал, что он недавно сфотографировался с Уилисом Кановером: «Здесь, в Америке, его мало кто знает, а ведь для нас-то это был просто кумир; думал ли я, сидя в Потье, что когда-нибудь сфотографируюсь с человеком, который еще в юности из невыносимо далека глубоким бархатным голосом объявлял каждую ночь «Час джаза»?»

Почему американский джаз после войны больше всего развивался в двух славянских коммунистических странах, Польше и СССР? Один музыкант в Москве считал, что славянину легче, чем кому бы то ни было, понять музыкальную идею негра и в целом формулу джаза как постоянного раскрепощения...

Джаз приходил к нам с Запада, он читался в контексте какой-то смутной свободы. Он был запретным плодом. Играть и любить джаз было, кроме наслаждения, еще и сопротивлением.

Мы вспомнили тех, кого наш приятель Брайант называл «русскими кисами». Стыдно признаться, но наш интерес к тому, что играли они или приезжающие поляки, был острее, чем к первородному фирменному американскому джазу, который нынче для нас просто, так сказать, «дверь по соседству». Может быть, общими были только позывные, а потом шла своя музыка, так называемый славянский джаз?

Кончив свою программу, Брайант вернулся к нашему столу. Мы вспомнили, что неподалеку в отеле «Пятый сезон» играет в пиано-баре русский его коллега Борис, такая же, как мы все, эмигрантская сволочь.

— Мечтаю с ним познакомиться, — сказал Брайант. — Пойдемте туда.

Мы поднялись на поверхность, прошли пару кварталов и вошли в шикарный отель. Из глубины холла доносились очаровательные звуки. В России Борис был заядлым авангардистом, но играть свой авангард там он не мог, вернее, мог, но редко. Слушателей-то было навалом, спрос явно превышал предложение, но власть авангард не поощряла.

Здесь власти наплевать на авангард, однако, увы, здесь как раз наоборот — предложения превышают спрос, своих авангардистов навалом, вот и приходится Боре играть популярные мелодии, создавать для гостей отеля приятственный фон. Неплохо, в общем-то, зарабатывает.

Едва мы вошли и увидели его огромную полуседую гриву, как Брайант воскликнул:

— Я его знаю, фолкс! Это один из тех, кого мы тогда встретили в России, один из симпатичных кис!

Нынче джаз хоть и жив, но задвинут куда-то (а именно в надлежащее ему место) в уголок американской жизни гигантским коммерческим роком.

Любопытно, что джаз каким-то образом умудрился не подчиниться требованиям дурного вкуса, тогда как рок почти полностью адаптирован развязной, немойтой, мас-турбирующей толпой.

Так же, как Элвис Пресли сменил когда-то свою молодую кожу на дурацкий парад какого-то африкан-

ского, марксистского царька, так и коммерческий нынешний рок, предав свинговую эстетику «Битлз», разукрасился блестками, мушечками, перчаточками, оборочками, кружевами, набрал в свой состав бесконечное число бездарностей с огромными губищами, с квадратными задами, с дурной кожей, с жалким вокалом и бездарной хореографией, а самое главное, с полным отсутствием юмора... тычет указательным пальцем в лицо кайфующей от плебейского вкуса толпы, похабным речитативом что-то тупое вопрошает...

Джаз между тем, так и не став достоянием плебса, скромно, но бодро живет в стороне от этой толпы, и для нас, беглецов с Востока, как ни странно, он часть нашей восточной ностальгии...

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1985

Разгар лета. Влажность сто процентов. Наш герой с американской девушкой садятся в такси.

Девушка — хорошо тренированное создание лет сорока, поток волос, сокровищница зубов, то ли княжна TV network, то ли баронесса военно-промышленного комплекса. «Ха-ха-ха, дайте-ка я вам галстук развяжу! Если до вас дойдут слухи о моем распутстве, не верьте: я только лишь люблю мужчинам галстуки развязывать».

В доме, где они только что познакомились, произошла кража. Украдена бутылка.

— Этого принципа алкогольной kleptomании, моя дорогая, я придерживаюсь еще со времен строительства Академгородка в Новосибирске. Хотите пососать?

— Вы всегда так бесцеремонны со знаменитостями?

— О нет-нет, только в эмиграции!

Шофером в ту ночь у них оказался Луи Армстронг. Он печально смотрел в зеркальце на два хохочущих рта,

«...США могут оказаться последней крепостью капитализма...»

В. Маяковский

«...Мы все хвалили (в Америке)... Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись...»

Ф. Достоевский, «Бесы»

1985

Думая однажды о премиях и наградах, полученных его сверстниками и коллегами, которых он почему-то полагал ниже себя, ГМР и не без раздражения окинул стены своего жилища. Пустовато.

Вскоре заказана была рамочка красного дерева, и квартира украсилась высшей наградой нашего персонажа.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Учитывая, что NN (т.е. ГМР) систематически занимается враждебной Союзу ССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

На основании статьи 18 Закона СССР от 1 декабря 1978 г. «О гражданстве СССР» за действия, порочащие высокое звание гражданина СССР, лишить гражданства СССР NN (ГМР) N-ского года рождения, уроженца города N, проживающего в США.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Л. Брежнев

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. Георгадзе

Примечание автора:

Не следует отождествлять эту награду, полученную персонажем, с аналогичной, полученной автором. Первый порочил высокое звание и наносил систематический ущерб, действуя на театральных подмостках, второй — в сфере словесности.

1985

Есть одно явление, ускользнувшее от вездесущей статистики: двуязычие многих собак, зарегистрированных Американским обществом собаководов. Вот, например, наш щенок. При слове «собака» он немедленно бросается к окну; при слове «dog» — та же реакция.





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зимой 1968 года в Крыму, сидя на террасе, висящей над верхушками кипарисов, и предаваясь восхитительному зимнекрымскому пьянству, трое приятелей решили написать «шикарный шпионский роман», советский вариант приключений Джеймса Бонда с красотками, погонями, ЦРУ, КГБ, с различными этническими кулинарными и, разумеется, с морем разливанным виски, джина, водки и шампанского.

Бикфордов шнур воображения, как витиевато они выражались, должен был ветвиться через Россию, Францию, Вьетнам, ну и, конечно же, через Соединенные Штаты Америки.

Из трех соавторов двое (поэт Г. П. и прозаик В. А., то есть ваш покорный слуга) в Америке никогда не были. Зато третий, автор немалого уже числа приключенческих книг О. Г., был, так сказать, настоящим американистом, знал английский язык не хуже своего родного и нередко, закрыв глаза, совершал мысленно прогулки по Пятой авеню, стараясь не пропустить ни одного питейного заведения, где когда-то сидел то ли в воображаемом, то ли в реальном шпионском качестве.

В начале работы одному из соавторов, а именно мне, почему-то пришлось в голову написать сцену на ипподроме. На американском, разумеется, ипподроме. Конечно, я не имел ни малейшего понятия, какие в Америке ип-

подромы, где они расположены и существуют ли они там вообще. Направился к нашему знатоку: найди мне, пожалуйста, какой-нибудь подходящий к случаю ипподром в Америке. Он открыл свои справочники. Вот тебе, изволь, самый подходящий — ипподром Лорел, штат Мэриленд.

...Могло ли мне тогда, в феврале 1968 года, на склоне Крымских гор, прийти в голову, что я буду по меньшей мере дважды в неделю проезжать мимо этого самого ипподрома по дороге из дистрикта Колумбия в Гаучер-колледж, что на окраине Балтимора?

Не так давно в журнале «Комментари» некая писательница Фернанда Эберстадт (не исключено, что приятельница Бернадетты Люкс) представила общественности ядовитый разбор моего романа «Ожог», сопровождаемый еще более ядовитым жизнеописанием автора.

В лучших традициях советской литературной коммуналки Фернанда поведала читателям некоторые неблагоприятные факты моей биографии и представила на обозрение неоконсервативной общественности мои сомнительные политические склонности и отвратительные черты характера.

Здесь, разумеется, не место говорить подробно ни об обвинениях миссис Эберстадт, ни о том, что ее писания поразительно отличаются от привычного стиля американской журналистики и напоминают скорее словесный блуд иных моих соотечественников — доброжелателей как из эмигрантской, так и из советской среды; уместно, может быть, лишь остановиться на одном эберстадтовском пункте.

После того, пишет она, как Аксенов в 1963 году лицемерно покаялся в «Правде», он в течение двадцати лет наслаждался благоволением Кремля и непрерывными поездками за рубеж, в том числе в 1975 году в Калифорнию, а именно (очевидно, в соответствии со своими анархическими склонностями. — В.А.) в пресловутый Беркли.

Тут очень много неправды, которую можно отнести и за счет неведомых мне «русских консультантов» Эбер-

стадт, а можно, впрочем, оставить и на ее совести. Во-первых, с 1963 года («покаяние») до 1980-го (высылка и лишение гражданства) двадцати лет явно не прошло, во-вторых, в течение этого периода я, по крайней мере три раза, на многолетние сроки становился «невъездным», даже в Польшу тогда не пускали, гады!

Что касается поездки 1975 года в Калифорнию (в UCLA, а не в Berkeley), то за эту поездку я бился едва ли не целый год, писал бесконечные заявления, ходил на приемы к различным «булыжникам» и даже инсценировал что-то вроде истерики в секретариате Союза писателей с криками: «Я вам не крепостной мужик!» Так или иначе, — каюсь, Фернанда! — я и в самом деле провел тогда два месяца в США и по приезде написал книгу американских очерков «Круглые сутки нон-стоп».

Любопытно мне было сейчас, когда я завершаю свою вторую книгу об Америке и нахожусь в преддверии своего американского романа, почитать те очерки 1975 года. Забавно прежде всего то, что в них, напечатанных в советском журнале «Новый мир», не содержится почти никакой критики американской жизни.

Весна 1975 года в Калифорнии была для меня, может быть, самым беззаботным временем моей — прости еще раз, Фернанда! — хлопотливой и суетной жизни. Дважды в неделю семинар на родном языке, а потом Санта-Моника-бич, «многопартийная система», всякого рода шлянья — как будто молодость вернулась. Может быть, эта беззаботность и сказалась прежде всего на карнавальном и — Фернанда! — конечно же, гедонистическом характере книги «Круглые сутки нон-стоп», а может быть, тут что-то присутствовало и посерьезнее, а именно нежелание чужака замечать изъяны здешней жизни.

Подсознательно я как бы отшвыривал стереотипы многолетней антиамериканской пропаганды и, изображая волшебную карнавальную Калифорнию, как бы бил по социалистическому реализму. Как еще я мог писать тогда о самом западном Западе, после которого снова уже пачи-

нался Восток? Вся моя критика тогда направлялась в адрес родины, что и окончилось, как уже было сказано, потерей родины.

Сейчас я уже почти американец. Я привык к тому, что меня раньше раздражало, например, к запаху попкорна в кинотеатрах, к слабому американскому кофе, к тому, что футболом называется не-футбол, я привык ставить месяц впереди числа, говорить «у-упс» вместо «оп» и «ауч» вместо «ой», потряхивать кистью правой руки, будто обжегся, если что-нибудь непомерно дорого... Будучи американцем, я уже свободен от безоговорочного восхищения, я вижу не только светлые окна, но и затхлые углы моего нового дома, будучи им «почти», я все-таки временами почесываю себе башку: а не вышвырнут ли меня и отсюда за критиканство?

Вот Фернанде Эберстадт мое ворчание ведь явно не нравится. Сидит, дескать, в Вашингтоне какой-то развязный анархист, бывший «комсомольский хиппи», прохлаждается, да еще денежки получает за критику американской массовой культуры.

Консервативная дама, впрочем, не высказывает своих соображений по поводу моего правового положения в этой стране, но вот К.-Е. Матиас из Атенса в ответ на мою статью в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» пишет: «...Мы не выбросим Аксенова из нашей страны, но мы ответим более суровым возмездием на его мрачные размышления о нашей художественной жизни, мы будем игнорировать их!» Это заявление дает мне повод предположить, что, если Матиас вдруг смягчится и воздержится от «более сурового возмездия», меня все-таки выбросят.

Боги! Куда же мне тогда деваться, «куда нам плыть», ведь дальше вроде и некуда, ведь Америка же это вроде как бы last frontier*, на которой предполагалось отбиваться до конца?..

* Последнее пристанище.

«Круглые сутки нон-стоп» были напечатаны в Советском Союзе на пике детанта. Теплые капли разрядки шлепались на плечи государственных деятелей, в космосе соединились серпасто-молоткастый и звездно-полосатый корабли, и полковник Леонов, вопреки ожиданиям, не попросил в американском салоне политического убежища.

Теперь таких книг об Америке в Советском Союзе не печатают. В последние брежневские, андроповские и черненко-ские годы в советской прессе воцарилась одна лишь черная ложь. Альтернативность американского образа жизни советскому социализму выводит из себя вершителей «исторического прогресса». Прimitивность лжи, очевидно, вполне устраивает заказчиков: новых умов она не заморочит, а призвана заморочить дальше уже замороченных, еще плотнее укрепить в их сознании знак Соединенных Штатов как извечного и окончательного врага.

В принципе та же идея, хотя и выраженная более изощренным способом, живет в антиамериканских высказываниях определенной советской литературно-бюрократической группы, известной теперь под условным наименованием национал-большевиков.

Для выражения своих идей нацболы часто используют жанр литературной критики. В этом поле нередко старается поэт Станислав Куняев, квазирусский (хоть и с татарской фамилией) враг мирового космополитизма. Бдительно он выискивает по страницам советской прессы мельчайших блох американофильства и космополитизма. Постоянное и пристальное внимание С. Куняева приковано к собрату по советскому поэтическому цеху Андрею Вознесенскому, он подкарауливает каждый неосторожный шаг этого «абстрактного гуманиста». Последний в поисках метафоричности, достойной, в самом деле, лучшего применения, сравнивает Россию и Америку с двумя ладонями, обхватившими лоб планеты.

«Две страны, две ладони тяжелые, предназначенные любви...» Легкий морозец политической пошлятинки про-

бегают по коже при чтении этих строк, однако не это волнует нацбола Куняева. Вознесенский виновен в том, что, оказывается, «предъявляет равный абстрактно-гуманистический счет разным системам», из коих Америка «олицетворяет в сегодняшнем мире культ насилия и террора», а Россия, очевидно, олицетворяет противоположное, то есть культ терпимости и либерализма. Две таких ладони вместе быть не могут, считает Куняев. Планета, стало быть, обречена на одноладонную любовь, бр-р-р...

Даже и в лучшие свои времена Америка, продолжает нацбол Куняев, не держала среди своих лозунгов идею любви, но культивировала насилие и захват. Вот вам пример — судьба коренного, то есть индейского, населения. В российской истории, стало быть, подобных примеров не найдешь, а завоевание Сибири, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, многочисленные разделы Польши были лишь распространением российской поглаживающей ладони.

Другой советский поэт того же направления Игорь Шкляревский в декларативной поэме тоже не обходит Америку своим вниманием. У него все-таки еще хватает совести вспомнить добрым словом американскую продовольственную помощь во время войны (обычно по этому поводу изрыгается лишь сарказм — мы-де воевали, а они-де только свиную тушенку давали), но и он предъявляет Америке какой-то, самым мягким образом говоря, дурацкий и наглый счет.

*Америка, ты богатая,
На бабах ты не пахала,
Не воевала ты на своей земле,
Наше горе твоим не измеришь
Сегодня ты все имеешь,
Только — воображения хочу тебе пожелать:
Нас не будет, и вам не бывать.*

К американскому богатству нацболы относятся так, будто оно свалилось на США с неба, а не было создано

колоссальным трудом народа, энергией и предприимчивостью дельцов, пафосом строительства принципиально нового в истории цивилизации, сильного, но либерального общества. Им кажется, что при раздаче богатства матушка-Россия была просто-напросто несправедливо обделена, а вот Америка при дележе нахапала.

Не лучше ли было бы не злопыхательствовать на чужое богатство, а всерьез подумать о своей бедности: откуда она?

Объявив древнее дело грабежа и разрухи величайшим событием в истории человечества, задушив собственную демократию в самом зародыше, беспрекословно подчинившись самой лживой и самой неумолимой власти, приняв самую идиотскую систему экономики, став диким пугалом всей земли, они не хотят даже задать себе вопрос: «кто же пашет на русских бабах?», а вот с рабской наглостью полаять через забор на богатого соседа — за милую душу!

В недостатке воображения, что здесь как бы предполагается Шкляревским, содержится и априорная агрессивность, нацеленность на уничтожение оппонента. Поэтическое же воображение нацболовизма не выходит за пределы им же созданного обмана.

Вообще, в отношении Америки там, за Беринговым проливом, бытуют мифы собственного изготовления редкой устойчивости. Даже и высоколобые интеллектуалы нацболовизма пребывают (не исключая даже, что и искренне) в их плену. Для того чтобы расшевелить в данном случае американское воображение, не мешает бросить взгляд на то, как эти идеологи представляют себе интеллектуальную и литературную ситуацию в Соединенных Штатах.

Согласно нацболовской классификации (классификация — это главная одержимость марксизма всех времен; иной раз кажется, разреши ему все проклассифицировать, и он оставит человечество в покое), — итак, согласно этой классификации, культурные силы США делятся на две

основные группы — космополиты и национально мыслящие. Нетрудно догадаться, к какой группе направляет нацбололизм свои симпатии.

К «национально мыслящим» критик Селезнев относил таких писателей, как Фолкнер, Фрост, Колдуэл, Стейнбек, Уоррен, Уайдлер, Гарднер. Критик Петр Палиевский, что слышет вожаком нацболовской теоретической мысли, считает Фолкнера чем-то вроде американского Шолохова, хотя и в несколько ухудшенном варианте, ибо он «предлагал не больше, чем мог предложить: старые человеческие ценности», тогда как Шолохов был выше гуманизма, этого наследия «устаревшего девятнадцатого века».

Все-таки Фолкнер хорош как представитель глубинки, истинно народной жизни и, таким образом, как антитипод космополитам-авангардистам типа Джойса. Выстраивая свою схоластическую схему, дьячки нацбололизма объявляют суть современного конфликта: космополиты против России, космополиты против Америки, космополиты против мира, космополиты против самого бытия.

В американской культурной жизни, по мнению другого кита нацбололизма Кожинова, существуют сейчас «здоровые возрожденческие» силы и «темные силы распада»; к последним относятся постмодернисты. К постмодернистам же, злокозненным, что язвительно противостоят «истинным ценностям американского народа», московский мудрец относит народ такого типа: Ален Гинзберг, Джек Керуак, Лоуренс Ферлингати, Курт Воннегут, Джером Сэлинджер, Джон Апдайк, Филип Рот, Норман Мейлер, Питер Брукс, Джерри Рубин, Джеральд Дворкин, Пол Гудман, Дениз Левертов, Карл Шапиро. Процент еврейских имен, как мы видим, в списке «темных сил» весьма высок: так у нацболов всегда.

В том факте, что многих писателей из этого списка в шестидесятые и в семидесятые годы публиковали в СССР, Кожинову видится некое звено мирового космополитичес-

кого заговора. Люди, публиковавшие их, делали вид, что имеют дело с бунтарями против капиталистического общества, а на самом-то деле их бунт направлен «в равной степени — а подчас даже в большей — против социалистического образа жизни».

Постмодернистский бунт, по Кожинovu, являлся орудием «заправил мирового империализма», «Бельдербегского клуба (?) и ЦРУ» и способствовал выработке зловещей политики Рейгана.

Чуть-чуть споткнувшись на «неоконсерваторах» — ведь они, настоящие враги социализма и друзья президента Рейгана, на дух не переносят постмодернистов, — Кожинov пускается в перечисление: «Норман Подгорец, Ирвинг Кристоу, Роберт Элтер, Чарльз Френкель, Дэвид Рисмен, Натан Глейзер» — ах, как будоражит эндокринную систему пацбoла звучание этих имен! — и тут с легкостью и (согласимся) полной естественностью приходит к выводу: и те и другие являются антикоммунистами, космополитами, действующими в полной стачке друг с другом, сначала одни, потом другие, ибо «перед нами две стадии (!) развития одного литературного и, шире, идеологического явления. Цель и на той и на другой стадии одна: превратить американский народ в послушное орудие международного империализма и сионизма».

Последнее слово кожиновской аргументации нам следовало бы подчеркнуть трижды, в нем содержится корневая идея всех этих дубовых пацбoловских построений: «Бей жидов, спасай Россию и Америку!» Главный враг нацизма любой окраски остается все тем же.

Любопытно, что в этих невежественных бреднях впервые как бы проявляется какой-то смутный призыв к «здоровым силам Америки». Раньше предполагалось, что всякая американщина должна быть искоренена ходом исторического прогресса, сейчас у здоровых сил появилась слабая, но все-таки надежда на выживание и даже на сотрудничество в борьбе с «темными силами распада»; им нужно лишь отбросить «старые человечес-

кие ценности» да вызвериться антисемитизмом, а потом-де договоримся.

Невежество нацболизма в оценке американской культурной ситуации, возможно, является идеальной канвой для примитивного рисунка модернистского, космополитического и в конечном счете еврейского заговора. Выделив почему-то покойного Джона Гарднера в качестве символа «здоровых, национально мыслящих сил», Кожин не может даже удержаться от намека, что трагическая гибель писателя была не случайна, что за ней можно увидеть «поистине страшный смысл», разглядеть зловещие тени постмодернистов и неоконсерваторов.

Невежество, мифотворчество и вульгарность в оценке американской ситуации, увы, не является достоянием одних только нацболовских умников. Официальная советчина (может быть, даже и специализированные по Америке соответствующие учреждения и личности вроде спецкоров и обозревателей) также не очень-то ясно представляет себе американскую жизнь. Охотно берутся на веру самими же изобретенные стереотипы лжи. Массовый агитатор, говоря об американской прессе, употребляет выражение «машина американской пропаганды», но даже такой эксперт, как Георгий Арбатов, сдается мне, не понимает степени независимости здешней прессы от правительства.

Придушив у себя в стране всякие открытые проявления инакомыслия, советские аппаратчики хотят и Америку представить тоталитарным царством, а главное, они сами хотят поверить в это, всячески избегая мысли о том, что, если бы меру непокорности, пужную в СССР для определения антигосударственности, можно было приложить в США, антигосударственным оказалось бы едва ли не все американское население.

Среди советских чинов в моде высокомерное презрение в адрес Соединенных Штатов, идущее, без сомнения, от определенного комплекса неполноценности. Это высо-

комерие, между прочим, сравнительная новинка стиля. Когда-то на Америку (хотя бы в производственном смысле) равнялись; Ленин призывал сочетать «русский революционный размах с американской деловитостью», всю жизнь слышались призывы из-за Кремлевской стены «догнать и перегнать Америку», Хрущев даже отмерил для этого дела двадцатилетний срок и к этому времени как раз и приурочил построение вожделенного коммунизма. После падения Сайгона, однако, Америку как мировую силу как бы уж и списали со счета, тогда-то и появился этот стиль взгляда свысока, разговора с темной презрительной ухмылочкой. (В скобках замечу, что этот стиль, который практикуется и сейчас, все-таки был в последнее время, а именно, сдается мне, после Гренады, несколько поколеблен.)

Вспоминается, как однажды на прибалтийском писательском курорте появился крупный цековский чин, только что вернувшийся из Америки. Основательное брюшко товарища нависало над новенькими стоявшими коробом джинсами Levi's, молния застегивалась только на пол хода. На груди товарища висела американская камера «Полароид». Время от времени он фотографировал свое полностью американизированное семейство и с довольной улыбкой превосходства над окружающими (большинство из которых никогда не видело в глаза полароидного чуда) держал двумя пальцами быстро подсыхающий снимок.

После обеда, за коньячком, он рассказывал писателям об Америке. Эта страна идет в ложном направлении... Презрительно выпяченная нижняя губа... У них кишка тонка... Смешок... Все, что они выдвигают, просто несерьезно... *Misleading and misled country**, добавлял он почему-то по-английски...

Пренебрежение силой Америки и вообще Запада весьма характерная (и очень опасная для всех) черта нацбонизма. С Европой вообще для них вопрос как бы уже решен — надо будет, сдуем, как пыль! Откровенно по-наци-

* Впавшая в заблуждение и заблудшая страна.

стски взирает на Европу новый мессия нацболов поэт Юрий Кузнецов.

Тем, «кто молод», он предлагает уже сейчас снаряжать лошадей, «скакать во Францию-город, на руины великих идей». Нет ни военных, ни нравственных преград — «нам едино, что скажут потомки золотых потускневших людей»!

«Только русская память легка мне!» — восклицает далее поэт и завершает пассаж соображением о том, что «чужие священные камни, кроме нас, не оплачет никто!».

Трудно не увидеть здесь нацболовской мечты о глумлении над разрушенной и поработенной Европой. Только зря готовит лошадок Кузнецов. Никто этих всадников с их крокодиловыми слезами во «Францию-город» не пустит, а сунутся, так получают такого леща, что копыт не сосчитают. Нацболизм хоть и зловещ, но ублюдочен от рождения, и не только потому, что загодя разгадан, но и потому, что опирается на дурную идеологизированную память, не понимает современного мира, не может оценить реальной мужской силы демократии, включающей и отменную мощь европейских армий, и, между прочим, сознание нескольких миллионов инакомыслящих русских.

Широко практикуется в этих кругах миф о том, что «американцы — плохие солдаты», что они изнежены и декадентны. Этот очень опасный миф основан на чрезвычайно низком уровне знания американской психологии, на недооценке американских парней. Рискну заметить, что приведенные выше нацболовские соображения об американских интеллектуалах, возможно, вполне соответствуют соображениям (если таковые вообще имеются) о мире американских стадионов и пивных салунов, о всех этих *red necks*, *tough guys* и прочих потребителей пива «Бадвайзер», которые, собственно, и составляют костяк страны.

Америка, в принципе, не любит проигрывать. Американские парни во Вьетнаме не проиграли ни одного сражения. Эта война, увы, попросту оказалась полем внутриамериканского спора. Поводов для высокомерия у сов-

аппаратчиков в связи с Вьетнамом нет никаких. Им лучше бы лишний раз сообразить, что у Америки есть все шансы, чтобы защититься от шантажа, что, разлетевшись на Америку, вечно на ней расплывались — слава Богу! — разные нахрапистые трутни с казарменными идеями «самых передовых обществ».

Далее следуют соображения «единства». Советское общество едино, американское общество раздроблено, то есть как бы слабее. В этой системе пропущен один немаловажный момент. В так называемой раздробленности Америки живет ее магнитная сила, сильнейшее желание ее защищать.

Если бы Америка была «едина» по советскому или иранскому образцу, ее защита не стала бы духовной целью современного человечества. Нужна не только решимость, но и страстное желание защищать Америку с ее многоликостью, ее разбродом, ее идейными и эстетическими шатаниями, защищать ее гедонизм, ее щедрость, ее этническую пестроту и англо-шотландский фундамент, ее неравенство, ее технологию, ее стихийную контрреволюционность, в которой до сих пор живет надежда на новую либеральную пору цивилизации, ее экуменизм, ее капиталистов и ее бродяг, ее суперстарз и ее фермеров, профсоюзников, журналистов, политиков, феминисток, священников, проповедников, культуристов, гомосексуалистов, лесбиянок, сектантов, гадалок, постмодернистов, борцов, уличных музыкантов, игроков казино, беглецов с Востока, панков и хиппи, манекенщиц, киношников, биржевых брокеров, девиц «гоу-гоу», налоговых инспекторов и даже ее агентов по продаже недвижимости...

Я пишу эти строки во время очередного бейрутского кризиса, когда бесноватые муллы и ублюдочные террористы пустились во все тяжкие, чтобы унижить Америку, а значит, унижить все законы Эллады, заповеди христианства, кодексы рыцарства, все, что еще осталось достойного за-

щиты. Будь я молод, я бы записался сейчас в американскую морскую пехоту, чтобы провести какое-то время своей жизни в прямой борьбе за свободу.

Называя лопату лопатой, я скажу, что в наши дни антиамериканисты, даже и такие, как Габриэль Гарсия Маркес, являются врагами свободы и друзьями мирового концлагеря, хотя парадокс Америки заключается в том, что она должна защищать и своих антиамериканистов.

Дождь в Джорджтауне, все замедленно, машины наплывают одна за другой в ритме долгого дождя, почти элегически мы движемся в своем «бэби-бенце» в поисках местечка, чтобы пришвартоваться, мимо маленьких домов с медными ручками дверей, с фигурками уток и фламинго на крыльце, с окнами, за которыми видны картины, каминные лампы, мимо этнических ресторанчиков и маленьких лавок, демонстрирующих фокусы обувной, табачной, мебельной и прочих элегантностей и экстравагантностей, вдруг слегка вздымаемся, оказавшись на мостике через канал, где еще уцелели деревянные шлюзы, — в конце улицы, в сумерках серой полосой прокатывается Потомак — появляется расплывающийся красный светофор, обзор закрывается складками плащей, разноцветными клиньями зонтов, мелькают два-три смеющихся лица, ритм внешнего движения вдруг совпадает с блюзом внутримашинного радио...

«Ах, американский дождь...» — вздыхает наша московская приятельница. Третьего дня мы случайно натолкнулись на нее возле памятника Линкольну. «Вот, посмотри, — сказала Майя, — на ступенях сидит женщина, как две капли воды похожая на Галю Груздеву».

В первые годы после эмиграции, надо сказать, перед нами то и дело мелькали в американском калейдоскопе знакомые московские лица: то сенатор какой-нибудь на газетной странице оказывался похож на Женьку Р., то бартендер в ресторане на Витьку Е., то банковская касирша смахивала на Ирину Д. и т. д. Даже в чертах бас-

кетболистов на экране ТВ нам виделись наши прошлые Жорки, Таньки, Светки, Мишки.

Двойник Галки Груздевой встала и оказалась Галкой Груздевой. Оказалось, что большевики вдруг расщедрились и отпустили ее в Америку, и вот именно в Вашингтон, на научный конгресс. Нет, она нам не звонила, у нее и телефона нашего не было. Ну конечно, она могла бы достать наш телефон в Москве, спросить у друзей, но не спрашивала, боялась, трепетала над своей визой, как над фарфоровой — как бы не кокнуть, а вдруг отберут, если узнают, что с Аксеновыми дружна.

И вот такая встреча. «Я о вас думала, а вы вдруг материализовались, нет-нет, я теперь не боюсь, ведь это уже Америка». В дождливые сумерки мы едем вместе ужинать в Джорджтаун. Она, не отрываясь, смотрит в окно на брызги дождя и, очевидно, замечает гораздо больше, чем мы, в окружающей столь влажной действительности. Немолодая женщина, ученый-биолог, умная и уже основательно усталая, как и все немолодые советские женщины-биологи. Она впервые в Штатах и, кажется, впервые вообще на Западе.

Вдруг — удача! Какой-то brave малый бодро подходит к своему «камарро», — значит, мы сможем встать на его место. Я открываю окно. Are you leaving, sir? Он улыбается. Your luck!* Галя смеется. «Мне все еще забавно, что вы разговариваете по-английски». В самом деле, забавный образ жизни, соглашаемся мы: внутри ты говоришь на своем языке, открываешь дверь и оказываешься как бы в другом составе воздуха.

...Мы ужинаем в китайском ресторане. Наша приятельница разглядывает других едоков, вполне обычный подбор джорджтаунских dining parties**.

— Знаете, ребята, я иногда думаю, — говорит она, — что американцам, наверное, гораздо труднее умирать, чем нашим людям.

* Вы уезжаете, сэр?.. Вам повезло!

** Дружеских обедов.

— Ты думаешь, здесь мало беды?

— И все-таки. — Она вздыхает. — Здесь, может быть, не меньше драм, но меньше тоски, худосочия, унижения. Жизнь здесь человечнее, из нее уходить труднее, чем из нашей...

— Однако они не знают ведь другой, для них эта жизнь вполне обычна, они не помещают себя в ту жизнь, которую ты, Галя, столь метафорически называешь нашей...

Апрельским пополуднем (так и хочется сказать «афтернуном») я гуляю с нашей собакой в Рок-Крик-парке. В этой его части нет ничего культивированного, возникает иллюзия леса, хотя по берегам каньона в десяти минутах ходьбы располагаются иностранные посольства. Ручей, тропинка, склоны, кусты орешника и вишни, стволы огромных дубов, каштанов и кленов.

Мы одни. Ушик хлопотливо что-то выискивает в камнях и траве, бросает задними лапами прошлогодние листья. Полное отсутствие ветра. Все неподвижно во всем объеме леса и неба. Рассеянный серый свет. Крутой склон прилегающего к каньону парка «Дамбертон оакс» в полном цветении: все оттенки розового перемешаны с пятнами яркой желтизны и пучками белого, и все пронизано нежнейшей зеленью. Я долго смотрю на этот цветущий склон, и вдруг меня посещает уверенность в том, что это не что иное, как душа моей недавно скончавшейся в Казани девяностодвухлетней тетки Ксении.

Она умерла полгода назад, но я узнал об этом только за неделю до этой встречи. Письма из Казани почти не доходят, телефонные звонки из Вашингтона, думаю, поднимают по тревоге полный состав местного ГБ.

Сестра моего отца, она росточком не доходила ему до плеча, некрасивая, нос картошкой и удивительно голубые глаза. Муж ее погиб, господи, еще в Первую мировую войну, и с того времени она была одинока, если не считать оравы чужих детей, которых ей, поколение за поколением, пришлось воспитывать.

Я оказался в ее доме после ареста родителей пятилетним детдомовцем, и она воспитывала меня до шестнадцати лет, пока я не отчалил в свое магаданское юношество, к ссыльной маме. Во время войны в казанском доме остались одни женщины и дети. Чтобы прокормить всю ораву, тетя Ксения отправлялась и в дождь и в стужу на местную барахолку. Она торговала там чужими вещами и получала с продажи какой-то процент. Дети ждали у окна ее возвращения. Вот она появляется сквозь пургу, кургузая, маленькая, тонкие губы упрямо сжаты. Иногда она приносила краюху хлеба, луковницу, иногда пару килограммов картошки, иногда ничего.

Вернувшись после десятичасового стояния на рынке, она рубила сучковатые дрова — ее натужные выдохи, от которых нам всем становилось стыдно, — варила еду, иной раз устраивала общую баню.

Запомнилась сцена. Я стою в корыте. Она мне трет немыслимо грязную ногу мочалкой, потом отстраняется, как бы любуясь результатами своего труда, и говорит: «Ну вот, сравни теперь ту и эту, какая же лучше?» Мы оба смеемся. Счастливый момент детства — тетка меня любит!

При жизни о тете Ксении говорили: «У нее большая душа». Встретив ее в цветении склона «Дамбертон оакс», я увидел, какая это была спокойная и мирная красавица.

Большевики изгнали меня с моей родины, отрезали путь к дорогим могилам, однако души витают вне их власти и встают перед изгнанниками в воспарениях американской земли.

Штрихи к роману «Грустный бэби»

1985

Из дневника ГМР.

Внезапно я обнаружил себя лежащим на ложе, жестковатость и малопружинистость которого вызывали странные ощущения той жизни. Это ощущение усугубилось пятном на стене, до странности похожим на то, что образовалось там в 1969 году, когда Виктория швырнула в меня банку с майонезом, но промазала, после чего в течение долгих

лет это невыводящееся пятно служило мне доброй опорой: стоило только выразительно взглянуть на него, как Виктория прекращала спор и покидала комнату.

«К счастью, все это лишь капризы подсознания», — подумал я. В окно с прежней яркостью жарит солнце Бетховен-стрит, стоит одно из тех утр, не таких уж редких здесь, когда кажется, что за ночь мир переменился к лучшему или, во всяком случае, не сподличал в очередной раз — никто не взорван, никто не похищен.

Если только я сам не похищен. Будто похмельная спазма прошла по коже, показалось, что откуда-то хоть и стороной, но вполне отчетливо прошла фраза «нарастает темп уборки урожая, труженики полей по достоинству оценили меткие замечания товарища Горбачева».

Как обычно, большим пальцем левой ноги я включил телевизор. От сердца отлегло: на экране оказался Брайант Гамбл. Он хоть и сказал по-русски «доброе утро», но все-таки с нашим акцентом. Просто Эп-би-си ведет очередную «живую» программу из Москвы, вот наш парень и научился немного вякать по-ихнему.

На кухне не оказалось ни пива, ни кофе, чтобы поправить голову. Снова взяла оторопь: это ведь тоже оттуда, это выражение, здесь-то давно муки похмелья в отставке.

Отправился на угол в магазин «7 — 11», купить себе кофе. Бетховен-стрит выглядела странно. Куда-то исчез филиппинец, торговавший с коляски хотдогами и мороженым, весь бизнес которого держался на людях, коим не с руки было пройти лишнюю сотню метров за тем же товаром в «7 — 11». Вместо него стоял богато одетый узбек с золотым орденом Чойбалсана на лацкане цеховского спинжака. Чего он тут стоит, к чему приценивается? Откуда вообще взялся этот персонаж среди нашей хиппи? Ага, должно быть, просто член делегации парламентариев, вышел из «Хилтона» пробздеться, мечтает о девке...

А вдруг?.. Прошиб лошадиный пот. Влетаю в лавку. Сердце стучит, как лошадь. Цепляю со стенда свеженький «Пентхаус», бодрю себя смешком: интересно, какие тут се-

годня лошади, какие ляжечки на обложечке? В зеркале вижу лошадиную загнанную рожу, в руке журнал «Советский экран». Швыряется в глаза фраза передовицы «нынче вряд ли найдется в нашей стране человек, неверяющий себя решениями Апрельского (1985) пленума ЦК КПСС»...

Неужели влопался? За ночь перевезен из нашего города в их, то есть в нашу ту из этой их, иными словами, в эту вот прежнюю, из той настоящей?

Что-то все-таки вокруг еще вращалось, подмигивало и предлагалось, продуктов и товаров было вокруг еще немало, однако не оставляло ощущение зыбкости и незаконности.

Надо срочно брать такси и мчаться куда-то. Если есть еще хоть малый шанс удержаться, надо его использовать!

Такси различных фирм пока предлагались в избытке. «Желтый кеб», «Атлас», «Пять звезд», «Голубая вершина»... Выбираю почему-то без надписи на борту, но зато оливкового цвета и с шашечками. «Гони!»

Таксист сразу начал ругать правительство, и делал это с провокационным упоением: хмыри, мол, аферисты, поганой, мол, их метлой! Парирую: «Если вам не нравится правительство, выбирайте другое!» Он радостно сверкнул цыганским глазом: «Помоги, друг, достать произведения Солженицына!» Нет, этот номер не пройдет, не спровоцируешь! Начинаю мычать что-то вроде «этих превосходных полетов», а получается генетически опротивевшее: «Мы красная кавалерия и про нас»... Машина останавливается у подъезда «Союза творческих союзов». Вижу часовых с четвертой и второй буквами русского алфавита на погонах. «Куда ты меня привез, распиздай?» — «Кажется, по адресу», — отвечает раб, подавляя рыдания. «Нет, не выйдет, вези туда, где у меня еще остался шанс!» — «Куда? Где это ваш шанс? Сами не знаете!»

...Площадь вздымалась брусчатым горбом и сплющивалась по краям, будто в широкоугольной оптике. Агарофобия окаймлена была клаустрофобией громоздящихся строений, все эти красные кирпичи и плиты шлифованного лабрадора,

все эти зубцы, шпили, козы ножки карнизов, витые тюрбаны куполов, вся эта социалистическая Византия.

Нескончаемая очередь тащилась по краю площади и утекала в прямоугольную черноту. Предполагалась торжественность, но кто-то тихонечко жевал, кто-то, заглядывая в рукав, читал книжку. При полном отсутствии шансов люди все-таки не хотели даром терять времени. А может быть, каждый, как и я, лелеял последнюю надежду?

Из-за угла дома, похожего на сундук персидского царя, вдруг стали выползать круглый нос и крутой лоб «Боинга-747». Кажется, это и есть мой шанс, нужно только пересечь площадь. Однако я не смогу этого сделать в одиночку — агарофобия сдует, как мотылька. Все-таки оторвался от вечной очереди, шатким шагом достиг вершины бугра и там закачался под ветром. На счастье, из башенных ворот вдруг появилась толпа авиапассажиров и зашагала ко мне, персон не менее трех сотен.

Они шли в ровном темпе, неся через плечо или в руках свои сумки, фотокамеры, туалетные ящички, и брифкейсы, и прочее, то есть теннисные ракетки и клюшки для гольфа. Выглядели они как-то вразнобой — иные загорелыми и цветущими, будто прямо из Майами, другие бледными и задроченными, будто не иначе как из Нью-Йорка. Одни шли по-простецки, едва ли не на босу ногу, другие по всем законам клуба, одни беззвучно хохотали, демонстрировали сильнейшее возбуждение, будто только что освободились из бейрутского плена, другие шагали с сосредоточенной вяловатостью, словно возвращались из деловой командировки в Чикаго.

Вот вам два-три портрета. Милейшая толстуха буфетчица в растягивающихся джинсах и в майке с надписью «I'm sexy»; задниц таких не видывал ни Крым, ни Кавказ. Трудящийся миллионер в длинной шубе из скандинавских мехов шествовал, потупив глаза, как всегда немного смущаясь своего богатства, будто «Роллс-ройс» среди «Фольксвагенов». Стройная женщина-администратор с негативным выражением лица, но зато с великолепнейшим, до складочки, разрезом на юбке; смущало некото-

рое несоответствие — лицо намеренно отталкивало, нога намеренно привлекала. Длиннорукий выпуклоглазый малый в майке с надписью «Пума», с изображением оной и с пучками рыжих волос, из-под майки выпирающих.

Вот к этим своим согражданам я попытался подвалиться, стараясь отвалить подальше от соотечественников, безучастно взиравших из очереди на агарофобический пейзаж. Шатко и неуклюже я шагал вровень с авиатолпой, срезая понемногу, осторожно сближаясь, стараясь не привлечь чрезмерной резвостью внимания сторожевых башен.

Вскоре я заметил, что слился с этой беззвучно шагавшей, жестикулирующей и артикулирующей толпой. Я оглядывался во все стороны, и мне казалось, что я вижу среди идущих немало то ли знакомых, то ли примелькавшихся лиц: своих соседей по кондо, джогтеров, шоферов грузовиков, патрульных, профессоров-либералов-консерваторов, стареющих хиппи, двух поэтов и пяток киношников, дипломатов из Ди-Си, китайских кулинаров, директора, адмирала, писательницу романтического направления, адвоката и чиновницу, водителя скул-баса, студентов-тройнецов и студенток-амазонок, пару кандидатов в президенты, болельщиков футбола, женских активистов, нищих, яппи, фотографа с тремя котами, грабителей, священника, синклит русистов, джазменов, нудиста, Джейн Фонду, ЗАПа, Ромео, Меркуцио, няню... Неужто мой шанс сработал, а если это так, то почему бы и другим с того дальнего берега площади, из тех зубчатых теней, не попытаться соединиться с идущими и не топать вместе? «Не жди ответа, — сказал я себе, — ни на первый вопрос, ни тем более на второй».

Рыжий в майке с надписью «Пума» — мистер Флитфлинт? — вытянул губы и стал что-то насвистывать. Тут включился звук.

Июль 84, Вермонт — июль 85, Париж

БУМАЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ

Повесть



...да и пошел считать столбы,
пока не зарядит тебе в очи...

Гоголь



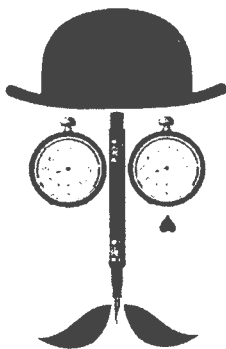
МЕЖДУ ЛЕРМОНТОВЫМ И ПУШКИНЫМ

Зовут меня Игорь Велосипедов. Можно просто Игорь. Публика обычно думает — какая современность! Спортивное динамичное сочетание, звучит просто как псевдоним, даже вспоминается из советской поэзии, но ведь вы, кажется, не певец?

Публика, увы, становится жертвой недоразумения, моя несчастная фамилия таит в себе, как это ни странно, настоящую историческую неожиданность. Боюсь, вы удивитесь, узнав, что эта фамилия появилась на Руси, по крайней мере, за двести лет до изобретения велосипеда. Эта латинская фамилия принадлежала лицам духовного звания и переводилась очень просто — Быстроногов. Велоси, с общего разрешения, — быстрота; пед, к общему сведению, нога, ступня, товарищи.

Быть может, был когда-то в древности какой-нибудь легкий на ногу служка, которого посылали за... ну, за чем-нибудь важным, ну, а прапрадед мой пел дьяконом в соборе города Вышний Волочек еще в начале XIX века.

Если что-то хронологически тут не сходится, добавьте по своему вкусу еще хоть пяток «пра»; не поверите, не обижусь. Ни к каким записям вас не отсылаю, а если сами на что-нибудь натолкнетесь, будьте осторожны — бумаги нередко врут.



Верьте, братцы, никакого у меня нет чванства в связи со своей старинной фамилией, и вовсе я не торчу на этих модных нынче «поисках корней», а вот просто иногда засасывает некоторая тоска отчуждения и начинается что-то вроде стихийного недовольства отдельными шероховатостями нашей, в целом-то интересной, жизни.

Когда народ восстанет, он прежде всего уничтожит различные архивы и картотеки и восстановит более натуральные связи между людьми — мимику, жестикуляцию, игру глаз, в конце концов, язык.

При слове «Велосипедов» многим приходит в голову период Реконструкции, а ведь это неестественно, другие конечно же воображают Начало века, большущие трисиклеты, это уж, виноват, просто примитивно. Простите, совершенно не понимаю некоторых молодых особ с их бесконечным и довольно утомительным ерничаньем, их прыжки и ужимки — месье Велосипедов, месье Велосипедов! Ну что это за обращение? Нельзя ли просто Игорь?

Ну что в этом остроумного или там обидного, оскорбительного? Ведь если бы я, предположим, жил в Париже, меня бы так и называли бы — месье Велосипедов, с ударением на последнем слове, пардон, слоге. Может быть, что-то есть смешное, обидное, оскорбительное в словечке «месье»? Вот, скажем, есть у нас некоторые женщины, которые обижаются при вежливом обращении «мадам» — какая я тебе мадам? — вплоть до вызова милиции, как будто ее проституткой называли, а ведь это просто, товарищи, получается так из-за невежества. Ведь для французского населения и «мадам» и «месье» обычные обращения, когда-то они и у нас употреблялись, когда-то и у нас, товарищи, не все были товарищами, различался пол.

А ведь тех молодых особ, которых я имею в виду, тех, что употребляют мое имя в порядке глупого юмора, невеждами ведь не назовешь.

Не оттого ли я так по-страшному заборзел?

Вот вообразите, сто лет назад, в 1873-м, в разгаре царской реакции, встречаются в Петербурге какие-нибудь Велосипедов и Добролюбов, так ведь ничего же в самом деле не возникает же постороннего, ведь все протекает, можно сказать, вполне естественно, просто встретились друг с другом Быстрая Нога и Любящий Добро, вот и все, не так ли?

Но отчего же все-таки я той весной так по-страшному заборзел?

Однажды... в субботу это было... Вот, господа, прошло что-то около десятка лет с начала этой истории, я сижу в кресле с откидывающейся спинкой, человек в очках с меняющимися линзами и с некоторыми дефектами слуха, и пытаюсь вспомнить простейшую вещь — в субботу ли это было? В субботу ли? Казалось бы, никакого значения не имеет день недели, а вот почему-то упорно цепляюсь — нет, не в пятницу, не в пятницу, не в пятницу!

В пятницу-то как раз, как обычно, подписав все пятнадцать копий акта поршневых испытаний, Велосипедов ушел из лаборатории ровно в пять, по звонку, хотя товарищи предлагали немного задержаться: Спартак Гизатуллин отмечал премию за внедрение рационализаторского предложения. Премия была ерундовая, едва-едва на зинное количество «чернил», и, выставляя это хозяйство на столе, Спартак сказал с кривоватой, в общем и целом слегка волчьей, улыбкой: больше от меня рацпредложений пусть не ждут, гребать я хотел всю эту Организацию. Под словом «организация», с прискорбием сообщаем, он обычно имел действительно в виду все целое — аббревиатуру из трех сосущих букв и одной рычащей.

Увы, Велосипедов в этот хороший вечер не смог присоединиться к сотрудникам. Добрые ребята полагали его ровней, но они не знали о его внелабораторной жизни, не знали, например, о его дружбе с молодой художницей Фенькой Огарышевой, о его вхожести в артистические

круги Москвы, тем более о его внутреннем мире, в котором он видел себя не инженером в скромной лаборатории, но мировым кинорежиссером, постановщиком фильма о всенародном восстании.

Итак, он ушел и стал завихряться на людных «мятежных» перекрестках — взлетала желтая грива, хлопали полы длинного черного пальто. Ибо Дул Сильный Ветер.

И все-таки начало нашей истории следует отнести к субботе, ибо пятница, несмотря на вдохновение, прошла рутинно. Фенька на звонки не отвечала, где-то шаталась, потому и Велосипедов весь вечер провел в городе, переезжая с места на место будущих съемок, разводя мизансцены огромного общегородского восстания, формуя исторические кадры — штурм Кремля, охваченный пламенем Мавзолеем имени Ленина, баррикады на площади Дзержинского — и чередуя эту эппику (в простоте душевной полагал еще в этом слове два «п», ясность пришла потом), — и чередуя ее, конечно, с лирикой: молодая художница бросила дом, мечется по мятежной столице в поисках друга, постановщика всей этой драмы, и вот тот уже идет к ней навстречу по горящей улице, легкий на ногу, с летящей искрящейся шевелюрой, они сближаются на общем плане... и наступает момент трансфакции... о трансфакция, о трансфакция!

А наутро, в субботу, значит, завтракая яйцом и кефиром, Игорь Велосипедов почувствовал жгучую тоску: жизнь не удалась.

Вот в школе писали сочинение на тему «Образ «маленького человека» в русской литературе XIX века», так что же получается, о самом себе, значит, писал, значит, железно вырастаю в Акакия Акакиевича, как-то не хочется в это верить.

А между тем уж скоро мне тридцать, а ведь ничего не добился, и что самое прискорбное, и никогда не добьюсь, в том смысле, что даже и на хорошую дубленку рассчитывать не приходится, даже и до А. А. не дотягиваю. Давайте порассуждаем. В лаборатории вся секция поршней по-

коится вот на этих плечах, а все лавры достаются Ушакову, только лишь потому, что он защитил фальшивую кандидатскую диссертацию. Ушаков получает 250, Велосипедов — 150, извольте прожить, если пара ботинок тянет за полста, а играть с государством в кошки-мышки, простите, не обучен, воспитывался на примерах энтузиазма.

Возьмем теперь идею фильма, вряд ли она все-таки осуществима, вряд ли возможно будет кого-либо ей в глубоким смысле увлечь, ведь существует в этой интересной творческой затее одна загвоздка — против кого восстание? Ведь невозможна же революция против революционных владык. Случись такое, получится настоящая контрреволюция и весь фильм окажется ущербным в идейно-художественном отношении, а это недопустимо.

Увы, Фенька еще слишком молода и глупа, чтобы понять все эти проблемы, и вот в результате сидит недюжинная натура в полном одиночестве на так называемой кухне так называемой квартиры над так называемым диетическим яйцом перед так называемой корреспонденцией, стопкой конвертов с неизвестным, но предполагаемым содержанием, хорошего ждать не приходится, так бы и смахнул все в ведро, говна-пирога.

Он обычно всю эту мерзость — официальные послания, счета на электричество, газ, воду, погашения по ссуде, предупреждения кооператива, извещения агитационного пункта и избирательного участка, календари Ленинского университета миллионов, в который вот недавно записали по месту работы, — весь этот хлам, не распечатывая, складывал на кухне до субботы, а уж в субботу позволял себе некую страшную игру — расправу над бессмысленной бумажной швалью: рвал, мял, грубо отшвыривал.

Счета, к сожалению, нельзя было повыбрасывать — подлежали оплате, но уж зато предупреждения жилтоварищества «предлагаем погасить задолженность по ссуде до 1 июля 1973 года, в противном случае дело будет передано в юридические органы» или приглашение там на регистрацию для участия в выборах в Верховный Совет, та-

кие бумаженции подвергались обычно шумному надругательству, причем выкрикивались такие непристойности, которых Игорь Иванович не употреблял даже во время учебы в Автодорожном институте.

В ту субботу кучка оказалась повыше обычной. С первого взгляда было видно, что присутствует что-то внеординарное. Так и оказалось, пожалуйста — вызов на медкомиссию в военкомат, значит, опять полезут в жопу с зеркальцем, почему-то на этих медосмотрах больше всего их интересуют зады потенциального войска. Раздвиньте руками ягодицы, нагнитесь, падайтесь! Новая запись в личное дело младшего лейтенанта бронетанковых войск запаса И.И.Велосипедова: геморроидальные узлы не обнаружены — значит, годен.

Что ж, забирайте! Восстание в войсках — какая тема! Тапки на перекрестках. Туман. Два младших лейтенанта в одной башне. Он и она... Она — у него на коленях?.. Так или иначе — Сенатская площадь. Константи́на! Константи́на!

А вот если бы при падении выскочила б шишечка — свободен! Свободен, как партизан, как абрек!

А вот уж и совсем нечто еще более неожиданное — вызов к следователю Уголовного розыска свидетелем по делу №108. Когда говорят «засосало под ложечкой», подразумевают, должно быть, реакцию кишечного тракта на нервные переживания. Произошло бурчание, движение, лопнуло несколько пузырьков, пока не сообразил, что это, должно быть, по делу Гриши Самохина, бывшего ассистента, который устроился арматурщиком на станцию автосервиса, ну и, видно, колесико какое-нибудь унес, маловиновные люди всегда попадают, в общем, посажен.

Не очень приятно попадать в прокурорские записи, даже если и просто свидетелем, все ж таки очень как-то противно, не этому нас учили, жизнь хочется прожить как-то гордо, без следователей, без комиссий, на многое ведь не претендуешь.

Пока Велосипедов вот таким образом полемизировал со своей корреспонденцией, то есть швырял ее и рвал

на мелкие части, будильник на кухне пискнул — 10! Он вздрогнул и неуверенно обратился к телефону. До десяти Феньку лучше не трогать — просто матом покроет, ну а сейчас можно уже как бы небрежно, как бы спросонья, как бы с зевком...

— Алло, Фенечка?

— Да пошел ты!..

Он бросил трубку и даже ладонью немного в воздухе помахал, словно обжегся, посидел с минуту в некотором оцепенении и потом, ничего не поделаешь, взялся за следующий конверт.

Государственная автоинспекция СССР в ответ на его письмо извещала гражданина Велосипедова, что не видит возможности включения его в списки очередников на покупку легковой автомашины.

Что это значит? Почему они не видят этой возможности? Близорукие какие. Что это значит? Вопрос повис и размочалился, и только лишь одна последняя жилка еще давала занудливую нотку — что это значит?

В следующем конверте — ответ местного профсоюза работников автомобильной промышленности на его заявление с просьбой предоставить для самостоятельной обработки садово-огородный участок на канале Москва — Волга. Откровенно говоря, про это заявление Велосипедов просто-напросто забыл, потому что никогда никаких садоводческих идей не лелеял, в подпитии обычно говорил о себе «я дитя улиц», но вот как-то раз пошла в лаборатории такая параша — записываться на садово-огородные участки, вот, хлопцы, домики там построим, будем там пиво пить, вот тогда и он бросил заявление, одна кобыла всех заманила. Он вспомнил, что все уже вроде бы получили эти говенные участки, куча глины над тухлым каналом, и Лесарько, и Задоркин, и Гизатуллин, и даже Блюм, а вот ему почему-то отказали, отказали, отказали! У него потемнело в глазах — да почему же, какие же изъяны обнаружены по сравнению с Задоркиным, Лесарько, Блюмом? Неужто уж я самая ничтожная среди всех пария? Произнеся в уме это па-

рящее слово, которое со школьных лет употреблял он с неправильным ударением, Велосипедов так и поплыл в течении своей мизерности — выходит, уже и не маленький я человек, а просто ничтожный, с чьей-то точки зрения.

Последнее письмо нанесло Велосипедову нокаутирующий удар. В ответ на просьбу о выдаче заграничного паспорта для поездки в Болгарскую Народную Республику по приглашению коллеги-инженера, члена соответствующей компартии Босена Росева начальник Фрунзенского районного ОВИРа гор. Москвы полковник Проженянтов сообщал: «Уважаемый товарищ Велосипедов И.И.! ОВИР УВД Мосгорисполкома уполномочен сообщить, что Ваша поездка в Болгарскую Народную Республику в настоящее время признана целесообразной».

Не-целесо-образной??? Кем это признано и кто уполномочил сообщить? Может быть, это просто дань вежливости, иначе как-то бессмысленно получается. Вежливо, конечно, вполне вежливо, в самом деле не придерешься. Можно и в самом деле сознание потерять.

Сознания он все же не потерял, хотя и поплыл в самом деле, еще раз поплыл основательно в русле своей ничтожности, но в то же время впервые в жизни почувствовал Игорь Иванович нечто особенное, нечто похожее на «восстание в столице», темнеющее и ярящееся, с гордым выдвижением и подъемом подбородка, раздувающееся, расширяющееся, но в то же время и боязливо с тоской поджимающее ноги, ощущающее тщету тщедушной своей немощи среди могущественных тещ.

Нынче модное есть слово — «судьбоносность», иной раз можно прочесть его даже в статье какого-нибудь прохвоста, просто можно руками развести от неожиданности.

Зазвонил телефон.

— Соскучилась, — басом протянула Фенька.

Обычно от одного лишь этого звука, от зовущего этого баска чресла Велосипедова мгновенно опоясывал так-

сказать — некий — если-можно-так-выразиться «дивный огонь», и, опоясав названные выше чресла, дивный этот огонь бурными пульсирующими магистралями направлялся в кавернозный резервуар, где совершал метаморфозу, всегда так по-детски восхищавшую молодую художницу.

В то утро, однако, вместо ответного мычания, свидетельствующего о появлении «дивного огня», Велосипедов разразился, что называется, «речью с балкона», как будто внизу его слушают матросы, а на дворе апрельские тезисы.

— Мне тридцать лет, я не ребенок! Я между Лермонтовым и Пушкиным! Лермонтову двадцать семь было! Пушкину тридцать семь было! Аркадий Гайдар в шестнадцать лет командовал кавалерийским полком!

Кто отвечает за всю программу по диаметру двенадцать и пять десятых?! Почему же всегда только «нет»? Почему меня заваливают одними отрицательными бумажками? Почему ни одного положительного клочка?

Кто уполномочивает? Кто признает нецелесообразной? СССР, мадам? Ваши вооруженные силы, атомные подлодки, хотите вы сказать? Весь наш народ со своим КГБ? Не верю! СССР — не бумажное царство, это могучая сила мира во всем мире!

В моем возрасте возглавляют народные революции, временные советы национального спасения, хоккеисты уже уходят на заслуженный отдых! Не верю! Отказываюсь верить в бумажные мудрости, наглость, наглость, за человека не считают, везде отказы, а на медкомиссию приглашают, значит, им от меня что-то нужно, обман, протестую!

— Ты меня заколебал, Велосипедов, — скучающим тоном протянула Фенька, а затем как бы вздернулась на другом конце провода и скомандовала: — В три часа на Маяковке!

ДЖАЗОВАЯ СКРИПКА

В метро по дороге к площади Маяковского я почти ничего не видел вокруг себя, а только лишь и думал об утрен-

них оскорблениях: эдакое свинство, иначе и не скажешь, капитальное свинство, просто полная несправедливость! Если бы хоть что-то из всего, а то ведь просто ничего!

Только лишь уже на эскалаторе почувствовал я приближение к Феньке, и в чреслах появились первые искорки «дивного огня».

Фенька разгуливала возле памятника Поэту Революции. Порывами дул северо-западный ветер, в связи с этим Фенька натянула поверх джинсов шерстяные оранжевые утеплители от щиколотки до паха, и сейчас столице демонстрировались длинные оранжевые ноги. Однако из быстро летящих холодных туч то и дело выскакивало ярчайшее солнце, освещение постоянно менялось: то вдруг все возбуждалось слепящими лучами, то наполнялось весьма специфическим серым уютом, а это, конечно, давало Феньке возможность нацепить на свой, скажем прямо, слегка, так сказать, длинноватый нос огромные, как велосипед (совпадение случайное), зеленые солнечные очки. Еще жива была в Москве память о свободе (в дореволюционном смысле слова), и это давало моей Феньке возможность не заправлять задний край клетчатой рубашки в брюки, а позволить ему торчать из-под старой кожаной куртки наподобие хвоста. В общем, у нее вид был не вполне положительный, отчасти как бы не совсем советский.

Где-то здесь в районе Маяковки жил ее мастер, почетный, трижды лауреат Гвоздев, и она частенько таскала ему на просмотр свои холсты и рисунки.

— Велосипедов! — закричала девка на всю оживленную площадь. С удивительным удовольствием произносит она всякий раз мое имя, не исключено, что видит в нем что-то декадентское. Иной раз кажется даже, что а и полюбила-то меня из-за моей фамилии. Вспомним первое знакомство. Случайное соседство в метро. Девушка, разрешите представиться. Игорь Велосипедов, инженер. Бух, бух, сказала девушка, Велосипедов, я твоя!

В тени огромного памятника она бросается ко мне и прижимается своими чреслами к моим чреслам. Это для

нее вроде как бы антимещанская демонстрация, ей всегда кажется, что взоры всех присутствующих обращены, конечно, только на нее, но воображаемое не всегда соответствует действительности, разве что какая-нибудь тетка сплунет на бегу — у, чита американская.

— Такси! — кричит Фенька, ее не обманешь, сразу почувствовала волнение «дивного огня».

— Подожди, Ефросинья, — как старший ребенку говорю я. — Чего ж так сразу? Давай погуляем. Как дела в институте?

Девка машет двумя рукавицами — одной желтой, другой зеленой. А у меня в кармане всего семь рублей, а до зарплаты три дня, такси приближается.

Родители Ефросиньи Огарышевой трудятся на дипломатическом поприще, то есть за рубежами нашей страны, нелегкая, согласитесь, доля, а дочь тем временем обучается в плане художественного образования, проживая одна в трехкомнатной квартире возле метро «Октябрьская», а из этого легко сделать вывод, что случилось бы с девочкой, не повстречай она вовремя порядочного человека.

Она влечет меня из такси к своему подъезду будто бы по воздуху. Лифт, хватание меня руками за определенное место, хорошо, что поднимаемся одни.

Из-за дверей ее квартиры на всю лестничную клетку разносится синкопический визг инструмента Стефана Грапелли. Ничего другого я и не ожидал, всегда в отсутствие хозяйки торчит какая-нибудь шпана, балдеют под «джазовую скрипку». Это у них сейчас новый бздик — задвинулись на французах, Грапелли, Превен, Жан Люк Понти, как будто, значит, уже пресытились всеми остальными американцами, слушают только «джазовую скрипку».

Фенька распахивает двери. Балдеете, чуваки? Угу, балдеем! Двое стоят посреди комнаты — Валюша Стюрин, ростом под два метра, и Ванпоша Шишленко, тоже немаленький, слегка колеблют свои конечности, двигаются в такт Грапелли.

— А у нас транс-факк-кация, транс-факк-кация, — быстро-быстро пересекая комнату, поясняет Фенька, распахивает, захлопывает, роняет, поднимает, на ходу стаскивает штаны.

Ну и последующее в безобразно захламленной спальне: томительное и сладостное, с бормотаньем, с легким повизгиванием, чмоканьем, переворачиванием, подгибанием, разгибанием на фоне непрекращающейся удивительной работы, в принципе близкой к моей специальности, если отвлеченно сравнивать с деятельностью поршневых систем, и далее — сравнительно не изученное, хотя и напоминающее смешивание различных начал в карбюраторе внутреннего сгорания, таинственный момент впрыскивания горючей смеси, и, наконец, финальное включение — ре-во-лю-ция, штурм Центрального телеграфа.

— Мерси, месье Велосипедов, — прошептала Фенька, отдышавшись.

Я все еще некоторое время целовал ее смешное личико, скуластое, остроносое, маленькие глазки и чудеснейший пунцовый рот.

Когда мы вышли в гостиную, Стюрин и Шишленко по-прежнему покачивались под музыку.

— Джазовая скрипка! — сказал я. — Вот это штука!

— Мы торчим на джазовой скрипке, — сказал Стюрин, глядя в потолок.

— Полностью заторчали на джазовой скрипке, — подтвердил Шишленко.

— Джазовая скрипка! — Фенька застыла с поднятым пальцем, глубокомысленно вникая в нарастающий свинг Понти.

На несколько минут воцарилось молчание, все присутствующие вникали, и я в том числе, хотя мне эта джазовая скрипка, честно говоря, была до ноги, конечно же, в глубине души я предпочитал старый добрый саксофон старого доброго Джери Муллигана или старое доброе пианино старого доброго Оскара Питерсона.

— Ну что там у тебя случилось? — спросила Фенька.

— Где? — Я что-то сразу ее не понял.

— А что, и Велосипедов стал разбираться в джазовой скрипке? — надменно спросил Валюша Стюрин.

Я промолчал в ответ на наглость.

— Хочешь, Велосипедов, тест на художественность? — спросил Ванюша Шишленко.

— А нельзя ли просто Игорь, Ванюша? — поинтересовался я.

— Можно. Итак, просто Игорь, лови! Пошел козел в кооператив, купил себе... чего?

— Знаю! — вскричал я. — Презерватив!

— Дудки! — бешено захохотал Шишленко. — По легкому пути пошел, милейший! Поднатужься!

Я поднатужился.

— Аперитив, что ли?

— Дудки! — снова бешено хохочет Шишленко. — Альтернатив, мой милый Игорь! Купил себе альтернатив! — и хохочет, ну просто разрывается, ну просто на пол валится, в самом деле, оказывается, не лишен Ванюша могучего чувства юмора.

— И все-таки Велосипедов начал разбираться в джазовой скрипке, — со снисходительностью короля произнес Валюша Стюрин. — Я лично ценю в нем эту большую музыкальность.

— Он и на театре торчит, — заметила Фенька. — Мы с ним немало обсудили театральных премьер, он поклонник Олега Еф...

— Негодяи! — вскричал я. — Пошли бы вы в жопу! Наглые бездельники! Среди вас я единственный, кто... — и, не договорив, я направился к дверям.

— Уходит! — как в греческой трагедии заломила руки Фенька. — Предатель! — и перешла на малотеатровскую скороговоручку. — Получил от девушки удовольствие, поматросил и бросил, держите, люди добрые!

Я уходил. Она бросалась. Оскорбительная дурацкая сцена закрывания двери своим телом, псевдодрама-

тического хватания руками, в то время как Валуша и Ванюша буквально агонизируют от хохота на грязном полу. Нет, невозможно больше терпеть идиотские шутки и паршивое высокомерие этих так пазываемых художников и поэтов, молодых бездельников, околачивающихся по Москве со справками о плоскостопии или психической неполноценности вместо службы в рядах вооруженных сил.

Все вскипело во мне заново. Меня-то как раз призывают на экспертизу — отечеству нужен мой зад, а между тем при помощи вороха, самума этих гнусных бумажек общество отказывает мне во всем, все утренние унижения всколыхнулись, довольно, довольно, и как еще у этой девки хватает наглости предлагать мне какой-то салат?

*Салата не отведав,
Отправитесь вы в ад!
Месье Велосипедов,
Отведайте салат!*

Так она поет, припрыгивает и хлопает в ладоши.

Между прочим, странная и довольно обнадеживающая привычка: после того, что она называет кинематографическим термином «трансфакация», Феньку обычно охватывает желание накормить партнера, то есть, надеюсь, именно меня. Бросается на кухню, что-то варганит, невероятное вдохновение, устоять трудно.

А тут вдруг оказалось, что салат для меня был приготовлен заранее, итак, я сдался.

— А ну, сваливайте, чуваки! — приказала она своим дружкам. — У нас с Велосипедовым начинается интим.

— Мы тоже жрать хотим, Фенька, — пожаловались ребята.

— Позже приходите, может, чего и останется, позже, чувачки, позже, летом, летом...

Может быть бесцеремонной. С чужими. Однако может быть и милой. С другом сердца. Как легко сервирует,

будто ангел летает. Может быть даже опрятной. Какой она будет, в самом деле не скажешь, ведь девке всего двадцать.

*Паштета не отведав,
Вы не уйдете, нет!
Месье Велосипедов,
Отведайте паштет!*

Она поет, летая вокруг стола и предлагая мне ложечку прямо в рот, приседает в реверансе. Наконец устраивается напротив, поджав под себя ногу, подбородок на кулачок.

— Итак, что же случилось? Почему утром был такой хай?

— Знаешь основной закон диалектики? Количество унижений переходит в качество возмущений.

— Браво, Велосипедов!

— А может, просто Игорь?

Я повествую с горечью обо всех этих подлых извещениях и официальных ответах. Зачем они отвечают нам, маленьким людям государства? Уж лучше бы не отвечали, оставалась бы хотя бы надежда, которая впоследствии просто тихо бы отмирала.

— Неверно, — поправляет меня девка. — В молчании государства всегда присутствует дракон.

— Это откуда? — интересуюсь я.

Она молчит, не отвечает, давая понять, что это как бы она сама сочинила, экспромт.

— Я заслужил в конце концов чего-то лучшего, — говорю я. — В самом деле чего-то более качественного. Обладаю опытом и трудолюбием как-никак. Даже ведь и воображением все же природа не обидела, есть и другие положительные качества...

— Есть! Есть! — с жаром подтверждает она, мой женский друг.

— Вокруг процветает блат, блатным все доступно, такова современная система перераспределения в противоречии с тем, что мы учили. Какие качества она развива-

ет в человеке? Сугубо негативные. А вот я хочу, не отказываясь от своих положительных качеств, получить то, на что я имею право как житель зрелого социализма, ничего более, Ефросинья.

— Идея, — говорит она. — Ты должен написать основное письмо.

— Какое?

— Основное. Решающее.

— Кому, сударыня?

В задумчивости она зашагала по комнате балетным шагом, временами застывая в позиции большой батман.

— Бух, бух, — сказала она из этой позиции. — Нужно писать не во всякие там инстанции, а просто тому, кому принадлежит власть. А кому принадлежит власть, Велосипедов?

— Рабочему классу, — сказал я.

— Тепло, Велосипедов! — вскричала она. Огромные прыжки по комнате.

Нельзя не обратить внимания на некоторые фотографии, висящие здесь на стене посреди Фенькиных цветочных разработок. Вот, например, наши, то есть здешние родители, товарищи Огарышевы на фоне Эйфелевой башни города Парижа. Загадка природы — каким же образом у такой пары булыжных лиц выросло противоположное дитя, длинненькое, тоненькое и со смешной рожей?

— Власть в нашей стране принадлежит народу! — сказал я.

Каскад прыжков, еще теплее, Велосипедов.

Или вот еще, пожалуйста, фотошедевр. На сахарном пляже Копакобаны ряшками в объектив расположилась очаровательная компания, сотрудники нашего внешнего учреждения. На переднем плане наш папаша, а рядом дружок, незабываемая физиономия. Почему для такой работы отбирают у нас явно не лучших?

— Партия — хозяин!

— Попал!

Восторженные взмахи рук и ног, бурная танцевальная импровизация, как «Танец с саблями», только без

оных. И все ж таки спасибо вам, товарищи работники наших внешних учреждений, за то, что у вас вырастают подобные дочки, самым искренним образом спасибо вам за это, дорогие товарищи.

— Партии нужно писать основное письмо, — пришел я к заключению и вспомнил к случаю нечто из классической лирики. — Партия — рука миллионнолапая, сжатая в один дробящий кулак.

— Поражаешь, Велосипедов, — вдруг тихо-тихо прошептала Фенька и как будто задумалась, а потом даже как-то вроде бы вздрогнула, будто вообразила воочию этот дробящий кулак, вдруг она вся как-то обвисла, словно провисла в ней игровая пружина, и прошептала: — Уходишь, злодей? Не уходи, пожалуйста. — Она ткнула пальцем в свою звукосистему и тихо запела под визг джазовой скрипки:

*Сардинок не отведав,
Подцепите вы сплин!
Месье Велосипедов,
Отведайте сардин!*

БЕЗ СКАЗУЕМЫХ

Генеральному секретарю ЦК КПСС
товарищу Брежневу Леониду Ильичу
от Велосипедова Игоря Ивановича,
инженера Секции поршней Моторной лаборатории № 4
Министерства Автомобильной промышленности РСФСР,
проживающего гор. Москва, ул. Планетная, д. 18, кор. 3, кв. 45,
кооператив «Мечтатель».

Многоуважаемый Леонид Ильич!

Мое письмо к Вам верой в направляющую и организующую роль нашей родной коммунистической партии, о которой в среде советских людей Вашими словами, Леонид Ильич: там, где Партия, там успех, там победа!

Однако среди нарастающих успехов и побед нашей страны отдельные бюрократические недостатки, и, в частности, несправедливость по отношению к скромному работнику советской науки.

Мы, советские люди, чрезвычайно высоко Ваше время, дорогой Леонид Ильич, каждая минута у Вас на укрепление мира во главе с нашим Ленинским ЦК, и все же с горечью на отдельных участках единичные глубокие разочарования и вот, в частности, в третий раз отказ на постановку в списки очередников на приобретение легковой машины «Жигули» волжских автомобилестроителей. Кому же, как не нам, автомобилистам-профессионалам на автомашинах с гордостью гордую марку товарища Тольятти, новые пути?

Это отрицательное решение, глубокое разочарование и ухудшение показателей энтузиазма в труде и политической учебе. Что хуже, параллельно садово-огородного участка 5 квадратных соток на канале «Москва» станция Опалиха полное разочарование.

Все окружающие сотрудники секции поршней по праву как образцовые строители коммунизма, а тут ведущий инженер И.И.Велосипедов вынужден на себя как на козла отпущения. Ленинский принцип «от каждого по способностям, каждому по труду» мог бы лучшее применение. Местком лаборатории моторов — это не «профсоюзы школа коммунизма».

Однако наряду с местными недостатками, огромная гордость при виде семимильными шагами нашей советской науки и общественной мысли, в отдельных случаях которой безобразие еще налицо.

В частности, принципы пролетарского стража Феликса Эдмундовича Дзержинского с его огромной человечностью не всегда на высоте в ОВИРе УВД при Московском городском совете депутатов трудящихся. Законное право каждого советского человека в гости к другу-колеге Роско Боско коммунисту Болгарской Народной Республики для обмена опытом дальнейшего построения под угрозу провала. Оправданное недоумение необоснован-

ный отказ с формулировкой, оставляющей желать лучшего: «ваша поездка в БНР признана нецелесообразной».

Многоуважаемый Леонид Ильич, к вам как к лидеру нашей великой партии, осуществляющей мечты человечества и контроль за выполнением решений XXXVIII съезда нашей родной коммунистической партии Советского Союза.

Игорь Иванович Велосипедов
5 мая 1973 года.

Много раз не без гордости перечитал Велосипедов свое сочинение, затем отправился на третий этаж своего кооператива к профессионалке Тихомировой, подарил ей вафельный торт и попросил перепечатать покрасивее. Профессионалка за каких-нибудь пять минут, не вникая, кажется, и в смысл, отщелкала пять великолепных экземпляров на отличной финской бумаге. Велосипедов даже немного приуныл от этой скорости, сам-то полдня убил на составление документа. Тихомирова же, прикуривая папиросу от папиросы и выпуская дым не только из ноздрей, но уже как бы и из ушей, спросила, не хочет ли Игорьек прочесть «архилибопытнейший» роман анонимного автора «Красный Ворон» о волнениях в среде комсомольского актива. Профессионалка известна была в кооперативе как перепечатница диссидентской литературы.

Увы, поклонился даме наш инженер, к сожалению, сейчас не до беллетристики, уважаемая Агриппина Евлампиевна, вы видите сами, какие дела. Он помахал только что отпечатанным письмом и заглянул профессионалке в глаза в поисках какого-то все-таки хоть небольшого отношения к «документу» (так в уме уже привык называть свой опус). Тщетно, никакого отношения к волнующему тексту он в этих светленьких благожелательных стареньких глазках не заметил, да и немудрено — каждый день перепечатывала Агриппина десятки десятков всевозможнейших режимоборческих произведений и научилась, хвала Аллаху, полностью отключаться от их содержания.

Чтение — это было уже любимое дело досуга. Ноги под пледом, чифирок, вафельный торт, пачка папирос «Казбек» — просуществовал ли Советский Союз до 1984 года?

Велосипедов надел шляпу по этому поводу, в обычное время давал своей недюжинной шевелюре свободно развеяться под ветром Среднерусской равнины, и отправился в Отдел писем ЦК КПСС, что на углу Старой площади и улицы Куйбышева, напротив Политехнического музея и слегка в стороне от нашей основной штаб-квартиры.

По дороге, чтобы хоть слегка унять огромное и понятное волнение (кто у нас в России не волнуется, сближаясь с большими партийными телами), Велосипедов предавался обычным кинематографическим мечтам и разрабатывал кадры.

...Отвлекающий взрыв под памятником «Героям Плевны»... После Революции отстроим заново и еще краше!.. Атакующая группа студенческой молодежи врывается в подъезд № 6 Политехнического музея. Да здравствует поэзия! Оружие в окна — предлагаем капитуляцию!

В Отделе писем ЦК КПСС в связи с воскресеньем оказался выходной день. Вот тебе раз — и здесь отдыхают по христианским праздникам! Впрочем, рядом со входом в Отдел писем в стене была дырка с надписью «для писем», что как бы слегка ставило под вопрос само существование Отдела писем. Эта мысль, однако, пришла Велосипедову уже после того, как он бросил в указанную дырку свое заветное. Бросив же, засомневался — правильная ли дыра, тому ли органу принадлежит, кому письмо предназначено, а вдруг какой-нибудь другой, какой-нибудь вспомогательный, ну, предположим, профсоюзный орган расположил здесь свою дырку «для писем»? Все же есть некоторая странность — вот дверь и сбоку вывеска «Отдел писем», а рядом, в нескольких шагах, какая-то еще при-

существует дыра с надписью «Для писем», что-то в этом есть странное, что-то неарифметическое.

Он оглянулся, как бы ища подтверждения правильности своего поступка, верности этой вышеназванной дырки и неожиданно эту поддержку получил.

На пустой и выметенной до сориночки улице Куйбышева, уже позабывшей свое первоначальное название Ильинка, равно как и свое изначальное дело, банковский бизнес, стоял странный тип, в старину бы сказали «босяк», а нынче иначе такого не назовешь, как только лишь словом английского происхождения «бич» — краснорожий и с бородой, смахивающий на Емельяна Пугачева до незаконного вступления на русский трон, и несколько все же кривобокий, как фельдмаршал Суворов, покоритель Польши и Волги; одна нога в сандалете, другая в обрезанном валенке с галошей, в куртке студенческого стройотряда «Яростная гитара», жутко несвежий и глубоко пьяный.

Он ласково и утвердительно кивал Велосипедову — дескать, правильно, правильно попал, та самая и есть, нужная всему человечеству дыра.

Как же все-таки таким лицам разрешается вблизи Центрального Комитета? — удивился Велосипедов, но тут же, впрочем, увидел, что к Пугачеву-Суворову уже направляется огромный пузатый милиционер, характерная могущественная фигура на чинной улице Куйбышева. Он двигался даже с некоторой улыбкой: насколько все тут вокруг преобладало над нездешним, случайным, настолько и сам он, милицейский полковник с погонами сержанта (чтобы не подумали, что тут полковники вместо сержантов), преобладал над тем, к кому сейчас весьма красноречиво направлялся.

Велосипедов тогда поспешил быстро удалиться, как бы он тут ни при чем, как будто и не ему была «бичом» оказана моральная поддержка, поспешил с легчайшим почтительным поклоном корпуса проскользнуть мимо жандарма, вроде как бы русский революционный эмигрант в Цюрихе, в своей шляпе.

Вечером он позвонил Феньке и, запинаясь от волнения, прочитал ей текст «основного» письма человеку-символу.

— Ты что, Велосипедов, охерел? — захохотала Фенька.

— Что? Что? Что? — переполошился он.

— Да ты все сказуемые потерял!

БУЛЫЖНИК — ОРУЖИЕ ПРОЛЕТАРИАТА

Заведующий гигантским идеологическим отделом Фрунзенского райкома нашей столицы-героя Альфред Потапович Феляев взирает в данный отдельно взятый момент на регион Карибского моря, перекачивается к региону Канада — Аляска, скользит взглядом к региону Бирма — Филиппины. Чернильные стрелы, исходящие из сердца человечества Столицы Счастья, пересекают водные глади, шероховатости горных пустынь, зеленый войлок джунглей. Вот так приходится мыслить регионами и квадратами, жизнь и не тому научит.

Гигантская меркаторова, собственно говоря, даже и не политическая, но физическая карта висит за письменным столом, то есть непосредственно за плечами зава Феляева. Это, собственно говоря, детище виртуоза идеологической войны, собственное изобретение (в смысле стрел, исходящих из СС) и любимейшая деталь интерьера. Предшественник до таких высот не дотягивал. Феляев лично распорядился подвесить карту, лично наблюдал подвешивание и, конечно же, лично наносил на карту стрелы идеологических десантов.

Вся распластанная шкура планеты была местом приложения графических талантов Феляева. Вот в Атлантическом океане полукругом над безднами обозначилось название — ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА. Под буквами дуга, а от дуги идут стрелы в разные стороны «пылающего континента», а возле каждой стрелы мелкими цифрами дата «акции», то есть засылки очередной культурно-литературно-художественно-научной делегации. Такая же

дуга, разумеется, и над Австралией висит, и над Африкой, и над прочим. Феляев обожает эти стрелы и иногда, как говорится, отнехуйделать, мысленно собирает их в пучки и потрясает, уподобляясь марксистскому Зевесу.

Удивительное дело получается, товарищи: вот, живет себе какая-нибудь странишка в отдалении, ничего не подзревая, а Феляев между тем ставит ее в план, зондирует почву, входит с предложением наверх, подготавливает решение, утверждает кандидатуры посланцев, отправляет наконец делегацию, по возвращении проверяет отчеты и... вот наконец блаженный миг — на карте беспечного мира появляется новая феляевская стрела, еще один кусок земной коры панизан на шампур революции.

Просторный кабинет Альфреда Потаповича, с милым сердцу видом на исторические постройки столицы, строг, деловит и не-без-вкусен, хотя и «вкусен» про него не скажешь. Интерьер, комбинация деревянных панелей, мебели и закраски, разработан известным дизайнером. Когда-то в начале идеологической деятельности Феляева этот дизайнер, можно сказать, не был еще и дизайнером, а находился просто-напросто по другую сторону баррикад. Активный был деятель московских подвалов, звезда всей этой гнили. Некоторые товарищи уже отказывались с ним работать и предлагали передать дело по соседству, то есть вооруженному отряду партии, а вот Феляев разглядел все же в этом вышеназванном здоровое зернышко и не оставлял усилий. Жизнь показала, кто прав. Удалось прорастить народное зернышко и сделать духовного горбуна тем, кем он, собственно говоря, сейчас и является, а именно дизайнером. И очень быстро достиг феляевский подопечный существенных высот — не кому-нибудь из верных стариков-жополизов, а вот именно ему был поручен дизайн новой идеологической твердыни Фрунзенского района. И снова не ошиблись, уловил Олег Чудаков нечто неуловимое, присущее именно нынешнему «зрелому» соцу, под пером его возникла такая геометрия, что впору взвыть, а не повоешь и даже как бы и не возразишь, потому что вро-

де отождествляются эти пропорции с самими устоями, с основами, со всеми тремя бородатыми слонами, на которых держится мир. В чем тут секрет, никто не знает, не понимает, не говорит. Проект даже не обсуждался, сразу был выдвинут на Государыню и сразу же и получил эту исторически очень ценную премию. Вот такие вышли пироги: жил вредоносный в мире хиппи, а стал дизайнер и лауреат. Правда, к лауреатской своей медали относится еще как бы с прежним цинизмом, носит ее во внутреннем кармане и извлекает только лишь с целью протыриться куда-нибудь в кабак, но, однако же, слова-не-воробьи вылетели из грешного красиво очерченного рта под голубизной священного Кремлевского купола:

— Высшее счастье выпадает на долю художника, когда его стремления совпадают со стремлениями его правительства.

Вот такие были сказаны золотые слова, и печатью, острейшим оружием Партии, были они отгравированы.

Феляев помещается в кресло за своим столом с чувством глубокого удовлетворения, ибо осознает, что именно помещение его, Феляева, в этот современный седалищный снаряд как раз и завершает идеологический дизайн, ибо тут-то и происходит то, что однажды под хорошей баночкой определил друг-дизайнер «законом марксистского хеппенинга»: без феляевской задницы не завершается дизайн, но и без дизайна этого феляевской жэ развиваться некуда.

Однако помимо эстетики, есть еще и идеология, есть большая политика, а значит, упрочившись в своем кресле, Феляев замыкает энергетическую цепь огромного идеологического аппарата Фрунзенского райкома столицы. Имея над собой такой основательный символ стабильности, аппарат может функционировать, вести за собой массы. Кресло, конечно, крутящееся и с отклоняющейся спинкой, из независимой Финляндии.

В последний раз бросив лукавый взглядик на соблазнительную нашу планету, товарищ Феляев оставляет ее за

своей широкой спиной и поворачивается к дверям. И вот тут появляется некоторая двусмысленность в знаменитом интерьере.

Над дверью в кабинет, а значит, прямо перед глазами Альфреда Потаповича, развернулась во всю державную красу в богатейшей раме красная-классика: шедевр-картина «Бульжник — оружие пролетариата». На оной изображен (сообщаем для малограмотных) мускулистый — кто? правильно! — жлоб-пролетарий, выкорчевывающий из мостовой — чего? правильно! — огромнейшую булыгу для атаки — на кого? правильно! — капитализм, самодержавие.

Картина эта была, по мнению Феляева, мягко говоря, спорная. Взгляд у работяги нехороший, пахнет анархией, отрывом от Партии. Честно говоря, давно бы уже убрал зав Феляев эту картину со своей стены, однако друг-дизайнер почему-то настаивал на «Бульжнике», утверждая, что без него дизайн кабинета, столь важный для всей эстетики «зрелого социализма», будет неполным, ущербным.

Так или иначе, приходилось Феляеву каждое утро подавлять при взгляде на картину легкое негативное чувство, убеждать себя, что относится парсуна к далекой партийной истории, искать в складках пролетарского лица сходство и родство с нынешними вождями Партии и даже с самим собой и даже на отталкивающую булыгу взирать как бы символически — вот, дескать, с чего начинали, а сейчас располагаем самым совершенным оружием мира во всем мире.

Засим начинался прием посетителей. Секретарша Аделаида... мдааа, явно засидевшийся кадр, увы, комсомолочкой не заменишь, огромный опыт идеологической работы... приносила списки, никотинно-ментольным гочосом напоминала, кто за чем к районному идеологическому вождю явился.

Большинство просителей было из мира искусства и в основном хлопочущее по части загранпоездочек. Вот пер-

вым у нас сегодня в списке драматург Жестянко, большой разъебай, откровенно говоря, вечно нос кверху, нашелся такой Шекспир. Пяток лет назад, понимаешь, скверные петиции подписывал против решений Партии, а сейчас, понимаешь, в Америку просится. Там, видите ли, какая-то шпана его пьесу поставила и на премьеру зовет, ну, далеко не уедешь, Жестянко.

— А это еще что такое, понимаешь?

Вторым в списке значился некий инженер Велосипедов, с чем его едят, понимаешь?

От Аделаиды сегодня так и несло старой девой, она заскрежетала:

— ...следует обратить особое внимание... по части нашей майской... вы, конечно, в курсе... на последнем бюро...

— Конечно, в курсе, помню прекрасно. — Феляев взглядом показал старой выдре, что с ней в разведку он бы не пошел. Пусть одна, сволочь ехидная, в разведку отправляется, небось уже настучала, что на бюро сидел с похмелья. К счастью, не знает кляча, что как раз с Гермонаевым, который вел в тот день бюро, они и пили накануне в финской бане спортобщества «Динамо». Если бы не было на свете финских бань, власть в Партии захватили бы гнусные бабы.

Любое слово Партии для Аделаиды Евлампиевны — закон, и, предположим, если бы кто-нибудь из секретарей райкома, не говоря уж о товарищах повыше, приказал ей застрелить Феляева, тут же, не задумываясь, шмальнула бы с порога. Пока что с кислой миной пошла звать драматурга Жестянко.

Драматург вошел, как всегда, с задраннным носом. Феляев молча смотрел на него из глубины кабинета. Драматург был немолод, но строен, многое в его облике попахивало ненавистным. Очки неприятные, ходит вызывающе, даже плешь как-то расположена вроде это и не плешь, а такой, понимаешь, их дизайн.

Феляев молчит, не встает, руки не протягивает, кресла не предлагает.

— Здравствуйте, Альфред Потапович, — говорит Жестянко и какой-то их подлой интонацией напоминает, что они не первый год знакомы, и в некоторые хоть и отдельные, но имевшие место быть времена искал Феляев со стороны молодого таланта сочувствия и даже однажды на банкете в братской республике сел рядом и завел разговор на философские темы, намекая, что и им, выпускникам Вэпэша, экзистенциалистическая теория не вчуже.

— Здравствуйте. — Ответ на приветствие был сугубо формален, никаких воспоминаний в нем не содержалось. Стул опять же не был визитеру предложен. Классовому врагу стул предлагать? Ну уж, здесь вам не конференция в Рапалло.

Жестянко усмехнулся, прошагал через кабинет, пиджак расстегнут и левая рука в кармане штанов, никогда не научатся эти типы партийной этике, уселся без приглашения в кресло и посмотрел прямо в глаза заву.

Глаза зава тут непроизвольно по-старому, по-останкинскому сузились. Пугались когда-то фраера в Останкине его взгляда, сразу понимали, с кем имеют дело, известный был в округе взломщик продовольственных киосков, и называли его тогда Алька Киоск.

Жестянко снова улыбнулся, показывая, что и это совсем уже отдаленное прошлое товарища Феляева от него не скрыто, все, дескать, понимаю, но вот, представьте себе, не очень-то боюсь.

Слегка перегнувшись через стол, драматург вынул из письменного прибора карандаш, следующим движением рванул из феляевского календаря страничку. Зав даже и изумиться не успел подобной наглости, как перед ним уже лежала записка с вопросом:

Что вам привезти из Америки?

Жестянко смотрел на Феляева. Феляев на Жестянко. А вдруг Олег прав, думал Жестянко, вдруг клюнет? А не клюнет, хер с ним. Если разорется, встану и уйду, не арестуют же. Хм, думал в это время Феляев, хм, хм,

хм. Он перевернул листок календаря и чиркнул на нем ответ:

Приемник фирмы «Браун», модель F106.

Жестянко, прочтя, кивнул — лады.

— А в общем и целом вы должны учесть, товарищ Жестянко... — как бы продолжая беседу, заговорил Феляев, как бы давая соответствующим товарищам понять, что предшествующее молчание было просто-напросто результатом дефекта соответствующей аппаратуры, — должны вы учесть, Илья Филиппович, что ситуация сейчас в мире напряженная, а в США особенно зашевелились реакционные круги.

— Учту, учту, — сказал Жестянко.

— Так что, товарищ Жестянко, я думаю, что внутренние наши дискуссии не будут предметом нездорового ажио...

— Гарантирую, Альфред Потапович, — сказал Жестянко и с совершеннейшей наглостью ему подмигнул.

Пришлось подмигивать в ответ — повязались.

Звонком была вызвана Аделаида злобредная.

— Пожалуйста, объясните товарищу, как выйти на Черчуева, а потом меня с ним непосредственно соедините.

Аделаида, будто ежа проглотила, смотрела на Феляева непонимающим ледяным взором: Черчуев заведовал гигантским выездным отделом в рамках того же Фрунзенского райкома.

— Поняли, Аделаида Евлампиевна, дошло? — нежнейшим тоном спросил Феляев. С этого дня Жестянко становился своим и его можно было не стесняться. — Товарищ Жестянко, возможно, будет направлен на фестиваль в Соединенные Штаты, и Партия, — тут он нажал, — уверена, что на этом важном форуме товарищ Жестянко будет твердо отстаивать наши позиции. А пока принесите-ка мне документацию по следующему товарищу.

Он скривил рот вслед уходящей ведьме — врагу, мол, не пожелаешь такой секретарши — и протянул Жестянко руку — пока, до скорого, старик.

Уходя, драматург слегка споткнулся — бросилась в глаза знаменитая картина. Какое сходство, подумал он, какое, естет твою, удивительное сходство!

А это еще кто такой, удивился драматург, заметив в приемной бледного вьюношу с длинными желтыми патлами, поднимающегося из кресла под партийным взглядом Аделаиды. Экий русский классический тип, Евгений ли Истуканоборец?

Что же теперь с этим товарищем Велосипедовым, мучительно пытался вспомнить Феляев, почему вдруг инженер и ко мне? Когда вызван? Вызван? Ясно, что вызван, не сам же пришел. Вот все-таки есть зацепочка — вызван, а если вызван, значит, какое-то наше дело, значит, что-то нам (Партии) нужно, а не им, не населению.

Аделаида принесла папочку с бумагами и тут же слиняла. Хотя бы намекнула, сволочь, подтолкнула бы мысль к поиску, нет, не любит меня, старая троянская кляча, считает, видите ли, циничным. Невозможно, в самом деле, держать дальше под боком эту пятую колонну культа личности. На дворе у вас нынче уже «зрелый социализм», в отделе нужны люди с более широким кругозором, а таких девчат сейчас немало в комсомольском туристическом бюро «Спутник»...

Он открыл папку и прочел перво-наперво справку, подготовленную районным отделом гзбэ. Увы, ничего не прояснилось. Человечек был без особых примет, даже репрессированных в близкой родне никого, разве что вот дядя в Сыктывкаре пятак отбухал с 1948-го по 1953-й, как раз уложился по статье 58—10, то есть за анекдотики. Ну, правда, родился вот товарищ Велосипедов на оккупированной территории, но ведь не этот изъян причина вызова. Хм, вот, правда, одна любопытная деталь — получает письма из Болгарии...

Тут что-то зашевелилось в башке Феляева — близко, близко, ан нет, мимо проскочило!

«...содержание писем не вызывает сомнений...» — читалось в справке. Паршиво, уныло подумал Феляев, очень херовато получается, сейчас человек войдет, а я...

«...в последнее время встречается с группой молодых людей сомнительного внешнего вида, подверженных влиянию Запада...»

Да кто же теперь с такими не встречается, особенно по женской части, сморщился Феляев. В папке оставалось еще несколько листков, но не густо, надежды на прояснение мало.

— Разрешите? — послышался нервный молодой голос.

Под картиной стоял некто тощий в модном синем костюме с торчащими плечами и широкими брюками. Светились серые плоские глаза. Голос подрагивал. Трусит. Вот это неплохо, к робкому человеку сразу как-то располагаешься, потому что видно, когда не нахал.

Феляев некоторое время головы не поднимал, выдерживал посетителя, ну это как полагается. Потом поднял голову и пригласил в кресло.

— Прошу, товарищ... — посмотрел в бумаги, якобы для того, чтобы вспомнить фамилию, ну это тоже в соответствии с традицией партийных приемов, — товарищ Велосипедов.

Молодой человек, издали казавшийся даже юношей, а вблизи вроде бы и не очень уж молодой молодой человек, сел в кресло и положил ладони на колени, соответственно левую на левое, правую на правое. Это тоже по-правилось Феляеву — понимает, куда пришел.

— Вы, товарищ Велосипедов, наверное, догадываетесь, по какому поводу мы вас вызвали? — Феляев напрягся, чтобы не пропустить ответ, случалось и такое.

— Должно быть, по поводу моего письма товарищу Брежневу, — сказал Велосипедов, чуть поворачиваясь из своей боковой позиции к могущественному товарищу с большой, плохо оформленной головой.

— Товарищу Брежневу многие пишут, — с некоторой досадой сказал Феляев. — Воображаете, какие горы бумаги ежедневно поступают в ЦК?

— Воображаю, — вдруг улыбнулся Велосипедов без всякой робости, а даже с некоторым отдаленным прищуром. — Как ни странно, очень живо это себе представляю.

Феляев испытующе на него посмотрел, подозрительного в общем-то ничего не увидел, но и ясности не появилось ни на грош: для чего вызван человеке? В унынии он шевельнул бумагу в папочке, приоткрыл письмо Генсеку... полный «бой-в-крыму — все-в дыму»... просит гражданин садово-огородный участок, а мы-то, идеологи, тут при чем?

— Вы, товарищ Велосипедов, когда пишете в такой адрес, отдаете себе отчет?..

Автор письма вдруг густо покраснел, казалось, даже корни его желтых волос засветились.

— Там у меня со сказуемыми... не вполне...

— Понимаете, кому пишете? — уточнил свой вопрос Феляев.

— Хозяину страны, — выпалил Велосипедов.

Феляев улыбнулся прямодушности.

— Хозяин страны — народ, товарищ Велосипедов. Мы с вами. А Леонид Ильич — выразитель воли народа.

— Вот именно! — воскликнул Велосипедов. — Просто превосходно сказано, Альфред Потапович! Выразитель! Вот именно по этому адресу я писал.

Неплохой парень, подумал Феляев, но на кой ляд он здесь? Еще раз помусолил палец, и вдруг — открылось!! Все сразу обозначилось, все прояснилось, все вспомнилось, как будто с того времени и не пил.

Перед ним лежало почти уже подготовленное в печать открытое письмо видных представителей советской общественности, осуждающее вражескую деятельность Солженицына и Сахарова. Сразу вспомнилось, как ведущий заседание Бюро третий секретарь Гермонаев извлек из своих недр эту голубую папочку с корабликом и перебросил Феляеву — вот переслали из Центрального Комитета, поинтересуйся, Потапыч, там думают, что неплохо бы этого инженера пристегнуть к нашим деятелям. У Феляева в тот день, как уже было сказано, имелись в нали-

чий симптомы кошкиной болезни в прямом переводе с языка Германской Демократической Республики, и он тогда папочку просто передал Аделаиде и распорядился вызвать инженеришку. Ну вот теперь все сошлось, все ясно, можно действовать.

Велосипедов вдруг увидел, как ужасающе хмурый бюрократище меняется на глазах: плечи как-то расправляются, зеркало души как-то даже начинает слегка отражать, через стол доносится запахок винегрета. Опять Велосипедову вспомнилось из любимого классика: «...он к товарищу милел людской лаской...»

— Ну а вообще-то... — нырок в бумаги. — ...Игорь Иванович, каково настроение?

— Вообще-то настроение превосходное, — тут же откликнулся на призыв Велосипедов. — Дела у нас идут хорошо, сердце радуется, особенно на международной арене... — вдруг сбился, показалось — то ли сказуемое проглотил, то ли подлежащее потерял.

— Это хорошо. — Феляев с папочкой в руках обошел вокруг стола, сел в кресло напротив Велосипеда и по коленке его потрепал. — Это очень, очень хорошо... — опять глянул в папочку, — вот и имя-отчество у тебя хорошее, без зацепочки. С этим вопросом у тебя ажур, Игорь Иванович? — зоркий взгляд правым глазом.

— С каким вопросом, Альфред Потапович? — охотно, с готовностью немедленно понять Велосипедов выдвинул голову вперед.

— Не понимаешь? Ну ничего, поймешь позже. — Феляев извлек «письмо деятелей», отвел его несколько в сторону и «замилел людской лаской» и совсем уже на «ты» в сторону визитера и даже с диалектическим запахком Липецкой области поселка Грязи, где, собственно говоря, и осчастливил человечество своим рождением. — Вот, понимаешь, Игорь Иванч, дело есть у Партии к тебе, помоги решить.

— У Партии ко мне? — Велосипедов в благоговейном возбуждении передернул плечами. — Ко мне лично?

— Вот именно, — улыбнулся мудрый старший товарищ. — Вот, прочти, товарищ. Вот, прочти-ка вслух, если хош.

Велосипедов читал:

Открытое письмо

Советская общественность уже на протяжении ряда лет с неодобрением и беспокойством следит за безответственной деятельностью Солженицына и Сахарова, которая столь охотно подхватывается реакционными кругами Запада. В последнее время эти «правдоискатели», как говорится, закусили удила. Видимо, непомерное честолюбие и зоологическая ненависть к социалистической отчизне рабочих и крестьян ослепила их.

Так называемый писатель Солженицын пытается свалить вину за свое осуждение на весь советский народ, на дорогое каждому советскому человеку учение марксизма-ленинизма. А между тем не мешало бы ему рассказать людям о своем власовском прошлом.

Физик Сахаров, отошедший от научной деятельности, вознамерился «спасти» человечество от всех бед любыми средствами, главным образом грубой клеветой на наш народ, нашу Партию, наши идеалы.

Мы, представители советской общественности, гневно осуждаем грязную антипатриотическую деятельность двух отщепенцев и заявляем: руки прочь от весны человечества, нашей отчизны СССР!

Прочтя все это с правильным соблюдением всех интонационных пауз и подъемов, Велосипедов опустил бумагу.

— Великолепно, — сказал он. — Просто великолепно и волнующе!

— А теперь обрати внимание на подписи, — предложил Феляев.

Велосипедов обратил и еще больше восхитился. Было от чего, среди подписавшихся — выдающиеся умы государ-

ства: узбекский поэт, слагатель эпоса Кайтманов; белорусский философ Теленкин; московские романисты Бочкин и Чайкин; выдающиеся ноги государства балерина Иммортельченко и бегун Гонцов; выдающиеся руки государства скрипач Блюхер и токарь-депутат Пшонцо; выдающееся лицо государства киноактриса Жанна Бурдюк; выдающаяся русская женщина ткачиха Гурьекашина...

— Ну как? — не без гордости спросил Феляев.

— Впечатляет, — тихо сказал Велосипедов.

— Есть желание присоединиться?

— Собственно говоря... — Велосипедов положил ладонь на левую сторону груди. — Собственно говоря, уже мысленно с ними.

— Ну а физически? — спросил Феляев, и легкая тучка пробежала по челу — неужто уж и инженеришки колеблются, ведь всю эту вышеупомянутую сволочь пришлось уговаривать, ломались. — Как насчет перышка?

Он протянул Велосипедову авторучку «Монблан» с золотым пером, недавно подаренную как раз одним из «авторов» письма романистом Чайкиным после возвращения из Бельгии.

— То есть чтобы я среди таких имен? — опешил Велосипедов.

— Вот именно, — покивал Феляев и процитировал с почти абсолютной точностью: «...И академик, и герой, и мореплаватель, и пахарь...» В этом, понимаешь, и состоит монолитное наше единство.

Велосипедов подписал письмо и полюбовался «Монбланом». Феляев даже умилился такой готовности. Вот все-таки люди у нас какие! Какой, понимаешь, сознательный народ! В Свердловске, в Казани который год масла нет, а никто не ворчит, не подзуживает. Нет, господа, не на тех делаете ставку, это вам не венгры, не чехи, не поляки и так далее.

— Спасибо тебе от лица Партии, Игорь Иванович, — он протянул на прощание руку. — Следи за газетами, скоро прославишься.

— А как же, Альфред Потапович, по части моего? — спросил Велосипедов, кивая в сторону папочки, откуда было извлечено письмо деятелей и где он успел заметить свое собственное послание «без сказуемых». — Вот по поводу основного? — он слегка покраснел. — Весьма интересно, принято ли было Леонидом Ильичем какое-либо? — он еще более покраснел, чувствуя, как что-то катастрофически утекает из его сбивчивой речи, но не понимая, что именно, со сказуемыми, кажется, все было в порядке. — Был бы очень рад услышать ваше.

— А что у вас там? — Феляев скособолил рот в любимую позицию. — Садовый участок? Не проблема! — Отыскав слово «участок», он размашисто отчеркнул его красным карандашом. Затем, заметив красноречивое движение визитера, дескать, не только участок, заглянул в бумагу еще раз. — Ну еще чего-то? Машина? Не проблема! — вторая красная полоса в «документе» и еще одно красноречивое движение свежее испеченного представителя общест-венности. — Еще чего-то позабыли? Вот как потребности у наших людей постоянно растут! Закон социализма, понимаешь! В Болгарию захотел, Игорь Иванович? Поедешь, поедешь! — и на глазах ошеломленного Велосипе-дова махнул еще одну красную полоску. — Так вот решаем вопросы. Держись за Партию, Игорь Иванович, все преодолеем!

Велосипедов встал. Печать изумленного мертвого счастья залепила ему все мышцы лица. При прощальном пожатии руки товарища Феляева возникла перед ним ослепительная картина воображения: садово-огородный на крутом берегу гордого канала «Москва», он подъезжает к нему в болгарской дубленке, а поверх дубленки четырехцилиндровые с итальянскими поршнями «Жигули», вишни цветут. Так с этим лицом и пошел к выходу из кабинета, на полпути возникла самая щемящая идея благодарности — вот ленинский стиль работы, врут злые языки, что в Стране Советов процветает бюрократия, бумажной волоките — бой!

И вдруг уже перед самым выходом Велосипедов увидел пролетарскую картину и застыл в полном изумлении. Какое сходство, какое умопомрачительное сходство реалистического искусства, дорогие товарищи! В простоте душевной он даже оглянулся на благодетеля. Тот покивал ему с подобием патрональной улыбки, но и от этого сходство не уменьшилось.

Волна московских санкюлотов весело вливалась в здание административно-партийного центра. Заведующий идеологическим отделом товарищ Феляев был взят живым. Панорама по стенам его кабинета. Укрупнение — «Бульжник — оружие пролетариата»...

Вдруг распахнулась дверь, и в кабинет влетел средних лет молодой человек, влачащий на сгибе руки заграничный плащ и заграничный шарф, а через плечо полосу коньячного запаха, и — к могущественному лицу с распростертыми и с растленным московским — голуба!

Велосипедов вышел и поклонился Аделаиде, та улыбнулась ему в ответ опять же доброй партийной улыбкой, словно он был ее юным пионером, делающим первые шаги в авиамоделировании.

В коридоре учреждения посетило, увы, нашего героя не вполне здесь уместное чувство дискомфорта — а деньги-то на все эти разрешенные удовольствия где взять? Садово-огородный — 800 рэ, «Жигули» — 6000 на бочку, да на Болгарию нужно не менее тыщи, а зарплата у нас, как известно, 150, да еще вычеты, что же получается, ведь не у Партии же денег просить, для Партии это все — такая низкая материя.

А зачем же писал, просил этих благ, если знал прекрасно, что кровных велосипедовских-то едва-едва на жратву натягивает? Вот так позор будет, если не сможешь выкупить обещанные блага, а если до Леонида Ильича это дойдет, вот будет полный вперед по позору, полнейшее неудобство... вообще... отбой...

Он вышел из райкома.

Взлетели две птицы. По ветру волоклась огромная смятая бумага. Резко отразилось солнце на двигающейся форточке восьмого этажа. На душе потеплело: главное — большое спасибо!

Между тем в оставленном только что кабинете разыгрывалась сцена едва ли школьной конспирации. Могущественный товарищ Феляев и его любимый лауреат-дизайнер задумывали смыться из-под строгого ока Аделаиды Евлампиевны, ибо намечалась «сногшибательная кайфуха». Казалось бы, остерегись, Альфреша, большая ответственность на плечах, однако Феляев под влиянием своего детища основательно забогемился, да и вообще по грязевской своей посконной натуре всегда был жаден до телесных безобразий.

Дизайнер жадно, с некоторыми брызгами изо рта повествовал: познакомился вчера с девчонками из бюро «Спутник», легкомысленные, живые, хулиганочки, вчера в самолете летели из Будапешта, вот тебе, кстати, сувенир из гуляш-социализма, часы «Сейко», и давай-ка друг-голуба в темпе оформляться в Австралию, как зачем, на фестиваль прогрессивных же, иденать, сил мирро во всем мирро, а пока давай сваливать, пусть тут Аделаида сама идеологический дрын чешет, а на кой тебе триста гавриков в отделе, да целый еще полк актива, ты себя Наполеоном должен ощущать, — так частил любимый циничный дизайнер, только что оформивший советско-отечественный павильон на выставке пламенных моторов в братской, спасенной нашими танкистами от студенческого разбоя солнечной Венгрии и уже собирающийся — вот она одержимость, вот она убежденность в правоте нашей эстетики! — в эту отдаленную до поры Австралию — ну как не ценить, не уважать такого человека!

Хлебнув второпях из плоской фляги согретого дизайнеровскими ягодицами коньяку, Феляев надел замутненные очки (подарок токаря Пшонцо) и вызвал Аделаиду, которая, сука, конечно, уже догадалась, что к чему.

— ЧП в Союзе архитекторов, — сказал Феляев. — Срочно выезжаем. Необходима хирургическая операция, обнаружили связи с Западом, сомнительный обмен идеями на последнем коллоквиуме в Сухуми. Все приемы переписать на завтра или лучше на послезавтра.

Проклятая догматичка молча кивнула — дескать, только потайной дисциплине подчиняюсь. Все человеческое ей чуждо, как «Банде четырех».

Дизайнер препохабнейше вел себя в «Чайке», хлебал свой коньяк, проливал, совал шоферу, слюнявился, рассказывая о девке, которая из всей вчерашней компании показалась ему самой надежной, — «ноги от ушей растут, штучки торчат, и глазки смышленные», вот адресочек, Потапыч, а если без подружки окажется, так и трио можно разыграть, а, Потапыч?

В общем, полный пошел какой-то неуправляемый анархизм, хорошо еще, что шофер — свой человек, фронтовик-разведчик, матрос-железняк-партизан, понимает, как нелегко порой работать с художественной интеллигенцией. ...Экое у тебя, Олег, понимаешь, кружение ума, а ведь в работе-то, в творчестве настоящий, понимаешь, глубокий советский художник, понимаешь, на уровне Товстоногова...

Как раз стояли у красного светофора, и шофер уважительно кивнул, дал понять хозяину, что волноваться нечего, он, майор госбезопасности, все диалектические сложности нашего времени прекрасно понимает. Золотой человек, отпущу его сегодня калымить на весь день.

Заехали на Грановского, взяли по пайковым талонам языковой колбасы кило, шейки полкило, дунайской сельди в районе кило, тройку банок крабьего мяса, по паре бутылок британского джина и итальянского чинзано, литр водки винтовой, в общем, на любой вкус состав, прямо скажем, впечатляющий. Поехали дальше.

Феляев все-таки решил завязать с другом художественный разговор, чтобы все-таки матрос-железняк как-то ошибочно все-таки не подумал, что на блядку едем, что-

бы, случись допрос какой-нибудь, мог ответить, о чем хозяин с лауреатом говорили.

— Ну а как там в Венгрии вообще-то с дизайном? — осторожный был, хотя и вполне профессиональный вопрос.

— Жуево! — захохотал Олег. — Очень жуево! С дизайном, Потапыч, там очень и очень жуево!

Шофер улыбнулся в зеркальце заднего вида — все человеческие слабости понимаем.

— Да, до наших мастеров им еще далеко, понимаешь, — задумчиво глядя на проплывающие в окне «Чайки» лозунги, проговорил Феляев. — Скрамничать нечего, большой мы сделали прогресс. Глянешь вокруг, каждый кубический сантиметр — поет!

*Один солдат на свете жил,
Красивый и отважный,
Но он игрушкой детской был,
Увы, солдат — бумажный... —*

проорал вдруг дизайнер с какой-то неадекватной моменту дикостью.

Феляев заговорил торопливо, чтобы отвлечь друга от этой ничего хорошего, кроме антисоветчины, не обещающей дикости:

— А вот знаешь, Олег, много думал я над твоим дизайном моего кабинета и понял, что ты был прав, а не я. Вот видишь, друг, умеет Партия вести диалог с художником, врут про нас. Признаю свою ошибку насчет картины, когда говорил, что не вписывается. Вписывается, друг! Каждый посетитель застревает перед ней и на меня оглядывается. Значит, ощутимо наследие первых борцов, так, Олег?

Дизайнер вдруг глянул на него сбоку и как-то не по-хорошему, как-то, понимаешь, по-старому, как будто и водки с ним не пили и не щекотали друг друга в финской бане, как-то по-вражески посмотрел, с насмешкой и презрением. Впрочем, тут же за плечи обнял, захохотал по-свойски:

— Я же тебе говорил, Потапыч-голуба, ты без этой картины лишь эскиз, а она без тебя — говно на палочке! Хеппенинг продолжается!

Под сильными порывами ветра на площади Гагари-на летала бывшая афиша, о чем вещавшая — загадка. Пятот скульптур на близкой крыше — пилот, доярка, свиноматка... На Западе, в преддверье слизи, скопление туч крутым бараном, дорога шла в социализм, к неназванным, но братским странам. Эх, просится здесь нержавейка, монумент ракето-человека. Клич надо бросить среди скульпторов, пусть отразят неотразимые черты НТР советской действительности в лучших традициях калужского мечтателя. Какое, однако, все вокруг родное — ОБУВЬ, ХРУСТАЛЬ, КОММУНИЗМ...

...Как только вышли из лифта в том доме, адрес которого заполучил дизайнер, летя из Венгрии, так Феляев и заколебал себя, просыпалась порой в человеке, смешно сказать, прежняя липецкая стеснительность, вспомнились мамкины щипки — честным надо быть, а не богатым.

Из-за дверей квартиры доносился молодежный рев и резкие режущие звуки авангардистской музыки. Лопнула феляевская мечтишка о тихой хавирке с двумя сознательными девчатами. Дверь распахнулась — все было заполнено дымом и вибрирующей массой молодежи. Длинноволосый и грязный советский хиппи тыкал пальцем в лидера идеологии:

— Вот так булыга прикатилась! Ребята, аврал, булыжник пришел, оружие пролетариата!

Запрыгали три девки в хламидах с нашитыми лоскутами:

— Булыжник! Булыжник! Революция продолжается!

ЧЕСТНОЕ СЛОВО В КАВЫЧКАХ

В один прекрасный понедельник в газете «Честное Слово» появилось открытое письмо представителей советской общественности.

Я как раз шел с работы, стояла закатная пора, очарование души. Шло — с успехом — восьмое десятилетие нашего века. Милостивый государь, вы еще молоды и у вас есть шанс увидеть завершение столетия, ну а за пределами 2000 года и в самом деле трудно представить себе продолжение столь бардачной ситуации, именуемой... замнем для ясности. Так однажды высказался один тут старик по соседству, который иной раз приглашает меня третьим на бутылку «Солнцедара» в проходном дворе за магазином «Комсомолец». Сказано неплохо, однако полной ясности в цитате нет, значит, не Ленин.

Прошла высокая представительная брюнетка, яркий представитель армянского народа, а еще говорят, что они все некрасивые и квадратные, вот расистские бредни.

Обмен взглядами, и проходит нечто сродни впрыскиванию горючей смеси в карбюратор двигателя внутреннего сгорания, меня охватывает вдохновение, и это несмотря на восьмичасовой рабочий день.

Стихийный митинг восставшей молодежи у северного выхода из метро «Аэропорт», порхают листовки, толпа жадно слушает золотоволосого вожака, что бросает зажигательные призывы с крыши остановленного троллейбуса.

— Требуем! Уберите Ленина с денег!

Ленин — святыня каждого трудящегося, а как у нас на практике получается — предметы алчности украшены его портретом. Прав наш поэт в своем гневе — долой!

Лживый мир псевдосоциализма возникает, несмотря на все старания нашей Партии. В центре его вихрь — афера, взяточничество, круговая порука, насилие над молодежью. Партия, как Ярославна, кычет со Спасской башни — Ленин, вернись!

У Спартакка Гизатуллина, конечно, своя философия, он говорит — надо воровать. Как в Татарии народ выражается: «одна вход со двора, будет большой чумара». Долг каждо-

го советского человека — воровать побольше. Надо воровать, пока не разворуем всю эту Организацию, а вот когда она рухнет, все примем христианство и станем честными.

Не могу сказать, что полностью с этим согласен. Глубоко убежден, что во всем виноват бумажный мир бюрократии, а значит, косвенно вся бумажная мануфактура. Вот мы учили в институте на политэкономии, что в Англии были такие люди — муддиты, они разрушали станки, и не без уважительной причины, жаль, что не доломали. Я за революцию 465 градусов по Фаренгейту, и позвольте с вами не согласиться, дорогой товарищ Рэйбрэдбери: уничтожение бумаги вызовет не тоталитаризм, а, скорее, наоборот — настоящий коммунизм, мечту Фридриха Энгельса. Ведь в священном огне антибумажной революции сгорят все наши омерзительные справки, заявления, характеристики, приказы и выписки из приказов, резолюции, протоколы, квитанции, ордера, графики, диаграммы, доносы... Мне скажут, что пострадают художественные ценности, в частности литература. Что ж, как ни печально, но ею придется пожертвовать. Будем больше петь, больше играть на музыкальных инструментах.

Возникнет новая система коммуникаций. Предположим, глиняные таблички, металлические цилиндрики, деревянные палочки, пластмассовые карточки. Громоздко? Вот именно, громоздко, в этом и смысл, дорогие товарищи! Громоздкость, неуклюжесть отобьет у нашего общества страсть к делопроизводству, то есть к созданию фальшивого мира. Возникнут новые отношения, на несколько порядков выше, проще. Дела будут решаться в один прием, вот как мы это сделали с товарищем Феляевым, в штабе Партии.

И как раз в этот именно момент, в понедельник, ровно в половине седьмого, мой взгляд, следивший (непроизвольно) за перемещениями красивой армянки, упал на стенд с газетой «Честное Слово».

Вещи утратили свой первоначальный смысл. Глядя на газету, никто ведь не думает, что это просто здоровенный клоч бумаги, каждый соображает: вот передо мной коллективный организатор, трибуна борьбы с империалистической пропагандой. А искорени бумагу, и сразу уменьшится борьба с империалистической клеветой, потому что и сама клевета ведь поубавится, а?

Армянка стояла в очереди за клюквой в сахаре, потом перешла в другую очередь, где давали длинные здоровенные болгарские огурцы, вполне пригодные для разгона уличных демонстраций. В газете «Честное Слово» на первой полосе фигурировало «Открытое письмо представителей советской общественности». У меня дыхание перехватило, когда среди славных советских имен увидел я и свое, возникшее на Руси за двести лет до изобретения велосипеда. В этой газете, главном органе мира и социализма, черным по белому... Армянка вышла из очереди и приближалась. Сколь гордая поступь!

Ефросинья относится ко мне несерьезно, даже с насмешкой. Дурацкий верзила Стюрин, который недавно заявил, что вычислил свои «корни» от королевской фамилии Стюарт, почему-то считается человеком их круга, в то время как я с моей реальной ге-не-а-логией (правильно!), с моим истинно латинским именем, обозначающим определенную быстроту, я — как бы лицо второго сорта, простой инженеришко, годный лишь... А вот любопытно, будет ли ревновать девка, если признаюсь, что факовался с председателем Армянского Комитета Советских Женщин?

Она подошла и стала читать «Открытое письмо». На верхней губе красовались отчетливые усики, говорящие, конечно, о страстности, необузданности. Глаз был жарок, как Севилья. Замшевый жакет обтягивал статный стан.

— Вам нравится фамилия Велосипедов? — я показал пальцем.

— А что, вы с ним знакомы? — басовито спросила она.

— Порой мне кажется, что да, — скромно признался я и показал ей пропуск в наше учреждение, на котором под фото так и значилось — И.И.Велосипедов, инженер.

— Я остановилась в гостинице «Советская», — сказала она. — Проездом из Лос-Анджелеса в Ереван.

— Зачем нам эти гостиничные проблемы, мадам, — сказал я, — зачем преодолевать мещанские предрассудки, рисковать самым дорогим, что у человека есть, то есть свободой? В двух шагах отсюда, дорогая Ханук, я располагаю однокомнатной квартирой.

И вот передо мной два сахарных Арарата. Далее следует размыкание теснин, большая поршневая работа. Ну вот, а теперь можно и поговорить, дорогая Ханук, ваша клюк-ва, мой портвейн «Агдам»...

Вы только подумайте, Ханук, какая в мире живет еще наглость — некий Стюрин Валюша, без году неделя из Пскопской глубинки, вычисляет свою генеалогию — вижу, вы уже улыбаетесь, дорогая Ханук, — от королевского шотландского дома Стюартов. Вот его логика: проследите, говорит, господа, войну Алой и Белой розы (это из учебника истории почерпнул для 7-го класса), и вы найдете все ветви этого дома за исключением одной, которая просто пропала. А между тем эта последняя, пропавшая ветвь, скрываясь от преследований, укрылась в Центральной Европе и вынырнула лишь в конце XVII века в России под именем наемного мушкетерского капитана Амбруаза Стюрен. И вот от этого мифического капитана якобы и пошла в Боровичах фамилия Стюриных. И вот таким забивальщиком баков верят еще до сих пор отдельные московские девушки. И никому в голову не придет спросить — а может быть, ваша фамилия-то пошла не от Стюартов, а от «тюри»? Простите, благородная Ханук, тюря — это еда пскопского плебса, гадкая жижа, вода с накрошенным хлебом. А вот вам и наглость в квадрате — Стюрин Валюша, кроме короля, нашел в себе и древние республиканские традиции. Псков, видите ли, старейшая

демократическая институция Европы! Какая нескромность!

Вы выдаете себя за художника, хотя и краски смешивать не умеете, за джазиста, хотя не можете взять и пары пот, хорошо, но оставьте уж в покое Европу, милостивый государь!

Вот перед вами, дорогая Ханук, человек с настоящими историческими корнями. Происхожу из русского духовенства, и в отечественную индустрию внесен нами, Велосипедовыми, немалый вклад, и в общественной жизни страны, вы сами сегодня видели, принимаю посильное участие вместе с большими умами, хорошими голосами, красивыми и сильными ногами, и все-таки я не кичусь, не выпендриваюсь перед девушками. Вот этот скромный человек перед вами, дорогая Ханук, вернее, рядом с вами, вплотную, на вас, любезная Ханук, под вами, сбоку, еще раз над вами, на вас — под вами — у вас, среди вас, мои сахарные Апараты!

Со свежей газетой «Честное Слово» я бежал по подземным переходам, по пересадочным коридорам, теснился в вагонах, смотрел на хмурые лица пассажиров, разворачивающих газету, и думал: жаль, не знают попутчики, что один из героев сегодняшнего дня едет вместе с ними, в одном вагоне, знали бы, засияли б!

Выскакиваю возле Фенькиного дома, бегу, бегу, воображаю, какова будет встреча, вот так-так, «месье Велосипедов» попал на первую страницу коллективного организатора! А вот любопытно, Фенечка, что бы ты сказала, если бы я тебе сказал «что бы ты сказала, если бы я тебе сказал?» — ...ну, в общем, насчет председателя Армянского Комитета Советских Женщин...

Дверь открывается, и я спрашиваю ее в лицо — Феня, ты дома? Она, не ответив ни слова, поворачивается спиной и удаляется в глубины квартиры. За что такой холод? Быть не может, что уже узнала про председателя.

Феня, смотри-ка, экая хохма — в «Честном Слове» моя фамилия! Да Ефросинья же, что случилось?

Вхожу в ливинговую (так они большую комнату называют), и передо мной незабываемая картина: Валюта Стюрин, потомок королей, и Ванюша Шишленко, тоже, как видно, не последний аристократ, сидят с газетами, углубленно просвещаются, даже голов не поднимают, непривычно тихо звучит джазовая скрипка. Она, моя любимая, бух-бух, садится, ноги в сапогах выше колен закидывает на стол, разворачивает свой экземпляр, у всех троих «Честное Слово» за сегодняшнее число.

Признаюсь, в этот момент я очень сильно сам себя заколебал.

— Что это, чувачки, — спрашиваю, — изба-читальня образовалась? Красный чум?

Всегда, когда вижу эту компанию, стараюсь под их манеру подделаться, хотя и презираю себя за это: подумать только — кто я и кто они? Несопоставимые величины. Фактически руководитель экспериментальной лаборатории и пара художественных бездельников. Почему же не они под меня, а я под них?

— Але, — говорю, — Фенька, не виделись сто лет, месье Велосипедов отведал бы котлет.

Молчание. Выключается система. Зловещая тишина без джазовой скрипки.

— Как это вы попали в компанию таких подонков? — вдруг вяло спрашивает Ванюша Шишленко.

Обжигает виски леденящий смысл вопроса.

— То есть? Как это? Подонков? — с трудом выталкиваю, даже горло прихватило, изумленные контрвопросы. — Да вы соображаете, Ванюша, что говорите? Лучшие люди страны, такие таланты!

Валюша Стюрин высокомерно улыбается, в самом деле что-то королевское:

— Странная неразборчивость, бляббуду, экая всеядность. Не разобраться в подонках, подлинных советских ничтожествах? Стрэндж, вери стрэндж...

Фенька молчит, и я перехожу в наступление:

— Да вы, Валюша, соображаете, что говорите? Вы, наверное, не следите за культурной жизнью страны. Ну, читали ли вы хотя бы роман Бочкина «Два берега одной реки»? Ведь это же такая глубокая философия! А Кайтманов, а Теленкин? При Сталине такое было невозможно! А скрипичные пассажи Блюхера? Ведь они завораживают! А батманы Маши Иммортельченко, ведь упоение же, вечное же, истинное искусство! А мощь Гонцова! А психологизм Жаппы Бурдюк! А «окопная правда» Чайкина! А как насчет ораторского искусства токаря Пшонцо, ткачихи Гурьекашиной, а возьмите...

— Сахарова, Солженицына, — помогла мне тут Фенька.

— Вот именно! — радостно подхватил я. — Такие люди! Такие имена! Звезды! Гиганты! Хранители тайны и веры! Вы радоваться должны за меня, если вы мне друзья, а не упражняться, простите, в плоских островах.

Фенька захохотала:

— Я же вам говорила, чуваки, что Велосипедов — битый мудак! Наш простой советский битмудила!

Она забарабанила каблуками по столу и захохотала еще пуще. Признаюсь, не очень-то я отдавал себе отчет в причинах этого оскорбительного смеха и легкомысленных реплик, и все-таки я почувствовал какое-то облегчение: мне показалось, что Фенька уже не злится и что — еще минуту — и снова возникнет весь этот привычный цирк, скачки, куплеты, «месье Велосипедов», кружение и похабщина. Уже и «дивный огонь» начинал скапливаться там, где обычно.

Однако тут Валюша Стюрин резко высказался:

— Вы, Велосипедов, отдали свое неплохое имя этим скотам. Ваша фамилия возникла на Руси за двести лет до изобретения велосипеда, а сейчас вы с этим безродным

сбродом, скопищем продажного народца, вы, человек нашего круга, блябуду, не ожидал.

— Может, вы и в самом деле, Велосипедов, возмущены поведением Сахарова и Солженицына? — спросил Ванюша Шишленко. — Может, душа кипит?

— Да с какой же это стати? — от удивления я просто развел руками. — Я чего-то недопонимаю, чувачки. Меня просто в райком же вызвали руководящие товарищи, ну как лотерейный билет выпал — сечете? — ну вот и пригласили участвовать — общественная жизнь, как же иначе. У нас и в институте всегда так было — на собрание всем колхозом и давай голосовать — за свободу Вьетнаму, против чешской контрреволюции. Вот вы не доучились, чуваки, поэтому и с общественной жизнью плохо знакомы. Я Брежневу написал про зажим молодых специалистов, вот меня и вызвали. Ты же, Фенька, сама мне сказала, пиши тому, у кого власть, вот меня и пригласили...

— И садовый участок пообещали? — спросил Ванюша. — И жигулятины?

— Пообещали, конечно, что им стоит, там большие люди сидят, не нам чета, — сказал я. — Очень просто решаются такие вопросы.

— Говно, — сказал Ванюша.

— Кто? — опешил я

— Вы тоже, Велосипедов.

— А можно просто Игорь?

— Можно, Игорь. Вы теперь влились в общее советское говно, а значит, и сами стали — кем? Правильно!

Я взглянул на Феньку — с каким презрением и даже отвращением смотрела она на меня.

— Неправда! Неправильно!

Меня просто ужас охватил, какая-то приближалась катастрофа.

Стюрин встал:

— Простите, господа, но далее, блябуду, не считаю себя в состоянии дышать одним воздухом с предателем демократического обновления России.

Шишленко тоже встал.

— Ребята! — воззвал я к ним. — Да тут какая-то мизандерстуха получается! Да я же горячий сторонник обновления! Никого никогда не закладывал! Ну, подумаешь — подпишись! Большая цена у этой бумажонки!

Фенька вскочила, бухнув своими сапогами.

— Ребята, останьтесь!

— Останьтесь, останьтесь! — горячо поддержал я ее. — Сейчас за бутылкой слетаю, разберемся!

— А ты, Велосипедов, лияй! — вдруг завизжала она мне прямо в лицо. — Да ты понимаешь, на кого ты руку поднял, жопа?? На Шугера, на Солжа! Да если бы таких чуваков в России не было, нечего здесь больше было бы и делать, сваливать тогда, бежать всем скопом, пусть стреляют! Недавно у Людки Форс видела одно булыжное рыло из партийных органов, меня чуть не вырвало, чуваки! Да неужели вся страна такими булыгами покроется и ни одного Шугера, ни одного Солжа?! Нельзя с булыгами жить, нельзя больше с ними жить, как же вы не понимаете, что нельзя с ними больше жить, почему же никто этого не понимает, жуй, говны, не могу, тошнит!

Ну и дела, настоящая истерика на почве демобновления, и это у простой студентки Полиграфического института.

Когда я опомнился, вокруг светились высокие оранжевые фонари, пахло асфальтом, бензином, с Москвы-реки летело что-то детское, когда кто-то обидел почти смертельно, почти, почти...

Шипели шины, с шорохом шараша по Ленинскому вдаль, в аэропорт. Гудел Нескучный сад над скучною столицей. Вертеп ошеломляющий грачей под полною луной перемещался, и магазин «Диета» освещал своей унылой вывеской округу, скопление пропагандных достижений, плакат за мир, за дело коммунизма, газетный стенд...

Вот оно, проклятое «Честное Слово», коллективный организатор с четырьмя орденами Ленина и двумя Дружбы

Народов! Больше внимания рабочему контролю — передовица-кобылица, а вот и репортаж входит в раж — на предпраздничной вахте, снимки работяг на этой самой вахте, дыбятся, небось уже бутылкой запаслись, нормально функционируют, не боясь обвинений в предательстве демократического обновления России.

Я стоял, качаясь, перед газетным стендом, заполненный ощущением глухого и тяжелого кира, хотя не взял сегодня ни капли. Вот именно, вообразите — отчаяние, тоска, сосущая изжога, — а ведь не взято ни капли!

Что происходит ведь можно так представить дело что я продал свою подпись за жизненные блага за садово-огородный за жигули за Болгарскую Народную Республику с ее дублинками но разве было у меня в уме что-либо даже отдаленно похожее на сделку с этим уважаемым товарищем в райкоме как его фамилия да разве же могло простому советскому человеку такое в голову прийти что его в таком учреждении покупают ребята господа чуваки товарищи как я мог связать два подобных вопроса партия просит помощи вот она как же можно уклониться не этому нас учили Белинский и Добролюбов такова общественная жизнь и я хоть и рядовой технарь а все ж таки правила понимаю а ведь та моя собственная просьба к партии шла можно сказать параллельно без всякой связи ведь ты же мне сама посоветовала в конце концов я одинокий молодой человек никому не нужен моя мать до сих пор поет Сильву в провинциальном театре оперетты а у отца в огромном отдалении за Полярным кругом своя преогромнейшая семья я может быть из всей нашей компании самый несовершеннолетний несмотря на мои тридцать и если я чего недопонял так ведь можно же ж и поправить объяснить зачем же гнать так грубо так ужасно с такими истериками да разве же я Сахарову и Солженицыну плохого желаю я им только хорошего желаю крепкого здоровья отличной семейной жизни всего.

Вдруг меня осенило. Вдруг меня со страшной силой так прямо пронзило, что я даже рот раскрыл. Да ведь эти Сахаров-академик и Солженицын-лауреат, ведь они для

меня даже людьми-то не были, ведь это просто какие-то были бумажные фигуры, такие вот просто в жизни были понятия, против которых всегда была направлена газетная критика*окружающей среды.

Вот ведь не раз и положительное о них слышал, вот, например, сослуживец Спартак Гизатуллин не раз говорил что-то вроде «Солженицын прав, Сахаров не допустит» и так далее, а ведь ни разу эти слова у меня как-то с реальными образами пожилых этих мужчин не связались. Для меня эти живые люди были вроде как бы названиями станций метро, до сих пор, например, не вникал, почему называется «Сокол». Или, еще пример, учили в институте «производительные силы и производственные отношения», от зубов отскакивало и ни в зуб толкнуть, понятия не имею, с чем его едят. Значит, я туп, значит, обыватель, вот из-за чего меня моя девка прогнала, я просто жертва бумажной узурпации, бессмысленный муравей.

И с диким рыком бросился я на газету «Честное Слово», стал рвать ее, желая наказать за унижение. Увы, и с этим у меня получилось как-то нелепо, неуклюже: хотел стащить ее со стенда одним махом, а она, зараза, приклеена оказалась так туго, что пришлось скрестить ногтями и не без боли и с тихим отчаянным воем, пока два милиционера-трассовика (на правительственной трассе произошел инцидент) не огрели меня специально антиповстанческой дубинкой и не запихали меня головой вниз в люльку патрульного мотоцикла.

На третий день моего пребывания среди коротко подстриженных пришел за мной как бы представитель обществуности, дорогой мой Спартак Гизатуллин.

Сели в кабинете майора Орlando заполнять протокол о передаче на поруки с обязательным разбором общественностью предприятия, шесть страниц под копирку в трех экземплярах.

Майор Орlando на прощание сказал:

— Я вижу, вы ребята хорошие. Вот мой телефон. Айда как-нибудь на футбол ходим.

На улице, под лучами весеннего солнца, не приносящего ни тепла, ни радости (в Москве иной раз даже весеннее солнце кажется нескончаемым наказанием), Спартак остановился, порвал протокол о передаче на поруки обществу вдоль и поперек и швырнул этот протокол в мусорную урну.

— Не волнуйся, — хмуро сказал. — Я этому майору четвертную дал за любезность.

— Спартак, — прошептал я, — дорогой ты мой человек, вот уже доподлинно друзья познаются, когда бывают у человека большие неприятности.

— Кончай, — физиономия Спартака перекосилась. — Плюнуть бы надо на тебя. Плюнуть и растереть. Жопа ты, Игорь, и настоящая шестерка. Твоим товарищам стыдно за тебя. Обгадить таких людей, которые за простой народ стоят, не жалея огромных окладов. Сейчас весь советский народ торчит против проклятой Организации. Вон космонавт Быковский уже поднялся за права человека.

— А ты не преувеличиваешь, Спартак? — спросил я. — Если космонавт Быковский, так ведь это же очень серьезно, очень и очень...

Гизатуллин Спартак сплюнул в сторону:

— А ты бы, Игорь, вместо того, чтобы по райкомам жуевничать, включил бы как порядочный человек приемник, послушал бы «рупора». Что же ты думаешь, космонавты не видят, какой вокруг бардак, кто нашу прибавочную стоимость хавают? Вчера как раз передавали — арестован Владимир Быковский.

— Может, пойдем выпьем, Спартак? — осторожно предложил я.

Он смотрел в сторону.

— Откровенно говоря, Игорек, нет у меня никакого аппетита пить с тобой.

КОНТАКТЫ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

У нас тут интересуются одним человечком, сказал гэбист кадровику экспериментальной моторной лаборатории.

Давайте-ка сверим наши данные. Он выпул из своего «дипломата» серую тощую папочку. Вот пожалуйста. Велосипедов Игорь Иванович, 1943 года рождения...

Кадровик открыл свой железный чулан, извлек из соответствующего закутка личное дело названной персоны. Уроженец города Краснодара...

Значит, проживал на оккупированной территории, оживленно поинтересовался гэбист. Вот важное, довольно существенное звено, вот оно!

Собственно говоря, не проживал, а просто-напросто родился на оккупированной территории, подсказал чрезвычайно опытный заслуженный кадровик. С этими «проживавшими на оккупированных территориях» старый кадровик возился всю жизнь, собаку на них съел, в общем-то знал, как действовать, нареканий сверху по этому поводу никогда не имел, а вот с «родившимися на оккупированных территориях», которые, собственно говоря, в кадровых списках-то стали появляться совсем недавно, не более десяти лет, что совпало, увы, с переносом тела из самого священного места в менее священное место, с ними все-таки была неясность, инструкции отсутствовали, и позиция как-то была не выработана — с одной стороны, вроде бы несмышленищами были во время пребывания на оккупированных территориях, а с другой-то стороны, вдруг вражье семя возшло?

Ну, если родился, значит, и проживал, с некоторым, под вопросом, легкомыслием, свойственным этим новым кадрам, сказал молодой гэбист. В принципе, если человек рождается даже в момент уличных боев, это все-таки означает, что он проживал на оккупированных территориях. А вот если наше знамя уже на городском театре, и в этот как раз момент человек рождается, а город уже не переходит назад к врагу, это значит, что он *не* проживал на оккупированных территориях, и значит, с этой стороны — чист.

Это что же, новая инструкция, поинтересовался кадровик и зорко глянул на гэбиста — случайно ли упомянут городской театр.

Нет, это мое собственное умозаключение, скромно признался гэбист и в то же время зорко подметил зоркость кадровика.

Неплохой получился обмен мимикой, прямо как в *театре?*

— Над театром, вы сказали?

— Да. А что?

Ну просто вот мамаша-то Игоря Ивановича как раз по театральной части, Сильва. Вот именно в том смысле, что поет Сильву. Нет, не пела, а поет по сей день, поет и танцует. Любопытно?

Нет, не очень. Любопытно, конечно, но не очень. У нас вообще интерес к товарищу Велосипедову средний, вполне умеренный. В общем, спасибо вам за консультацию, в общем, я пойду пока, так сказать, для визуального знакомства, а детали, в общем, по телефону.

Гэбист пошел в поршневой сектор и увидел прямо с порога молодого человека, которого сразу узнал, ибо предварительно изучил и фотоматериал. Огорчила гэбиста велосипедовская золотая шевелюра, под влиянием тяжелых переживаний она превратилась в желтовато-мочалистые пряди длинных, но тощеватых волос. Зоркое око внутреннего разведчика отметило также обильный падеж волос на плечах синего халата и перхоть.

Объект сидел за столом, вперив тоскливо невидящий взор прямо в пространство перед собой, то есть в стоящего на пороге гэбиста. Иногда он как бы спохватывался, бросал взгляд вбок на тяжело работающий в специальном лабораторном углублении поршень, смотрел на дрожащие стрелки и ставил какие-то крючки в трех грессбухах, распластанных перед ним на длинном столе, словно пироги с капустой к празднику Восьмое марта.

В углублении за стеклянной стенкой впечатляюще демонстрировал свою мощь поршень сорокатонного «Беллаза», похожий на ступню двухтонного слона. Стенка цилиндра была для наглядности открыта, и поршень внушительно ходил вверх и вниз внутри своего влагиалища.

Что-то помешало гэбисту немедленно вступить в личный контакт с объектом. Не менее пятнадцати минут он смотрел на эксперимент Велосипедова, все вместе представляло из себя нечто: мощное движение металлургического поршня и уязвимый клиент, слабой рукой запоящийся в гроссбухи данные могучей долбежки.

Вот таков порядок вещей, вдруг подумал гэбист мысль, не относящуюся к работе. Вот такая получается символика, и так будет всегда, и чем больше, тем лучше для всех, не говоря уже об авангарде, — увы, чем больше он вникал в свою первоначальную мысль, тем больше приближался к работе.

Наконец взгляды их встретились.

— Я из райкома комсомола, — сказал гэбист и почти не соврал. — Здравствуйте, Игорь Иванович! Давай на «ты»? Какая у тебя работа творческая, Игорь. Интересный эксперимент, ничего не скажешь. Напрашивается вопрос, когда наступает момент впрыскивания?

— Момент чего? — в глубоком унынии спросил Велосипедов.

Впрыскивание горючей смеси в газовую среду дэ-вэ-эс, охотно расшифровал свой вопрос гэбист. Ничего я тут не наврал, Игорь? Мы ведь, знаешь, стараемся сейчас не только словесами заниматься, времена Павки Корчагина прошли, надо вникать, вгрызаться. Согласен?

— Комсомол в эпоху эн-тэ-эр всегда в ногу, — с прежним унынием согласился Велосипедов.

А вот теперь, благодаря тебе, сказал гэбист, всякий раз, глядя на работу могучего «БелАЗа», буду понимать его внушительные внутренние процессы. Из лаборатории они вышли вместе.

Повсеместное разрастание сирени преобразило индустриальное захолустье. Женщины, огромною толпою осаждавшие овощную палатку, иной раз смотрели вверх на лиловую кипень и думали, как хороша была бы земля без мужчин, с одними юношами.

— Давай встретимся, — предложил гэбист.

— Так разве не встретились уже? — удивился Велосипедов.

Длинными своими пальцами — мама Сильва обычно шутила «пианист родился» — он мял болгарскую сигарету «БТ», которая по мере вrastания ее родины в социализм с каждым годом становится все туже. Наверное, насчет борьбы за мир, тоскливо думал он о своем комсомольском госте. Вот беда, разваливается португальская колониальная империя, а у нашего брата общественника голова болит. Увеличиваются нагрузки. За истекший месяц после письма в «Честном Слове», когда институтские активисты с восторгом приняли его в свою среду, три раза уже вытаскивали Велосипедова на трибуну клеймить Салазара и его последышей.

А вот что касается *параллельного* заявления, то здесь не особенно-то чешутся, несмотря на решения Партии. Лишь третьего вот дня вызвали в местком и предложили написать новое заявление о предоставлении садово-огородного участка. Товарищи, у вас уже три мои заявления лежат! Неужели в самом деле недостаточно?! Лишнее не помешает, объяснили в месткоме. Более современное заявление всегда дороже какого-нибудь устарелого.

Велосипедов мучился с шариковым карандашом на подоконнике и задавал себе исторический вопрос — зачем? Разве этому нас учили Ленин, Радищев, Вольтер?

Вдруг посещали дерзкие вдохновляющие идеи. Привезу из Болгарии две дубленки, а не одну! Тогда одну продам и выплачу за садово-огородный участок! На «Жигули» деньги одолжу у богатого и ему же их и продам за дороже, а на разницу куплю в Лианозове старый «Запорожец» и своими руками доведу его до спортивного состояния, будет бегать, как какая-нибудь «Ланча».

Все вроде получалось складно, как вдруг обнаружился в стратегии изъян — а в Болгарию-то за дубленками на какие шиши поеду, и тут же дерзновенная идея быстрого вrastания в общество «зрелого социализма», вер-

нее, вырастания из одного сменялась беспросветным унынием — да куда уж мне, я неудачник, не по мне такие подвиги, меня моя девка прогнала за предательство демократической идеи, и вот я по ночам мучаюсь от половой жажды, из меня даже истекает семя...

Вот если бы революция, и я в ней режиссером-постановщиком! Какие массовки! Какие массовки! Штурм Центрального Универсального! Вперед, товарищи!

По части киногорез тоже имелись, конечно, определенные неприятности, и не в том они в общем-то заключались, что снимать не дают, пока что и не просил ведь, а в том, что восставать не против кого. Ведь не против же своей власти бузить, которая и есть власть восставших, что каждому известно с детства, это что за большевик лезет там на броневики. Ведь революцию же, увы, против революции же, увы, не устроишь. Как ни старайся, окажется она контрреволюцией и будет иметь неприятный душок.

А правда, что тебя по делу расхитителя Самохина вызвали? Новый приятель слегка обнял Велосипедова за плечи. Может, на пару, Гоша, работали? Может, тебе зарплата не хватает? Повестка-то у тебя при себе? Разреши полюбопытствовать.

Гэбист взял из руки Велосипедова задрожавшую на ветру пакостную повесточку, глянул на нее издали, не приближая к глазам, смял в кулаке и забросил бумажный шарик в шелестящие кусты. Такие дела, старик, будем решать в своем кругу, по-комсомольски.

Давай, Игорь, зови меня Женей, давай по-человечески повстречаемся в гостинице «Россия», а? Приходи в среду, после работы, на пятый этаж, номер 555, вход «Север», лады? Коньячок гарантирую.

Интересный хлопец, думал гэбист, катя под землей в метро до пересадки «Площадь Революции». В уме он все перебирал и перебирал бумаги из личного дела Велосипедова, копии были в настоящий момент заключены в его «дипломате», по извлечению не подлежали, совершенно

секретно. Проживал на оккупированной территории, хочет в Болгарскую Народную Республику... Интересный, интересный хлопец — куда его качнет?

БЛЕДНОЕ И НАГОЕ

Однажды я захожу к ней (без звонка, ключ сохранился от прежнего счастья), и что же я вижу в «ливинговой»? За столом королевский остолоп Валюша Стюрин, и его моя девка кормит отбивною котлетою.

Все, как раньше, как в былые недели, когда-то со мной — с куплетами, с прихлопываньем, с пританцовыванием кружится Фенька вокруг лошадиной немой твари, и она, то есть тварь, то есть он, Валюша, охотно и запросто поглощает неплохую, явно не магазинную, а скорее всего, даже не базарную, а «березовую» отбивную, и вот на пороге, как Статуя Командора, грозно встал оскорбленный Велосипедов, немая сцена!

Взгляды наши пересекались. На кухне свистел чайник. Полное отсутствие джазовой скрипки. Фенька пожала плечами и засвистела что-то, глядя в окно. Стюрин, вспомнив, что из королей, задрал свой псковской рубильник. Вот, между прочим, хорошая тема для дискуссии в «Комсомольской правде» — фальшивые дворяне и короли, появившиеся среди советской молодежи, не результат ли это определенных ошибок в воспитательном процессе, не приведет ли это нас к «социализму с человеческим лицом»?

Я повернулся, как на военном параде, левое плечо кругом. Мгновенное головокружение, схватился за притолоку, опомнился на улице, кричал грачиный грай.

Через час, когда добрался до дому, был звонок.

— Ну, что ты, Велосипедов? — глухо спросила Ефросинья.

— Приезжай ко мне! — взмолился я.

— Нет уж, — отказала девка, но потом добавила: — А хочешь просто так, вались сейчас на Патриаршие пруды.

— Это где? — растерялся я от счастья.

— Ты что, Булгакова не читал? — спросила она.

Признаюсь, я просто-напросто завопил:

— Да как тебе не стыдно? Ты во всем мне отказываешь, Ефросинья! Почему же это я Булгакова-то не читал?! Ты думаешь, Фенька, что только хипповые мудилы из Алой и Белой розы все читали?! Нет, читал! Читал! Я современный человек! Я вижу действительность панорамно! Понимаешь? Панорамно!

И вот мы сидим с пей вдвоем на скамейке около пруда, как будто «Бедная Лиза» писателя Карамзина, сентиментальное направление. Разумеется, у девки все направлено на внешний эффект и добивается своего: бабки, гнездящиеся вокруг пруда, злобно шепчутся, тычут пальцами в ее сторону, видимо, трудно перенести вторжение молодой особы с надписью на штанине «Тише, мыши!», в куртке, расшитой военными пуговицами, и в мужской шляпе времен Мирового Экономического Кризиса, которую Ванюша Шишленко забрал у своего дедушки, отставного советского шпиона на нью-йоркской фондовой бирже.

— Ты совокупаешься с Валюшей, — гневно сказал я.

— Был грех, — вздохнула она.

— Ты хочешь сказать, что?! — вскричал я.

— Вот именно, — кивнула она.

— И Ванюша тоже? — спросил я.

— Ну, а как ты думаешь, Велосипедов? — улыбнулась она.

— Может быть, и еще кто-нибудь?! — возопил я.

— Может быть, — она развела руками и пожала плечами.

— Кто, кто?! — ярился я, разрываемый сладкой мукой, от каждого ее признания все больше огня собиралось в чреслах.

— Ну, мало ли кто-о-о, — протянула она, округляя свой алый рот. — Ну, мастер мой, например.

— Как! — я даже подпрыгнул на скамье. — И старая обезьяна тоже?!

— Ну, а как же ты думаешь? — в позе оскорбленного достоинства спросила она. — Старый, знаменитый, передает свой опыт, как же можно ему не дать?

Я молчал, сжигаемый своей мукой.

— Увы, — проговорила она, — большой нынче спрос на эту штуку, — и положила себе для наглядности ладонь между ног. И слегка зевнула.

И в этот момент в глубине кадра, за путаницей ветвей, в этой булгаковско-карамзинской литературе, возникает и останавливается такси, словно осуществление могучего желания, не вполне реальное, но, видимо, способное перенести нас туда, куда... Такси! Такси! — я помчался к решетке сада.

Фенька уже шла за мной — шляпа набок, в зубах сигарета, пожимала плечами, разводила руками: вот, мол, вам, пожалуйста, что и требовалось доказать.

Когда мы уже намучили друг друга до полного изнеможения и лежали неподвижно-нагие на моей холостяцкой тахте, в комнату из-за стены проникла классическая музыка; не исключено, что под ее влиянием снова вскипело мое оскорбление:

— И все-таки! Как могла! Ты! Ему! Отбивную!

— Стравинский! — сказала она, пальцем упираясь в стену. — Стравинский — это класс, а Велосипедов — это говно.

Она приподнялась на локте и стала ладонью покачивать в такт Стравинскому.

— У тебя, конечно, Велосипедов, момент эякуляции потрясающий просто, бух-бух, как извержение Везувия, но, увы, в человеческом смысле ты — полный ноль.

— Это что же?!

Я теперь стоял у стены, хоть и нагой со всем своим отвисшим хозяйством, но со скрещенными на груди руками. Кажется, сильно горели глаза.

— Это, значит, из-за «Честного Слова»? Из-за открытого письма деятелей общественности? Что же, Ефросинья, из-за Сахарова — Солженицына, так получается? Из-за жалкого клочка бумаги, куда близкий тебе человек попал по полнейшему недоразумению? Что, Ефросинья, на камне, что ли, выбито это дурацкое письмо, на мраморе, на благородном, что ли, металле выгравировано? Кто помнит, Ефросинья, эти газетные пузыри на следующий день после использования в сортирах? Ведь просто же ж макулатура ж, хоть и миллионными тиражами! Ведь то, что ты позором-то полагаешь, ничего другое, как труха, мадемуазель, а человеческая-то личность вот она, перед тобой!

Тут я как-то непроизвольно и трагически рванулся к любимой девке, но остановлен был ее смехом, резким, как джазовая скрипка. Видно, при порывистом движении мотнулось в сторону мое хозяйство, вот и причина смеха у бездушной молодежи.

Уже в дверях, в нахлобученной шляпе и с сигаретой во рту, она подвела итоги:

— В общем, Велосипедов, захочешь прокачать систему, бух-бух, звони.

И была такова.

Полночи я маялся. Дурманом сквозь полусон наплывали тексты резолюций и призывов, выделялись принты больших советских орденов. Наконец не выдержал и набрал ее номер.

— Ты, Ефросинья, раба бумажного мира! — резанул я ей напрямую.

— Как ты сказал? Как? — заинтересованно переспросила она.

— Фундаментальные основы жизни от тебя скрыты, — нанес я ей второй удар.

— Как ты сказал? Как? Как?

...Как, как... все еще звучит у меня в памяти тот наглый девчоночий голосок, который даже и тогда, десять

лет назад, не ведая еще иноязычного смысла, придавал этому простейшему звуку похабное и подирающее по коже выражение.

В 7.15, за полчаса до обычного пробуждения, резкий звонок в дверь. Вскрываю, в зеркале вижу бледное, с висющими волосами, как бы и не я, тень моего стыда.

Наверное, арест по делу Самохина. Оклеветан и продан в рабство, а ведь не воровал, только один раз вместе с другими выпил на наворованное.

За дверью — два румяных карапуза в пионерских галстуках.

— Дядя, мы собираем бумажную макулатуру. Она нужна стране!

— Идите прочь, лицемеры! Стране нужны честные дети, а не обманщики!

СЕСТРЫ, 1973 ГОД

Но вот, уж право, где высились бумажные горы, тревожащие воображение Велосипедова, так это у его соседки, профессионалки Тихомировой Агриппины Евлампиевны! Стопы перепечатанных манускриптов по всем столам, по стульям, по подоконникам, на полу... при небольшом даже художественном воображении можно это было сравнить с небоскребами Манхэттена.

И как ничего приятного для советской власти нет на Манхэттене, так ничего приятного для нее и в Агриппининых «небоскребах» не содержалось. Специализировалась Агриппина по Самиздату и со скоростью необыкновенной, или, как выражалась порой ее сестрица Аделаида, «достойной лучшего применения», размножала в пространстве социализма сочинения неизвестно откуда взявшихся в этом близком к идеалу обществе критикапов.

Поначалу, конечно, Агриппина Евлампиевна удивлялась, работая крамолу: как же это можно на Партию замахиваться, вот природа человека, никакой благодар-

ности, как будто не понимают, что у Партии только одно и есть — Народ, его нужды, ведь как же можно Партию-то так грубо, никакого у людей нет чувства меры.

Однако год за годом, под очевидным влиянием все нарастающего потока этой невидимой литературы Агриппина Евлампиевна стала размышлять уже другим путем: как же это Партия так может притеснять права человека, ведь мальчики ничего другого не хотят, как только лишь объяснить Народу порочность однопартийной системы, зачем же выгонять с работы, ссылать, вот уж получается полное отсутствие демократии.

Раз в неделю Агриппину навещала сестра-близнец Аделаида, приносила торт, и тогда — рукописи побоку! — девы заваривали крепчайший чай и в сигаретном дыму обсуждали события своей жизни.

Агриппина Евлампиевна обычно рассказывала о каком-нибудь очередном своем авторе, который, разумеется, становился, как она любила выражаться, ее «пассней».

У Вадима трое детей, он подвижник, светлая голова, недавно крестился сам и крестил всю свою семью, человек энциклопедических знаний. А какая семья, Ада, вообрази: пришли с обыском, а старшая девочка Лилечка засунула рукопись под матрас и легла, как будто высокая температура, вот тебе и малышка одиннадцати лет, что и говорить, настоящая пионерка!

— Поэтому такое значение и придается у нас воспитанию молодежи, — кивала Аделаида. — Важнее этого дела нет ничего.

И Агриппина радостно кивала. Она привыкла почитать свою сестру, которая была ее старше всего на три минуты, но поднялась намного выше по жизненной лестнице, работала в райкоме КПСС и фактически вся культура гигантского района Москвы была у нее в руках: театры, издательства, киностудии, творческие союзы и даже ресторан Всероссийского театрального общества.

— К сожалению, Гриппочка, — иногда сетовала Аделаида, — порой наталкиваешься на непонимание даже со стороны вышестоящих товарищей. Вот, например, мой... — тут Аделаида Евлампиевна обычно поджимала губы и становилась похожей на девяностолетнюю партийку Стасову по кличке Абсолют, — мой шеф, Гриппа, порой заслуживает нелицеприятной критики. Ему напоминаешь о важности работы с подрастающим поколением, а у него похабщина в глазах. Окружил себя развратниками, взяточниками, при виде любой заграничной штучки просто дрожит, хотя теоретически довольно подкован, этого у него не отнимешь.

— Коррупция, — с пониманием кивала Агриппина Евлампиевна. — Коррупция, словно проказа, запечатлелась на лице правящей партии...

— Ну, это, конечно, дешевая буржуазная пропаганда, — отмахивалась Аделаида Евлампиевна. Она привыкла к тому, что младшая сестрица всю жизнь несла околесицу, привыкла и мирилась с этим, потому что Гриппочку обожала. — Коррупция — это, конечно, вздор, диссидентская заумь, но, увы, Гриппочка, очевидный факт — таких кристальных людей, как Михаил Андреевич, в Партии стало меньше.

— Это какой же такой Михаил Андреевич, Адочка? — с лукавинкой спрашивала Агриппина Евлампиевна.

— Суслов, — говорила Аделаида Евлампиевна, глядя в окно, за коим юго-западный майский ветер обычно раскачивал об эту пору верх вязов.

— Ой! — всплескивала руками Агриппина Евлампиевна. — Да ведь это тот самый Суслов, который расправлялся с народами Северного Кавказа?!

— Михаил Андреевич всегда был там, куда его посылала Партия, — сухо поправляла сестру Аделаида Евлампиевна.

— Ой! — Агриппина Евлампиевна заглядывала сестре в глаза. — Ой, Адочка, да ты, кажется... того?.. — Она прижимала руки к груди и шептала еле слышно: — Давно?

— С февраля, — признавалась Аделаида Евлампиевна. — Он выступал на предвыборном активе во Дворце культуры Тормозного завода, и я...

— И ты? — замирала Агриппина Евлампиевна.

— По ма-куш-ку, — с горящими глазками, с румянцем признавалась Аделаида и для пущей убедительности похлопывала себя по начинающей уже просвечивать макушечной выпуклости.

— Ах ты пострел! — корила ее младшая сестрица. — Ах ты наш вечный пострел!

Сестры обнимались, целовались, шепотом, как в детстве бывало в общей постельке, поверяли друг другу сердечные тайны. Своеком М.А.Суслова оказывался матерый самоиздатчик, бывший физик, ныне философ, сибиряк, социолог, логик, еврей, конечно, но ты не можешь себе представить, исключительной чистоты человек!

Была, впрочем, у сестер и общая «пассия» — балет! С нежных лет обе были балетоманками, знали в этом мире всех и вся и фаворитов своих выбирали с толком.

Сейчас пальма первенства была по праву отдана молодому солисту ГАБТ Саше Калашникову. Ах, этот Саша, такой маленький, как солдатик, и такие крепенькие ножки! Он танцует как настоящий интеллигент, говорила Агриппина Евлампиевна, видно, что критически мыслящая личность. Вот наглядные результаты воспитания нашей молодежи, поучительно говорила Аделаида Евлампиевна. Гений, простота, ненавязчивый патриотизм!

— Агриппина Евлампиевна, я звоню-звоню, а никто не открывает, хотел уходить, но слышу голоса, сначала думал радио, но потом рискнул, толкнул дверь, а она не заперта, это вы зря так неосторожно, надо хотя бы цепочку накидывать, а то притащатся какие-нибудь... сборщики бумажной макулатуры...

С этим вздором на устах в квартире появился бледный, как оперный герой, сосед Игорь Велосипедов.

Какой интересный молодой человек, сразу же подумала Аделаида Евлампиевна. Просто народоволец, под-

польщик-марксист, вдохновенный строитель Комсомольска-на-Амуре. И неужели вот такой приятный, исполненный такой высокой духовности (словечко это Аделаида недавно подцепила у ожидавших феляевского приема деятелей искусств), такой по большому счету (тот же источник) хороший юноша стоит в стороне от Партии или... чего уж греха таить... один из Гриппочкиных клиентов, то есть по другую сторону баррикад? Такое к тому же удивительно знакомое лицо, должно быть, просто литературный образ. За таких юношей надо бы бороться, надо бы решительно протягивать им руку...

От Агриппины, конечно, не ускользнуло, какое сильное впечатление произвел вошедший на сестрицу.

— Это, Адочка, мой сосед Игорь Иванович, — сказала она. — Игорь, познакомьтесь с моей сестрой. Адочка работает в партийных органах.

Велосипедов через силу улыбнулся. Где-то уже видел эту козлятину, подумал он.

— И что же, Игорь Иванович, вы тоже?... — Аделаида с легким смешком, будто о картишках или о дамочках, показала глазками на Гриппочкины бумажные небоскребы.

— Б-р-р, — ответил Велосипедов. Трепал некоторый озноб.

— Нет, нет, Адочка, ничего опасного, Игорь Иванович... ну... ну просто пишет... просто пробы пера... — поспешила на помощь Агриппина и подмигнула Велосипедову в целях конспирации.

— Похвально, если просто пишете, — по-меценатски, но со значением сказала Аделаида Евлампиевна и встала. — Очень приятно было познакомиться. К сожалению, мне пора, у нас сегодня важнейшее мероприятие, встреча побратимов, шарикоподшипникового завода и театра имени Вахтангова. Вот, Гриппочка, твой билет на «Лебединое», встретимся, как всегда, у третьей колонны... — Она слегка замешкалась, еще раз взглянула на Велосипедова, и вдруг ее осенило — нужно познакомить этого юношу, который на перепутье, с другим настоящим

советским юношей творческого направления. — А вы, Игорь Иванович, балетом не интересуетесь? Вот в четверг Саша Калашников танцует, есть билет, не хотите познакомиться?

— С восторгом, — промямлил Велосипедов. — Сколько я вам должен?

— Это бесплатно. Из наших фондов. Итак, до четверга!

Сильно бухая гэдээровскими сапогами «на платформе», Аделанда Евлампиевна покинула сестрину квартиру, после чего Велосипедов облегченно вздохнул и отрезал себе райкомовского торта.

— У вас что-нибудь есть? — конспиративным тоном спросила Агриппина Евлампиевна.

— Ноль, — признался Велосипедов и, не донеся сладчайшего кусочка до рта, с кислейшим выражением лица осмотрел тихомировские «небоскребы».

— Любопытно, Агриппина Евлампиевна, это что же, вот столько всего разного люди пишут?

— Вот пишут, видите, время даром не теряют, — гордо подтвердила Агриппина. — Вот, пожалуйста, на столе шесть башен — интереснейший роман с четырьмя перевоплощениями за пять тысяч лет. А вот на кровати раскидана распечатка хроники Тамбовского восстания, аутентичный текст «Против кровавой большевистской диктатуры», на подоконнике о преступлениях в биологической науке, на полу, на коврике, там — эротическая поэзия и разоблачение национальной политики на Кавказе, как раз про Адочкиного Мишу Сус... впрочем, вы не в курсе...

— А это не опасно, Агриппина Евлампиевна? — поинтересовался Велосипедов. Он как раз откусил торта, и теперь его постепенно охватывала память то ли о нежном детстве, то ли о том, чего с ним самим никогда не было.

— Очень опасно! — воскликнула Агриппина с энтузиазмом. — Иногда по ночам от звука лифта просыпаюсь, дрожу... однако такое уж наше дело...

— А почему, Агриппина Евлампиевна, вы со мной так откровенны?

— Ну, вы же свой человек, Игорь Иванович!

— Позвольте, Агриппина Евлампиевна, я-то ведь как раз... некоторые склонны считать... Вы разве не в курсе?... Солженицын, Сахаров... Мое письмо Брежневу... помните? Вы были так любезны...

— Конечно, помню! Дерзкое, смелое письмо! Большой резонанс! Кажется, по «Немецкой волне»?

Велосипедов застонал, как от зубной боли, райкомовский тортик потерял свой сказочный вкус. Ясно, что машинистка, дунув тогда одним махом его сочинение, даже и не разобралась, что письмо-то просительное, подхалимное, в пользу самого себя, насчет постоянно растущих и законных, такие письма по «Немецкой волне» не передаются, в отличие от тех, что во имя общей справедливости, такие частенько можно услышать по иностранному радио.

Агриппина смекнула, что слегка что-то напутала, но виду не подала и, зная самолюбие своих авторов, решила стоять на своем: письмо помню, честный и смелый человеческий документ, его передавали если и не по «Немецкой волне», то по «Свободе», да, сама слышала, деталей сейчас не помню, таких событий немало, но общее впечатление отличное, и вот, не поручусь, но, кажется, слышала, как сам Яков Протуберанц высказался в том духе, что «нашего полку прибыло», хотя за детали, повторяю, не поручусь, вы же сами видите, Игорек, сколько у меня работы и с каждым днем прибавляется, но, если у вас будет еще что-нибудь интересное, пожалуйста, не стесняйтесь.

А вот давайте-ка, Игорек, я вам пока отрежу кусок торта, возьмите с собой, это, знаете ли, не городской торт, а из распределителя, у Адочки по номенклатуре полмоссоветского пайка, и продукты там, конечно, не нашим чета. Вот, например, «алтайское масло» — когда его пробуешь, пахнет высокогорными лугами. Однако Адочка, надо отдать ей справедливость, щедро делится своим полпайком и со мной, и с семьей брата Николая, и отправляет

основательно нашим племянницам в Омск, ведь там нет ничего, и даже соседям уделяет очень неплохо, там больная мама, нужно давать что-то качественное и диетическое. В общем, я вам скажу, не вдаваясь в детали, Адочка — это человек с большой буквы, работает на ответственном участке, обожает искусство, и ведь всего добилась сама, без посторонней помощи!

— Я, собственно говоря, Агриппина Евлампиевна, пришел с просьбой. У вас почитать чего-нибудь на ночь не найдется? Бессонницей мучаюсь.

— Конечно, найдется. Вот вам, пожалуйста, «Каталог внушений социалистической законности». Название скучное, но читается, как «Королева Марго». Ну, вот вам еще в придачу блестящее эссе «Фальшивая реальность» Яши Протуберанца.

Обремененный пухлыми рукописями и основательным сектором торта, Велосипедов поднимался пешком по лестнице к себе на седьмой этаж, с тоской взирал на сопровождавший его движение молодой месяц за пыльным стеклом лестничной клетки.

У дверей своей квартиры он постоял несколько минут в тишине, показал месяцу через плечо щепотку медной мелочи, найденной в кармане, чтобы стало больше денег. От торта исходил томительный аромат весны и высокогорных лугов, ведь приготавливали его на том же исключительном «алтайском масле». Нежностью этой томимый, Велосипедов переступил порог своей квартиры, не подозревая, что делает еще один, так сказать, судьбоносный шаг к новой жизни.

А ведь именно на такие натуры, как Велосипедов, с его неустойчивой вегетативной системой, с его генетической памятью и сухостью кожи, во многом и рассчитаны произведения так называемого Самиздата, в отличие от произведений Госиздата, которые во многом рассчитаны на натуры с устойчивой вегетативной системой, умеренно увлажненной кожей и без генетической памяти.

БЕЗ ПОДЛЕЖАЩИХ

Москва, Кремль
Генеральному Секретарю ЦК КПСС
Леониду Ильичу Брежневу
от Велосипедова Игоря Ивановича,
адрес на конверте

Уважаемый Леонид Ильич!

Вновь отрываю от Вас Ваше драгоценное, которое всецело направлено на укрепление во всем мире. В конечном чтобы выразить свою текущим нашей социалистической демократии. Глубокое производит бессонное «Каталога нарушений социалистической законности» видим налицо процесс усугубления восстановления злоупотреблений. Простите, полон тревог.

На местах не на все сто понимают Ваши предназначения архитектора международной разрядки. Во всем мире, конечно, торжествуют прогрессивные народно-освободительного, окончательный крах колониальных. Возьмем Португалию, государство-грабитель с двумя огромными мешками в Африке, полными пробуждающимися Африканского континента. Осуществляется вопиющая по отношению к коренному, и всегда по приглашению парткома гневно разоблачаю с единодушной поддержкой.

Огромное на присутствующих произвело Ваше в бундестаге Германской Демократической Республики. Цитирую: правящие стран НАТО толкают человечество на опасный курс гонки. Лучше не скажешь, дан хороший марксистский, позволяющий раскрыть.

А на Востоке? Гегемонизм! Пекинское под руководством Мао заменило интернациональную великодержавным, угрожая священным границам нашего великого. Вот так нарушая законность бросают шакалам кость и обнажают фланги прогрессивного.

Я бы Вас попросил вот о чем. Верните крымскому народу татар их сокровенный остров, с немалыми трудами освобожденный нашими у немецко-фашистских. Свободу Гинзбургу и Галанскову! Освободите космонавта Владимира Быковского, летал не для Вас, а для всей страны! Прочь от Сахарова и Солженицына, свобода творчества! Нужно вывести наши славные вооруженные из братской Чехословакии. Прекратить принудительное психиатрическое! Продумать вопрос о свободе слова, печати и собраний в свете В.И.Ленина (том XII, гл. 3, стр. 8, стр. 3 свх). Фальсифицированным выборам в Верховный Совет СССР — бой!

Это на первых порах, в дальнейшем детали. Вышеуказанные помогут в дальнейшем семимильными к осуществлению многовековой человечества — построению бесклассового.

Не призываю Вас к созданию многопартийного, потому что в этом не согласен даже с нашими видными правозащитниками — она, конечно, бывает только одна, как писал поэт, миллионопалая, сжатая в один дробящий кулак, сказано впечатляюще до дрожи.

В первом своем обращался к Вам с просьбой внести в списки очередников на автомашину «Жигули», садово-огородный и гостевая в Болгарскую Народную. Это мое прошу считать недействительным и одновременно забираю подпись из-под открытого письма в газете «Честное Слово», потому что в определенных кругах столицы нашей родины продолжает циркулировать, что я продажный и будто бы участник травли выдающихся за человеческие права.

Леонид Ильич, давайте договоримся вместе бороться против недоразумений! Есть только одна альтернативная человеческому — подлость! Верю, вы с нами как исторический с Вашим отчеством, кого привыкли обожать с детства, и требуем — убрать его с денег!

Если чего-нибудь в письме не хватает, прошу извинить. Основной подспудный исходящий из глубин души

трудно выразить на бумаге. Надеюсь, со свойственной Вам государственной поймете мою несложную, а если нет, увы, становитесь жертвой «фиктивной реальности», согласно книге того же названия, советую прочесть.

Примите самые искренние самого лучшего

Искренне Ваш

И.И. Велосипедов, инженер.

Письмо писалось ночью лихорадочным карандашом под основательно залежавшуюся копирку. Зачем копировать-то, если на три этажа ниже проживает дружественная профессионалка? Однако ждать до утра не было мочи, горло все внутри, душа пылала над неожиданно открывшимися безднами тоталитаризма. Все, оказывается, было заложено в Велосипедове, ничем не оказался обделен — чувство справедливости, жажда борьбы, тяга к самопожертвованию!

Нет, до утра дожидаться просто было невозможно!

Отыскал конверт с рисунком ко дню Советской Печати Пятого Мая, вот и кстати, тематически близко! Нашлась и марка с космическим сюжетом, полет на лабораторию с пересадкой туда и обратно или только туда, во всяком случае, не стыдно направлять в такой высокий адрес.

По ночам Москва чиста, и улицы просматриваются насквозь с мигающими сквозь редкую еще листву желтыми светофорами, и кажется, что город этот открыт во все концы, что холодная весна соединяет его с Европой, что город этот переходит в твою страну и далее, в предполагаемое и за твоей страной продолжение жизни и любви.

Он опустил письмо в синий ящик с тисненым политическим гербом. Москва, Кремль, товарищу Брежневу Леониду Ильичу, надеюсь, дойдет.

КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ, ВТОРАЯ В МИРЕ

В среду, значит, как договорились, отправляюсь на свидание (иначе и не скажешь) к комсомольцу Евгению. Есть

некоторое недоумение — почему в гостинице? Кажется, ведь москвич, если из райкома комсомола. Впрочем, может быть, у него там кореш остановился. Знаете, как бывает — кореш в гостинице, вот широкие возможности, вот свобода передвижений! Так однажды и у меня получилось с болгарским коллегой Боско Росевым, в гостинице «Пекин» гуляли два дня, не просыхая, и поклялись в вечной дружбе болгарского и советского народа.

Гостиница «Россия», по слухам, крупнейшая в Европе и даже, как говорят, вторая в мире, лежит между Кремлем и Высшей артиллерийской академией, в подвале которой, опять же по слухам, за точность не поручусь, артиллеристы расстреляли из пушки маршала Берию, мингрела по национальности.

И вот я в коридоре пятого этажа этой известной гостиницы, иду, курю сигарету за сигаретой, немножко волнуюсь, потому что чувствую на себе подозрительные взгляды горничных. Три раза останавливают дежурные по этажу — куда направляетесь, молодой человек? Однако при звуке 555 эти малопривлекательные тетеньки становятся, ну, не любезными, но как бы понятливыми. Ага, ага, дальше, пожалуйста, по этажу, там вам покажут. Оглядываюсь, вижу — смотрят вслед важные женщины с довольно заметным напряжением.

Ну, вот наконец и цель нашего назначения — 555, стучу. На пороге Женя Гжатский.

— Здравствуй, дорогой!

Вижу, на столе уже отмечается угощение, 0,5 трехзвездочного дагестанского, бутылка боржом, бутылка лимонаду, 0,75 ркацител, из закуски колбаса «салями», горбуша, заливной судачок. В вазе дюжина конфет, пара яблок.

— Давай сразу вздрогнем! — предлагает Женя.

Не вижу причин отказываться.

Вздрагиваем. Смотрю на Женю — приятный такой, открытый, человеческий.

— Ты стихи пишешь? — спрашивает он и, получив отрицательный ответ, задумчиво так начинает смотреть в

окно на Москву-реку и Теплоцентраль с мудрым ленинским афоризмом «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация!». — А вот со мной случается, — тихо говорит Женя и начинает декламировать:

*Коммунизм — электричество нашего века,
И в любви и в труде он не даст нам упасть!
Есть Дульсинея у каждого советского человека,
Это*

наша

Советская

Власть!

Это под Маяковского, — пояснил он, но я, конечно, и сам об этом догадался по манере изложения.

— Там у тебя лесенка в конце? — спросил я.

Женя Гжатский даже ахнул:

— Ну, Игорек, ты даешь! Из наших ребят никто не догадался, что в конце лесенка.

Мы тут же вздрогнули по второй «за поэзию», и я попросил разрешения позвонить по телефону. Женины глаза блестели неподдельным интересом, пока он смотрел, как я набираю номер, вот равнодушный человек!

Фенька сняла трубку только после пятого гудка.

— Давай! — по обыкновению, закричала она, призывая звонящего «давать». Как всегда, за спиной у нее был топот, гогот, джазовая скрипка, квартира быстро превращалась в настоящий интеллектуальный бардак.

Я молчал, слушая ее столь мной обожаемое сбивающееся дыхание. Там моя девка сейчас стоит, нетерпеливо облизывая свои алые губы.

— велосипедов, что ли? — захохотала она.

Я молчал, и пламя уже лилось от нее ко мне через весь столичный телефон и собиралось грозovým грузом у меня в чреслах.

— велосипедов, между прочим, ты знаешь, что можно факовать по телефону? — спросила она.

Я вдруг обнаружил, что у меня рот раскрыт и стекает слюна.

— Мудак! — крикнула она и бросила трубку.

Вспышка! Это Женя Гжатский сделал снимок — я с телефонной трубкой и приоткрывшейся пастью.

— На память, — пояснил он, а потом задал мне довольно удивительный вопрос: — Скажи, Игорек, в детстве тебя мама не Герой ли звала, не Германом, не Генрихом, не Францем, случайно?

— Гошей звала, — припомнил я свою бедную легкомысленную мать.

— А Гансиком не ласкала? Что-нибудь такое не напевала — ты покинул отчий дом, бросил ты Эльзас родной?.. Случалось такое?

Женя Гжатский смотрел на меня внимательнейшим образом.

— Да с какой же это стати? Гошей меня мать звала, да и сейчас Гошей зовет, а чаще, как ни странно, «друг мой» говорит, такая у нее забавная привычка. А почему ты так спрашиваешь, Женя?

— Да просто любопытно, но вообще-то там у вас в Краснодаре-то немцы ведь стояли, когда ты родился, правда? Просто, может быть, у мамы твоей немецкие имена в памяти застряли, ничего удивительного, ведь Германия — страна высокой культуры. Гитлеры приходят и уходят, как товарищ Сталин сказал, а народ германский, а государство германское остается. И вот тебе доказательство мудрой цитаты — Вальтер Ульбрихт, Анна Зегерс. А вот у тебя самого, лично, Игорь, есть какая-нибудь тяга, ну, пусть такая внутренняя, необъяснимая, к германской культуре?

— Я лично Генриха Бёлля люблю, — сказал я. — «Глазами клоуна». Вот это книга! А как ты, Женя, между прочим, узнал, что я лично с Краснодара?

Вопрос остался без ответа, потому что тут как раз к нам в номер вошла горничная с новой бутылкой дагестанского на подносе, с ркацители, закуской, в общем, пол-

ное повторение прежнего набора, но к этому также предлагается счет.

— Жаркович просил заплатить сразу, — сухо говорит она Жене Гжатскому.

— Как это так?! — вскричал Женья Гжатский с такой страстью возмущения, как будто у него что-то родное отбирают. — Вам разве не звонили наши товарищи? Жарковичу лично Зубец при мне сказал по телефону — оформляйте по безналичному!

— Мое дело маленькое, — сказала тетушка. — Я ваших Зубцов не знаю. Идите сами с Жарковичем объясняйтесь.

— Ох, какая вы, мамаша, — вздохнул Женья Гжатский и мне шепнул: — У тебя нет рубля?

— Как раз рубль и есть. — Я достал то, что просили, мятую крошку рубля.

Женья взял рубль, вышел вместе с горничной в коридор и тут же вернулся, все улажено.

— О'кей, — говорит он после этого. — Хочешь проверить мужские свойства характера?

Праз, и засучивает рукав пиджака вместе с рубашкой. Обнажается банальная татуировочка — кинжальчик, обвитый пресмыкающимся, как-то не ожидалось увидеть именно это над запястьем Жени Гжатского, комсомольца эпохи научно-технической революции.

— Это еще от лагеря осталось, — пояснил он, — от пионерского... Ну вот, засучивай рукав и ты, Гера, то есть, прости, Гоша. Так? Клади руку на стол вплотную к моей. Сделано. Теперь, Герман, то есть, прости, Игорь, кладем между нашими руками вот эту горящую сигарету «Мальборо». Лады? Положение, как видишь, равное. Кто дольше выдержит?

Зачем я согласился? Жутчайшая сатанинская боль от горячей иностранной сигареты через руку пронизала все тело, дергаются ноги, лицо искажено омерзительной гримасой страдания, это я вижу в зеркале, где отражается также невозмутимый модно подстриженный затылок Жени

Гжатского, в то время как прямо передо мной через стол его неподвижное лицо и устремленные на меня неподвижно яростные глаза Павки Корчагина, смерть врагам революции.

И вот я взвыл и отдернул руку, признаюсь, ненадолго хватило моих мужских качеств.

Женя Гжатский бросил мне кусочек туалетного мыла — протри ожог!

— Вот видишь, Герман, ой, прости, сам не знаю, почему немецкие имена все в голову лезут, вот видишь, чьи мужские качества преобладают. А хочешь быть таким же стойким, настоящим мужчиной? Есть у тебя такое похвальное желание?

Ну конечно, кто же не хочет, кто же откажется от такого предложения, я, понятное дело, кивнул.

— Вот так молодец! — радостно вскричал Женя Гжатский. — Значит, прибыло нашего полку! Поздравляю, Гошка, от всех наших парней тебя поздравляю. Давай, Игореша, подписывай бумагу, и сейчас мы сразу же еще вздрогнем!

На столе передо мной бумага с каким-то типографским текстом и с местом для подписи. Читать, по правде говоря, после испытания сигаретой не очень-то хочется, и я подписываю данную бумагу. Наверное, заявление в какой-нибудь кружок Добровольного Общества Содействия Армии, Aviации и Флоту, там сейчас, я в газете видел, проводятся интересные эксперименты по укреплению мужских свойств характера, даже йога и карате уже почти разрешаются.

— Это при ДОСААФе? — спросил я Женю.

— Частично, — улыбнулся он и бумагу убрал в свой чемоданчик.

— А в общем-то чем будем заниматься? — поинтересовался я.

— Да ничего особенного, Гоша. Ну, просто мужская крепкая дружба, взаимовыручка, ну, как среди десантников, понимаешь?

— Вот здорово! — я просто восхитился перспективой такой спайки. — А с чего начнем, Женя?

Женя Гжатский ликовал, сиял, «милел людскою лаской».

— Хочу тебе напомнить, Гоша, одну подходящую цитату лучшего, талантливейшего нашей социалистической эпохи. «Юноше, гадающему делать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь, делай ее с товарища Дзержинского». Надеюсь, помнишь?

— Конечно же помню, преотличнейшая цитата, однако, Женя, я уже далеко не юноша, увы, уже к тридцатке подходит.

— Никогда не поздно, — возражает Женя Гжатский. — И вот тебе для начала, Игореша, вот тебе первое задание, да не задание даже, а просто, ну, как бы сказать, ну, в общем даже и не знаю, как назвать, но не задание, конечно, а просто есть у вас в лаборатории некто Спартак Гизатуллин, вот с него и начнем.

— Как тебя прикажешь понимать, Женя? Что это значит — с него начнем?

— Ну, как бы тебе попроще, Игореша, дорогой ты мой человек, объяснить? Давай-ка вот для начала поднимем стаканы — расширим сосуды, и колбаски-то, колбаски... Угощайся без сомнений, теперь мы свои. Ну, вот, Гоша, к примеру, ты в Болгарию собрался, так? И конечно, все понимают, что у тебя намерения чистые, что не на встречу с какими-нибудь немцами или, что еще хуже, вернее, совсем уже плохо, не с американцами встречаться ты едешь, так? А вот про Гизатуллина ты такое же мог бы сказать?

— Почему? — спрашиваю я, ничего не понимая.

— Ох, Гоша, Гоша, — качает головой Женя Гжатский. — Ну, вот, скажи — чист Спартак?

— Да конечно же чист, уж чище его и не найдешь, хрустальный парень и специалист высшего класса.

— А советский ли человек? — по-ленински прищурился Женя Гжатский.

В этот момент я почему-то так и увидел его как бы наводящим пулемет на стихийную демонстрацию рабочих Завода малолитражных автомобилей им. Ленинского комсомола, где, между прочим, еще недавно работал мастером в моторном цехе предмет нашей беседы, мой бывший друг Спартак Гизатуллин, ныне справедливо презирующий меня за моральную неразборчивость в смысле деятелей искусства. Вижу сначала панораму, потом на среднем плане Женин прищур, потом крупешник, крупешник, крупешник... голова закружилась.

— Очень даже советский человек, — сказал я. — Во многом настоящий советский человек. Не уступит никому, а некоторых... — тут мне не удалось сдержать горькой улыбки, — а некоторых еще и поучит.

— Вот и хорошо, — сказал Женя Гжатский, — вот и надо помочь парню. Вот, если ляпнет где чего Спартак про советскую власть или заговорит, к примеру, со слов иностранного радио, вот тут ты, Гоша, и не растеряйся, запоминай.

— Зачем это? — удивился я.

— Ну как зачем? — удивился он. — Мне расскажешь.

— А тебе-то зачем? — удивился я. — Разве своей головы на плечах нет?

— Ну, ты чудак! — удивился Женя Гжатский. — Это же социология.

— А при чем тут Спартак? — удивился я.

— А мы с тобой при чем? — удивился он.

— Может, ты прояснишь, Женя?

— Конечно, можно прояснить, почему же нет.

— Так чего тебе Спартак-то Гизатуллин?

— Помочь надо человеку, может запутаться. Сечешь? Ведь ты же подписку-то, Гоша, давал, а у нас такой девиз — помогать надо людям в трудную минуту.

— А у кого это «у нас», Женя? Может быть, ты меня просветишь, как это называется?

— Ну, у чекистов, колбаса ты эдакая. Ну, и у тех, кто с нами, вот как и ты, Игорь Иванович, нелегкий ты человек.

— Вот так так! Так ты чекист, Женя?! И давно?

— А что же ты думал, Гоша? Сейчас все концентрированные парни идут в Чека, время такое. Поэтому я и тебя поздравляю, правильную дорогу избрал.

— То есть как это?

— А так это.

— Я что-то, Женя, не вполне.

— Слушай, Гоша, может, ты в лечении нуждаешься?

— Женя, пожалуйста, больше мне не наливай. Я не пью, даюсь выпить, а я, прости, что дрожу, нуждаюсь объяснить.

— А подпись-то, товарищ Велосипедов, давали? Заявление о сотрудничестве с органами — дело нешуточное, уж раз подписался, значит, сохраняй серьезность, даже и у нас, Гоша, есть люди, которые юмора не понимают, и с дезертирами...

Охваченный страхом, полностью теряю самоконтроль, пальцы переплетаются в судорожном зажиме, кричу благим матом:

— Не падо! Не падо! Какой же я чекист? Отдайте бумагу, товарищ Гжатский! Я думал, в кружок подводного плавания записываюсь, на карате, в ДОСААФ, прошу, верните, какой вам толк в таких, как я...

— Ты целку-то из себя не ставь! — сказал тут кто-то в пространстве «России» совсем другим, не Жениным голосом, до чрезвычайности густым и устрашающим.

Я даже оглянулся, кто говорит, но все было неизменно в комнате и неподвижно в окне, за рекой.

— Слышал? — сказал Женя Гжатский. — Ты целку-то из себя не ставь! Кажется, убедился, что здесь все в порядке по части мужских качеств. — И он почему-то похлопал себя ладонью по одному месту, но совсем не там, где жгли.

Дальнейшее мое поведение необъяснимо и непростительно. Так, конечно, воспитанные люди себя не ведут, особенно если их малознакомый товарищ приглашает в гостиницу на угощение.

Прыжком, возможно очень безобразным, я бросился на Женин «дипломат» с целью вырвать из него так назы

ваемое соглашение о сотрудничестве, а на деле просто жалкий листок бумаги с дурацким чернильным знаком, нанесенным моею рукою.

Чем объяснить невероятный по силе смерч возмущения, бушевавший во мне? Мне казалось, что надо мной учинено какое-то насилие, как будто и в самом деле кто-то хочет меня лишить чего-то нежного и неприкасаемого, точно не могу определить, хотя и подворачивается слово «целка», произнесенное тем жутким голосом, и вот я трепещу и прыгаю безобразными прыжками, словно от этой жалкой бумажонки зависит вся моя дальнейшая жизнь, и не какие-нибудь там жизненные успехи, а просто, так сказать, ее содержание, все содержание жизни, хотя ведь если объективно разобраться, то ведь понимаешь, что не прав, капитально не прав, ведь органы государственной безопасности столько сделали благородных заслуг, за исключением некоторых грубых ошибок.

Женя Гжатский встретил мой похабнейший прыжок отлично проведенным приемом самообороны без оружия, и вот я лежу в коридоре.

— Я бы на твоём месте хорошенько обо всем подумал, — говорит Женя, стоя надо мной, и добавляет: — Руководству ты не понравился, Фриц Кавказский.

Засим круто поворачивается и уходит в свой № 555. Дверь захлопывается, и сразу же там включается телевизор. Страшный шум — трансляция с Центрального стадиона имени Ленина, матч на Кубок европейских чемпионов.

С трудом, шаг за шагом, с падениями и отдыхом на полу, все-таки поднимаюсь. Вот в самом деле подходящий случай, чтобы оценить настоящий профессионализм наших передовых отрядов: каких-нибудь пара зажимов да бросок через бедро с последующим ударом в надкостницу, а ведь жертве кажется, что целый взвод целый час душу выбивал. Все болит, все ноет, жжет, сосет, и к этому еще прибавляется вполне понятное чувство исторической обреченности.

Слышится панический женский крик:

— Хулиган в «Интуристе»! Пьяный! Вызывайте милицию!

Это, конечно, в мой адрес. Пытаюсь бежать — тщетно, капитуляция ног. Пытаюсь обратиться за помощью к прохожим в коридоре, увы, никакого понимания — все вокруг иноязычное, чуждое, быстро и с опаской идущее мимо.

И вот уже в глубине коридора, на фоне окна, отбрасывая километровой длины тень, появляется фигура милиционера. Итак, все ясно — мрачайший период в жизни Игоря Велосипедова продолжается, и снова грозит мне пятнадцатисуточная неволя, и вряд ли теперь уже меня спасет любитель четвертных билетов майор Орландо.

Хороший, ничего не скажешь, будет новый вклад в мое так называемое личное дело! Как-то, помню, мои бывшие друзья Валуша Стюрин и Ванюша Шишленко философствовали по буддизму. У человека, оказывается, имеются как бы три тела — физическое, то есть сосуд или, можно сказать, колесница, астральное второе тело, с невидимым контуром космической энергии, и третье тело, самое высшее — душа. Однако, хотелось мне тогда добавить к размышлениям умной молодежи, к этим трем человеческим телам, можно сказать, в процессе жизни добавляется и четвертое тело, которое не от Бога, его бумажное государственное тело, так хотелось мне добавить, но я постеснялся этой умной, вечно полупьяной молодежи.

Милиционер приближался. Сейчас он задержит меня и составит протокол задержания. Я безропотно ждал.

И вдруг — свет в конце тоннеля! В противоположном отдалении коридора, в световом овале, появляется и стремительно вырастает величественная женская фигура. Да уж не случайная ли это знакомая по имени Ханук, председатель Комитета Советских Женщин при Совете Министров Армянской ССР? Она!

— Отпустите товарища! Он — ко мне!

И на плечо мое ложится ее премилая рука.

Тут спрашивает милиционер с карандашом:

— А вы кто будете, гражданочка? Просто для справки?

Тогда нежнейшая Ханук переходит вдруг на колхозный бас:

— Пажалста, дарагой, паынтэрэсуйся!

Милиционер с открытой пастью глядит в красную книжечку. Ритуал взятия под козырек.

— Забирайте товарища пьяного, если он вам так нужен.

Она влечет меня по пятому этажу в некоторое близкое будущее, влечет стремительно и нежно, словно хоро-вод баядерок, а за нами, как за винтом корабля, в завихрениях исчезают мерзости близкого прошлого, включая и зловещий № 555, где со мной произошло сегодня нечто неподдающееся пониманию.

И вот мы в ее апартаментах-люкс. Она прижимает меня к стене, срывает с меня одежды, от страсти руки ее дрожат, она рвет мои пуговицы...

...Велосипедов, противный, где же ты был, сумасшедший, я — проездом, из Еревана в Бейрут, у меня только лишь одна ночь, бесконечно тебе звоню, а тебя нет, готова была уже на любого милиционера наброситься, вдруг ты — лежишь на полу...

...рвет мою «молнию» в центре туалета, ранит себе «молнией» свой очаровательный мизинец, царапина, сует мне сосать, сосет сама... все завихряется в неуклюжих фигурах раздевания, пока в результате вдруг не возникает греческая позиция восторга.

Ах, как жалко, дорогая Ханук, что вы не можете связать свою жизнь с моей, что вы — птица не моего полета, что вы обременены, по вашим словам, идеальной советской семьей с детьми-вундеркиндами и мужем, генералом КГБ!

Я, между прочим, и сама полковник КГБ, говорит она нежнейшим шепотом через собственную подмышку. Это вас не смущает?

О нет, милейшая Ханук, о нет! В данный момент у вас своя позиция, а у меня моя, и посмотрите, как все гармонично, о, как гармонично, так гармонично, гармонично, гармонично соединяется.

ЭФИР, ДОМ ЗЕВСА

Саша Калашников никогда не жаловался на легкий ревматизм, несколько сковывавший его прыжки и батманы. По сути дела, недуг этот играл, пожалуй, благую роль в его балетной карьере: не будь ревматизма, знаменитые калашниковские прыжки стали бы чересчур знаменитыми, могли бы даже принять характер чего-то над-реального, то есть могли бы нарушить реалистические традиции отечественной хореографии.

Вот сегодня, например, суставы почему-то совсем не ныли, ну, и забылся Саша, заскакал вне традиций, нереалистически, зависая иногда в воздухе с явным преувеличением и мелким перебором ног позволяя себе еще и еще набирать высоту, в то время как вроде бы давно уже пора опускаться.

Публика уже и писать кипятком устала, уже и не вопила даже, а только лишь тихо стонала в ошеломлении — семейный советский балет на глазах превращался в чуждое и желанное, в авангардно-буржуазный модернизм.

«Ой, сбежит, — с определенной тоской думал, наблюдая калашниковские прыжки, секретарь парткома Большого театра тов. Малый, по номенклатуре приравненный к секретарям гигантских московских райкомов. — Потенциальный невозвращенец этот Сашка проклятый, хоть и секретарь нашей комсомольской организации. Да и как не сбежать с такими прыжками выше уровня мировых стандартов?! Что он у нас имеет, и что он *там* будет иметь! Я бы и сам сбежал, если бы там кому-нибудь нужен был секретарь партийной организации оперно-балетного театра».

После спектакля Саша Калашников, сидя в гримуборной, читал «Поднятую целину». Немало усилий он прила

гал ежедневно, чтобы доказать даже и не полнейшую благонадежность, а самый настоящий животворный советский патриотизм, и все-таки всякий раз, как отпускал ревматизм и прыгучесть выходила из-под контроля, весь театр смотрел подозрительно — не может быть, чтобы Сашка не подорвал на ближайших же гастролях.

Да ведь это же не что иное, как просто вы-тал-кивание, сокрушался Саша и жаловался какому-нибудь своему товарищу, а товарищ, не обязательно даже и стукач, а просто самый обыкновенный дружок, сочувственно кивал и спрашивал: а ты, Саша, и в самом деле не «намылился» еще?

Да как же можно без родины-то?! Саша горячо начинал осуждать всех балетных беглецов — вот увидите, без родины их талант засохнет, вот увидите, окажутся пустоцветы, да как же можно русскому-то человеку жить без этого, без великого нашего правдивого, могучего и свободного, без поля Бородинского, без снежных просторов, где прашуры с соколами охотились, где кони Клодта бились... чьи кони?.. что делали?.. да-да, не поймаете, кони нашего барона Клодта бились и застыли в бронзе над исторической Фонтанкой, как же можно без этого?

Не горячись, Саша, не пережимай, говорили ему друзья, улыбаясь. И Саша прямо в отчаяние приходил — чем доказать, что искренне люблю родную землю? Прямо хоть в партию вступай, и вступил. Активность коммунистического сознания развил в себе артист до самой высшей степени. Даже анекдотов о Василии Ивановиче Чапаеве и ординарце Петьке чурался, даже Шолохова начал по второму разу читать, заучивал Евтушенко, и все тщетно — не верил ему народ.

Невеселое из-за этого возникает настроение, думал артист, сидя в гримуборной после спектакля, не способствует это творчеству, ей-ей, не способствует.

Вдруг послышалось:

— Сашенька, дорогой!

В гримуборной без стука появились две мымры на одно лицо, а за ними двигалась какая-то бледная тень, спирохетоподобный молодой человек.

Вот, подумал Калашников, разве *там* к звезде моей величины могли бы так, без стука? Уж не менее трех телохранителей, наверное, ходят постоянно за Рудиком Нуриевым, не менее того.

Подумавав в этом направлении, комсорг Большого театра, конечно, устыдился своих мыслей и вскочил навстречу вошедшим с протянутой рукой:

— Здравствуйте, товарищи!

Как вдруг:

— Ну, Саша дорогой, заслужил, заслужил ты сегодня хорошего поцелуя, — сказала одна из мымр, головная, и без всякой подготовки жесткими скукоженными губами впилась в нежную щеку артиста.

— А я вот не осмелюсь так запросто гения в щеку, — сказала вторая мымра, на первый взгляд вроде бы точно такая же, но на второй взгляд много приятнее, почти терпимая, едва ли не привлекательная. — Какой вы, Саша, гений, поистине гений! Вы сегодня просто покорили весь зал, а лично моя душа витала в небесах!

Как-то не по-нашему говорит, с опаской подумал Калашников, уж не оттуда ли?

— А вот этого не нужно! — строго поправила первая мымра вторую. — В захваливании, в культе личности Саша Калашников не нуждается. Саша Калашников — способный, думающий, идейный артист, творчество его развивает советские реалистические традиции, а что касается сегодняшнего вечера, то, знаешь ли, Саша, здесь тебе нужно все-таки спросить самого себя — не слишком ли? Просто положи руку на сердце — не высоковато ли?

Ба, да это же Аделаида из райкома партии, которая мне жил-кооператив пробивала, а это с ней сестра ее однойцевая, вспомнил наконец артист и подпрыгнул уже с распростертыми:

— Адочка! Права, права, как всегда, права! Сегодня немножко не в ту степь, чувство меры слегка изменило, есть, есть грешок!

Аделаида, которая до этого слегка побаивалась — вдруг не узнает, теперь с торжеством взглянула на Агриппину. Вот так, мол, к нам прислушиваются!

Агриппина же совсем зашла от благоговения, вот только мелкая вороватая идея мелькала — какую бы питочку, ленточку, тряпочку унести на память?

Затем русскому гению был представлен скромный молодой человек Игорь Велосипедов, вот, может быть, интересно будет подружиться для взаимной пользы.

Какая же это польза, подумал Саша. Ну, ему, это понятно, эстетическое удовольствие, а мне-то в чем взаимность?

— А вы что же, критик будете, журналист?

Велосипедов тут вздохнул:

— Нет, нет...

Почесывая затылок, он смотрел на артиста без всякого, так сказать, пиетета, а просто как на персону, близкую по возрасту.

— Нет, нет, я просто инженер, автомобильный ученый...

— Думающий! — шепнула с диссидентским подмигом Агриппина Евлампиевна.

Сашу тут осенило — и в самом деле может быть взаимная польза!

— Вот вы бы подсказали, старик, отчего у меня «Волга» на холостых оборотах глохнет, смогли бы?

— Думаю, смог бы, — серьезно кивнул Игорь Велосипедов. — Можно посмотреть. Думаю, старик, это не проблема.

— Игорь сейчас на перепутье, — доверительно, как своему, зашептала Аделаида Евлампиевна Калашникову таким специфическим прогорклым полупшепотом, доступным, собственно говоря, каждому уху в комнате, но говорящим все-таки о партийном интиме между ней и Сашей. — Очень важен авторитет такого большого худож-

ника, как ты. Твое цельное мировоззрение... такие вещи сейчас на вес золота... Ну, вот, хотя бы вижу у тебя хорошую книгу: можно, скажем, с творчества Михаила Александровича и начать.

— Вот с этого и начнем, — весело согласился Саша Калашников, взял автомобильные ключи, и все направились к выходу.

По дороге как раз о творчестве Шолохова и говорили. Саша Калашников вспоминал, какое сокрушительное впечатление на него в детстве произвел «Тихий Дон». Он тогда, можете себе представить, занимался в детской боксерской секции спортобщества «Крылья Советов», работал в весе «мухи» и развивал удар левой. И вот, читая роман, с восхищением обнаружил, что Григорий-то Мелехов как раз был левшой! Отец его Пантелей очень огорчился, обнаружив у мальчика левизну, и всячески старался развить у него правую, требовал, чтобы мальчик рубил справа. Ну, в общем, Гриша Мелехов очень хорошо развил свою правую, мог рубать и слева и справа, однако в решительные моменты всегда шашку перекладывал налево. Вся секция бокса тогда была глубоко увлечена этим обстоятельством, и многие завидовали герою эпопеи: вот сколько приходится работать над левой стойкой, а Грише Мелехову это было дано с рождения.

Все это Саша Калашников, конечно, рассказывал с улыбкой и добавлял, разумеется, что сейчас в зрелом возрасте молодости ему открылись шолоховские философские глубины, хотя, вообразите, и до сих пор левая стойка как бы остается пищей для размышления, потому что у него сейчас получилась такая ситуация — левая нога толчковая, естественно, на ней развивается мускулатура, особенно икроножная мышца, которая порой выпирает через трико, вот и приходится работать над правой ногой, чтобы добиться симметрии, ведь в симметрии, между прочим, кроется определенный принцип реализма. Согласны, товарищи?

Конечно, все согласились, а что касается философских глубин «Тихого Дона», вставила Агриппина Евлампиевна,

то вот недавно открылась еще одна: оказывается, Михаил Александрович не сам писал, а как бы только лишь обрабатывал уже готовую книгу боевого офицера полковника Крюкова, это вот такое было недавно сделано исследование одним из... ну, в общем, одним из авторов.

Когда они вышли из служебного подъезда Большого театра, Москва в окрестностях была пуста. Лишь на стоянке такси у подножия монумента драматургу Островскому шумела пьяная очередь. Вполнакала светились высокие фонари. В отдалении под луной вырисовывались мелкие башенки гостиницы «Метрополь» и зубчики стены Китай-города. В центре композиции на широкой голове Карла Маркса, как обычно, сидела пара голубей, превращая эту недюжинную голову в подобие боевого шлема германского пса-рыцаря, нашедшего себе погибель на льду Чудского озера под ударами русских дружин, уже тогда близких к стихийному марксизму. Ближе к месту действия, то есть к паркингу Большого театра, стоял полуразрушенный питьевой автомат, из него скудной лужицей истекал на асфальт малиновый сироп.

Сестры попрощались с молодыми людьми и направились к метро «Площадь Свердлова». Перед входом они еще раз оглянулись. Молодые люди уже стояли возле белой «Волги», один такой худой-худой, страдающий внутренним распутьем Игорь Велосипедов, и второй маленький крепыш — звезда Саша Калашников.

— И все-таки что-то есть в мальчиках общее, — проговорила Аделаида Евлампиевна и выразила надежду, что Саша окажет на Игорешу большое положительное влияние.

Ведь бывают же совершенно неожиданные симбиозы. Вот ты сама, Гриппочка, привела сегодня удивительный факт содружества великого писателя с красным офицером.

— Ах, Адочка, — вздохнула Агриппина, — мне не хочется тебя огорчать, но полковник Крюков был белым.

— Ты меня убиваешь, Гриппа, — густо произнесла Аделаида и прислонилась лицом к мраморной стене станции «Площадь Свердлова».

Агриппина, переполошившись, обняла ее за плечи, заглянула внутрь и обнаружила, что сестрица плачет сладкими-пресладкими слезами.

Между тем Велосипедов, обследуя машину артиста, вдохновенно прыгал от капота к щитку приборов, вдохновенно подныривал, заглядывал, нажимал, с головой уходил в дебри механизма. И вот вынес заключение:

— Бензосистема забита какой-то дрянью. Наверное, Саша, вы залили себе в бак загрязненное топливо или же где-нибудь со дна пабирали. Никогда, Саша, со дна не пабирайте, ведь повсюду жулье заседает, оно в емкости добавляет всякие сливы, а те на дно оседают. В общем, нужно бензин этот сжигать до последней капли, а систему продувать эфиром.

— Так сделайте же это, дружище, я вам буду благодарен, — сказал Калашников.

— Да что вы, Саша, да я просто по-товарищески это вам сделаю. Я под таким, знаете ли, огромным впечатлением от вашего танца.

Отправились за эфиром в аптеку (бывшая) Ферейна. По дороге, возле памятника Первопечатнику, конечно, пристала к ним пара педов:

— Алло, мальчики, вас двое и нас двое! Айда похулиганизим!

Саша Калашников всегда в таких случаях борзел по-страшному. Не было такого педа ни дома, ни за границей, который, увидев Сашино румяное личико и попку с ягодичками, не вообразил бы себя его партнером. А между тем балетный наш был совсем по другому цеху, очень увлекался девушками, обязательно высокими, с медлительными нежными движениями, их он любил сладко мучить в абсолютно подавляющем стиле. А вот когда кто-нибудь смотрел на него так же, как он на своих девушек, тогда Саша по-страшному просто борзел и

даже защищался нападением, спасибо боксерскому прошлому.

Словом, могла бы тут начаться настоящая потасовка, если бы Велосипедов не сказал этим двум кадрам, явно приезжим провинциалам, что в Москве всеми мерами защищается право прохожих граждан на самостоятельную прогулку, город режимный, много иностранцев, вы что, не понимаете?

Целки, наверное, догадались педы, пошли, Володя, на целок, видно, мы с тобой нарвались, давай тикай!

В общем, принесли молодые люди бутыль жидкого эфира и пару сифонных клизм, развинтили патрубки в бензосистеме и давай ее продувать путем накачивания летучей жидкости.

Объем работы, как выразился Велосипедов, был немалый. Шли часы, Москва пустела все больше, лишь кое-где порой раздавались дикие вопли, немедленно пресекаемые милицией. Велосипедов, как выяснилось, и в самом деле оказался ученым, блестяще знал внутренности самодвижущихся аппаратов, и Саша Калашников, не отличавший карбюратора от акселератора, конечно, без особого труда догадался, что судьба принесла ему в этот вечер хорошего полезного друга.

Когда работа была окончена, стояла глухая ночь, озаренная луной. При пересчете колонн Большого театра можно было убедиться, что их восемь.

Усталые молодые люди присели на капот прозфиренной автомашины. Хотелось курить, но, увы, сигареты вызывают возгорание опасных газов, пришлось воздержаться. Они сидели на капоте, вдыхали пары эфира и преисполнялись возвышенным настроением.

— Спасибо тебе, искусный мастер, — сказал Калашников, кладя руку на плечо Велосипеда. — Следил я за работой рук твоих. Вот Божье благословение, освобожденное нашей, конечно, революцией, — искусная человеческая рука!

— Руки мои бледнеют перед ногами твоими, великий артист, — так отвечивал Велосипедов, обнимая балетного за талию и заглядывая ему глубоко в поблескивающие, как Средиземное море, глаза. — С благоговением я постигал откровения пламенных танцев. Вместе с золотой песней слетело на землю древнее дело твое!

Он вздохнул.

— Если бы нам, Сашок, подойти к берегам человеческой сути, если бы оставить за кормой нагромождения бумажного фальшивого мира, пожирающего наши древние леса... Хотелось бы тебе уйти к истокам своей телесной и духовной сути?

— Самтаймз, — ответил Калашников почему-то по-английски. — Но не посещает ли тебя временами, Игореша, мысль о незримой гармонии? Быть может, и шуршащие бумажные вихри в той же степени, что и порождающие их леса, несут нас в сторону нашей сути, ведь именно по бумажным путям перелетают от человека к человеку идеи свободы, равенства, братства, вспомним хотя бы «Коммунистический манифест», вдохновивший огромное количество пролетариата. Ты понимаешь меня, искусный мастер?

— Самтаймз, искусный артист, — прошептал Велосипедов. Они смотрели друг другу в глаза, их идеи взаимно влияли друг на друга, и в этот момент им казалось, что вот разомкнулась ловушка времени и вокруг простирается огромное пространство летящего мига.

— Эй, мужики, — обратились к ним два проходящих ханыги. — Стакана не найдется?

Велосипедов с Калашниковым их даже и не заметили.

— Вот ведь как заторчали мужики, — с уважением сказали о них ханыги.

Велосипедов и Калашников покачивались в восхитительных волнах эфирной эйфории, а между тем с их маленьким эфиром соединялся другой большой эфир, в котором в этот час, как и в любой другой, неслышно пролетали вкрадчивые враги мирового марксизма, короткие волны.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУНКТ

В те времена никто не знал, где работает Л.И.Брежнев, где помещается его главный кабинет — в Кремле, или, собственно говоря, под землей, или, почему бы и нет, в башне какой-нибудь. Вполне могло оказаться, например, что рабочий кабинет Генерального Секретаря нашей Партии помещается в Спасской башне Кремля.

Конечно, вид у этой башни нежилой, но ведь это только внешний вид, и только можно вообразить себе, какой там уют можно устроить при современном развитии техники. В общем, надеюсь, что никто не будет возражать, если мы разместим «командную рубку» страны в этой исторической башне под историческими часами, этими неоднократно воспетыми Кремлевскими курантами.

Как любое помещение, так и это обладало своими плюсами и минусами: конечно, когда у тебя над головой каждый час начинает бить проклятый неломаящийся механизм, тут даже враг тебе посочувствует, кроме разве что товарищей Дубчека и Мао Цзэдуна, но, с другой стороны, отсюда через щелочку в шторе можно смотреть на передвижение подопечного населения, покупателей ГУМа, и радоваться их бодрому хлопотливому виду, их неплохому среднему внешнему облику, штиблеты на ногах, головные уборы на головах, на плечах полта, все врут на Западе, никто не голодает.

Ну, а главное преимущество башенного расположения, конечно же, восхитительная секретность: ведь никому в голову не придет, что главный человек страны сидит в главной ее башне.

В то утро Брежнев читал письмо Велосипедова. Писали ему мало, видимо, потому, что считалось это бесполезным делом — все равно не дойдет, и поэтому генсек интересовался, по сути дела, всеми письмами, обращенными лично к нему, и только слегка досадовал, почему его всегда называют «уважаемым».

Попробовали бы Сталина назвать «уважаемым», иначе как «дорогой» отец народов и не мыслился. Даже Никитка и то предполагался «дорогим», а не «уважаемым»; а вот ко мне, понимаете ли, обращаются, как будто к директору завода, несмотря на то, что я так идеологию укрепил, почти Никиткой разваленную, да и вообще всю страну тащу на своих плечах плюс мировое революционное движение.

Некоторые корреспонденты, кажется, понимали, что «уважаемый» — слово недостаточное, но вместо того, чтобы просто написать «дорогой», употребляли совсем уже паршивое «многоуважаемый», что, конечно, еще хуже, чем просто «уважаемый», таким веет от него формализмом, пустой вежливостью, никак не выражает это любви народа.

Ну, а подпись? «Искренне Ваш», ну, это уж просто на грани паглости! Кажется, не вполне понимают люди, в какой адрес обращаются. «Искренне Ваш» — понимаете ли. Неужели же в голову не приходит скромно выразить в конце письма «хотовность» к самопожертвованию ради Партии, Родины, там, ну, некоторое чувство к тем... ну, кто все-таки эти святыни нынче уоплощает...

И еще чего-то не хватает! Брежнев морщился, никак не мог вникнуть в содержание, чего-то еще не хватало письму Велосипедова, кроме, ну, вот того, о чем упомянуто выше. С этим беспокойством генсек обратился к своему помощнику Александрову-Агентову, сидевшему в жестком кресле напротив.

— Читал, Андрей Михайлович? Не кажется тебе, что еще тут чего-то не хватает?

— Существительных, Леонид Ильич, — по-деловому ответил Александров-Агентов. Он, конечно, понимал, что волнует хозяина, что означает это «еще чего-то», однако полагал эти письма Велосипедова вопросом не первой важности в свете мировых событий. Все-таки дал немедленную и толковую справку: — В прошлом письме товарища Велосипедова недоставало глаголов, то есть сказуемых, здесь, Леонид Ильич, существенная нехватка подлежащих.

Брежнев, крикнув, прочистил языком полость рта (личного помощника можно не стесняться) и, чмокнув, обвел глазами этот скромный кабинет «архитектора разрядки», то есть себя лично, и подумал: а все ж таки будет и сюда, в эту башню, паломничество, как и в комнату Ленина, как в Оружейную палату. Затем хлопнул ладонью по велосипедовскому письму, снял очки и заговорил задушевно.

Александров-Агентов, прозванный за границей «советский Киссинджер», очень этой задушевности у генсека не любил, оборачивалась она всегда каким-то ляпом, однако внимал, потому что за это и зарплату получал.

— Вот, понимаешь, Андрей Михайлович, — говорил Брежнев, — вот читаешь такое вот письмо и думаешь — а ведь неплохой, видать, хлопец. Хлянь, и заботы человечества ему не чужды и хехемонизму Мао знает цену. А вот и о Партии нашей сказаны неплохие слова, и лучший талантливейший поэт нашей социалистической эпохи к месту упомянут. Хлянь, Андрей Михайлович, есть и философия, вот насчет фальшивой реальности рассуждает товарищ. И все ж таки обидно, когда такие харные хлопцы не понимают всех аспектов нашей политики. Может, им плохо объяснили?

Ну вот, хлянь, проблема крымских татар. Как же мы их можем вернуть в Крым, если они хай на весь мир подняли? Вот калмыки не орали и вернулись, также и прочие нации. Зачем же так орать на весь мир, вынуждать нашу Партию проявлять твердость? Я вас, товарищ Велосипедов, спрашиваю — зачем? И ручаюсь, что вы мне на этот вопрос не ответите.

Свободу Хинзбургу-Халанскову... Что же, товарищ Велосипедов, получается — суд осудил, а мы освобождать будем преступника, против советского суда пойдем, против нашей Конституции? Неэтично. Увы, бывает так, что чаша народного терпения переполняется, тут даже руководители ничего не могут сделать. А вам бы, товарищ Велосипедов, я бы посоветовал быть более ответственным,

когда требуете отмены судебных приговоров, не безупречная это личность Халансков-Хинзбург.

Ну вот, конечно, и вторая парочка, баран да ярочка, Солженицын — Сахаров. Эх, товарищ Велосипедов, знал бы ты, дорохой, сколько бессонных ночей провели члены Политбюро, думая о недостойном поведении этих лауреатов. Немало ведь принесли пользы обществу в прошлом и тот и друхой. Один внес вклад в оборону отчизны, второй математику в школе преподавал. Разве мы этого не ценим? А знал бы ты, Игорь Иванович, что подорвали эти деятели наши идеологические позиции, как нахарили они нашим западным товарищам, ведь буквально корзинами с собраний выносили брошенные партбилеты. Хорошо, что у нас-то народ посознательней и дал такой всеобщий отпор отщепенцам.

А вот дальше, Андрей Михайлович, товарищ Велосипедов поднимает вопрос о выводе советских войск из Чехословакии. Это что же получается — человек учится в нашей советской школе, кончает наш вуз, работает в лаборатории, а выходит, никто не удосужился его ознакомить с самым дорожим для нас, для трудового народа, с принципами интернационализма? Ей-ей, придется самому взяться за дело, а вот и соберу хрупку таких товарищей, поговорю с ними, постараюсь открыть им глаза, а то они, видно, нашим хазетам не верят.

Ведь эдак-то и до прямой клеветы можно докатиться. Видишь, про психиатрию подхватил, явно по коротким волнам.

Наша, наша это вина, Андрей Михайлович, упускаем Велосипеда.

А вот по этому пункту я бы поаплодировал активности Ихоря, правильно поднимает вопрос о свободе слова, печати и собраний. В этом направлении, Андрей Михайлович, нам еще много предстоит поработать. Чего греха таить, хоть и превосходим мы все другие демократии, а все-таки далеки еще от совершенства, надо продвигаться вперед, Велосипедов прав.

А вот посмотри, Андрей Михайлович, с каким искренним чувством утверждает товарищ Велосипедов единство и руководящую роль Партии. Все-таки чувствуется человек, воспитанный нашей системой, не какой-нибудь друхой. Ну, а насчет фальсификации выборов в Верховный Совет — сихнал своевременный. Надо прислушаться. Я лично на свой избирательный округ могу положиться, а вот неплохо было бы проверить статистику в округе Шелепина Александра Николаевича. В общем... в общем... в общем, Андрей Михайлович...

Возникла пауза. Брежнев ждал от помощника помощи, но тот всем своим видом показывал, что в это дело он не полезет, что более важного всякого на повестке дня вагон и маленькая тележка, так что извольте, товарищ Леонид Ильич, без меня натешьтесь своей блажью, письмом Велосипеда, инженера Моторной лаборатории Министерства автомобильной промышленности, 1943 года рождения, проживающего по Планетной улице во Фрунзенском районе, где у нас секретарем по идеологии перспективный товарищ Феляев.

Александров-Агентов третьего дня был весьма удивлен, когда после запроса выяснилось, что в «вооруженном отряде нашей партии» собирается на инженера Велосипеда активное досье. Если уж этот инженеришко, очевиднейший болван и политический архипростофиля, сумел обзавестись таким впечатляющим досье, такими туманными записями и сомнительными комментариями этого капитана Гжатского, то можно только себе представить, какое у них накоплено досье на меня, «советского Киссинджера».

Ээ, таких бы хлопцев нам в ЦК Комсомола, думал между тем Брежнев лукавую свою думу. Вот неуспокоенность такая ощущается, порыв такой какой-то, ищущесть, что ли... Легче бы работалось товарищу Тяжельникову, в целом.

Однако как же ж с письмом-то поступим, ведь зарегистрировано ж. Ведь если поставлю, как полагается, «разобраться», несдобровать тогда уважаемому товарищу

Велосипедову, сгноят харного хлопца. Нет-нет, Леонид, тут надо проявить индивидуальный подход.

— Ну, в общем, — вслух подумал он и вопросительно посмотрел на помощника.

— Вот последняя сводка. — Александров извлек из своего портфеля названное, длиннейший рулон плотно скатанной бумаги. — Садат вчера встречался с двумя американскими дипломатами Дерковицем и Винокуром, тайно, на Асуане.

— Ох, Садат, Садат, — закричал от старой болячки Генеральный. — Ох, допрыхается этот Анвар Садат...

Помощник продолжал огорчать:

— Вот к тому же, Леонид Ильич, от нашего человека, близкого к... ну, к тому, кого называют «американским Александровым-Агентовым», — широчайшая, хотя и закрытым ртом улыбка исказила небольшое лицо специалиста, — ну, вот... стало известно, что возможно невероятное — мирные переговоры Израиля и Египта.

— Ыхышта? — потрясенный генсек стал вздыматься из кресел. — Да ведь это же всю нашу... всю ее к этим... да ведь надо же ж срочно... стратегическую оперативку... усех науерх!

— Стратегическая группа уже собрана, Леонид Ильич, — сказал помощник. — Товарищи ждут вас. Как всегда, под курантами.

Уже в стоячей позиции Брежнев подтянул письмишко Велосипедова и написал в левом верхнем углу свое заветное «разобраться». Прости, дорогой уважаемый многоуважаемый товарищ, не до тебя — Ближний Восток из-под носа уплывает. Искренне ваш — Л.Б.

Поднимаясь впереди Александрова по узкой сырой лестнице в комнату под курантами, он остановился на площадке, глянул в бойницу — народ по-прежнему бежал в ГУМ и из ГУМа — и спросил помощника:

— А скажи, есть такое слово — «ищушество»?

— Нет такого слова, Леонид Ильич, — быстро и спокойно ответил Александров-Агентов, но внутренне со-

дрогнулся. Надо же придумать такое жутчайшее комсомольское слово — ищущестъ!

Что же далее произошло в Спасской башне? До стратегических высот нам, конечно, не добраться, да и никакого желания нет туда карабкаться, а вот в оставленном кабинете генсека мы еще побудем несколько минут вместе с работниками личного секретариата, которые немедленно, как и положено, появились здесь после ухода вождя.

Все, что Брежнев набросал на своем столе, было немедленно собрано до последних мелочей. Затем работники на бронированном лифте низверглись в глубокое подземелье, где, собственно говоря, и располагалось продолжение Брежнева как государственного деятеля, гигантский личный секретариат Генерального Секретаря, или, если можно так выразиться, предводителя всей бесчисленной армии секретарей, мудро управляющей секретами нашей большой грубой страны.

Здесь, в подземном центре, все, что набросал за это утро на своем столе Брежнев, поступило в обработку, частично на компьютер, но больше вручную. Такой же участи, разумеется, подверглось и письмо Велосипедова с резолюцией «разобраться».

Там, конечно, работал один американский шпион, который снял копию с этого письма, как, впрочем, и с некоторых других мелочей, и вынес все это хозяйство на поверхность.

В скором времени вся куча поступила на компьютеры большого учреждения в окрестностях Вашингтона, а там, конечно, сидел шпион одного большого телеграфного агентства, который устраивал там еженедельную «утечку». Вот так, собственно говоря, сочинение Игоря Велосипедова, опус 2, размножившись в газетных публикациях, ушло в эфир, а потом легло в виде страничек так называемого «радиоперехвата» (престраннейшая и абсурдная терминология нынче используется в идеологической войне, которая и сама по себе является тяжелой чушью), легко, стало быть, на рабочий стол Жени Гжатского.

МОСКОВСКИЙ «ЛАБИРИНТ»

Вдруг происходит совершенно невероятное: Спартак Гизатуллин приглашает меня на футбол. Але, говорит, совершенно случайно лишний билет в Лужники. Колышет?

— Колышет! — кричу я. — Конечно же колышет, Спартак! Еще бы не заколыхало!

И вот мы торопимся в магазин, чтобы запастись перед футболом всем необходимым, и по дороге обсуждаем, кого выставит тренер Зонин в сегодняшнем матче сборной против Югославии, потянет ли Рудаков, и как торчит Хурцилава, и с чем едят этого нового крайка Байдачного, и так далее, как в старые добрые времена, как будто и не было разрыва дружбы.

— У Байдачного ход именно быстрый, — говорю я, — но тактики не понимает, поля не видит, в общем, провинциал. Согласен, Спартак?

— А я тебя вчера слышал, — вдруг говорит Спартак. — В программе «Что пишут американские газеты о Советском Союзе».

У меня, признаюсь, некоторый развал кишечника.

— О чем ты, друг?

— Ну что ты, Гоша, твое же письмо напечатано в газете «Филадельфия инквирер», ну и по радио пошло в обратном переводе с английского. Здорово рванул, Велосипедов, поздравляю, все точки пад игреками поставил, пусть теперь жэ почешут, наследники Сталина. Поздравляю, Гоша, и беру свои слова обратно. Теперь мне твоя политика понятна.

— Да какая же политика, да что ты, Спартак, да я ведь лично Леониду Ильичу, без всяких газет, даже у Агриппины не перепечатал, от руки в одном экземпляре...

Спартак обнимает меня за плечи, подмигивает, все, говорит, понимаю, и тут я вижу в очереди, почти уже у самых дверей внешнего магазина, один мужик в сером костюме нам машет — быстрее, быстрее, ребята! Здоровый такой мужик, усники, пробор, что-то нерусское, вдруг вспоминаю — да это же майор милиции Орландо, тот,

что освободил из несправедливого заточения, только в штатском.

— Втроем идем с майором, — пояснил Спартак. — Отличный, между прочим, мужик, жертва фашизма и испанского культа личности, младенцем сюда привезен.

Майор пояснил окружающим, что мы стояли, что он предупреждал, что занимал на троих. Кто-то из непонятливых, конечно, начинает базарить, дескать, не вы одни на футбол опаздываете, но тут ему дают понять, что непростой человек в очереди стоит, а майорского чину, мог бы и вообще не стоять, а сзади зайти. В общем, мы берем пару «Кубанской», пару «Солнцедара», и дюжину пива Шура обеспечивает персонально для майора Орландо, нет сомнения, популярный мужик.

По дороге в такси майор Орландо рассказал немного о себе:

— Я был в младенческом возрасте вывезен из горячей Барселоны, вот поэтому ненавижу тоталитаризм во всех его проявлениях. Вы понимаете, мальчишки? Надеюсь, что понят правильно. Я, между прочим, Игорь, слышал вчера ваше письмо в «Программе для полуночников» и поздравляю. У нас сегодня в подразделении ребята обменивались мнениями по вашему письму, большинству нравится. Вы, надеюсь, не против милиции? Порядок надо охранять везде, говорят, что даже город Нью-Йорк нуждается в нашем советском опыте. Простите меня, Спартак и Игорь, я вот хочу сказать немного о себе, чтобы не было неясностей. К сожалению, своих родителей в Испании я не знаю, а воспитала Густаво Орландо русская женщина Капитолина Васильевна Онегина, вот почему я ненавижу колхозную систему и другие пережитки сталинизма. Нам надо вместе бороться за высокую мораль коммунистического общества. К сожалению, нам не выдают патронов, практически несем службу без боезапаса. У меня жена и двое детей, но если по-холостяцки у вас завяжутся какие-нибудь милые знакомства, просьба о майоре Орландо не забывать!

Какой же это был чудесный день! Все, казалось, было создано для национальной победы и восстановления дружбы. Кучерявые облака над стадионом как будто слетели с какой-нибудь старинной гравюры, и даже подразумевались с купидончиками, с победными горнами (бедный наш город, как мало над тобой пролетает этих веселых существ), и даже, когда вдруг солнце заиграло рыжим огнем, почудилась мне в небе Фенькина мордашка, сморщенная в приступе катастрофического юмора.

Давай, бей! Вперед, резче! Давай, давай, давай! — все рты вокруг были открыты в одном, общенациональном порыве — давай!

Если бы всей этой массе людей раздать оружие, какие бы получились восхитительные повстанческие кадры!

В перерыве, уже при счете 2:0 в нашу пользу, майор Орландо раскрылся еще одной стороной своего дарования — стал изображать тромбон и прогудел в хорошем стиле несколько вещей из джазовой классики ко всеобщему восторгу окружающих.

А когда Валера Банишевский провел третий гол в ворота югославского противника, а Коля Рудаков, наш славный герой, отразил одиннадцатиметровый, на трибунах началось братание и хоровое исполнение «Варяга». Повсеместно выражалась такая основная мысль — во, дали!

Болельщики хохотали, подпрыгивали, обнимались и даже делились «Солнцедаром» — во, дали, мужики!

Один клиент, рядов на десять выше нас, оказывается, прошляпил исторический пенальти — водку делил, сосредоточился — и вот теперь требовал повтора, мотом апеллировал в пространство, как будто кто-то его обманул за его же рупь сорок. Вокруг ему популярно объясняли, что это здесь не телевизор, а живой футбол и обратно за те же деньги ни югославский бомбардир, ни тем более Коля Рудаков не будут корячиться.

Мужик, однако, продолжал базарить, кричал, что обязательно будет повтор, иначе какой же футбол без повтора, а в это время наша героическая защита мощно играла на отбой, и особенно отличался грузинский конь Муртаз Хурцилава, а «юги» заметно уже скисли, уже не отыграться, время идет, и историческая победа приближается; тут кто-то вопящего клиента пихнул вниз, чтобы не думал, что от стекольщика родился, ну и покатился хмырь по головам вниз — все хохочут — пока не рухнул на колени майору Орландо, где сразу же и заснул под финальный удар гонга.

Майор Орландо, или, как мы уже его за просто называли, Густавчик, заботливо подложил спящему под щеку пачку газет, а в карман плаща сунул бутылку «Кубани», где еще оставалось не менее ста десяти граммов напитка.

— Это наш клиент, — объяснил он. — Я лично знаю его в лицо. Когда после матча здесь соберут бутылки, он проснется и будет иметь чем привести себя в порядок.

Ну вот, а говорят еще порой о зверствах органов милиции, когда налицо такая человечность.

Все вокруг, весь московский мужской класс пролетариата и интеллигенции был, спускаясь с трибун, очень добр. Обращая внимание на спящего клиента, никто не пихнул его ногой.

— Во, товарищи, гляди, мужик добился своего, повтор пенальти смотрит, — так неплохо шутили болельщики в этот день славы нашего спорта.

— Какая могучая человеческая масса, — задумчиво проговорил Густавчик, и мы со Спартакком его отлично поняли.

Иностранцам, может быть, это и странным покажется, а вот русскому человеку трудно расстаться, когда их трое, даже если один испанского происхождения. Возникает предложение двинуть в ночной бар «Лабиринт», что на Новом Арбате.

— Да кто нас туда пустит, — усомнился Спартак, — там такая кодла денежная гужется, куда нам, там грузины только за вход швейцарам по полсотни на рыло отваливают, что ты хочешь, не Европа, единственный ночной кабак на всю столицу. Организация наша следит за моралью, падла такая, а ребята говорили, ничего там нет особенного, стол, стул, сиди и кидай.

— С тем же успехом поехали ко мне похороводимся, — предложил я, вспомнил тут свою воображаемую подругу и захотелось похвастаться. — Есть, между прочим, знакомые в Комитете Советских Женщин, если, конечно, в данный момент не за границей. Жгучие брюнетки интересуют?

— А где же горячего достать для твоих брюнеток? — продолжает канючить Спартак. — Все уже закрыто, нигде ни хера не купишь, вот какую жизнь создала проклятая Организация, пошли по домам. мальчики, гаси фонари до торжества справедливости.

— А как насчет лобовой атаки, орлы? — улыбается Густавчик. — Как насчет штыкового боя? Неужели не ясно? Чтобы советский ночной бар «Лабиринт» не стал кабачком Джека Руби, штат Техас, там необходимо присутствие милиции. Всем встать, лицом к стене, революционный патруль. Дошло?

И вот до нас наконец дошло, какой у нас могущественный новый друг, и вот мы в баре «Лабиринт», который уходит в глубь московской почвы в том районе столицы, что именуется в народе «Вставной Челюстью», благодаря восьми торчащим небоскрегам.

Увы, за вход даже при авторитете майора Орландо пришлось отвалить по восемь рэ с персоны, поэтому сидим скромно, при почти полном отсутствии дальнейших средств, угощаемся полусухим вином «Твиши», хотя внутри порядочное жжение, прошу учесть выпитое на стадионе.

И что же вокруг? Ради чего люди так стараются сюда попасть, чем привлекает этот пещерный уют, с тем же успехом можно сидеть дома: видимость почти нулевая, слы-

шимость в нашем колене подземного пути неудовлетворительная, оркестр сидит где-то в начале, еле доносится музыка «битлов» в вульгарном исполнении.

Кроме нас в этом колене одна лишь заседает компания, впрочем, преогромнейшая — человек двадцать сборной солянки, длинноволосый молодняк и солидная публика с плешками, имеется и женский пол, однако плохо различим в полумраке, но, впрочем, в центре композиции, в глубине кадра, как на картинах старых мастеров, располагается красавица с голыми плечами и с розой в волосах.

— Давай девку у них уведем, — с неожиданным бандитским наклоном предложил Густавчик.

— Давай, — принял предложение Спартачок.

— Да как же так можно, ребята? — удивился я.

— А что? — нехорошо улыбнулся Спартачок.

— А что? — хохотнул Густавчик.

Вдруг приходит официант, настоящая преступная лошадь, и ставит нам на стол бутылку коньяку «Ереван».

— Это вам, мужики, с того стола прислали.

Майор Орlando развел руками.

— Ну вот, что и требовалось доказать, на другое и не рассчитывал, узнало жулье представителя власти, а значит, этот коньяк принадлежит нам по закону, разливай, Игорек!

Мы встали с рюмками и выпили за присутствующих дам, как того требует закон гор. Красавица в глубине кадра сверкала зубами и белками глаз. Вся компания, пригласившая нас бутылку, полуобернувшись, аплодировала. Майор Орlando не скрывал удовлетворения, популярность, конечно, приятна человеку во всех видах, даже и среди жулья.

Как вдруг до нас доносится от них:

— Велосипедов, Велосипедов, браво, Велосипедов!

Нечто сногшибательное, оказывается, я узнал, и коньяк послан имешю мне! Впрочем, что коньяк, впервые в жизни я узнал, что рукоплескания в ваш адрес поприятнее всякого коньяку-с.

— Они тебя по «рупорам», наверное, слышали, — предполагает Спартак. — Ну, вот и скажи теперь, что лучше — в «Честном Слове» печататься или по «рупорам» звучать?

И впрямь со всех сторон доносится:

Велосипедов?! Тот самый?! Вчера на «Немецкой волне»... на «Голосе»... на Би-би-си... а по «Свободе» полный текст в оригинале... у меня приемник «Браун F15» пробирует любую глушилку... Bravo, Велосипедов! ...Вот это выступил! Вот это дерзость!.. И глубина немалая, ребята! ...И что самое главное — простой инженер!.. Ну, знаете, им легче, нечего терять... Не скажите, из текста явствует — потеря привилегий, дачи, автомашины, загранпаспорта... На все плюнул ради правды!.. Вот она, новая Россия... молодое поколение, технари... а говорят, кастрированные с детства, врут — маячит!.. Молодец, Игорек!.. Спасибо, дорогой, от всех нацменов, спасибо тебе за крымских татар!.. Bravo, чувак, показал им, что мы еще живы!.. Скажите, Велосипедов, как вы переправляете свои тексты? Дело в том, что я тоже пишу... Давайте, братцы, присоединяйтесь, составим столы, схвачено?..

Восклицания, нашептывания одновременно в оба уха, торможение, нас перетаскивают к общему столу... простите, но как вы обнаружили во мне именно того самого Велосипеда?.. Ха-ха-ха, редкая удача, среди присутствующих есть некто, знавший вас довольно близко, месье Велосипедов.

Сказавшая зажигает спичку, и, потрясенный, я узнаю на лице красавицы-с-розой Фенькины губы, сосущие соломинку от коктейля, зовущие, манящие, жгучие ее губы.

*Коктейля не отведав,
Не попадете в цель!
Месье Велосипедов,
Отведайте коктейль! —*

нашептывают мне эти губы, а пальцы ее с весьма несовершенным маникюром суют мне рюмку с противной трехцветной жижей.

Чресла мои сразу же налились «дивным огнем». Уж не хочет ли она возобновления нашей дружбы? Значит, надо быть популярной личностью, смельчаком из иностранного радио, чтобы тебя твоя девка любила? А у того, кто никому не ведом и одинок и презираем, значит, нет никаких шансов? Нет, мадемуазель, теперь вы меня не обманете, вы интересуетесь только моим «моментом эякуляции», моя личность, мой интеллект, внутренние раздоры для вас не существуют. Нет, Велосипедов, сказал я сам себе, ты не притронешься к этому коктейлю!

Вдруг узнаю, не без труда, через стол двух закадычных — Его Шотландское Величество Валюша Стюрин и юный авангардист Ванюша, который Шишленко, оба в новой декорации — бакенбарды, усы, бородки.

— Переживаем период «фиесты», — объяснил мне Шишленко. — Видишь этого опухшего чувака? Знаменитый дизайнер Олег Чудаков, лауреат премии Маршала Тито и этого, как его, ну, Ленина Владимира, большая жопа, но гуляет, как Евтушенко, денег не жалеет, а рядом его кореш Булыжник — оружие пролетариата, шишка из партийных органов. Оба влюблены в печаль твоих очей, заторчали на Феньку по-страшному, просят, чтобы махнула, а она их только дурачит, таковы гордые девушки современной России имени спортобщества «Динамо».

Гуляем уже пять дней, мой друг, и пять ночей, мой друг, не расстаемся, мой друг, только новыми людьми обрастаем. Начинаем в полдень в пивном баре Дома журналистов, там хорошо поправляемся. В три часа переезжаем в Дом литераторов обедать и там обедаем до девяти часов вечера, потом приходит время ужина, и мы переезжаем в ВТО. Там мы ужинаем до часу ночи, а после закрытия перебираемся вот в этот сраный «Лабиринт», где сидим, как они говорят, по-товарищески, до закрытия, то есть до четырех утра. А потом выясняется, что нужно еще *поговорить*, и мы все едем в аэропорт Внуково, где буфет открыт до восьми. И вот здесь, с восьми до девяти, то есть от закрытия до открытия этого вонючего буфета, мы

пользуемся замечательным даром природы — *чистым воздухом*. Тебе, наверное, этого не понять, Велосипедов, ты этого лишен, сорняк асфальта, но мы сидим там в привокзальном садике и целый час обогащаемся кислородом Подмоскovie. Я обычно пою, обычно что-нибудь свое. Вот недавно обогатил родину «Песней шпиона».

*Открой мне, Отчизна,
Секреты свои,
Военную тайну
Открой ненароком,
И так же, как в детстве,
Меня напои
Грейпфрутовым соком,
Грейпфрутовым соком...*

В общем, как ты уже догадываешься, в девять открывается буфет, и мы там сидим до одиннадцати, а потом отправляемся к открытию пивного бара Дома журналистов и там очень хорошо поправляемся, а потом... вот она, вечная связь искусства с жизнью!

Как вдруг в помещение, если можно так назвать закуток подземного лабиринта, вошел дипломат в золотых очках и с золотой авторучкой в наружном кармане пиджака, пьяный, как задница, и черный, как сапог.

— Негро-арабские народы северо-востока Африки, — тут же пояснил какой-то эрудит в нашей компании и не ошибся: дипломат оказался из Республики Сомали.

Выпив в углу, в полном одиночестве, порцию чего-то крепкого, он подошел к нашему столу и стал выступать по-итальянски, то есть на языке бывших порабитителей.

Его страстное и артистическое выступление чем-то напоминало арию Канио из оперы «Паяцы», хотя он не пел.

Можно было, собственно говоря, не обращать на него внимания, если бы Фенька так не смеялась, она ничего не говорила, глядя на дипломата, а только лишь

смеялась, безудержно и не очень-то оптимистично хохотала.

— На каком языке негатив выступает? — слегка нервничая, спросил Валюша Стюрин.

— Неужели европейский монарх не понимает языка великого Джузеппе Верди? — спросил я, и оказалась неожиданная удача — все вокруг с готовностью захохотали, как будто какая-нибудь знаменитость сострила, а не просто Игорь Велосипедов.

— Густавчик, а ты не понимаешь копченого? — спросил Спартак.

— Дело в том, что понимаю, — сумрачно ответил майор Орlando. Полуобернувшись, нога на ногу, в стуле, он смотрел на дипломата без всякого сочувствия. — Дело в том, что очень плохо о нашем народе высказывается этот товарищ, — сказал далее майор Орlando. — Как-то не по-марксистски у него получается. Все русские грязные свиньи. А женщины наши, по его мнению, все бляди, все только и мечтают о черном... половом органе. Интересно, соответствует ли это действительности?

Общество, конечно, возмутилось, многие стали предлагать немедленно поучить посланца Африканского Рога цивилизованным манерам, но другие, однако, увещевали горячих товарищей не заводится, мало ли чего наговорит «чурка», у него дипломатическая неприкосновенность, была бы, дескать, у меня такая, я бы и не так еще сказал, надо проявлять снисходительность великой нации, нам этот Африканский Рог нужен позарез, потому что он выпирает в Индийский океан.

Кажется, Альфред Булыга как раз и высказал последнюю идею. Станным образом он меня как бы не замечал, а только лишь временами подмигивал совершенно бессмысленным образом. Неужели не помнил, как вербовал Велосипеда, инженера, в компанию «деятелей»? Конечно, мог и не помнить — нас много, они — одни.

— Тутти донни руссо путани, репутани, репутиссима! — тем временем продолжал кричать дипломат.

Тогда я встал и подошел к нему вплотную. Он был выше на часть головы.

— Вы всех русских женщин имеете в виду? — спросил я.

— Всех! — подтвердил он.

— И присутствующих? — спросил я.

— Вот именно, — сказал он.

— И вон ту девушку с цветком в волосах? — спросил я.

— Ее особенно, — сказал он.

— В прошлом нам бы осталось только выбрать оружие, милостивый государь, — сказал я. — Я бы вас с удовольствием заколол, синьор, или застрелил.

— Хорошо, что мы не в прошлом. Можно просто дать вам по харе, — сказал дипломат и сделал это.

Дальнейшее проходило, как в тумане. Лежа у шероховатой стены «Лабиринта», я видел мельтешение ног, будто в дичайшей самбе, среди них мелькали и мелко клетчатые брючки дипломата. Потом появилось и его тело, рухнувшее по соседству. Под ребра ему въехал тупой милицейский штиблет. Потом ноги вокруг стали редеть.

— Вставай, Гоша, простудишься, — сказал сверху Спартакоч Гизатуллин. — Линять пора. Тут ребята занзибарского посла задавили.

Приподнявшись, я увидел, как два лабиринтовских официанта, пара ребят по кличке «хиппи-ханурики», специально, между нами говоря, тренированные для нехороших эксцессов, за ноги и за руки выносят вон бесчувственное черное тело. У одного из кармана торчала золотая авторучка, у второго на носу красовались золотые очки. Присутствующий при выносе метрдотель Альфредыч застегивал на запястье золотую «Сейку».

Вот такие пустяки запоминаются, а важные события вроде штурма космоса пропадают. Я видел своими глазами, как тело дипломата было выброшено на холодный асфальт Калининского проспекта. Суд Линча, иначе и не скажешь, безжалостная расправа над представителем Третьего, если не Четвертого, мира. От удара об асфальт дипло-

мат, между прочим, очнулся и стал снова выступать уже на языке той страны, где был аккредитован, то есть матом.

Спартак побежал ловить такси, а я, лишившись поддержки, схватился за ближайшую водосточную трубу и сполз по ней вниз. На моих глазах распадалась компания, не разлучавшаяся пять дней и пять ночей. Цепь была порвана, началась тревога и вслед за ней хаотическое бегство. Промелькнул милицейский мотоцикл, увозивший на облучке сурового майора Орландо, а в коляске все еще хохочущую Феньку. Альфред Булыга и его кореш Олег садились в черную моссоветовскую «Волгу», Валюшу и Ванюшу в этот момент били многочисленные дружишники. Подъезжала пожарная машина.

Я думал тогда, что вокруг в человеческой жизни си-
зыми утренними пластами висит немало печали. Абсурд-
на как сама жизнь, так и ее запись, кинолента тем более.
Очнулся я после этой заключительной идеи, однако в мире
полной гармонии, в собственной койке, хоть и в ботин-
ках, но под простынью.

Через неделю стало известно, что по требованию Респу-
блики Сомали ночной бар «Лабиринт» навсегда переобо-
рудован в диетическую столовую «Молоко».

ТАРЗАНЫ И ДИЛИЖАНСЫ

Какие-то кубометры времени, конечно же, утекли пре-
жде, чем в секции поршней моторной лаборатории прозве-
нел звоночек из отдела кадров. Машина социализма кру-
тит довольно тяжело и не всегда ритмично, на одном кон-
це у нее и в самом деле компьютер, но на другом-то сле-
пая шахтерская лошадь, вот почему даже историческое
«разобраться» столько времени тащилось до объекта, то
есть от Брежнева к Велосипедову.

Игорь Иванович, к тому времени совсем уже истощен-
ный телефонными разговорами с Фенькой, частыми при-
летами воображаемой Ереванской махи, философскими

воспарениями на пару с Сашей Калашниковым, «культпоходами» в обществе Спартачка и Густавчика, бдениями над огромными рукописями из небоскребных глубин Агриппины Тихомировой, проходящим мимо московским летом со сменяющими друг дружку ароматическими волнами пыли и сырости, сирени и бензина, арбузов и неотмываемой метрошной подмышки, а также частыми и всегда как бы случайными, но неизменно демоническими мельканиями на горизонте несостоявшегося друга, со-рыцаря тайной ложи Жени Гжатского, словом, утомленный совсем, ничего уже хорошего от жизни не ждал, не говоря уже о Болгарии, когда наконец «разобрались» и пригласили зайти, как сейчас принято, в сослагательном наклонении — ты бы зашел.

Кадровик с сожалением смотрел на Велосипедова. Ведь неплохо шел этот 1943 года рождения, ей-ей хорошим шагом поднимался, и даже наши ребята на него хер не точили, а, напротив, как бы симпатизировали, и вот сам все пустил под откос. Чему же мы учили молодежь-то все эти славные десятилетия, длинные бабские гривы запускать?

Кадровик вспомнил, как он решительно выступал в послевоенные годы против показа западных «трофейных» фильмов. Вот вам результат: погнались за копейкой, а упустили настоящее сокровище — молодежь, вместо советских людей вырастили гниль, идейно ущербных.

Он начал не без затруднения:

— Вот, понимаешь, товарищ Велосипедов, лаборатория ваша вкупе со всем институтом, да и полностью со всем нашим кустом, переходит на новый режим работы. Внешне все, дорогой друг, останется по-прежнему, а внутри глубочайшие изменения, усиление идейно-воспитательной работы, повышение, ну, вот я тебе уже и секреты выдаю, повышение бдительности. Ты спросишь почему, товарищ Велосипедов? А взгляни-ка на карту. Португальская колониальная империя разваливается, ну, и империалисты, конечно, попытаются полакомиться плодами распада, остановить поступательный ход истории. Получается, что силам

мира и прогресса снова приходится трубить боевой сбор, вся планета опять на тебе, русский Иван...

С нарастающей сосущей тоской два человека смотрели друг на друга через стол. Кто, куда, откуда, почему? — казалось бы, спрашивали они друг друга. Ответа быть не могло, вместо него — гудящий тоннель, внутренности улитки.

— Я хочу с тобой откровенно, — сказал кадровик, — надеюсь, поймешь. По поручению соответствующих органов оформляем сейчас «допуска» всем сотрудникам. Ну, вот и неожиданно вышло на поверхность, Игорь Иванович, что мама ваша, талантливая актриса, пела Сильву в оккупированном Краснодаре и аплодировал ей из ложи не кто иной, как офицер горнострелковой дивизии «Эдельвейс» Клаус Рихтер — не знакома эта фамилия? — да-да, вот такой же, как и вы, товарищ Велосипедов, голубоглазый блондин.

— Не совпадает, — возразил уныло Велосипедов. — Простите, но полное же несовпадение. Проверьте даты моего рождения и оккупации Краснодара, удивительное обнаружите несовпадение.

— А с чем должно совпадать? — удивился кадровик с профессиональной подлостью. — Ты, товарищ Велосипедов, за мракобесов нас не держи, принципы пролетарского интернационализма нам известны. В ГДР определенный процент руководства — бывшие члены национал-социалистической партии. Не исключено, что и Клаус Рихтер порвал с позорным прошлым и примкнул к нашему учению, дело совсем не в нем и даже не в Сильве. Дело в том, что в современных обстоятельствах, когда твой диаметр пойдет широким потоком в Африку, мы вынуждены пока, подчеркиваю, *пока*, подвесить твой допуск, Игорь Иванович, надеюсь, ты проявишь свою общезвестную сознательность и поймешь меня правильно. А поэтому, дорогой вы мой... ты еще молод... глядишь, и на другом участке... ну...

— Да вы не мучайтесь, — совершенно чужим, неприятным голосом сказал Велосипедов и, сказав это *таким* голосом, сообразил, что в этот момент переходит как бы

в другое качество, вот теперь немедленно без всякого пролога прямо здесь на месте разворачиваются одно за другим огромнейшие полотна всеобщего мятежа. Он встал. — Мы, Велосипедовы, знаем себя на Руси пятьсот лет, мой предок хоругвь держал при поле Куликовом, а прадед еще дьяконом пел в Вышнем Волочке, а нынешний мой отец Иван Диванович Велосипедов, секретарь райкома профсоюза работников пушной промышленности, тоже голубоглазый! Давайте!

— Что давать? — растерянно спросил кадровик.

— Приказ об увольнении.

Кадровик боролся с желанием плюнуть в лежащие перед ним бумаги и встать из-за стола в такую же гордую позу.

— Может, сами напишете заявление, Игорь Иванович? Может, оформим уход по собственному желанию? Легче будет ведь по собственному...

— Нет уж, — сказал Велосипедов. — Хватит! Давайте!

— Нате, — сказал кадровик и протянул Велосипедову заготовленные заранее выписку из приказа и трудовую книжку.

— Хватит с меня, хватит, хватит, — бормотал Велосипедов, проходя по кабинету кадровика к выходу, и последнее, что услышал кадровик уже из коридора, —

Хватит с меня!

Вот так может загореться огромная контрреволюционная революция, мрачно думал кадровик. А ведь все началось с этих проклятых «трофейных» фильмов. Не будь этих буржуазных «Тарзанов» и «Дилижансов», поколение воспитывалось бы на Павке Корчагине, в уважении к старшим товарищам. Как мог Иосиф Виссарионович разрешить прокат этих фильмов? Не исключено, конечно, что это была подрывная работа Берии. Вот важнейшая ошибка времен культа личности.

Он снял трубку, чтобы отзвонить Гжатскому, сообщить о результатах беседы, и тут его малость перекосило:

какая муть — Рихтер, Сильва, оккупация, скорее бы уж на пенсию...

Хватит с меня!

Итак, остался И.И.Велосипедов без своей лаборатории поршней, и, взаимно, она без него, а позднее, через два дня, в четверг, после обеда, присоединился к нему верный друг Спартак Гизатуллин, в том смысле, что попросту проявил пролетарскую солидарность. Что же, моего кореша давят, а я сопеть буду в тряпочку? Не дождется этого от меня проклятая Организация!

Казалось бы, на московских улицах источник средств существования обнаружить трудно, однако это только на первый взгляд. В условиях развивающейся автомобилизации, жигулизации страны двое московских безработных с дефицитной специальностью на руках, а точнее, с доскональным знанием транспортных средств, будьте спокойны, не пропадут.

Ну вот, например, на углу Планетной и Третьей Эльдорадской вы замечаете человека, который почти в полном отчаянии корячится с заводной ручкой возле своего «Запорожца». Вы с интересом наблюдаете мучения одинокого интеллигента, который по идее-то хочет одного — будто бы на Западе пилотировать свое Транспортное Средство, и после некоторого наблюдения приходите к некоторому заключению: реле зажигания полстело к жуям, трамблер зажуярился в сосиску, не говоря уже о мелочах вроде стартера, в жуялку изжеванных щеток. Бессмысленные же движения симпатичного лет под полста в кожаной куртке вызывают улыбку.

— Простите, молодой человек, но вам, похоже, одному с вашим аппаратом не справиться.

— А где же взять специалиста? — в отчаянии вопрошает владелец, голова вниз, задница кверху. — Попробуйте записаться в автосервис! Потеряете месяц! А приобретете одни унижения!

— Специалисты перед вами, дорогой товарищ!

И вот, к восторгу владельца, за вполне умеренную плату два неплохих молодых человека из нежуликов весело, споро чинят чудовищное детище советской индустрии и день за днем превращают его в сравнительно надежное ТС.

Каждый человек, рассуждает Спартак Гизатуллин, должен заниматься своим делом, а в нашей пошлой Организации все наоборот — кухарка управляет государством. Технический специалист вроде нас с Гошей должен починять технику — кто за? — а владелец «Запорожца» должен им просто владеть, а не натягивать себе грыжу с заводной ручкой. Кто за? — я спрашиваю. Каждый должен, как у нас в Татарии говорят, «крутить своя баранка», и вот ты, Яша, должен делать то, для чего учился, то есть писать свои книги и брошюры.

Владелец ТС, между прочим, оказался не кем иным, как Яковом Протуберанцем, философом и социологом, гигантом русской свободной мысли и светочем Самиздата.

Велосипедов думал о том, какие чудеса таит в себе Москва. Случайная торчащая из-под какой-то сломанной автомашины попка, оказывается, принадлежит властителю твоих дум, автору трудов, которыми зачитывается передовая русская молодежь.

— Кто вы по национальности, Яша? — спросил Велосипедов. — Я не ошибся?

— Нет, Игорек, вы не ошиблись, — отвечал новый друг и клиент. — По национальности я Яков Израилевич Протуберанц, советский бесправный гражданин. Пятый пункт, друзья, — это позор нашего общества. Даже в дореволюционной России в бумагах указывалось вероисповедание персоны, а не его национальность, то есть его духовная суть, а не биологическая окраска.

— Почему «даже»? — удивился Спартак. — Что может быть хуже *этой* Организации?

Оказалось, что и Протуберанцу известно имя Велосипедова: он следил за «прохождением в мировой прессе

его Второго Письма Вождю, этого редкого человеческого документа».

— А ведь заочная встреча с вами, Яша, меня отчасти перевернула, — признался Велосипедов. — Ваша «Вторая реальность» совпала с моими собственными идеями о возникновении нового рабовладельческого строя, подчиненного идола Бумаги.

Философ с удовольствием потирал руки, пружинил спортивные ножки, слегка даже подпрыгивал по ходу прогулки.

— Бумага — это не главное, друзья мои! Не думали ли вы о том, друзья мои, что общество, ставящее своей высшей целью удовлетворение своих собственных нужд, работает вхолостую, живет бессмысленнее, чем мох на болоте?

— Думали! Думали! — отвечали друзья его.

Они обычно прогуливались втроем вдоль линии безобразных гаражей-самоделок на задах улицы Восьмого марта.

— А вот меня, друзья мои, — признавался Велосипедов, — честно говоря, очень пугает. мороз по коже, мое второе существование в официальных бумагах, в кабинете следователя КГБ. Кажется, что чем больше ты там разрастаешься, тем меньше становишься в жизни.

И он проиллюстрировал свое признание крупной дрожью.

Яков Протуберанц старался его ободрить:

— Чудовищность нашей бюрократии определена бессмысленностью нашей метафизической цели в масштабах полной онтологии.

Протуберанц обычно небрежно держал под мышкой пару-тройку своих новых переводов, ну там «Вторую реальность» в издании Эйнауди по-итальянски, или по-английски выпущенную «Пингвином» на весь мир, ну там израильский выпуск «Конец тоннеля?», ну там какая-нибудь статья в периодике США... Он обычно объяснял это чистой случайностью, просто вот только что, на бегу один

американский журналист передал, вот поэтому и под мышкой, но друзья, конечно, понимали, что Яша хочет похвалиться своими достижениями, и не осуждали его.

Иногда к троице, сменившись после дежурства, присоединялся майор Орlando. Он приносил с собой закрывающуюся на «молнию» хозяйственную сумку. Содержимое ее доказывало, какое большое значение придает майор мужской дружбе.

Четверка выкатывала из гаража протуберанцевский «Запорожец», забиралась внутрь и многочасовыми дискуссиями опровергала обязательность знаменитой московской «тройки», доказывая эффективность квадриги.

— Наша страна катится в пропасть, — иногда сообщал секретные сведения майор Орlando и в таких случаях скрипел зубами. — Эх, жаль, не выдают нам к оружию патронов...

— А вы бы знали, Густавчик, что делать с патронами? — спрашивал наивный философ.

— Дело в том, что знал бы, — чекашный лик тореадора затуманивался явно притворной грустью.

Какая вдруг неожиданно свободная и не лишенная даже душевного комфорта жизнь открылась вдруг Велосипедову после изгнания с работы: работай сколько хочешь, можно даже много работать, и на собрания не ходить, не нужно разоблачать империализм. Однажды только, когда засиделись у гаражей допоздна, вздохнул печально Велосипедов — дескать, не увидеть мне теперь больше Болгарской Народной Республики.

— И ничего не потерял, — сказал Спартак. — Я там был, там хорошего мало.

— Как же, Спартакоч, ты не рассказывал никогда о своем путешествии? — изумился Велосипедов.

— Паршивая история, вот и не рассказывал. Мы туда на туристском пароходе приплыли, высадились в Варне, а милиция там с ходу стала нас хватать и волосы стричь — не разрешается там длинные волосы. Мы говорим: не троньте нас, мы советские! А менты нам в ответ: а мы что,

не советские, что ли? Там, фля, в Болгарии, процветает все та же Организация...

Конечно, безработица и на финансах отражалась очень благоприятно. Клиентов у них оказалось навалом, и в основном благодаря другому велосипедовскому новому корешу, самому молодому Народному артисту Советского Союза Саше Калашникову. В основном, конечно, были это жильцы и жилицы жилтоварищества «Советский балет».

Известно всем, что птички вышеназванного балета наделены и неплохими коммерческими талантами и привозимые ими с нью-йоркских свалок имитированные меховые шубы со сравнительной легкостью превращаются в натуральные русские «Жигули».

Спартак обычно брал на себя возвращение ключей и финальные расчеты с чудесными хозяйками. У прелестниц расширились глаза при виде светловолосого красивого татарина, любезно оповещающего о завершении ремонта. Завязывалась непринужденная беседа, обмен юмором, который порой перемещался с порога прямиком в спальню. Таков был этот сервис! Балеринам казалось, что в Москве исподволь происходит реставрация очаровательного капитализма.

Велосипедов, конечно, не позволял себе таких легкомысленных отношений с противоположным полом, во-первых, по складу своего, как говорится, «цельного» поповичевского характера, а во-вторых, в связи с внутренними противоречиями, уже знакомыми читателю.

С Фенькой был полный раздрызг, случайные же встречи напоминали спорадические выходы крымского хана, опустошавшие средневековую Русь. Велосипедов мучился, но казалось ему, что и мука стала как-то воздушней, как-то ароматней в его новом незарегистрированном состоянии.

По-прежнему он много читал, потребляя в основном продукцию Агриппины Тихомировой, однако стал уже подумывать, а не превратиться ли из потребителя в произ-

водителя. Толчок его творческим импульсам дала довольно неожиданная персона, а именно председатель Контрольной Комиссии при ЦК КПСС Арвид Янович Пельше.

А как было дело? Зашел однажды в Книжную лавку писателей, что на Кузнецком мосту. Нет ли чего почитать, в частности полного собрания сочинений Вольтера? Из полных собраний, говорят, располагаем только Арвидом Яновичем Пельше в двенадцати томах. Что ж, почитаем и это! Взялся и был заинтригован — какие, оказывается, могут открыться мыслительные возможности при чтении наглой абракадабры некоторых авторов.

И вот начал Велосипедов потихоньку работать над кое-чем фундаментальным, над философским эссе под названием «Читая Пельше». Надеюсь, Яша поможет, думал он. Не может быть, чтобы Яков Израилевич не помог. Поможет, можно не сомневаться.

Однажды произошло удивительное событие. Он шел по Усиевича, собираясь свернуть на Черняховского, когда на углу, где обычно много циркового и киношного люда ловило такси, увидел стройную, но несколько провинциальную девушку в голубом, но чуть-чуть коротковатом брючном костюме. Приблизившись, он узнал в этой девушке свою мать, которая, как оказалось, подчиняясь материнскому инстинкту, приехала его спасать из Краснодара.

Три спектакля пришлось отменить, «Иркутскую историю», «Веселую вдову», ну и, конечно, бессмертную «Сильву», вот примчалась на всех парусах, друг мой, ха-ха!

Твое рождение, друг мой, ни для кого в городе не было тайной. Отчетливо помню, мой дорогой, тот вечер, когда Иван Велосипедов приехал из казарм на велосипеде. Не смейся, ты же знаешь, что наша фамилия не имеет никакого отношения к этим велосипедикам, я всем об этом говорю, но мне не верят. Уже полыхала война. Я пела ему: «Я на подвиг тебя провожала. Над страной гремела гроза, Я тебя провожала, Но слезы сдержала, И были сухими глаза!» Именно под звуки этой песни ты и был, мой друг, ну, как говорится, зачат. Ну, а что касается Клауса Рихте-

ра, то к моменту немецко-фашистской оккупации я была уже, ха-ха-ха, в интересном положении, да и вообще, кроме эстетических, он не был готов ни к каким отношениям, потому что страстно ненавидел войну. Вот и сейчас он работает парткомом на судоверфи в Варнемюнде, недавно был у нас во главе делегации борцов за мир ГДР, вообрази себе нашу встречу, ха-ха-ха!

Я немедленно, немедленно, немедленно отправляюсь куда следует, не допущу, чтобы моего мальчика, ой, ха-ха-ха, у тебя, мой друг, маленькая плешиночка, не допущу, чтобы... немедленно к самому Демичеву... меня ценят... сейчас рассматривается вопрос о присвоении звания... Заслуженной... Адыгейской автономной!.. Видишь, я прямо сразу сорвалась, перенесла три спектакля и в самолет, а там, воображаешь, один моряк, ха-ха-ха, капитан-лейтенант... девушка, говорит, простите, вы путешествуете в одиночестве?..

Велосипедов смотрел на ее плоские голубые глаза, на маленький ротик, округляющийся при похохатывании, и, как писали раньше в советских романах о загранице, «ему хотелось плакать». Да она меня любит, думал он, ведь не было же у Сильвы никогда тридцатилетнего сына с проплешиной, а стоило выгнать его с работы, подвергнуть гонениям, и вот — сын появился! Ах, маменька, маменька, почему бы вам, наконец, не постареть?

А она между тем как раз молодела на глазах, благодаря румянцу благородного гнева. Вот телеграмма из Нарьян-Мара. Иван Диванович Велосипедов в ответ на мой запрос радирует: «Настоящим подтверждаю отцовство своему законному сыну Велосипедову Игорю Ивановичу».

Подпись Велосипедева-старшего заверена бригадиром кассы Амангельды Эдишербековой.

— У меня, между нами, знакомый есть в Политбюро, — сказала мама и посмотрела на сына смущенно снизу вверх. — Такой Дима Полянский. Он был у нас когда-то первым секретарем крайкома, ведь не может же он, ха-ха-ха, меня забыть.

— Мама, дорогая, — возразил Игорь Велосипедов. — Вы, если собираетесь предпринять чрезвычайные меры, имейте, пожалуйста, в виду, что я глубоко разочарован в существующем порядке вещей. Печально, но факт...

— Ах, ты просто влюблен, друг мой! — всплеснула ладошками звезда Кубани. — Признайся! Признайся!

— Да-да, — признался со вздохом Велосипедов. — Я просто влюблен.

— Надеюсь, до внуков еще не дошло?! — воскликнула Сильва с некоторой как бы легкомысленной тревогой и в то же время с игривостью, вообразив розовощекого пузанчика, которого все принимают за ее сына и никто не догадывается, что это ее внук, а если скажешь, просто отказываются верить — дивная сцена, дивная!

Тут она посмотрела на часики, ахнула, подмазала губки и побежала в Политбюро.

Вернулась она серьезная, значительная, почти суровая. Увы, друг мой, не очень-то хорошие новости. Т А М к тебе относятся слишком серьезно. И она рассказала о встрече с Полянским.

Он стоял у окна в своем огромном кабинете и смотрел на ветви сада, когда она вошла. Он протянул ей навстречу руки и грустно улыбнулся. Помнишь ли ты, как улыбалось нам счастье? Помнишь ли ты наши мечты? Ах, это был только сон, но какой чудный сон...

— Увы, мой друг, Митя — не царь, и единственное, что он посоветовал тебе, жить тихо и... — тут мама извлекла из сумочки кружевной платочек, на котором второпях тушью для ресниц записала сказанное Митей, — и не способствовать... вот так... расширению... вот именно... и без того серьезной информации. Пока, сказал Митя почему-то шепотом и добавил почти неслышно: нужно ждать, ждать, ждать...

Между тем пришла осень, и разразилась война на Ближнем Востоке. Израиль использовал свой религиозный

праздник Иом Кипур для затягивания арабских народов в ловушку новой агрессии.

В разгар боев на Синае Яков Израилевич Протуберанц стоял в очереди к телефону-автомату возле метро «Динамо». Он был четвертым, а за ним уже скопился целый хвост.

В будке упражнялся брюнет в светло-сером костюме, то поворачивался к очереди длинной спиной с выпирающими лопатками и драматически в такой позиции изгибался, то вдруг давал лицезреть лошадиное лицо, закатывающиеся в пафосе беседы мутные глаза, клавиатуру желтых зубов, длинные и волосатые пальцы с насаженными на них перстнями. Просто настоящий «театр одного актера».

Якова Израилевича эта ситуация нимало не раздражала, потому что он даром времени не терял, размышлял свои возражения австралийскому мыслителю W, объясняющему историю роевыми инстинктами человеческих масс, и даже делал кое-какие пометки для памяти, фигурально говоря «на манжетах», а фактически на полях французского журнала «Альтернатива», где недавно была напечатана его статья.

А вот остальная публика, однако, начала уже основательно ворчать в адрес неопределенного брюнета, который разговаривался, как будто он дома. Надо монеткой постучать этому нерусскому товарищу, может, опомнится, пока не поздно.

Товарищ, стоящий первым в очереди, сочтя претензии сзади стоящих товарищей вполне обоснованными, ребром двухкопеечной монеты постучал в стекло будки тому товарищу, который злоупотреблял общественным терпением, то есть брюнету. Тогда вышеуказанный приоткрыл дверь будки и плюнул в лицо тому, который стучал. Затем, закрыв дверь, продолжал свой театральный диалог. Публика была потрясена и сразу начала безмолвствовать. Кто его знает, кто такой, если плюется. Вот вам опровержение вашей теории, дорогой W, подумал Протуберанц. Вот налицо резко индивидуалистический акт

отдельной недетерминированной личности, который может иметь основательные общественные последствия.

— Товарищи! — после довольно продолжительного молчания воззвал оплеванный. — Что же, так всю жизнь и будем терпеть?!

Публика хмуро напряглась. Субъект в будке, картинно изогнувшись, демонстрировал тонкую талию и вызывающе выпяченное под тонким габардином свое хозяйство.

Если это еврей, подумал Протуберанц, то, боюсь, мы сейчас получим в некотором смысле общественный анти-семитский акт. Внешне это подтвердит теорию уважаемого коллеги W, однако ведь в основе-то...

Субъект повесил трубку, открыл дверь и крикнул с порога телефонной будки:

— Русские свиньи!

После чего начал валиться на бок, производя еще при этом спазматические движения кадыком.

Оплеванный товарищ поддержал падающего.

— Не будем уподобляться линчевателям из Алабамы, — сказал он публике, которая и не собиралась уподобляться никаким линчевателям, а пребывала лишь в некотором недоумении — что же товарищ имел в виду, выкрикивая подобную нелепость? — Сейчас мы его просто-напросто передадим блюстителям порядка, — сказал оплеванный и обратился за помощью к ближайшему мужчине, то есть к Я.И.Протуберанцу: — Надеюсь, поможете, товарищ?

Итак, вдвоем с оплеванным товарищем философ Протуберанц транспортировал похрапывающего и постанывающего товарища брюнета в ближайшее отделение милиции, что под трибунами небезызвестного столичного стадиона. Там в этот час было тихо. Дежурный лейтенант читал книгу. В углу подремывал единственный задержанный, красноносый и кудреватый, похожий на Емельяна Пугачева, хоть и кривой, как фельдмаршал Суворов, бич.

— Ну, что вам, ребята? — спросил лейтенант таким тоном, будто Протуберанц и оплеванный товарищ здесь частые гости.

Выслушав рассказ об оскорблении путем испускания слюны и выкрикивания лозунгов, чуждых принципам пролетарского интернационализма, офицер вздохнул и вытащил бумагу для составления протокола. Тут выяснились, конечно, личные данные всех участников драмы, двух сознательных граждан, доставивших в отделение дерзкого брюнета, а также и сам дерзкий брюнет, несмотря на сопротивление и попытки станцевать что-то восточное, был опознан по дипломатическому паспорту как господин или товарищ Ясир Абу Гадаф, атташе по культурным вопросам Республики Сомали. Фамилия же оплеванного товарища оказалась Морозко, а имя-отчество Борис Рувимович.

— Клянусь, думал, что азербайджанца тащим, — шепнул Борис Рувимович Якову Израилевичу. — Теперь, старик, возникает просто вопиющая история: *наши* как раз сегодня Суэцкий канал форсировали, а мы с тобой араба — в милицию! Вот схлопотали мы с тобой приключения на собственную верзоху!

Дежурный офицер, однако, никакого символического значения не придавал тому факту, что два еврея привели в участок одного араба. У этого сомалийского товарища, объяснил он, к сожалению, дипломатическая неприкосновенность, иначе мы бы его сейчас в медицинский вытрезвитель спать отправили, а теперь придется сказать «гуд бай, саям алейкум», пусть его теперь сами сомалийские товарищи по партийной линии выгребут.

Он вызвал коляску, лично проводил бессмысленно хохочущего дипломата до дверей, передал его в руки сержанту и только слегка коленкой поддал ему на прощание.

— А вам, ребята, придется задержаться, — сказал он евреям, — сейчас начальник приедет, будем разбираться.

— Так ведь мы же ж пострадавшие! — заволновался Морозко Борис. — Мне лично в лицо желтой слюной было

плюнуто! Что же это за равенство такое получается, где же тут Декларация прав человека?

— Да все в ажуре, — сказал офицер, — нет оснований для волнения. Просто, мальчишки, у нас такая инструкция — если в какое-нибудь дело замешан дипкорпус, вызываем начальника, ну, и кого-нибудь из КГБ. Такая формальность.

Морозко и Протуберанц переглянулись. Только бы не проговориться кагэбэшнику, подумал Морозко, не выказать бы симпатии наступающим *нашим* войскам. Хорошенькое дело, подумал Протуберанц, а что, если попросят открыть портфельчик?

В портфеле у него, кроме упомянутого уже журнала «Альтернатива», еще имелось кое-что: нью-йоркский альманах «Воздушные пути», лондонский журнал русского авангарда «Студент», да и франкфуртские туда же «Грани». Во всех этих органах фигурировали протуберанцевские статьи на социально-философские темы.

Потянулись томительные часы ожидания начальства из КГБ. Впрочем, скорее всего, на всю эту нелепую историю ушло не более одного часа, просто так уж томительно тянулось время, такой уж это выдался томительный день уходящего лета, когда медленно и художно тлеют закатные тучки, неподвижно стоящие над бурым краем Петровского парка. А ведь именно в этот час, точно по минутам совпадая с нашими дурацкими событиями, огромные пустынные горизонты Синая сотрясались и озарялись артиллерийскими и ракетными ударами, а в небе в «собачьих схватках» проносились «фантомы» и «миги».

— А у меня, ребята, проблема, — пожаловался дежурный, и, конечно же, слово «проблема» неправильно им было произнесено вовсе не от недостатка образования, а, скорее, от его избытка, то есть иронически. — Вот выиграл вчера по денежно-вещевой лотерее холодильник «Север» — удача вроде бы, правда, удача? — но вот уж никак не думал, что с такой удачей возникнут в самом деле слож-

ные проблемы. Дело в том, ребята, что у меня уже имеется на кухне холодильник «Север», а братъ выигрыш деньгами просто как-то дико, потому что хочется получить сверх хоть рубликов двадцать. Вот такая получилась обидная проблема, — в конце этого маленького монолога лейтенант уже правильно произнес ироническое слово и этим все-таки показал, что положение серьезное. Засим печально стал смотреть в окно, в котором по праздным угасающим небесам одинокий пилот тянул в этот момент свой никчемный след.

— У меня лично в доме хоть шаром покати, — признался Морозко Борис. — Ни одного лишнего рубля не завалялось.

— А вот для меня, товарищ лейтенант, ваша проблема — это настоящая удача, — признался Протуберанц. — Ведь я просто ноги сбил в поисках холодильника. Удивительное совпадение некоторых внутренних мотиваций, заставляющее о многом задуматься.

— Так ты сходи в сберкассу, сынок, — сказал лейтенант, хотя вроде бы сам годился философу, ну, если не в сыновья, то в племянники от старшего брата. — Пока кагэбэшники придут, ты как раз обернешься. Лады?

Философ дважды просить себя не заставил и тут же слинял из участка в наступающие сумерки. Хотел было уже бодро бежать домой, разгружать крамольный портфельчик, как вдруг остановился посреди тротуара, пронизанный сокровенным содержанием момента. Оно (содержание момента) просто оглушило его, если не сказать пронизало.

Дело в том, что в кармане Якова Израилевича как раз находилась сумма, равная розничной цене холодильника «Север», то есть 150 рублей плюс двадцать рубликов сверху, на которые как раз и намекал дежурный офицер. Дело в том, что жена философа, известная в московском подпочвенном искусстве поэтесса Мириам, как раз и послала его в электромагазин «Свет» для покупки холодильника «Север» путем дачи взятки 20 рублей продавщице или грузчику. Как раз по поводу неуспеха этой операции

Яков Израилевич и собирался «отзвонить домой» из описанного выше телефона-автомата. Хотел признаться жене, что полдня ходил вокруг этого воровского магазина и так и не решился дать взятку.

Итак, роевые инстинкты огромных человеческих масс в купе с отдельными иррациональными актами личностей, недетерминированных культурой, на фоне прорыва танковой армии генерала Шарона, плевков в лицо Борису Рувимовичу Морозко в сочетании с выигрышным билетом денежно-вещевой лотереи у дежурного по отделению милиции — все это представляло собой не что иное, как настоящую бурю экзистенциальной философии. И в центре этой бури оказался он, философ Яков Протуберанц, да что там, просто человек, с присущей этому отряду способностью нравственного анализа и правом свободного выбора.

Можно просто не возвращаться в участок от греха подальше, в конце концов, я не имею к этой истории никакого отношения, плюнуто не в меня, и оскорбление «русские свиньи» тоже ко мне не очень-то относится. Если захотят, пусть сами разыскивают как свидетеля. Можно спрятать где-нибудь литературу, ну, предположим, в водосточной трубе, и вернуться, чтобы подкрепить позицию Бориса Рувимовича Морозко и приобрести лотерейный билет на радость Мириам. Однако не унизительно ли мне, ученому с мировым именем, прятать литературу в водосточной трубе? В таком случае почему же я с такой радостью выскочил из?..

Вариантов нравственного выбора оказалось много. Яков Израилевич посидел некоторое время в метро, отверг те варианты, которые были недостойны личности с этическим правосознанием, и вернулся в отделение, неся в потном кулаке свои 170, а в портфеле всю свою крамолу.

— Видишь, Борис, — сказал лейтенант оплеванному Морозко, — ты в своем товарище ошибся, а меня жизнь научила верить людям.

В этот момент дверь открылась, и в помещение вошло непосредственное начальство, не кто иной, как муску-

листый и чернобровый майор Орландо. За его плечами маячили двое неразлучных, бледный и как бы томимый вечной жаждой Игорек Велосипедов и Спартак Гизатуллин с неизменной своей нехорошей улыбкой в адрес «этой Организации».

Разумеется, все вопросы были решены в течение нескольких минут. Кагэбэшников решили не ждать, их ждать — зажаришься, сами все решим, МВД — Мощь, Воля, Движение! Лейтенантовские протоколы майор Орландо засунул в задний карман своих форменных брюк. В следующий раз, сомалиец, лучше не попадайся, антирусская душа, эх, жаль, нам патронов не выдают к нашему оружию!

Лотерейный билет, конечно, к общему восторгу, перекочевал из письменного стола в карман Якову Израилевичу. Лейтенант стыдливо хотел было отказаться от прибавочной стоимости, но Протуберанц настоял:

— *Логика хаоса, мой друг!*

Хотели было уже друзья удалиться всей своей гопой, как вдруг заметили молчаливого свидетеля всей ситуации, краснорожего бича, похожего на Емельяна Пугачева. Этот бич на протяжении всей сцены ласковым бессмысленным взором обозревал присутствующих, тихо икал и иногда конструировал пальцами подобие продолговатой рамки; в таких случаях взирал на окружающее через эту рамку.

— Густавчик, по-моему, это наш человек, — тихо шепнул Велосипедов майору Орландо.

— Кто это у тебя там икает? — спросил майор Орландо у лейтенанта Горчакова.

— Это наш постоянный клиент, товарищ майор. Мы его зовем «Кинорежиссер», он, когда в настроении, всех учит, как кино снимать.

— Ну, мы его с собой возьмем, — сказал майор Орландо. — Пусть нас поучит. Не возражаешь, Кинорежиссер?

— Конечно, не возражаю, — вдруг ответил Кинорежиссер совершенно нормальным голосом, хотя по внешнему виду как бы предполагался жуткий дефект речи. — Охотно присоединюсь и охотно расскажу, как снимается кино.

Все вышли со стадиона в количестве шести человек. Вокруг уже имела место ранняя ночь. Решено было отправиться в бар «Аист», а потом в шашлычную «Анти-Советскую», названную так московским народом в связи с тем, что располагается она через дорогу напротив гостиницы «Советская».

Возле шашлычной уже ждал их в своей красавице «Волге» цвета «белая ночь» звезда балета Саша Калашников. Майор Орландо в машине переоделся в тренировочный костюм, который всегда носил с собой в портфеле во избежание недоразумений. Внутри прошли в обход очереди, через кухню.

— Какая у нас хорошая, большая, настоящая получается дружба, товарищи! — с чувством высказался Велосипедов и немного засмутился.

Борис Морозко посмотрел на светящиеся часы и объявил, что, по его расчетам, в этот момент танки генерала Шарона завершают окружение Пятой Египетской армии.

ДОВОЛЬНО ПЕЧАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ИЛИ ВЕСКИЙ АРГУМЕНТ

Осень 1973 года завершалась довольно печальным событием. Однако по порядку.

Мы со Спартакком починяли однажды довольно отработанную «Волгу» во дворе огромного, так называемого генеральского дома в районе Песчаных улиц. Происходящее не сулило никаких неожиданностей, за исключением дождя, который ожидался. Починяя аппарат, мы временами поглядывали на небо. По удивительной для ноября голубизне проплывали со значительной быстро-

той довольно типичные московские тучи с дождевыми внутренностями. Надо было успеть до дождя заменить ступицу и рессору, это по ходовой части, а в моторе, разумеется, напрашивалась замена вкладышей, что, как сами понимаете, не подарок.

У хозяина «Волги» с его гаражом были особенные проблемы. Он был ракетчик в ранге полковника и служил где-то за границей, судя по загару, в Африке. И вот, пока он там загорал на службе мира и прогресса, его женатый сын Виталий выкатил папину «Волгу» из гаража, а туда вкатил свою, вот и возник вечный вопрос «отцы и дети», даже, как говорят злые языки, не без рукоприкладства, в общем, мы починяем машину полковника Шевтушенко во дворе.

Конечно, все производится с максимумом аккуратности, ноль процента загрязнения окружающей среды, все разложено на тряпочках, асфальт чист, никому, тем более детям, не мешаем.

И вдруг появляется преотвратнейшая старуха и начинает базар:

— По какому праву здесь расположили свою частную лавочку, жулики, пьянчуги, детям мешаете гулять, сейчас милицию вызову!

Старуха попалась легкая на ходу, настоящая такая ведьма в здоровенном мужском пиджаке с довоенным значком «Ворошиловский стрелок» на загнувшемся лацкане, такой сорт старух из комсомолок тридцатых годов.

Спартак вылез из-под машины, вытер руки тряпкой и внимательно посмотрел на старуху. Ой, лучше бы она ушла.

— Бабушка, — говорит Спартак со сравнительным спокойствием, — лучше бы ты ушла.

Старуха чуть не задохнулась от злобы:

— Бабушка?! Какая я тебе бабушка, проходимец?! Мои внуки на БАМе работают! Гордость и слава страны! А ну, калымщики, частники, барыги, сворачивайте свое хозяйство, а то по-другому будем с вами разговаривать, шпана проклятая!

Вот такой изрыгает мамаша поток неспровоцированных оскорблений, а затем бьет сапогом по снятым волговским колпакам, и колпаки эти несчастные, все четыре, раскатываются по двору, опадая в лужах. Такая несправедливая мамаша!

Можно понять Спартака Гизатуллина, потому что количество всегда переходит в качество, хотя, конечно, нельзя приветствовать такого подхода к женщине, даже если она в жлобском пиджаке со значком «Ворошиловский стрелок».

— Ты, бабка, кончай базарить или пошла-отсюда-к-жуям-со-бачьим-курва-позорная-в-комсомольск-на-амуре!

И Спартачок делает к Анне Светличной решительный шаг и решительный жест, явно собираясь дать ей леща. И бабка Светличная, надо отдать ей должное, немедленно понимает намерения моего напарника и устремляется в бегство.

В это время проплывающая над генеральским домом туча закрывает солнце, и старуха в развевающемся пиджаке проносится по двору, как демон слякоти и ненастья!

Туча, впрочем, быстро проплывает, воцаряется голубизна и сияние, ну, прямо Италия, и в этом коротком благоухании мы слышим баритональный дружеский смех и видим выходящего из-под арки режиссера мирового кино Саню Пешко-Пешковского.

Он приближался, формируя ладонями кашированный кадр, замыкая его то в горизонтальной позиции, то в вертикальной. Он хохотал:

— Ребята, вы меня просто восхищаете! В лучах солнца! Два блондина! Русский и татарин! Стройные советские люди! Мотор! Снято!

Мы его немного приодели. Сейчас он щеголяет в старых милицеских штанах Густавчика, в свитере-водолазке, подаренной Мириам Протуберанц, на ногах крепкие чехословацкие ботишки с байковой подкладкой, это я ему купил. От старой амуниции осталась только куртка студенческого

строительного отряда, с ней он не расстанется, во-первых, какие-то воспоминания, а во-вторых, носит в глубоких ее карманах блокноты со сценарными записями, и это как бы символ постоянного творческого процесса. Интереснейший оказался человек наш новый друг Саня Пешко-Пешковский, и, между прочим, у нас с ним обнаружилась одна глубокая общность, в творческом, конечно, смысле.

Пешко-Пешковский окончил ВГИК в разгаре либеральных тенденций и считался одним из самых талантливейших. Других, впрочем, во ВГИКе не бывает. Сразу же запустился с полнометражной картиной о восстании народа в одной буржуазной стране.

Снималась вся эта вакханалия в Ялте, группу Саня набрал молодую и буйную, городские власти были запуганы до предела. Саня хвалился, что во время съемок он фактически реставрировал в Ялте капитализм. Горком в это время работал в подполье, говорил он.

Фильм получился на славу. Насмерть перепуганное начальство немедленно «положило его на полку», а потом, кажется, он и вообще был смыт, то есть изъят из существующей природы.

Саня тогда представил заявку на новый фильм о будущем восстании народа во всем мире. Конечно же, заявку эту зарубили и посоветовали молодому режиссеру отойти от бунтарской тематики. Вы бы поехали, товарищ Пешко-Пешковский, на целинные земли, в студенческий отряд, посмотрели бы, какими славными делами наша советская молодежь занимается.

Саня внял совету — оттуда вот и курточка — и привез отменнейший сценарий, по которому студенческий отряд превращается в партизанский. Против кого же воюют ваши партизаны? — заинтересовались с понимающими улыбочками тогдашние либералы в ЦК КПСС. Не против кого, а против чего, пояснил Саня, это чисто символическая партизанская деятельность против энтропической идеи. Вы бы лучше отошли от этой тематики, това-

рищ Пешко-Пешковский, посоветовали либералы, столько вокруг острых проблем, а вы какую-то круглую предлагаете, как бомба.

Наивный наш Саша все-таки полагал себя мастером именно революционных полотен и вскоре вошел в Госкомитет с идеей двухсерийного фильма о восстании не где-нибудь, а просто-напросто... в Москве. Вот такое у нас обнаружилось глубочайшее внутреннее родство!

И так же, как я, Саша Пешко-Пешковский предлагал свое восстание вовсе не против Партии и Правительства, такое, конечно, ему и в голову не приходило бессмысленное, просто, ну, понимаете, ВОССТАНИЕ, мечта, эякуляция, и вообще все как бы в будущем, очень-очень отдаленном, такая как бы научная фантастика, будто бы Москву захватила какая-то нехорошая внеземная цивилизация, ну вот и вроде бы терпели-терпели несколько десятков лет, чуть ли не полную сотню, а потом таксисты взбунтовались, а за ними и все остальные.

На этом в принципе и закончилась Санина кинематографическая карьера. На что руку поднимаете, Пешко-Пешковский? — спросил его министр Романов. На дорожку мою столицу, золотую мою Москву? На все святое в нашей жизни?

Саня, конечно, пытался объяснить, что, наоборот, дескать, оживить хочет славные революционные традиции Красной Пресни и что он вообще против иностранного владычества. Романов тогда рубашку задрал и показал на животе старые раны. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась ее голова, буйволом заревел министр, бывший цекист. Идите, Пешко-Пешковский, у вас теперь будет достаточно времени подумать, как вы дошли до жизни такой!

Саня к тому времени порядком уже выпивал и был расположен к предельной искренности, вот и начал с трибуны Союза кинематографистов отстаивать взгляды пьющих. Конечно, тут же заведено было на Саню пресолиднейшее бумажное дело, основательно он был взят на крю-

чок, а значит, мой друг, уже вам не место среди бойцов идеологического фронта, среди героев данного фронта Бондарчуков и Ростоцких, иди в тыл, «выпадай в осадок», превращайся в бича, что Саня сделал в общем-то безболезненно.

Однако и в бичевом состоянии видения мятежа посещали Саню не реже, чем раньше, а может быть, и чаще, и он, будучи профессионалом (в самом деле, можно позавидовать систематическому образованию), эти видения разрабатывал профессионально, то есть раскадровывал и подсчитывал, например, метраж, нужный для штурма, предположим, Выставки Достижений Народного Хозяйства.

Вот когда мы с ним впервые увидели друг друга, если помнит уважаемый читатель, на улице Куйбышева, где он мне подтвердил правильность дыры для писем в ЦК, так он там, Саня наш, не просто так прогуливался, *а выбирал натуру.*

Есть, конечно, и негативные стороны в такого рода творческой деятельности — частые задержания охраной правительственных зданий и органами порядка, малоприятные беседы в местах задержания, иногда и физические, такие отвратительные, способы воздействия, разного рода изоляция и административные высылки из столицы, глупо.

— Велосипедов, да ведь это же твое alter ego! Осуществившийся бунтарь! Буревестник контрреволюционной революции! Можно, я его узнаю поближе? Разрешаешь?

— Нет, не разрешаю! Категорически против! — возопил я. — Сколько же можно, Фенька, сколько же можно?!

Девка надулась:

— Да ну тебя, в самом деле! Ты просто, Велосипедов, какой-то паша! Я у Стюрина тогда попрошу разрешения, уверена, что Его Величество не откажет!

Предпочитаю не спрашивать, получила ли она разрешение, ревность в самом деле какое-то унижительное мастурбирующее чувство. Во всяком случае, наши отношения с Саней П-П ничуть не изменились, он стал хоро-

шим другом всей нашей компании, но всем другим, скажу без скромности, предпочитал меня.

Фенька пришла от этой истории в дикий восторг.

Обычно он приходил ко мне утром завтракать и сидел до вечера — читал, спал, кушал, пил напитки, если были, медитировал, если на сухую. На ночь, впрочем, всегда отправлялся домой. Работать могу только в своей норе, объяснял он. У него была комната на перекрестке Ленинского и Ломоносовского, в том доме, где уже пятнадцать лет размещался бессмысленный магазин «Изотопы».

Иногда среди ночи заваливались к нему с Мосфильма старые друзья, ставшие за это время Заслуженными деятелями искусств. Саня развивал им свои идеи, и все соглашались, что он из всех гениев самый гениальный, некоторые даже за ним записывали.

Друзья нередко давали ему денег, чаще всего гроши, но иногда необъяснимо огромные суммы. Деньги Саню не украшали, он становился хмур и груб. В принципе, он не любил денег. И наоборот, в их отсутствие Саня неизменно был ровен и весел, не прекословил судьбе и, может быть, из-за этого получал от нее время от времени непредвиденные улыбки: ну вот, например, освобождение из милиции вместо очередной высылки, встреча с творчески родственным человеком, то есть со мной, или с какой-нибудь девушкой-чудачкой, даже случайные находки на асфальте большого города.

В то утро, появившись из-под арки генеральского дома, он закричал на всю Ивановскую:

— Смотрите, что я вчера ночью нашел!

В руках у него была большущая копченая рыба, золотистый сазан.

Такое, конечно, могло случиться в Москве только с Саней Пешко-Пешковским, гениальным кинорежиссером. Вчера глухой ночью подгулявшая компания мосфильмовских гениев высадила Саню возле его дома. Он направился к подъезду и по дороге споткнулся обо что-то основательное, думал, дохлая собака, оказалось — копченая

рыба. Откуда такой подарок судьбы? Скорее всего, из Каспийского моря.

Ночью Саня решал дилемму — самому ли начать употребление рыбы или разделить удачу с товарищами под пиво? Дело в том, что, как он нам позднее признался, его тяготила финансовая зависимость от общества, а рыба могла освободить его от этой зависимости на целую неделю. Теперь уже ясно, какие начала в Сане победили, очень приятно, что не пришлось разочаровываться в товарище.

— Неужели ты хотел лишить нас на целую неделю своего общества? — удивился Спартак. — Прости меня, друг, но у нас в Татарии таким говорят «ты большая му-дак или, иначе, большой жопа». Уж если тебя так беспокоит финансовая зависимость, так давай я тебя обучу починять автомобили, и будешь так же богат, как я или Игорьек Велосипедов.

Это предложение Саня Пешко-Пешковский сразу же отверг:

— Нет уж! Я работать нигде не могу, кроме кино. Лучше я буду немного страдать от финансовой зависимости.

Итак, он приблизился и положил на асфальт свой вклад в цитадель дружбы, свою золотую находку, положил скромно и с достоинством, словно первый камень в основание памятника какому-нибудь герою.

— Впечатляюще, — сказал Спартак и дал Сане десять рублей. — Иди, Саня, в гастроном на Соколе, там обещали после обеда подвезти пиво. Бери на все, то есть тридцать бутылок. К тому времени мы здесь зашабашим и все пойдем на тренировочный стадион ЦСКА. Там сегодня играют дубли ленинградского «Зенита» и харьковского «Авангарда», и мы там отлично отдохнем на трибунах с твоим неплохим сазаном.

Саня П-П очень обрадовался, что мучившая его дилемма так легко разрешилась, и весело отправился за пивом. Вот помню, как сейчас, его, будем откровенны, слегка кривоватую фигурку с надписью на спине «Яростная

Гитара», вот он идет в стремительно налетающих сумерках и удаляется под арку. Вновь вспыхивает солнце, такие дни в Москве изредка бывают.

Все как-то шло недурно в тот день — и машина хорошо починялась, и упомянутое уже солнце как-то замечательно играло, и поблескивал крутым боком чудесно найденный посреди столичной пустыни Санин сазан, и предвкушался маленький уютный стадион армейского спортобщества, где собираются только настоящие любители футбола, и мне даже казалось в этот день, что я обрел какой-то новый, маленький, но реальный мир, вытеснивший первый мир, огромный, неумолимый, но фальшивый.

— Вот странное дело, — высказался вдруг Спартак. — Тянутся к тебе люди, Гоша Велосипедов. Причина мне не ясна, но до тебя я был практически одинок, а сейчас окружен настоящей системой дружбы. Большое тебе за это спасибо.

— Кончай, Спартачок, — возразил я. — При чем тут я?

— Повторяю, большое спасибо, — сказал Спартак. — С такой системой друзей можно положить на эту Организацию.

Мы работали без перерыва еще целый час и поставили «Волгу» на все четыре колеса, а в моторе оставалось лишь замонтировать головку блока. Тут появился наш заказчик полковник Шевтушенко, он был очень раздражен. Оказалось, что контора «Внешний Подарок» отказалась на этот раз принять у него заработанную за год валюту для приобретения автомобиля «Волга». У вас, сказали там полковнику, по нашим сведениям, уже есть «Волга», а в прошлом году сыну подарили «Волгу», а теперь еще один лимузин хотите — не жирно ли будет? Да ведь за свои же деньги! — вскричал полковник, немного отвыкший от нашего отечества. Интересно, заулыбались во «Внешнем Подарке», как это смог простой советский полковник заработать за два года на две автомашины?

— Гады, крючкотворы, стукачи! — в голосе ракетчика клокотали слезы. — Не иначе как Виталька накатал

телегу, сучонок, да я ради этой «Волги» в проклятом Сомали не-пил-не-ел, запонки себе не купил, такие гады без понятия.

— Вышибут вас скоро из Сомали, Шевтушенко, — сказал Спартак и посмотрел на полковника снизу, ехидно оскалившись.

— Все может быть, — сказал полковник. — Все может быть, но только не это.

Спартак захохотал, и я не удержался от улыбки, а полковник, не зная причины нашего смеха, стал нам популярно объяснять, что Сомали — это твердыня мира и социализма, потому что стоит в стратегически важной позиции.

В этот момент солнце опять ярко вспыхнуло, и мы все увидели бегущую на нас старуху со значком «Ворошиловский стрелок» на лацкане пиджака. Правой рукой она на бегу раскручивала авоську, в которой виден был плотный кулек из газетной бумаги.

Это было последнее, что я зафиксировал из сложившейся ситуации — газетный кулек, направляемый неумолимой рукой мне в голову. Кулек был свернут из газеты «Честное Слово», ошибиться я не мог, ибо в глаза бросились черные большие буквы ЕСТ и ЛОВО, а ведь ни у какой другой газеты — ни в нашей стране, ни за рубежом — вы не найдете таких букв в заголовке. Затем последовало ужасное, то, что впоследствии официально называлось «удар кульком по голове». Я потерял сознание и потому не видел последующего, а именно вываливания из кулька предварительно в него завернутого бабкой Светличной (Анной) чугунного утюга, а также не видел и мгновенной реакции С.Гизатуллина, предотвратившего второй удар, да так, что ведьма вцепилась в стенку дома, рядом с вазой.

Очнувшись, я был арестован бойцами БКД вместе с моим дружкой Спартакком, а позднее оба мы были осуждены на десять лет лагерей строгого режима за нанесение ущерба Советскому государству путем физического нападения на депутата Моссовета, старейшую стахановку-тка-

чиху и трактористку Светличную Анну, легенду первых пятилеток, к тому же еще и Героя Социалистического Труда с золотой звездочкой (пиджак-то в тот раз с «Ворошиловским стрелком» был на ней просто мужний).

Вот таким довольно печальным событием завершилась осень 1973 года.

ЧЕТВЕРТОЕ ТЕЛО ВЕЛОСИПЕДОВА

Генерал гэбэ Опекун Григорий Михайлович оказался однажды в щекотливом положении. Бывает и так иногда: яйца дело не стоит... нет, что-то не то, как-то не так мы выразились... яйца выеденного дело не стоит — вот так-то лучше, нужное слово поворачивает всю экспрессию в правильном направлении, — а приносит — кто? что? оно? дело? яйцо? — столько хлопот.

Вот осудили двух проходимцев — столица такими кишит, — казалось бы, общественность спасибо должна сказать, разгрузили малость ее — кого? столицу! — а она — общественность, — понимаете ли, забеспокоилась. Чего людям не хватает?

Это же надо, физическое нападение на старую большевичку путем применения насилия! В прежние-п времена за такое-п де-ло-п... — подумал генерал Опекун и сладко потянулся.

А фамилия какая-то иностранная, довольно какая-то двусмысленная. КТО ему дал эту фамилию? Куратор капитан Гжатский даст четкую справку — церковь! А все же таки це дило трэба разжуваты.

Генерал Опекун смутно припоминает внешность осужденного преступника, по поводу которого общественность так волнуется. Однажды, за неделю до процесса, Женя Гжатский демонстрировал через глазок. В камере эти двое играли в шахматы. Два блондинчика, один белыми играл, а второй черными, запомнилось четко.

А вообще-то, что за шум, а драки нет, ведь не расстреляли же. Отсидят парни по десятке, выйдут еще моло-

дыми. В Москве, конечно, не пропишем, а вот на Урал, на Волгу, милости просим — работай, живи, дыши! А жизнь-то какая у нас будет через десять лет, к 1983-му, это ж можно себе только представить! Генерал даже зажмурился, вообразив себе витрины магазинов через десятилетие и мельтешение вокруг довольных лиц, масса довольных лиц, счастливых лиц, таких румяных, веселых, веселых, веселых лиц. И вдруг опять засвербило, закололо за воротом — общественность волнуется, нужно меры принимать, нужно что-то делать.

Вся волюнка закрутилась после звонка Альфреда Феляева, секретаря по идеологии Фрунзенского райкома столицы. Будь это другой райком, предположим Калининский, можно было бы на такой звонок положить с прибором, но с Фрунзенским шутки плохи — очень уж велик, очень уж богат, на особом прицеле у Центрального Комитета, по значению где-то между Монголией и Азербайджаном, там и творческие союзы все расположены, а в них народишко до сих пор попадаетеся заgreбистый, приходится пока что миндальничать, да и сам этот кадр, Феляев Альфред Потапович, 1932, уроженец города Грязи Липецкой области, хоть и много на него материала накоплено, а все же — отрицать нельзя — растущий многообещающий товарищ, одна будка чего стоит.

Так вот этот Феляев и поинтересовался пресловутым Велосипедовым. Наведи, дескать, Григорий Михайлович, справки, а то у меня тут общественность волнуется.

Генерал Опекун очень глубоко усвоил первую заповедь чекиста — не отрываться от Партии и потому немедленно распорядился доставить в его кабинет «Дело Велосипеда», потому что, кроме утюга в общем-то, между нами говоря-то, ничего в памяти от этого дела не осталось. Капитан Гжатский от этого приказа явно в восторг не пришел и попросил выделить ему в помощь двух сотрудников. Пока этих сотрудников искали, время прошло, и после того, как их нашли, время еще некоторое прошло, но так или иначе к концу рабочего дня три офицера вка-

тили в кабинет генерала три специальные колясочки для перевозки личных дел, заполненные папками до отказа. Генерал был впечатлителен. Спасибо, сказал он, хлопцы, вот удружили. Да ты что, Гжатский, полтора-человека, читать это мне все привез? Дай-ка мне фотку и обожди на диване. Остальные свободны.

Генерал считал себя физиономистом и потому долго вглядывался в фотоличность преступника. Щеки — запавшие. Глаза — плоские. Общее выражение неутоляемой жажды. Нехорошую диссидентскую личность имел паренек.

Впрочем, даже и в органах встречаются такие похожие персонажи, тот же Женька Гжатский, с такой вот похожей тягой в глазах, только у этого не поймешь — то ли пить хочет, то ли, наоборот, в туалет.

А внешность бывает и обманчива, это закон природы. Вот позавчера, вот именно во вторник, беседовал Опекун с клеветником Протуберанцем. Ну что за внешность у этого оп-оп-оппо-нента, можно сказать, полное отсутствие внешности, типичный Яков Израилевич. Вот тут вроде бы и применить хорошо отработанный психологический шок. Казалось бы, успех гарантирован, одна только есть опасность — как бы под себя не сходил.

Садись, садись, Яков Израилевич, очень любопытно будет познакомиться с таким героем Би-би-си и радио «Свобода». Хочу вам одну историю рассказать из военного прошлого, извините, просто вспомнилось по ассо... по ассоциации.

Пришлось мне быть командиром партизанского звучения, то есть соединения, и вот приводят однажды мои хлопцы с собой предателя родины. Что ж, закон — тайга, к стенке молодчика! Вот так, Яков Израилевич, и запомнилось: белая стена украинской хаты, падает предатель родины, а на стене — пятна, пятна, пятна...

И вот что любопытно: фамилия того предателя родины была — Протуберанц!

Засим по требованиям психологического шока нужно парализовать собеседника соответствующим взглядом, и обычно результаты не заставляли себя ждать.

И что же в данном случае? Сидит Я.И.Протуберанц, улыбается, протирает галстучком очки. А я, говорит, во время войны служил в самоходной артиллерии и однажды тоже был свидетелем безобразного самосуда. Мы стояли в лесу четыре дня без бензина и без пищи, солдаты бесились, и вот однажды набрел на нашу стоянку, как вы выражаетесь, предатель родины. Простите, не хочется вспоминать детали, за исключением одной — фамилия этого местного полицейского по странному совпадению была Опекун... мда-с... увы...

Вот вам и внешность! Оторопь взяла генерала, если уж строго между нами. Он пробормотал что-то невразумительное в том смысле, что фамилия распространенная, и отпустил проклятого профессора с его невыразительной внешностью. Опыт истории показывает, что с философиями всегда была морока.

— Ну а что *вообще-то* с этим Велосипедовым? — спросил Опекун у Гжатского. — Что *вообще-то*?

— Да ничего особенного, Григорий Михайлович, — с досадой пожал плечами капитан, — ну, отказ от сотрудничества... ну, письма дурацкие в главный адрес... Не ожидал, что поднимется такая волна, товарищ генерал. Комитет какой-то возник, письма в защиту, в Нью-Йорке евреи зашевелились... у меня лично нет сомнений, что всем заправляет Протуберанц.

— Это мужик серьезный, — кивнул генерал и потребовал из всей горы основных и сопутствующих справок, характеристик, докладных записок и доносов извлечь главный оперативный журнал.

Как же все-таки получилось, что А.П.Феляев, известный всей Москве по кличке «Булыжник — оружие пролетариата», принципиальный душитель всего, не относящегося к *делу* (предоставляем читателю возможность широко толковать это понятие), вдруг позвонил генералу Опекуну по

вопросу такого небольшого человека, причем позвонил даже с намеком на некую гуманитарную нотку, во всяком случае, без обычной своей свирепости к классовому врагу? Кто подвигнул его на это? Ведь не могла же самому идеологу прийти в башку такая идея?

Конечно же, конечно, кем-то была она подсказана, конечно же, не обошлось здесь без друзей несчастного Велосипедова, и первым среди них оказался, как ни странно, молодой балбес Ванюша Шишленко.

Узнав, что бывший товарищ, постоянный в общем-то козлик отпущения для интеллектуальных хохм, после удивительных радиоподвигов стал еще участником нападения на партийную старуху, Ванюша преисполнился вдохновения и отваги и для начала основал «Союз борьбы за освобождение Игоря Велосипедова из Лефортовской тюрьмы». С членством было не густо — он сам да два ассоциированных: Фенька Огарышева и Валюша Стюрин. Все остальные были в ужасе, в шоке, только лишь делали, что шептались: бедный, бедный, бедный Велосипедов.

Сначала Ванюша обдумывал план нападения на Лефортовскую тюрьму с помощью динамита, прорыв, освобождение Игоря и Спартак, побег на Памир. Продумав этот план, он его временно отложил и обратился ко второму варианту, к классному товарищу Вове Короткову, который только что женился на дочке тов. Тимошина, помощника члена Политбюро Тимофеева.

Нелька Тимошина, первоклассная была девка, с хорошо отстоявшимися антисоветскими взглядами, взялась тогда за своего папашу: выручай, дескать, Велосипедова, Феньки Огарышевой любовника, иначе захиппую до упора. А вот если поможешь, папаша, тогда сдам экзамен по марксизму и обойдусь без «ядовитых бессмысленных шуток провокационного характера». Тов. Тимошин, соблазненный такой перспективой, позвонил тогда Феляеву (в границах Фрунзенского района разыгралась драма) и попросил навести справки, потому-де, что общественность волнуется.

Феляев пообещал, но, конечно, опираясь на свой партийный опыт, стал это дело тянуть, запомнив, однако, на всякий случай формулировочку «общественность волнуется».

Невыполненное, однако, обещание висело на Феляеве, угнетало, а тут еще старая ведьма Аделаида внесла свою лепту, подложила, конечно же, крысу. Хочу, говорит, поделиться с вами разговорами товарищей во время ожидания приема. Тема одна, Альфред Потапович, — Велосипедов. Не сходит с уст.

— А с чьих, чьих уст-то? — поинтересовался Феляев. — Поконкретней-то нельзя ли, Аделаида Евлампиевна?

С различных творческих уст — Феляеву показалось даже, что в голосе лошади впервые появились какие-то женские нотки — ну, как же, как же, Альфред Потапович, с хороших наших уст не сходит вопрос! Вот и драматург Жестяноко, только что вернувшийся из США, и Натали Иммортельченко, третьего дня из Японии, целых пятнадцать минут, пока вы с Олегом обсуждали (быстрый многозначительный взгляд), пока вы обсуждали предстоящий семинар в Гурзуфе, только и говорили о Велосипедове. Газеты там о нем пишут. Может быть, соединить вас с товарищем — имя это в райкоме произносилось одним лишь легким шевелением губ — Опекуном?

Феляев (у него истекла сегодня трехдневная «завязка», и он был сух, наблюдателен и зловещ) внимательно посмотрел на свою секретаршу, отметил на будущее пока непонятное, но очевидное волнение старой сволочи и пожевал губой. Значит, волнуется общественность? Любопытно. Значит, общественность, по вашим словам, Аделаида Евлампиевна, отчасти взбудоражена? Хорошо, Аделаида Евлампиевна, я вам скажу, когда соединить меня с О-е-у-ом, идите.

В дальнейшем, однажды ночью, два очень похожих женских голоса разбудили Народного артиста СССР Сашу Калашникова.

— Саша, Саша! — зывали они. — Спасайте! Спасайте!

Занятно, подумал артист спросонья, женские крики в ночи, просьба о помощи двух женских персон, что же — сейчас это называется «спасайте»?

— Саша, — сказали женщины, борясь с рыданиями. — Это Ада и Гриппа.

Не было таких, в замешательстве подумал мастер прыжка, в последнее время как будто таких не было.

— Саша, разве вы не в курсе? — стенали между тем сестры Тихомировы.

Они решились на этот звонок только лишь после распития бутылки выдержанного портвейна «Мечта поэта», взятого Аделаидой в их буфете, сладчайшего партийного портвейна, на этикетке которого, между прочим, была изображена очаровательная с маленьким ротиком блондинка образца 1946 года, не кто иная, как мама Игоря Велосипедова, краснодарская Сильва, но сие сестрам было неведомо.

— Разве вы не в курсе, Саша, что Игореша попал в беду?

И, перебивая друг дружку, сестры стали рассказывать Калашникову о трагическом недоразумении (Аделаида) и о грубом нарушении гражданских прав посредством утюга, завернутого в газету «Честное Слово» (Агриппина).

Только тогда Саша Калашников сообразил, кто ему звонит среди ночи.

— Единственный, кто может его спасти, это вы с вашим огромным художественным авторитетом! Ключи к этому делу у двух людей, у Феляева Альфреда Потаповича (он не сможет вам отказать) и еще у одного человека...

— Имени которого нельзя называть, — прошептала в трубку Аделаида.

— Кагэбэшника, — уточнила Агриппина.

— Лады, — сказал артист, — попробую что-нибудь сделать. Феляеву, конечно, звонить не буду, много чести, а вот с другой стороны, дорогие мои дамы, попробую позондировать.

А между тем, лишний раз подтверждая, что «есть еще женщины в русских селеньях», и Ефросинья Огарышева, печаль велосипедовских очей, не сидела сложа ноги. Выгнав Валюшу Стюрина, отправив его временно к корням генеалогического дерева, девка нарисовала у себя на щеке желто-зеленый цветок и отправилась к своему «мастеру», Народному художнику СССР Гвоздеву, слюнвятому безобразнику из старой гвардии.

Этот мерзавец, наваливший за свою постыдную жизнь не менее двух сотен Сталиных и полтыщи Лениных, конечно, был чужд малейшему человеческому побуждению. В обмен на возможную помощь он, конечно, стал у Феньки выторговывать некоторую очередную гнусность.

— А какую же помощь, старая жопа? — спросила Фенька, стаскивая уже джинсы.

— На Олега выйду, деточка, — сотрясаясь от ожидаемого и опадая слюной на бухарский ковер, пообещал маэстро. — На знаменитого дизайнера, киска, прошлогоднего лауреата, ближайшего друга самого Альфреда Феляева.

— Бух-бух! — сказала тогда Феньха и натянула джинсы на прежнее место. — Как только раньше в голову не пришло?! Да я и сама на этого Олежку выйду. Пока, геморрой!

Вот так Ефросинья Огарышева загубила свое высшее образование, но зато на следующий день Альфред Феляев под давлением взволнованной общественности позвонил генералу Опекуну.

Особенно-то долго копаться в оперативном журнале генералу Опекуну не пришлось. В целом довольно быстро сложился перед ним контур преступника. К перу, понимаете ли, потянуло Велосипедова, воображение нехорошее разгулялось, такого рода истории, к сожалению, получили в последнее время большое распространение, обратные результаты всеобщей грамотности, стонет бумагою наша территория. Можно было бы на это и посмотреть сквозь пальцы, но вот отказ от сотрудничества — это и в

самом деле более серьезное преступление. С этим что-то надо все-таки делать. Народ разбаловался, идеологическая работа расхлябалась. Когда-то товарищ Зиновьев, не реабилитированный еще ленинец, в открытую говорил, что каждый советский человек должен стать чекистом, а сейчас вот мы чего-то стесняемся. Однако если все чекистами станут, то не пострадает ли от этого наша секретность, вот в чем вопрос.

Генерал задумался над этим теоретическим вопросом, а потом спросил Гжатского: кто у нас там «ведомый» в этой секции поршней Моторной лаборатории Министерства автопромышленности? Оказалось, что из восемнадцати сотрудников секции двенадцать «ведомые».

Хм, подумал генерал, а не перебарщиваем ли? Не великоват ли процент? На кой нам все-таки хер столько «ведомых» в поршневом-то деле? Ведь поршня же — она и есть поршня, ходит туда и обратно, ни убавить, ни прибавить.

А с другой стороны, похвальные все-таки результаты, из восемнадцати человек двенадцать наши, и только на тринадцатом досадная осечка.

В принципе, если все население будет у нас на крючке, то есть если каждый будет оперативным образом оформлен как обязанный сотрудничать, то в целом получится совсем неплохая картина. Населению это, безусловно, пойдет на пользу при том, конечно, условии, если оно не будет об этом друг другу говорить, то есть если у каждого в душе будет храниться такая хорошая тайна.

Вот важное теоретическое дополнение к призыву товарища Зиновьева. Полное членство и личная тайна. Опекун записал в календаре формулировку. Надо довести результат моего мышления (или мышления) до сведения теоретического руководства.

В этой связи такое вот безобразное велосипедовское увиливание недопустимо и должно быть наказано, но... но если проклятая общественность... как бы узнать, кто звонил Феляеву, ведь не сам же, в конце концов, стал таким гуманистом...

Вдруг вся эта система генеральских размышлений была остановлена звонком телефона, причем не через секретаршу, а прямо на столе, не самого важного, но второго по важности.

Присутствующий при всей этой нудной сцене капитан Гжатский не без удовольствия отметил, что Опекун, массивный, стабильный и будто вылепленный из хозяйственного мыла, слегка вздрогнул. Если уж не от вертушки вздрагивает, подумал наблюдательный капитан, а от *второго*, значит, где-то печет.

— Здорово, батько! — сказал в трубке хмельной страдающий голос. — Узнаешь?

— Как не узнать, — медленно, с многомысленной угрозой, подобной надвигающейся буре, проговорил Опекун.

Женя Гжатский не мог не восхититься.

«Так сказать! — подумал. — Вот это опыт! Многим стоили жизни эти интонации».

— Как не узнать, — с еще более чудовищной интонацией повторил генерал, как вдруг и в самом деле узнал голос, называвший его «батькой», хотя прежде никогда не звучало в этом голосе ничего похожего на похмельные муки, но только лишь вечное, взведенное, как курок, нахальство.

Гринька Шевтушенко, «сын полка» в лесах Украины! Бывало, отпускали его, шестнадцатилетнего ординарца, в одиночку в Винницу на ответственное задание. В мягкой шляпе, с полицейской ксивой в кармане, Гринька подшвартовывался на вокзальной площади к блядам-профессионалкам, приглашал погулять на даче с большим начальством, сажал дурочек в «Хорьх», увозил в темноту. Девчата, конечно, предвкушали штурмбаннфюреров, а их в лесу «народные мстители» ждали. Ни разу не прокололся Шевтушенко, всегда четко выполнял ответственное задание, за что и был удостоен высокой правительственной награды.

Вот как раз тройку лет назад, а именно в среду в 11.30, генерал Опекун проводил семинар с отъезжающими в братскую Сомали боевыми ракетчиками и на том семина-

ре опознал своего верного Гриньку в чине подполковника, там и обменялись телефонами — давай как-нибудь посидим, вспомним прошлое.

В самом деле, потеплело на душе...

*Вспомню я пехоту
И вторую роту,
И тебя за то, что дал мне закурить...*

— Как живешь, подполковник? — Опекун не без удовольствия вспомнил длинную мосластую фигуру в мягкой шляпе с фрицевской сигаретой в углу рта.

*Давай закурим, товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ мой...*

— Полковник, товарищ генерал, — поправил полковник.

— Так как же жизнь молодая, полковник? — повторил свой вопрос Опекун.

— Похвастаться не могу, Григорий Михайлович. Сын у меня растет — настоящий враг.

— Антисоветчик?

— И не без этого. Однако я к тебе сейчас по другому поводу звоню. Друг у меня в беде, некто Велосипедов Игорь Иванович, 1943 года рождения.

— Велосипедов! — вскричал генерал Опекун, и даже не будет преувеличением сказать, что не вскричал, а взревел: чего-чего, но этого не ожидал от Гриньки Шевтушенко.

— Так точно, а с ним Гизатуллин Спартак Файзулович, одноклассник. Вот мы сейчас тут трое стоим и все переживаем за эту пару молодых специалистов, просим снисхождения приговора, освободи, батенька, товарищей.

— Где это вы стоите? — спросил генерал Опекун.

— Возле гастронома у Сокола, Григорий Михайлович, стоим, — голос Шевтушенко при этих словах как будто слегка повеселел.

— Кто это вы стоите? — спросил генерал.

— Лично стою я, полковник Шевтушенко, рядом со мной стоит майор милиции товарищ Орландо, также присутствует выдающийся советский кинорежиссер Саня Пешко-Пешковский. Все трое просим снисхождения к несправедливо осужденным. Поможешь, батько?

— Да конечно же помогу, — сказал генерал Опекун.

Что с людьми делается в этом городе, подумал он. Просто суший бедлам. Куда наша медицина смотрит?

— Не волнуйся, Гринька, разберемся, лично вникну. А ты бы зашел, Гринька, между делом, заходи без церемоний. Заходите, ребята, все трое заходите, поговорим, подымим, обо всем как следует поговорим, цэ дило трэба разжуваты, не забыл еще украинскую мову, и о сыне твоём поговорим в рамках задач современности, в общем милости просим, жду всех троих, пропуска будут заказаны.

Повесив трубку, генерал Опекун записал указанные три фамилии и перекинул листок Гжатскому — на компьютер!

— Я могу идти? — спросил капитан.

Опекун на него внимательно посмотрел. Он ему не нравился: новая формация, жилистые, пружинистые, хищная рыба-пиранья, да и только, дай таким руку, в мгновение ока отгрызут по локоть. Поборов неприязнь, спросил отеческим тоном:

— Ну а ты-то сам, Женя, что думаешь об этом своем подопечном Велосипедове? Видишь, звонки-то какие — из Фрунзенского райкома, из Министерства обороны... обстановка усложняется... Лично у тебя есть какие-нибудь идеи?

Уж не хочет ли старая лошадь на меня отлягнуть всю эту бредовину, подумал капитан Гжатский. Ведь не может же быть, чтобы он позабыл про историческую резолюцию, про «разобраться». А вдруг и в самом деле позабыл? Любопытное тогда произойдет развитие...

Он открыл было рот, чтобы высказать свое огромное уважение колоссальному опыту Григория Михайловича, но тут же закрыл его в связи с неожиданным в кабинет вторжением.

Вошла, а может быть, и в самом деле вторглась большая очаровательная женщина, личная супруга генерала Опекуна, белокожая чернобровая армяночка Ханук, вошла, шурша перехваченным в талии шелковым платьем, с шубой-чернобуркой на сгине руки, словом, дыша духами и туманами заграникомандировки.

При виде вошедшей Женя Гжатский вздрогнул и подумал вдруг о ней в старинном стиле: «А почему я до сих пор не ласкал груди ЕЯ?»

— Здравствуй, мое солнышко! — сказала Ханук и поцеловала воссиявшего генерала Опекуна в его большую щеку. — Вуле ву экскьюзэ муа пур неожиданное вторжение? Ах, ты не представляешь, как я устала, Париж такой утомительный...

Если отвлечься от обильных женских прелестей, в ее лице с его маленькими усиками было что-то от императора Петра Великого, но так как отвлечься от прелестей было просто невозможно, то в целом образ удивительной путешественницы дышал обещанием сладких плодов, не уступая в этом и самим предгорьям Араката.

— ...и вот вообрази, солнышко, сразу после самолета такая неожиданная встреча! Случайно сталкиваюсь лицом к лицу с этим талантливейшим артистом Большого театра, ты его, наверное, не помнишь, а мне он тогда как-то запал в душу... эти прыжки в «Лебедином»!.. и потом, ты помнишь, нет, ты, конечно, не помнишь, мы встретили его на суарэ у композитора Салтычкина после премьеры его оратории «Сталинград», ну, в общем, ты не помнишь...

— Помню, детка, — понимающе улыбнулся генерал Опекун.

Как это я не знал? Любопытно, давно ли Калашников ее тянет, подумал Гжатский, сидящий в дальнем углу кабинета и до сих пор не замеченный мадам Ханук.

— Короче, Саша Калашников! — решительно продолжала дама. — Ну, знаешь, как у нас принято в художественных кругах, некоторая экзальтация, немедленно распротертые объятия, какая встреча, откуда, куда, всякие там

поцелуи — не волнуйся, солнышко, в щеку, в щеку! — и вскоре Саша уже рассказывает, как он жил, чем дышал без меня, ну, словом, с того вечера у Салтычкина, и оказывается, он глубоко угнетен, ужасно огорчен, он несчастен и жалок до слез. Вообрази, произошло невообразимое — арестован и несправедливо осужден его близкий друг Игорь Велосипедов, известная в артистических кругах мыслящая личность, хотя и абсолютно советский, по словам Саши, а ему в этом можно верить, человек. Нет, невероятно! Это в наше-то врэмя? — последнее слово почему-то получилось с сильным нахичеванским акцентом и басом.

— Хлянь, дэтка, — и генералу Опекуну вдруг икнулось родное днепропетровское произношение, что, возможно, было своеобразным проявлением супружеского «интим», — вот, хлянь, — он показал пальцем на запаркованные рядом со столом три картинга, заполненные велосипедовскими бумагами, — вот это, пыточка, твой подзащитный Велосипедов, а личность его у меня на столе, и анфас, и профиль, вот, хлянь.

Следует заметить, что мадам Ханук помимо деятельности в Движении в защиту мира по совместительству имела еще стол в соседнем кабинете, ее нельзя было назвать чужой в этом учреждении и, следовательно, она имела полное право просматривать бумаги на столе у генерала.

И все-таки Женя Гжатский зафиксировал, на всякий случай, в памяти факт семейственности в доступе к секретной информации, может, еще пригодится для будущих аргументов.

Ханук, присев на подлокотник генеральского кресла, взглянула на фото Велосипеда и едва с этого подлокотника не слетела — кто этот юноша с таким иссыхающим от жажды лицом, с такими гипнотизирующими глазами? Она прижала руки к груди, забилося сердце, произошло головокружение. Почему мы никогда не встречались? Как мы могли не встретиться? От фотоснимка, особенно от профильного, шла на нее такая волна чего-то, такой интенсивный ток поднимался — она даже мысленно назвала это странным сло-

восочетанием «дивный огонь», — что сокрытые в ней вулканы стремительно приблизились к извержению.

— Нет, это невозможно... — прошептала она. — Гриша, ты должен что-то сделать! Справедливость должна... общественность, Гриша, волнуется... посмотри, вокруг только и разговоров что о Велосипедове... при мне у Саши три раза телефон... ну, посмотри на его лицо... разве мог... такой... атаковать старуху?!

Генерал Опекун закричал: образ советской общественности теперь для него конкретно воплотился в образе волнующейся «дэтки».

— Давайте вместе все подумаем, что можно сделать. Суд ведь был, Хануша, наш советский суд. Закон обратной силы-то не имеет. Вон Рокотова и Файбишенко-то когда пересудили по приказу Никиты да шлепнули, какой в мире подняли хай! А если мы сейчас освободим Велосипедова и Гизатуллина, опять же ж скандал начнется. Где ж, заорут по «голосам», ваша законность? Цэ дило, Хануша, непростое и его трэба разжуваты. Давайте сообща. Женя, подгребай!

Тут только Ханук заметила присутствующего офицера и снова немножко заволновалась. Этот незаметный прежде сотрудник удивил ее сходством с ошеломляющим Велосипедовым. Конечно, о полном подобии говорить не приходится, однако...

Гжатский подгреб в задумчивости. Он уже ясно видел, что генерал полностью забыл об историческом «разобраться», что «общественность» его одолевает и что в настоящий, вот именно в этот удивительный момент судьба Велосипедова может круто повернуть в оптимистическом направлении. И в этот вот именно партикулярный момент все зависит от него, все теперь в руках у капитана Гжатского.

— Под прокурорский надзор взять? — размышлял вслух Опекун. — Эхма, еще залупится Руденко, он у нас такой, эхма, законник. Может, сактировать пацана? А что, неплохая идея, а. Хануша, а, капитан? Чтoб общественность-то успокоить, сактируем ребят как туберкулезников,

а потом от греха подальше отправим в Израиль, а? Какие будут мнения, товарищи?

Ханук восхищенно всплеснула руками:

— Умница, солнышко! Если хочешь, я сама проведу беседу с этим заблудившимся человеком!

Она нервно курила длинную сигарету под названием «Больше», откидывала свою пышную, как кавказское лето, гриву, дышала и все больше заполняла собой все помещение.

Чтобы такую фемину отдать Велосипедову, препротивнейшему Гошке? — подумал Гжатский и решил критический этот момент не в пользу обсуждаемой персоны.

— Я хотел бы, Григорий Михайлович, и вы, дорогая Ханук Вартановна, несколько уточнить данную ситуацию. Позвольте напомнить, что дело Велосипедова Игоря Ивановича проходит в свете определенного исторического документа, — он поднял палец к потолку, а затем сделал обеими руками всеобъемлющий жест.

Затем он подмаршировал к средней из трех колясочек и безошибочным движением извлек ксерокопию Гошкиного дурацкого письма вождю с резолюцией в левом верхнем углу — «Разобраться. Л.Б.».

Взглянув на этот листок, генерал Опекун собрал весь свой опыт, чтобы не перемениться в лице, затем закрыл все, что у него было на столе, встал и сказал:

— Пошли обедать в мой буфет, если, конечно, — тут он очень тяжеломерно посмотрел на Гжатского, — если, конечно, аппетит в порядке.

— Спасибо, солнышко, — прошептала Ханук.

— Благодарю за приглашение, товарищ генерал, — энергично подтянулся Гжатский.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

...и вот я подлетаю к Нью-Йорку. Не хочется вспоминать о тюрьме и о лагере, ничего там, братцы, хорошего нету, места, прямо скажем, не достойные проживания. Катаст-

рофически разрушился в местах заключения мой жизненный опыт, но зато я там основательно подучил английский язык, и вот сейчас подлетаю к Америке с катастрофически разрушенным жизненным опытом, но зато с неплохим английским, что лучше в данном случае, не знаю, но доверяюсь судьбе.

Иногда она (судьба) кажется мне полнейшей бессмыслицей, а иной раз мне даже мерещится некоторая продуманность. Ну, посудите сами, почему в лагере соседом по нарам оказался у меня американский шпион Андрей Шульц, который и обучил меня английскому? Ведь я же не знал, что вместе со справкой об освобождении мне будет вручена так называемая израильская виза (о, где ты, наш велосипедовский прохладный Валдай), не знал же я и никогда не предполагал, что буду когда-нибудь подлетать к Нью-Йорку, а она (судьба), как видно, знала.

Простите, тут вставочка про Шульца. Есть приятные новости — его обменяли на одну треть советского шпиона, то есть в том смысле, что советского товарища на трех американцев махнули, такой, говорят, сейчас курс.

Сейчас Шульц уже ритайерд в Бостоне и включился в кампанию за справедливый басинг, не мне вам объяснять, что это такое.

В аэропорту имени Джона Фицджеральда Кеннеди меня встречали Фенька Огарышева, ее муж Валюша Стюрин и их друг Ванюша Шишленко, фактически американский комитет «Фри Велосипедов Инк.» в полном составе.

Что сказать? Она не изменилась, во всяком случае, издали. Впрочем, все на ней стало подороже, и это было видно даже издали — высокие сапоги из мягкой кожи, меховая тужурочка до пупа.

Пока я приближался по тоннелю TWA, она, по своему обыкновению, подпрыгивала, выкидывая то одну ногу, то другую. Клоунская раскраска лица — один глаз обведен зеленым, другой — желтым.

Жарко продышала мне в ухо: у тебя все в порядке? И я, конечно, сразу же понял, что она имеет в виду, и — вот уж не ожидал — немедленно был охвачен хаотическим и бурным кручением «дивного огня». А ведь мне казалось, что после лагеря он уже больше никогда ко мне не вернется, разве что жалким каким-нибудь ручейком, недостойным прежнего наименования.

Весь вечер, невзирая на присутствие мужа Валюши и друга Ванюши, бесконечные переодевания с оголением то одной части тела, то другой, бесконечные порхания, взлетания, бух-бух, дерзкий хохот.

*Сифуда не отведав,
Вы будете надут!
Месье Велосипедов,
Отведайте сифуд!*

И вдруг — истерика! Влепляется в стенку, в ориентальный ковер, и как бы расплющивается, вроде бабочки, и сползает.

Москва моя! Душа моя! Помните, как барабаны бьют — ты самая любимая! Стюарт, неужели ты не понимаешь?! Я не могу больше! Не могу! Тридцать лет! Ой, мамочки, ой, мамочки, смерть дышит на меня, я не могу, не могу, не могу!

Ну хорошо, хорошо, вскакивает Валюша, пусть будет так, как ты хочешь! Мы вот видишь, вот, берем сигары, берем кофе, мы с Ванюшей посидим в лайбрери, а вы тут пока поболтайте с Велосипедовым, хочешь, мы вообще слиняем, подождем в баре... Ну, успокойся же, Фенька...

Он стоит, такой длинный, и руки опущенные дрожат, как у баскетболиста, промазавшего самый последний и самый решающий бросок. Я замечаю у него на темени круглую черную шапочку, вроде бы аккуратную заплатку.

Его величество за шесть лет жизни в Америке стал правоверным иудеем. Что ж, одно другому не мешает, — вероятно, можно быть отпрыском шотландского королев-

ского рода, и одновременно псковским скобарем, и одновременно прорасти палестинскими корнями, история таким странностям очень способствует.

— А я решительно возражаю! — орет Ванюша Шишленко, глядя на цепляющуюся за ковер и хнычущую Феньку. — Пора кончать с этим свинством! Никаких творческих клаймаксов тут нет! Просто распушенность и наглость! Велосипедов, не поддавайся на провокацию! Не ради этого ты десять лет в концлагере горбатил!

В ярости, чуть не плача, он стучит кулаком по столу, швыряет в угол недопитую бутылку шампанского «Мумм», она не разбивается, потому что в углу все мягкое — кожа, бархат, ворс.

— А ты, Ванюша, селфиш! — Фенька направляет на него изобличающий палец. — Эгоист, эгоист, эгоист!

— Я эгоист? Я? Я?

У Ванюши перехватывает дыхание, и он дает себя увести. В глубине квартиры, в библиотеке, включается телевизор.

И вот мы вдвоем.

Я уже забыл, как это делается. Кажется, сначала идут какие-то прикосновения, прижимания, надавливания туда и сюда, слияние ртов, выжидание с замиранием, стягивание, подгибание, разведение, внедрение, обмирание с рычанием и, наконец, — какая ностальгия! — все те же поршневые эксперименты, все те же входящие и исходящие вопросы, смешение четырех начал, народное восстание на западных окраинах имперской столицы, штурм и захват городского аэровокзала.

...о милый, я знала, что ты вернешься, бедный мой, ты совсем облысел... ты спас меня, и я опять молода, завтра начну новую картину... там будет новый пестик, новые тычинки... ты знаешь, я признана гениальной... сам Фродский Джек Ильич писал об этом... не думай, что забыла, я вспоминала о тебе как о человеке московского восстания... бледнеющий образ бумажного солдата... переводная бумажка наоборот... чем больше

трешь, тем бледнее черты... ты дошел почти до полного исчезновения, и только... лишь память о конвульсиях во влагалище... остался только лишь контур... космический блу-принт... и новая материализация нас обоих... какое чудо явится с тем же неутомимым другом... кто играет с нами эти игры... вот лабиринт... испарения... желтое и зеленое...

— Ну, как вообще-то жизнь в Америке? — поинтересовался я, пытаюсь привести себя в порядок в том смысле, что найти штаны, отброшенные куда-то в недалеком прошлом, как оказалось, висели на люстре.

Но она уже спала на мягком американском полу, раскинувшись, лежала в существенном беспорядке, то есть в одних только чулках, и на лице ее мерцало кое-что новенькое, а именно горькая улыбка, и вот теперь я видел, что три десятилетия жизни и в самом деле уже отпечатались на этом лице плюс еще пара морщинок сверх нормы в углах глаз, словом, Фенька стала настоящей красавицей.

Я надел брюки и пошел в глубины квартиры и присоединился там к тем двум, что смотрели телевизор. Первое, что я увидел на американской земле, было «Секрет оф бьюти, секрет оф Ойл оф Олэ»*. Понравилось.

Ну, вот вам Манхэттен. Как это так получилось, что на небольшом острове скопилось товарного брутто и нетто больше, чем на всем пространстве России и Китая?

Я купил себе ковбойские сапоги на высоком каблуке, кожаную куртку, кожаную кепку и джинсы, о, джинсы. Посмотрел на свое отражение в стекле витрины на Пятой авеню и не удержался от вздоха. Вот компенсация за все, а также и за несбывшиеся мои садово-огородные мечтания, можно умирать, компенсация получена.

Валюша Стюринг, который проводил со мной эти покупки, аккуратно собрал все магазинные квитанции, передал мне и сказал:

* Секрет красоты, секрет «Масла Олэ» (англ.).

— Все реситки собирай, пригодятся, когда будешь делать инкамтексеритерн, — такую он произнес загадочную фразу.

Вот кому я особенно благодарен за первые шаги на американской земле — Валентину Исаевичу Стюарту. Хотя и моложе меня на восемь лет, а относился, как отец.

— Вообще, Велосипедов... — сказал он.

— А можно просто Игорь? — мягко спросил я.

— Можно, Игорь Иванович. Вот если ты воображаешь, Гоша, что вырвался из бумажного царства, спешу тебя разочаровать, ты попал в другое, бля буду. Каждое утро я выбрасываю целую корзину бумажного хлама, того, что здесь называют «джанк-мэйл».

За эти годы московский этот бездельник стал сказочно богат, а началось все, разумеется, с пары икон из их родовой приусадебной часовни, с нескольких фамильных портретов. Для начала капитала Валюше Стюарту пришлось даже пожертвовать портретом того самого капитана Амбруаза де Спорена, который основал псковскую ветвь династии. Вот вам еще одна ирония судьбы: портрет капитана рисовался за пару талеров в литовской корчме голодным бродягой, а здесь, в Нью-Йорке, эксперты опознали кисть Гуго ван Плюса, талантливейшего ученика из школы Рембрандта, вот кем оказался бродяга.

Вот с этого все и началось, а превратилось сейчас в миллионный бизнес по продаже русских вилок, тарелок, хрусталя, серебра, фабержейских художественных яиц.

Я сначала по наивности не понял, как сказочно богат наш Валюша. Из аэропорта они меня везли на довольно старой автомашине с потертыми сиденьями, а оказалось — то, что едем на «Серебряной тени» образца 1936 года, а такую машину не всякий сенатор может себе позволить, а только такой, кто женат на кинозвезде или имеет семейные сбережения, как здесь говорят, «старые деньги».

Помнится, ехали мы, шутили, такое было чудесное опьянение перед въездом в Нью-Йорк, пели что-то из прежней жизни, комсомольское...

*Едем мы, друзья,
В дальние края!
Станем эмигрантами и ты, и я!*

Вот уж не думал, что с настоящим американским миллионером еду. С капиталистом!

*Мама, не скучай,
Слез не проливай,
В Кливленд поскорее с дядей Мишей приезжай!*

Идея отъезда, оказывается, была заброшена еще с детства радиостанцией «Юность на вахте», слова Эдмунда Иодковского.

Между тем Ванюша Шишленко был почти независим от супружеской пары Стюартов, хотя и жил с ними как бы одной семьей. Он оказался теперь русским писателем и издателем ежемесячника «Все по-старому». Редакция временно помещалась в Ванюшиной однобедренной квартире на 11-й Вест, за которую платил Валюша, что было ему, как ни странно, отчасти выгодно, неизвестно почему. У журнала был, как пылко заверял Ванюша, очень хороший редакционный портфель. Он всегда носил его с собой.

Очень была ему к лицу большая, в вермонтском стиле, борода, хотя источников своего вдохновения Ванюша в общем-то не открывал, и правильно делал.

Не убавилось у него за эти десять лет и чувства юмора, напротив, есть даже некоторый подскок. Вот протянет иной раз носовой платок и скажет «вытри, с тебя полпот течет», а то о какой-нибудь девушке выскажется совсем уже непонятно — «великолепный киссинджер».

Журнал «Все по-старому» специализируется на столкновении парадоксальных мнений. Ну, например, в одном номере утверждается, что коммунизм был завезен в Россию евреями из-за границы, а в другом доказывается, что

русичи, вятчи, куряне и прочие сами стали строить коммунизм еще с незапамятных времен Малюты Скуратова.

Ванюша сам был автором всех статей, повестей, стихов и крестословиц, хотя и подписывал все это хозяйство разными именами, чтобы создать впечатление шумного журнального коллектива, и это, надо сказать, ему неплохо удавалось.

К моему приезду был заготовлен специальный выпуск журнала под шапкой «Игорь Велосипедов снова с нами!». Был помещен мой снимок времен увлечения джазовой скрипкой, довольно приятный был молодой человек. Здесь же с удивлением обнаруживаю интервью с моей собственной персоной, взятое корреспонденткой «ВПС» Шейлой фон Комарофф, судя по тексту, великолепной дамой. Там я делюсь также опытом борьбы за хьюман райтс, а также творческими планами, оказывается, собираюсь продолжить работу над капитальным историко-философским трудом «Перечитывая Пельше».

В общем, Ванюша предложил мне пост заместителя главного редактора своего журнала, и это предложение было, конечно, мной с благодарностью принято.

Тем временем Ванюша предложил мне стать их личным шофером. Я, правда, на автоматиках ездить еще не умел, но он сказал: ничего, научим. Миссис Стюарт не возражала, а, напротив, заметила, что мне, вероятно, будут к лицу (?) штаны с лампасами, хотя она настаивает, чтобы один лампас был желтым, а другой зеленым. Это предложение было, конечно, мной с благодарностью принято.

Однажды открываю другое издание, ежедневную нью-йоркскую газету «Прежние русские идеи», и вижу на первой странице объявление:

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ БОДИ ШАП*. ПРИНИМАЮТСЯ КАРЫ ВСЕХ МЭЙКИНГОВ. ЕСЛИ ТЫ**

* Магазины автокосметики (англ.).

** Машины всех марок (англ.).

ЭКОНОМИЗИРУЕШЬ, НЕ НАДО КОМПРОМИССОВАТЬ*. ВСЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ ПОЧИТАЮТСЯ. ГОВОРИМ ПО-РУССКИ. ТЕЛЕФОН ТАКОЙ-ТО. СПРОСИТЬ СПАРТАЧКА.

Вот так встреча! Передо мной расстилалась большая русская земля Брайтон-Бич имени города-героя Одессы. Передо мной стоял старый друг Спартачок Гизатуллин, первым преподавший мне урок гражданской чистоплотности.

Мы были в разных лагерях, и я не знал его судьбы. Оказалось, что он просидел всего четыре года, а потом убежал из концлагеря в Мордовии (это было весною, зеленеющим маем, как в песне поется) и под видом немого татарина пересек европейскую часть России в северо-западном направлении.

Перейти советскую границу нетрудно, рассказывает он. «Организация» во всем халтурит. Главное, надо запастись станиолевой бумагой, ну, такой, в какую до Брежнева шоколад заворачивали. Идешь через границу, отрываешь полосочки этой бумаги и бросаешь вокруг себя. Локаторы в радиусе десяти километров начисто вырубаются. Пока они их чинят, ты уже там. А вот в Финляндии, ребята, исключительно опасно — у фиников с советчиками договор о выдаче беглецов, и они его старательно выполняют, постоянно боясь оккупации.

Все-таки «хитрому татарину» (так Спартак сам себя иногда называет) удалось пересечь и Финляндию, на этот раз под видом глухонемого шведа.

Уже в Швеции, отдыхая на прибрежной скале, Спартак заметил в воде какую-то тень и позвал людей. Оказалось, советская подводная лодка класса «Коньяк». Произошел, конечно, большой конфуз для движения сторонников мира, а наш татарин получил премию реакционно-го шведского Общества Осуждения Подводной Активности в Чужих Территориальных Водах. Премия была не-

* Рисковать (*англ.*).

большая, в том смысле, что могла бы быть и больше, но на билет до Нью-Йорка хватило. И вот теперь мистер Гизатуллин проживает на Брайтон-Бич, производя рихтовочные работы с тем же успехом, что и в Москве, с той только разницей, что ни от кого не прячется.

— Я был уверен, что мы с тобой еще встретимся, Гоша, — проникновенно сказал Спартачок, вынимая из холодильника бутылку «Столичной», пару бутылок боржоми, кабачковую икру и охотничьи сосиски. — Ты не женился еще? А вот я в этом деле преуспел.

Оказалось, имеет место весьма интересное пересечение судеб. Не на ком иной женился Спартачок, как на дочери нашего бывшего клиента ракетчика Шевтушенко. Женился он, конечно, уже вне пределов лагеря мира и социализма, то есть после побега. Ксюша-то, урожденная Шевтушенко, была предварительно женой другого нашего знакомого, то есть Бориса Морозко, с которым и эмигрировала из ЛМС в конце 1976 года. Увы, человеческая природа с ее недоразумениями продолжается везде, и Ксюша с Борей вскоре сепарейтид, а тут как раз на горизонте и появился наш «хитрый татарин». Итак, живут вместе уже шесть лет и родили двух американчиков — браво, товарищи!

Хочу еще заметить для полного уже восторга, что старый Шевтушенко, выйдя в отставку еще десять лет назад после неудачной попытки моей реабилитации или сактирования по туберкулезу, тоже в конечном счете эмигрировал к внучатам, хотя ему понадобилось для этого забыть все новейшие военные секреты, что, впрочем, было нетрудно, ибо в целях укрепления международной безопасности советское правительство уже дважды обновило арсенал ракет «земля — земля», а старое шевтушенковское поколение мечты мечтателя Циолковского ржавеет никому не нужное на Африканском Роге Сомали, который (-ое,-ая) и сам отпал (-о,-а), конечно, временно, от прогрессивного человечества, вот какое место имело весьма интересное пересечение судеб.

Отставника Шевтушенко вы можете теперь видеть каждое утро на променаде Брайтон-Бич возле гастронома «Москва». Получая вэлфэр от штата Нью-Йорк и пенсию от ФРГ как лицо, пострадавшее от нацизма, он сидит в слинг-чэа, попивает пиво, читает газеты «Честное Слово», «Комсомольское Честное Слово», «Прежние русские идеи», журнал «Часовой», делает в этих органах пометки красным карандашом и окидывает морской горизонт профессиональным взглядом. В свои пятьдесят пять он, конечно, не чувствует себя стариком и подумывает о том, не записаться ли добровольцем в американскую армию. Полное отсутствие внимания со стороны Пентагона его несколько обескураживает. Неужели мой опыт никому не нужен, — задает он вопрос окружающим его евреям. Те пожимают плечами. Поезжайте в Израиль. У многих такие же проблемы. Совершенно никому, например, в Америке не нужны лекторы Всесоюзного общества «Знание», а ведь эрудированный народ. А что вы думаете, говорит Шевтушенко, вот и уеду куда-нибудь в Израиль или ЮАР, буду наемником, высоко оплачиваемым экспертом. Но никуда, конечно, не уезжает.

Ну, а с нашей-то профессией здесь пропасть в общем-то трудно, говорит Спартак. Вначале я, конечно, имел чувство, что вряд ли сделаю концы встречающимися, но потом быстро обнаружил, что могу заработать себе отличный ливинг. Если не возражаешь, друг, давай вместе доллары делать. Теперь идея, друг. Давай купим в складчину джанк-ярд, годится? Мы, с нашим советским опытом, из отбросов таких наделаем фэпси-каров* — туго!

Однако сначала, поучает меня далее Спартак, нужно тебе выправить вэлфэр**, как моему тестю, не пропадать же деньгам. Я тебе буду платить «кашей», то есть налич-

* Шикарные машины (англ.).

** Пособие (англ.).

ными, и от государства будешь каждый месяц иметь чек — неплохо?

Позволь, Спартачок, возражаю я, ведь вэлфэр, кажется, те получают, которые уже совсем того, ничего?

— А кто узнает? — возражает Спартак. — Кто и как узнает, Гоша-друг?

— Да ведь это же вроде как обгребка получается? — удивляюсь я.

Спартак вскипел:

— Когда тебя в лагерь зачихали ни за что, отняли лучшие десять лет жизни, это не была обгребка? А когда несчастные двести «баксов» ты с них берешь, это, значит, обгребка?!

— Спартак, душа моя! — вскричал я в крайнем изумлении. — Да ведь государства-то разные!

Спартак как-то осекся, будто и в самом деле первый раз до него дошло, что государства-то разные, потом внимательно на меня посмотрел, помрачнел, поскукнел как-то и буркнул что-то вроде:

— Хозяин — барин.

Ну конечно, вэлфэра я не взял, а, напротив, работая одд-жоб-сами* в трех разных местах, так показал в банке свой инком**, что выписал себе кредитную карточку «Виза». Вот он, символ доверия, — пластиковая пластиночка в плоскости своей не шире спичечного коробка, а в толщине своей не толще и полспички, я в восторге! Как будто сбылись мои молодые бредни о мире, в котором отомрет бумага.

Увы, мой босс Стюарт вскоре меня просветил: после каждого употребления «Визы» забирай одну из трех бумажек с ее отпечатком. Ты, Велосипедов, в американском мире еще салага и не знаешь, что у тебя будет такс-дидактибл и что такс-недидактибл. Собирай все бумажки, бля буду, и складывай все в отдельный бокс, потом разберешься.

* Случайная работа (*англ.*).

** Доход (*англ.*).

Я снял себе квартиру поближе к русским местам, в Куинсе. Квартира однобедренная, что на наш масштаб вроде как двухкомнатная. Она пожирает половину моего дохода, но на вторую половину можно жить, нередко посиживая на своем порче с пивком и хорошей сигарой, позволяя себе такие слабости.

Однажды появляются — привет, товарищи, давно не виделись! — двое аккуратных, ну, явно из органов, или из наших, или из местных: галстучки, атташе-кейсы, проборчики через головы, два таких Женьки Гжатских.

Обращаются ко мне:

— Brother, are you aware that the ship is sinking?*

Оказалось, что это «Свидетели Иеговы» Марк и Франк. Я их пригласил в дом, выставил бутл «Перцовой», закуску, просидели допоздна, философствуя об откровениях Иеговы и нашем, увы, и вправду тонущем корабле.

— Thank you very much, Igor, for the vodka, beer, bread, sausage, cheese and cucumbers, — сказали они на прощание. Это, между прочим, у многих американцев такая манера, перечисляют на прощание все, чем их угощали, — You are an interesting man. People used to know nothing about sinking ships and kicked us out right away**.

В другой раз пришел юнец в широкополой шляпе, с шарфом через плечо, ни дать ни взять свободный художник, а как раз и оказался агентом Эф-Би-Ай.

— Would you mind, Mr. Velocity, signing a particular paper, confirming the absence of any connection with the Soviet intelligence service or indicating your connection, — он извлек из-за пазухи длиннейшую бумагу с мелким шрифтом, вздохнул по поводу засилья бюрократии, отыскал в этой бумаге укромное местечко и показал, — right here cross «yes» or «no» and sign here. Thank you so much,

* Тебе известно, брат, что корабль идет ко дну? (англ.).

** Большущее спасибо, Игорь, за водку, пиво, хлеб, колбасу, сыр и огурцы... Интересный ты человек. Обычно людям ничего не известно о тонущих кораблях, и они нас сразу под зад коленом (англ.).

Mr. Velocity, I really appreciate your cooperation very much. You are welcome in America!*

Затем уехал на чем приехал, то есть, как ни странно, на велосипеде.

И вот с каждым днем я становлюсь все американистей: уже имеется у меня соушел секьюрити намбер (прошу не волноваться, никакого отношения к госбезопасности), уже я член клуба Трипл Эй, уже застраховался по групповому плану в Блу Кросс энд Блу Шилд, книжки получаю из Бук-оф-Симонс, счет открыл в Кэмикл Бэнк, там же и Индивидуал Ритайермент Аккаунт**, надо думать о старости, — и все это хозяйство американской жизни обрушивается на меня каждую неделю столько бумаги, сколько в Советском Союзе и за месяц не наберется.

Философ-социолог Яша Протуберанц объясняет мне все это дело, пока мы с ним отдыхаем в итальянском баре на 34-й улице:

— Русская бюрократия, мой дорогой Велосипедов, стара, тяжела, мучима скрытым комплексом вины. В своем советском качестве она дошла уже почти до полного издыхания. Американская бюрократия молода, вооружена компьютерами, в полном самовосторге продуцирует свои бумажные горы. К счастью, здесь пока что (подчеркиваю — пока что) не поощряют идеологический донос, однако русско-советский донос все же пишется не машинной, а рукой, он все же соединен пусть с ужасной, но человеческой личностью. Вообразите себе электронного доносчика, дорогой Велосипедов. Если здесь когда-нибудь по-

* Если не возражаете, г-н Велоси, подпишите, пожалуйста, бумагу об отсутствии связей с советской разведкой или о присутствии таковых... Вот здесь, пожалуйста, галочку — «да» или «нет». Благодарю вас, г-н Велоси. Высоко ценю ваше сотрудничество. Добро пожаловать в Америку! (англ.).

** Пенсионный счет (англ.).

бедит социализм, всем нам, всему гуманитарному человечеству, тогда — шиздец!

— Надеюсь, вы преувеличиваете, Яша, — сказал я.

— Надеюсь, не преуменьшаю, — симпатично улыбнулся старый московский «властитель дум».

Он работает таксистом на здоровенном желтом «Чекере» и неплохо зарабатывает, во всяком случае, достаточно, чтобы выпускать каждый год здоровенные книги, гвоздить в них марксизм, наводить панику среди профессоров «Плющевой Лиги».

— Профессора эти, ассхолы паршивые, сраки! — разоряется Яков Израилевич. — Шита куски, хода мне не дают!

Вот это получается несколько прискорбно, профессор начал основательно сквернословить. Конечно, можно понять, такая работа, и все-таки я вздрагиваю всякий раз, когда философ Протуберанц в манхэттенской пробке высказывается в таком, например, духе:

— Расшиздя американские, ездить не умеют!

Он развелся с поэтессой Мириам и наслаждается сейчас двумя любовницами. Одна из них вьетнамка Кэт Бао Дай, по слухам, незаконная дочь Хо Ши Мина, появившаяся на свет Божий в те времена, когда героический дед имел обыкновение пробираться под видом торговца сандалиями в город, ныне носящий его гордое имя. Родилась Кэт между тем в семье маршала Бао Дая (вот и второе гордое имя), выросла и дралась с коммунистами до последнего патрона на удивление всему ликующему вьетнамскому народу. Сейчас она живет на 42-й улице Вест, в то время как вторая любовь Яши Протуберанца проживает в восточной части этой улицы, что, с одной стороны, удобно, а с другой — усугубляет проблему выбора, не нужно забывать, что расположено между двумя любовями.

Вторую, черную интеллектуалку, зовут Лиз Луис. С Кэт мне легко, говорит Протуберанц, а с Лиз мне тревожно и радостно. В общем, он счастлив.

А что же Мириам? И она не осталась у разбитого корыта — жены философов, как говорят в Москве, не пропадают. Немедленно после развода она вышла замуж не за кого иного, как за Саню нашего Пешко-Пешковского, гения целлюлозной пленки. Проживают они сейчас тоже в Куинсе, раннинг, как говорится, гросери стор, то есть бакалею-гастрономию под названием «Русское чудо» со специализацией по гречке и балыку. Мириам, конечно, не оставила поэзию и иногда пишет стихи для журнала «Нью-Йоркер».

*Oh, my long-awaited animals,
Let us share our bred...
Let's blow a horn,
My husband Mamooth... **

Это нетрудно, объясняет она, и все-таки поддерживает торговлю.

Что касается самого Сани П-П, то, приехав в Америку еще в разгаре солнечной активности, он умудрился найти дурака, который финансировал его телевизионный фильм о знаменитом восстании студентов Училища имени Мухиной (бывший барон Штиглиц), выразившемся в захвате студенческой столовой для организации бойкота жульнического меню. «Вилледж Войс» назвала тогда Саню вторым Эйзенштейном, и впрямь наблюдалась некая связь — и там, и там в борще были черви.

Затем солнечная активность стала спадать, нужны были новые идеи, а у Сани, кроме восстаний, других идей не было.

* О, долгожданные мои звери,
Поделим наш хлеб...
Продуем наш горн,
Супруг мой Мамонт... (англ.)

Это мой холлмарк, так объясняет он, ривольты, понимаешь ли, — это моя эстетика, когда-нибудь мир это поймет и за мной прибегут все эти эмгэемы.

В общем, не знаю уж — увы или ура, но Саня — уже не прежний московский бич с галошей на одной ноге и с кедой на другой. Вместо «Яростной Гитары» на плечах у него твидовые пиджаки, на ступнях английские туфли, курит всегда что-то душистое, пилотирует BMW. Что больше повлияло — возраст или благополучие, но изменился Саня разительно, стал мрачноват, немногословен, похож теперь на выездного режиссера с Мосфильма, даже некоторое появилось высокомерие.

— Ну, а как твои революции? — спрашивает он меня вот с этим высокомерием. — Ведь ты, Велосипедов, в прошлом хорошо мыслил, широкими батальными сценами, помнится, поджигал целые куски Москвы.

Я развел руками:

— Все это у меня прошло еще в тюрьме, лагерь завершил дело. Я как-то многое потерял, Саня. Взгляни на меня — я почти лыс, не считать же эти длинные белесые патлы, свисающие с висков. Взгляни, у меня отложился слой лишнего вот здесь, внизу живота, как-то отяжелела попа. Увы, Саня, если и посещают меня сейчас кинематографические идеи, то это большей частью концентрационный лагерь, унылая череда зеков, питание в зоне, картонная фабрика... Конечно, мой друг, в Америке мы обрели свободу, но в России мы потеряли молодость. Помнишь, как, бывало, собирались и гудели на тренировочном стадионе ЦСКА ты, я, Спартак, Яша, Миша, майор Орlando и иногда Сашка Калашников присоединялся... Нет, этого не вернешь...

— Мда-а, — грустно качал он головою, — отчасти я с тобой даже согласен. Хотя собрать-то народ нетрудно, как раз легче легкого. Вот телефон, вот и собирай. Ну, хоть и не на ЦСКА, то хоть на Янки-Стэдион отправимся, пусть хоть не харьковский «Авангард» с дублем армейцев, так хоть «Доджерс» против «Джетс» палками помашут.

— Как?! — вскричал я. — Всю нашу шоблу собрать здесь?!

— Ну, насчет всех не знаю, а Сашка Калашников придет обязательно.

— Да как так?

— А вот так и так, отстал ты в тюрьме от жизни искусства. Сашка Калашников здесь уже семь лет сканет, соперник Барышникова и Годунова, местная пресса его величает «крупнейшим из ныне живущих русских танцоров». Поначалу, правда, были и у него нелегкие дни.

Когда он появился сюда из Парижа, вся здешняя «гэй комьюнити» возрадовалась, давай чепчики в воздух бросать — наш, наш! А Сашка, балда, с первого же дня им заявляет: нет, братцы-девички, я есть стрейт, и никто другой! И вот результат — тотальная обструкция. Даже я ему советовал: что ты, Саша, такой гордый, не можешь махнуть какому-нибудь критику? Или давай пустим парашу, что у нас с тобой роман, и оба будем в порядке, увидишь, перестанем по вэлфэру побираться.

Однако советский артист стоял, как скала, с дерзким лозунгом в руках: «Я люблю свою жену!»

Жена у него, между прочим, контесса Маринальди, свой род ведет чуть ли не от Марка Аврелия. С женитьбой этой Калашникову очень повезло. Дело было в Милане на гастролях Большого театра. Довели уже там Сашку намеками на бегство до полного иступления, и он тогда решил: пошли вы к жуям, вот и рвану! Забрал всю валюту и в кабак, давай шампанское сажать бутыль за бутылью, был узан, окружен поклонниками, истерика, отключка, проснулся у этой контессы в постели, и вместо перебежчика немедленно стал итальянским контом. Отличная, между прочим, была бэ эта Нина Маринальди, на две головы Сашки выше, только нищая, как монах.

Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Сашка наш на своих прыжках стал миллионером и вкладывает капитал в бельгийскую оружейную промышленность, то есть в самый надежный в мире бизнес.

— А как же его взгляды? — спросил я.

— Не пострадали. Вступил в Итальянскую коммунистическую партию. Ты слышал их последний лозунг? «Наша коммунистическая партия — самая антикоммунистическая во всем мире!»

Вот уж не ожидал такого чудесного сюрприза — Саша Калашников в Нью-Йорке!

Вот он врывается! Ну, настоящая бомба-звезда, прямо чудится выходящий за ним шлейф. Вот он граф Калашников-Маринальди, бывший секретарь комсомольской организации Большого театра.

— Велосипедов, дружище, помнишь, как эфиром-то продували?!

— Еще бы не помнить!

— Ну, как ты?

— Ну, как ты?

— Джаст фajn, конечно, только ревматизм немного беспокоит, слегка снижает прыжок, но в целом, конечно, террифик, террифик!

— И я — фajn, и я — джаст фajn, террифик!

— А помнишь ли сестричек-то Тихомировых, которые нас познакомили?

— Еще бы не помнить! Что с ними?

— Обе здесь!

— Саша, Саша, не слишком ли много сюрпризов? Можно еще понять Агриппину — душа демократического движения, эти стопы свежотпечатанного Самиздата, загромаждающие ее продыmlенную квартиру и создающие пейзаж сродни скайлайну Манхэттена, если смотреть от Лэди Либерти, но Аделаида-то Евлампиевна, пружина идеологического аппарата, подпиравшая весь социалистический реализм Фрунзенского района столицы?.. Позволь, Саша, поставить под сомнение... уж не разыгрываешь ли меня?

— Ничуть, ничуть, дорогой мой Гоша Велосипедов. История Аделаиды довольно проста.

...Ее усилия по реабилитации определенного лица, а именно тебя, мой друг Велосипедов, стоили ей членства в

КПСС, она была исключена с формулировкой «за бескрылость», к великой радости Альфредки Феляева — помнишь Булыгу? — который тут же расширил свой секретариат тремя девками из молодежного туристического бюро «Спутник».

В общем, пришлось в конце концов нашим русским красавицам вспомнить какую-то свою тетю Золотухину-Гольдштюкер и эмигрировать.

Обе живут сейчас в Нью-Йорке, и обе, вообрази, замужем, чудесно помолодели. Гриппа по-прежнему размножает русскую литературу и неплохо зарабатывает, так что и мужа может содержать, а муж, конечно, гений, пылкий такой мыслитель, поэт, художник, даже мим, каждый день мировоззрения меняет — то мистик, то гностик, — она в нем души не чает.

Ада вышла замуж за ветерана американского рабочего движения, который здорово поднажился на риал истэйт*. Она печет печенье и возглавляет комитет «Саша Калашников адмайерерс Инк.»** — ну, знаешь, богатые дуры писаются на моих концертах, вопят, в обмороки от восторга и прочее... Между прочим, только благодаря этим бабам я и преодолел тут... хм... некоторую публику.

Хозяин дома Саня Пешко-Пешковский подкатывает к нам столик с дринками.

— Пора уж и вздрогнуть за встречу, мальчики! Гоша, тебе чего?

— Сделай мне «водкатины», Саня.

— А мне плесни-ка «Белой лошади», — попросил Калашников. — Только стрейт, я пью только стрейт!

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись друг другу не без грусти, после чего хватанули по стакану крепкого.

* Продажа недвижимости (англ.).

** Объединение поклонников Саши Калашникова (англ.).

— Вот ты говоришь «сюрпризы», — проговорил Саша Калашников, закусывая мануфактурой, то есть вытирая губы рукавом, — а главный-то сюрприз ждет тебя за дверью.

Меня прямо оторопь взяла.

— За дверью? Возможно ли, Сашок? Вот прямо там, за этой дверью?

— Открой, — с улыбкой предложил он.

За дверью, руки в карманах отличного серого костюма, жуя чуингам и притворно хмурясь, стоял, конечно, майор Орландо. Увидев меня, он выплюнул резинку и поиграл немного на воображаемом тромбоне.

Вот вам история. На 36-м году своей жизни, то есть в 1974 году, Густавчик нашел своих испанских родителей, проживавших все эти годы по постоянному месту жительства, то есть в Испании, хотя, конечно, точнее будет сказать, что это они его нашли по его временному местожительству, то есть в Советском Союзе.

Его ждало большое разочарование — родители его оказались не совсем теми героями-республиканцами, которые под непрерывной бомбежкой, не выпуская из рук винтовок, передали младенца Орландо советскому моряку. Они как раз оказались рьяными поклонниками генералиссимуса — нет-нет, все-таки не нашего, своего, сеньора Франко, не к почи будь помянут, — и членами фалангистской партии.

Майор Орландо, однако, преодолел преобладающее разочарование, вышел в отставку и по прошествии двух лет, нужных для забывания московских милицеских секретов, репатриировался в Барселону, где был некогда рожден в квартире над зубо врачебным кабинетом, ибо папа — дантист, и откуда был при невыясненных обстоятельствах спасен для советской жизни.

— Что могу сказать о себе. — говорит мне Густавчик, ловко, одним лишь ногтем большого пальца очищая шрим-

пов для огромного каталонского «братского», как он называл его, салата. — Работаю, Гоша, частным сыщиком, под мышкой всегда пушка с патронами. Запросто покупаю в магазине то, что было раньше несбыточной мечтой, любого калибра, всегда в наличии. Жена по-прежнему хороша собой, есть и личная жизнь, дети растут, русская мама Капитолина Васильевна Онегина собирается к нам по израильской визе, твой кореш Шишленко обещал устроить, климат у нас в Барселоне предостаточный, и вот только ностальгия по России бередит душу, основательное, между прочим, явление.

В связи с этим, Гоша, каждый год езжу в Нью-Йорк, а здесь, чтобы оправдать поездку, работаю у Сашки Калашникова бодигардом. Должен признаться, что стараюсь здесь подольше задержаться, русская жизнь засасывает. Не хватало нам здесь тебя, Гоша, но вот ты здесь, и все в порядке, мы теперь все тут с тобой как бы дома.

Вот и вся история, простая, как река человеческой жизни, и только одного я не понимаю до сих пор — на кой им хрен понадобилось увозить чужого младенца из Барселоны, а если уж увезли, то зачем записали испанцем?

И вот мы все в сборе, вся наша компания, семеро московских ребят, сидим вокруг телевизора и пьем семь упаковок пива. Вот как все происходит в жизни, литературная композиция отсутствует, не говоря уже о логических построениях. Говорят, что именно на четком понимании отсутствия логики сделал свою карьеру генсек Брежнев, наш Леонид Ильич. Наверное, врут.

Итак, все вместе, как в прошлые времена. Есть решение провести весь день по-московски, но, конечно, каждый сомневается, удастся ли возродить тот волшебный дух партизанщины. Увы, здесь для московского мужчины присутствует отсутствие чего-то важного. Взять хотя бы то же пиво. Оно присутствует, и даже, можно сказать, в неограниченном разнообразии упаковок, однако, увы, отсутствует радость его доставания и восторг добычи, когда

даже разведенные Софой кисловатые «Жигули» кажутся всем райской прелестью.

Так же обстоит дело со многим другим. Возьмите даже такой русский товар, как сушеная вобла, за которой так все в Москве гоняются, даже и ее навалом в любой русской лавке на Брайтон-Бич, а значит, и здесь отсутствует таинственность. Даже вот и красная икра, даже и она всегда эвэйлэбл, как в цековском распределителе. Вот этот паунд, например, брал я вчера в «Интернашнл Фуд», там кассиршей как раз та тетка работает, которая меня утюгом огрела. Что, спрашиваю, товарищ Светличная, канадская, что ли, у вас икра? Отчего же канадская, обижается Анна Парамоновна, настоящая у нас русская икра, с Аляски.

В общем, присутствует отсутствие, Гош, недоступности, и это как-то всех сковывает.

Мы собираемся ехать на Янки-Стадион, но там, конечно, отсутствуют советские бичи. Конечно, там свои американские бичи присутствуют, но уж очень мало напоминающие вышеупомянутых, а если и попадается персона, похожая на московского бича, то цвет кожи никогда не совпадает, обязательно блэк.

Или взять тех же девушек. В Москве всегда о них мысли появляются после футбола, ну и начинается так называемая кадретка, которая чаще всего завершается нехорошим, но уж если удача, тогда — восторг! А здесь кадры стоят толпой на 42-й улице, только и покрикивают «комон, хани, война дэйт?»*. Несколько все от этого тускнеет.

Или вот в глобальном смысле взять Народную Республику Болгарию, из-за которой, собственно говоря, и начались у меня крутые изменения в жизни. Предмет мечтаний на грани яви и сна, солнечны бреги и златы пясцы, все теперь испарилось. Бикоз, друзья, Болгария в моем воображении все-таки была частью Америки, хотя бы

* Эй, дорогуша, хочешь трахнуть? (*англ.*)

умозрительно доступной частью совершенно недоступной Америки, а сейчас я попросту живу в этой огромнейшей Болгарии, то есть попросту в Америке. Так где же теперь желанная НРБ? Может быть, теперь она стала для меня единственной, хотя бы умозрительно доступной частью России? Однако, странное дело, не тянет уже ни в Болгарию, ни в Россию, хоть и тоскуешь порой по ним, по этим своим восточным отечествам, ведь и Болгария нам отечество, там наша азбука родилась. Увы, это не только наши оказались родины, но и тех, что мучают население своим унылым коммунизмом, от одного звука которого, не говоря уже о запахе, всю нашу компанию воротит.

...Но Болгария все же пропала...

Что происходит тем временем на телевизоре? Встречаются двое, красивых и молодых, в естественном порыве бросаются друг к другу. Вдруг она с отвращением отворачивается: у вас изо рта воняет, мой дорогой. Не приходите ко мне без таблеток «Брис сейверс»! Затем рекламируется китайщина в банках: трай чанг хи фор а бьютифул бади... Потом появляются сифуд-лаверы, с аппетитом кушают крабьи лапы и других приглашают — заходите, а зайти есть куда.

— Эх, американы-тараканы... — снисходительно улыбается Боря Морозко, бывший московский сионист.

Вот кто замечательно изменился: длиннейшие пушистые бакенбарды делают его похожим на британца периода расцвета Империи, движения стали исполненными значения, рука, направляющаяся, например, за ухо с определенной незначительной целью, привлекает всеобщее внимание, снисходительная улыбка — его трейд-марк, освещенный ею, он поднимается все выше в своих компьютерных исследованиях, в оценке кризисных ситуаций мировой жизни; потому и в Америку вместо Израиля приехал, чтобы лучше помочь человечеству. К американцам Боря относится как к неразумным детям.

— Благодаря этим сифуд-лаверам нас скоро, как креветку, проглотит коммунизм, — предрекает он. — Може-

те уже представить себя под томатным соусом пролетарской революции. Вообразите, господа, я приезжаю с лекцией в Вашингтон в Центр передовых стратегических исследований имени Теодора Рузвельта, и что же — они там все стоят со стаканчиками шерри и языки чешут. Оказывается, у них два раза в неделю в рабочее время (!) шерри-парти! Меня прямо оторопь взяла — они погибли!

— Ты не западный человек, Борис, потому так растерялся, — одной репликой рубит Морозко майор Орландо.

Снисходительная улыбка мгновенно стекает с лица исследователя.

— Я — незападный человек? Я — незападный человек? Кто же западный человек, если не я?!

— Ты что же, Боря, предлагаешь? — осведомляется Густавчик. — Чтобы они вместо киряния шерри постоянно чистили оружие?

— Да! — завопил тут прежде такой собранный Борис Рувимович. — Да! Да! Да! Они должны постоянно чистить оружие, потому что *там* постоянно чистят оружие!

— Балони, — возражает майор Орландо и поправляет у себя под мышкой пистолет, — у нас на Западе порядочно людей, специалистов по оружию.

— Мало! — ярится Морозко.

Теперь пришла очередь Густава снисходительно улыбаться.

— Куалититат нон куантитат*, сечешь, Боря? — улыбаясь, говорит он. — Нас мало, но мы в тельняшках!

Вдруг на экране на пару мгновений из вороха рекламы выскакивает, вернее, выплывает брюхатый питчер Фернандо Валенцуэла и гудящий вокруг Янки-Стадион. Оказывается, матч уже идет, а мы все никуда не едем, а только лишь сидим в креслах с отклоняющимися спинками, сидим со своим пивом, сидим, сидим и никуда катастрофически не едем.

* Качество не количество (*исп.*).

— Так все-таки нельзя, мальчики, — сказал Спартак. — Давайте присоединимся к какому-нибудь кантри-клубу, будем брать гольф, ю гет ит?

Снова замелькало, замелькало, замелькало — геморройные свечи, кремы для вечной молодости, пилюли от запора, собачья еда, однокалорийные напитки, — как вдруг выскочила на экран целая команда спикеров со свежими новостями.

Разрядка снова набирает ход! Первая за долгий срок делегация советских писателей в Нью-Йорке!

И вот мы видим холл отеля «Нью-Йорк Шератон» и всю гоп-компанию в мягких креслах, шестеро мужчин и одна женщина.

Тьфу, тьфу, тьфу, протираю глаза — вся делегация составлена из знакомых — Женя Гжатский сидит, Опекун Григорий Михайлович, который за нами в глазок подсматривал, Альфред Феляев и Олег Чудаков, общеизвестный дизайнер, пара также советских классиков Бочкин и Чайкин и... о, боги Олимпа! — она! — моя мифическая Ханук!

— Эге, вот так рожи, — таково общее мнение.

— Одного узнаю, — говорит Спартакоч. — Вот этот меня допрашивал.

— А меня вот этот допрашивал, — говорит Яков Израилевич.

— Что касается меня, — говорит Саша Калашников, — то у меня, увы, нет опыта борьбы за права человека. Я просто спал вот с этой дамой.

И он потупился с притворной стыдливостью.

«Я тоже с ней спал!» — чуть не вскричал я, но сдержался. Бессонные были, почти фронтовые ночи!

— Как, Сашка, ты спал с Ханушкой?! — вскричал тут, не сдержавшись, Саня Пешко-Пешковский.

— Ханук, Ханук, — вздохнул Протуберанц. — В пятидесятые годы, впрочем, ее звали Дэльвара, она пела в театре «Ромэн»...

— А вот этого пропойцу, — сказал майор Орландо, направляя палец в соответствующий уголок экрана, — я

готов опознать под присягой, нередкий был гость в вытрезвителе помер полста, однако, к его чести, надо сказать, утром всегда первым делом требовал свою лауреатскую медаль и в целом был вежлив, сохранял кое-как человеческое достоинство. Чего не скажешь про товарища Фелаява. — Палец майора чуть-чуть переместился на экране. — Этого один раз забрали спящим под памятником академику Тимирязеву, так потом говна нахлебались, ю кан нот ивэн имэджин, джентльмены, едва все наше подразделение не расформировали за террор против правящего класса.

— А вот этих хмырей не знаю. — Спартачок ткнул двумя пальцами в классиков Бочкина и Чайкина.

— Наверное, искусствоведы в штатском, — предположил Калашников.

— Не надо пальцами в них, Спартачок, — попросил Саня П-П. — Мы их еще в школе проходили, это же «певцы окопной правды».

— У Чайкина я комнату на даче снимал, когда писал кандидатскую диссертацию, — элегически припомнил Борис Морозко.

Кажется, всем стало грустно. Не лучших посланцев опять выбрала Россия для поездки в Америку, а все-таки и это ведь наши люди, в том смысле, что когда-то недавно мы ведь вместе населяли эту, как недавно поэтишко один советский писал в «Комсомольском Честном Слове» — для кого территория, а для меня родина, сукин ты сын... вот именно эту родину-территорию, сукин ты сын.

Глава делегации, в частности, сказал... Джи, а глава-то делегации не генерал Опекун и не секретарь Фелаяв, а, оказывается, Женька Гжатский-позорник, вот как товарищ преуспел! Я даже заволновался за знакомого человека, сейчас в лужу бздернет...

Ничуть не бывало... Женька с задачей справился, заговорил на хорошем писательском жаргоне, с мзканьем-бэканьем, закатывая малость глаза и оскаливаясь на манер Евтушенки:

— Где-то по большому счету мы все дети одной планеты, господа, однако мы, советские писатели, не верим в Апокалипсисис ядерной войны.

Совсем неплохо получалось, и мало кто заметил лишнее «си» в вышеназванном слове, а для американцев, в принципе, это не имело значения, потому что их вариант вообще идет без всяких «си», то есть Женька Гжатский спокойно прохилял за грамотного.

Затем советские писатели пропали, и начался рассказ о подготовке к маскараду Хэллоуин, который продолжался тоже недолго, и снова замелькали геморроидные свечи, таблетки дристан, слипиз, шины «Мишelin», кофе-санка, мелькнул среди этого добра и президент Мубарак... Кто-то из нас выключил ящик, и воцарилось молчание.

— Айда, ребята, съездим к ним в «Шератон», пообщаемся! — вдруг предложил Саня Пешко-Пешковский откуда-то сзади. — У них же валютные трудности. Может, поможем чувакам выпить?

Мы все переглянулись и вдруг увидели, что вместо скучноватого и положительного «владельца малого бизнеса» посреди ливингрума стоит прежний скособоченный и вечно пьяненький московский бич. Что-то уже начинает возвращаться из прошлого.

Все погрузились в «Чеккер» Якова Израилевича, как когда-то умудрялись втискиваться в его «Запорожец», и поехали по разбитым мостовым, по ухабам Мохнатого, как в русской среде называют остров Манхэттен.

На этом острове внешне все просто, через камень пробиты прямые стриты, в одном конце их встают восходы, в другом садятся закаты, внутри, однако, намного сложнее.

На углу 29-го стрита и Пятой авеню некто в белом костюме и белой шляпе махал белым зонтиком, кричал по-русски:

— Такси! Такси!

— Возьмем чувака?

Взяли. С близкого расстояния оказалось, что пиджак, между прочим, надет на голое тело. Не исключено, что и белые брюки надеты на такое же тело. Фактически и шляпа была нахлобучена на лысую голову.

— «Нью-Йорк Шератон»! — прокричал он по-русски прямо в ухо Протуберанцу..

Поехали дальше, смеясь. Почему вы все разговариваете по-русски? — нервничал наш пассажир. Что это за провокация? Вы что, из советского посольства кагэбэшники?

— А вы кто будете, мистер? — спросили мы его.

— Ха-ха-ха, — был ответ. — Не узнаете? Ничего, скоро узнаете! Чехова тоже никто не узнавал! Островского принимали за купца! Шекспир до сих пор у черни под сомнением! Скоро все узнают!

Возле «Нью-Йорк Шератона» пассажир выскочил из такси, забыв, разумеется, заплатить, а впрочем, возможно, у него и не было таких намерений.

— По-моему, это драматург Жестянка, лауреат премии имени Ленинского Комсомола, — предположил Яков Израилевич. — В прошлом году он дефектнул из делегации в Риме. В следующий раз, жуй моржовый, так от меня не выскочит.

Нам здорово повезло, едва мы швартанулись, заджэмило по-страшному: возле отеля вся Седьмая была запружена автомобилями.

В толпе преобладали довольно дикие взгляды и косые рты. Высокий серокожий нищий подъехал на роликах к вазе с робким растением, вытащил свое хозяйство и помочился, да здравствует свобода! Из окон полуподвального ресторанчика доносился голос певицы, напомнивший мне мою краснодарскую маму. «Частица черта в нас заключена подчас», — пела певица. Глухо, не в такт, забывая бессмертную арию, стучал барабан.

Поступило предложение предварительно выпить. Предложение принято. Мы спустились в заведение по ступеням, оставляющим желать много лучшего.

Во всех американских ресторанах темень, хоть спать ложись, специально создается такая романтическая атмосфера, в этом ресторанчике было на два градуса темнее, чем во всех. Стоя у бара, мы смотрели на тоненькую в фосфоресцирующем платье певицу. Она напомнила мне мою мать. Я подошел ближе и понял, что не ошибся, передо мной Мария Велосипедова, Заслуженная артистка Адыгейской автономной области.

— Мама, — сказал я.

— Мальчик мой, — шепнула она в ответ, — ты так плохо выглядишь, не называй меня мамой. Я вышла замуж, — она показала на барабанщика. — Это Ясир. Умница, бывший министр, беженец из Республики Сомали и, между прочим, чудесно говорит по-русски, поэтому тише, ревнив, как, ха-ха-ха, ха-ха-ха, как Отелло, друг мой.

Мы вышли из ресторана и направились прямо к отелю.

— Ю готта хэв а рашен тим ин юр хотел, донт ю?* — спросили мы у довольно монументального швейцара, напоминающего и внешностью, и осанкой нашего кадровика из НИИ автодорожной промышленности.

— You'd better ask a cop about that folks**, — посоветовал этот товарищ.

Мы повторили свой вопрос устало улыбающемуся полицейскому.

— You, guys, are interested in getting information about those Russians, aren't you? I read you right? Hold on a bit***, — сказал коп и зашептал что-то в свой уоки-токи.

— Да ведь это же лейтенант Горчаков со стадиона «Динамо»! — прямо ахнул Протуберанц. — Мальчики, посмотрите, это же тот дежурный, у которого я лотерейный билет купил во время войны Иом Кипур. Гадом буду, это он!

* У вас русская команда в отеле? (англ.)

** Спроси лучше мента про эту публику (англ.).

*** Интересуетесь этими русскими, ребята, верно? Подождите чуток (англ.).

Хорошее плотное лицо и в самом деле обеспечивало этому копу сходство с советским лейтенантом Горчаковым.

— Ю маст би льютинант Горчаков, олд чап?* — спросил копа майор Орландо и профессионально заглянул тому в лицо.

— Sorry, my name is Bob MacGarret, sir**, — не без обаяния улыбнулся блюститель порядка и продолжил перешептывание со своими коллегами: — Six or nine, Jack, anyway, no less, than five, no more than ten, I swear...***

Мне показалось, что это он нас считает по головам, но никак сосчитать правильно не может; такая толкучка была перед входом в отель, что немудрено и ошибиться.

— Jewish toughs? Did I figure you out? — спросил коп майора Орландо. — Gonna pick on those Russians?****

— Какой я тебе на ферджуиш, — в свою очередь улыбнулся Густавчик. — Ты же знаешь, Володя, я чистый испанец. В общем, кончай выгребаться и признавайся. Таких совпадений в природе не бывает, чтобы на одно лицо и оба в полиции.

— Six***** , — наконец уверенно сказал в свою ходилку-говорилку мистер Мак-Гаррит.

Одного он явно недосчитался, может быть, потому, что я стоял чуть в стороне и в разговор не вмешивался.

В это время прямо у меня за спиной заговорили порусски: из отеля вышла советская делегация в полном составе. Генерал Опекун продолжал нечто свое:

— ...а насчет ихнего сельского хозяйства я вот что скажу. Это верно, поля у них ровные, зеленые, однако сильная расовая эксплуатация там процветает. Я лично видел

* Вы, должно быть, лейтенант Горчаков, старина? (англ.)

** Прошу прощения. Боб Мак-Гаррит меня звать (англ.).

*** Шесть или девять, Джэк, не меньше пяти, не больше десяти, клянусь... (англ.)

**** Еврейская порода, да? Правильно я вас вычислил? Хотите потрепать тех русских? (англ.)

***** Шесть (англ.).

своими глазами — два пожилых негра мотыгами машут, а белый мальчишка, сопляк, в электрической колясочке раскатывает...

— Да это гольф, Григорий Михайлович, — взвыл тут, схватившись за голову, дизайнер Олег. — Гольф это, гольф, гольф, г-о-о-о-льф...

Никто из них нас не заметил, все как-то скользили будто бы невидящими взглядами по кишасей разномастными и разнокалиберными людьми Седьмой авеню, одна лишь только Ханук слегка подавала признаки женской жизни, осторожно поглаживая самое себя по бедру.

— Хочу вас предупредить, товарищи писатели, — сказал глава делегации Гжатский. — Есть сведения, что здесь на нас постарается выйти перебежчик Жестяноко.

В тот же момент некто в белом на другой стороне Седьмой замахал белой шляпой и завопил:

— Олег! Олег!

Дизайнер Олег тут же рванулся. Булыжник Альфредка Феляев схватил его за талию:

— Олег, ты куда?

— На кудыкину гору! — заорал дизайнер и в хорошем стиле вырвался из партийных объятий.

Его загранидджак с двумя разрезами замелькал меж ползущих машин. Мгновение, и они сплелись с перебежчиком Жестяноко, еще мгновение — и затерялись в толпе.

На моих глазах продолжала развиваться сцена, совершенно исключительная по отсутствию смысла. Советская делегация распадалась на глазах. Видимо, ее охватил тот пожар отчаяния и надежды, который иногда и приводит к крушению имперских систем, который, собственно говоря, и их собственную партию привел к власти.

Хуже всех, видимо, было Альфреду Потаповичу. У витрины магазина радиотоваров корчило его подобие родовых мук.

— Кудыкину? Кудыкину? Кудыкину? — конвульсивно повторял он.

Но никто на него уже не обращал внимания, ей-ей, лучше таким товарищам самим не ездить в заграникомандировки.

Женька Гжатский вычитывал по складам из записной книжицы:

— Ай эм совет спай, ай рикуэст фор политикал эсайлам...*

Генерал Опекун продирался сквозь толпу к монументальному швейцару гостиницы и делал ему по мере продвижения все более оптимистические и многообещающие жесты.

Ханук-Дэльвара, конечно, уже хохотала, окруженная группой пилотов компании «Сауди эрлайнз».

Классики Бочкин и Чайкин, делая вид, что все это не имеет к ним, настоящим писателям, никакого отношения, взволнованно, словно после сорокалетней разлуки, беседовали друг с другом. В их сбивчивой речи мелькали слова «Солженицын», «Государственная Дума», «до каких пор»...

В это время для полного уже восторга подъехал полицейский фургон, и несколько копов, все улыбающиеся, стали в него заталкивать наш фолкс, Сашу Калашникова, Яшу Протуберанца, Борю Морозко, Саню Пешко-Пешковского, Спартачка и Густавчика. Лейтенант Горчаков, он же Мак-Гаррит, считал всю компанию по головам:

— One, two, three, four, five, six... that's it!**

И успокаивал:

— Take it easy, guys... nothing to worry about... just checking... You'll be free in half an hour...***

Кто-то, кажется Протуберанц, в последний момент перед посадкой в фургон успел проорать:

— А где же ваша фридом, расшиздя?!

* Я советский шпион. Я прошу политического убежища... (англ.)

** Раз, два, три, четыре, пять, шесть... все! (англ.)

*** Спокойно, парни... не волнуйтесь... просто проверка... Через полчаса выпустим... (англ.)

Суэта перед отелем не прекращалась ни на минуту, а тут еще подъехали два огромных автобуса с японскими туристами. Началась выгрузка чемоданов.

Один лишь я стоял, оцепенев. Один лишь я наблюдал, как исчезают советские делегаты в нью-йоркской ночи, похожей на колебание мазутных пятен.

— А вы раньше где работали? — спросил генерал Опекун у монументального швейцара.

— IBM Company, personnel division*, — сказал швейцар и поинтересовался, есть ли черная икра на продажу.

— Чемодан, — заверил его Опекун и вдруг, сделав не по годам резвое движение, ткнул прямо в меня все еще крепкий, как пистолетный ствол, палец. — Seven!**

И я устремился в паническое бегство.

Гнался ли кто-нибудь за мной, не поручусь, но я бежал, бежал, бежал. Не знаю, страх ли меня подгонял или древняя воля к бегству, или просто ноги мои, на старости лет осознавшие свою прыть, ведь все-таки не даром же некогда в пустоватой богобоязненной валдайской земле некий служка записан был Велоси-пе-довым, видно, служил он своими ногами неплохую службу своему Богу, истории и не покоренной в те времена русской церкви.

Так я домчался до 42-й улицы и на южной ее стороне увидел другого бегущего. Вдоль подмигивающих огоньков порношопов и киношек «для взрослых» неся, как страус, белый юнец-провинциал. Он был без штанов и без обуви, однако в носках и бейсбольной шапке.

За ним валила толпа мировых подонков, не лучшие представители всех человеческих рас — выпученные в жутчайшей радости глаза, обезображенные хохотом пасти, преобладали поджарые и мосластые, но были и жирные, с вываливающимися из лифчиков титьками и мотающимися животами.

* Компания Ай-Би-Эм, отдел кадров (англ.).

** Семь! (англ.)

Толпа накатывала на мальчика, швыряя ему в спину банки из-под пива...

...WE WANNA GET HIM — HIM — HIM!..*

Над нею неслись, словно зная, стащенные с мальчика джинсы, она накатывала, уже готовая его поглотить, но он из последних сил высоко задирает ноги, в остекленелом ужасе все еще вытягивал, вытягивал, не давая себя пожрать, хотя, быть может, ничего особенного и не случилось бы, отдайся он этой толпе, ничего особенного, кроме издевательства над его половыми органами и задним проходом.

Я перелетел через улицу и помчался рядом с юнцом. Толпа позади взревела еще сильнее от удвоенной радости: она сразу поняла, что я не преследую деревенщину, что я, возможно, и сам такой же деревенский юнец, во всяком случае — дичь, а не охотник.

— Strip the pants off him! Let's get his balls! We wanna chew his balls!**

Я мог бы мчаться быстрее, я — Быстроногов, но тогда отстал бы мой друг, юный мистер Гопкинс из штата Мэн, и они бы его взяли одного, и поэтому я тормозил.

Чья-то жадная южноокеанская рука между тем влезала мне в штаны, захватила, рванула, располосовала пополам, штанины упали, я едва успел выскочить из них, чтобы нестись дальше уже голыми ногами.

— That's fun!*** — изнемогала толпа. К счастью, восторг снижал ее скорость.

На углу Сорок Второй и Пятой я решил рвануть вправо, чтобы увлечь их за собой и дать пацану скрыться. Увы, за спиной моей послышался его пронзительный крик. Оглянувшись, я увидел, что он падает на колени перед налетающим траффиком. Тут же кто-то хапнул меня, на этот раз уже за трусы, но я снова успел отлягнуться и рванул

* Держи его! Хотим его!.. (англ.)

** Стяни портки с него! Держи его за яйца! Давай-ка пожую его яички! (англ.)

*** Ну потеха! (англ.)

дальше. Нечто увесистое угодило мне в спину, между лопатками. Пронеслись мимо приветливые огни нью-йоркской Публичной библиотеки. Сколько там мудрости скоплено! Этот город вовсе не молод. Страна молода, но город стар, недаром здесь всегда пахнет сладковатой гнилью.

Я уверен, что быстрые ноги спасающегося существа в конце концов вынесут его в чистые пшеничные поля Среднего Запада, к коричневым, словно желуди, каменным лбам Юты, то есть на просторы американского здравого смысла. Если, конечно, это существо не споткнется о какое-нибудь лежащее тело.

Я споткнулся о спящего на асфальте араба и пролетел вперед лицом вниз и в ужасе понял, что позора мне не избежать, а в этом возрасте позора уже не пережить.

Вскочив, я рванул на себя стеклянную дверь с надписью TOYS* и упал внутрь маленькой лавки.

Хозяин, сидевший за кассой, тут же выхватил пистолет и направил — о чудо! — не на меня, а на дверь. Мои преследователи замерли на пороге. Дверь закрылась, упала штора.

Хозяин был китаец, японец или филиппинец, а может быть, беглый вьетнамский белогвардеец. Мы улыбнулись друг другу.

Сверху свисали огромные резиновые и плюшевые игрушки, а также гирлянды масок к здешнему празднику Хэллоуин. Я выбрал одну маску, весьма отвратительную, нечто вроде нашей Бабы Яги, но с большими висящими усами, надел ее на лицо и поклонился хозяину. Тот поклонился мне в ответ: есть такие люди, с которыми можно без лишних слов обойтись.

Затем я вышел на улицу. Мои преследователи еще не успели разойтись. Они возбужденными горящими глазами смотрели на меня, люди нью-йоркского этноса, любители фана и кайфа.

* Игрушки (англ.).

— Is it he?* — спросил один.

— No, that man was younger, without a mustache**, — сказал другой.

— Gee, this one isn't wearing pants either***, — сказал третий.

— This man is masked****, — сказал четвертый.

— That man was not masked*****, — сказал пятый.

— Where is he, that funny one?***** — спросил шестой.

— Gone*****, — сказал седьмой.

И все вдруг разошлись.

Я шел по Пятой авеню и отражался в витринах. Никто в толпе не обращал на меня внимания. Маска, конечно, была отталкивающей, но в толпе попадались лица и похуже. Что касается штанов, то в их отсутствии вообще не было ничего предосудительного. Ведь не за то гнали рыжего простака Гопкинса, что был он без штанов, штаны-то с него сами стащили, а за то, что был не готов к жизни.

Я дошел до Юнион-сквера и там присел на краешек заплыванной лавки. На ней ужинали два черных бича. Они оставили мне почти полный пакетик френч-фрайз и полтюбика кетчупа. Я ел и думал: почему моя родина обошлась со мной столь жестоко, почему так свиреп был прокурор, что же Брежнев-то, выходит, писем не читает?

Над площадью доминировал старинный небоскреб «Утюг». Ну и эстетика! Девятнадцатый век здесь в Америке был, кажется, отчасти безобразен, а с началом двадцатого, увы, вообще полный провал. Вдруг до меня дошло — вот чего мне здесь не хватает, в Америке начала двадца-

* Этот? (англ.)

** Не, тот кадр был моложе и без усов (англ.).

*** Ты, без штанов тоже (англ.).

**** Этот кадр в маске (англ.).

***** Тот кадр был без маски (англ.).

***** Где же тот гудила? (англ.)

***** Слиял... (англ.)

того века, того самого позднего предкатастрофного Петербурга... Странно, вроде бы на фиг русским все эти модерны, ведь мы же неевропейцы, а вот когда в Америке оказываешься — не хватает...

Вдруг женское лицо бросилось мне в глаза, голубое и зеленое. Это было Фенькино лицо. Оно бросалось мне в глаза, но на меня не смотрело. Плоское лицо с афишной тумбы не взидало ни на кого и ни на что, да и вообще глаза у него были слепыми, как у античных бюстов. Вдруг в затихающем объеме Юнион-сквера увидел я множество этих лиц на разных расстояниях и в разных плоскостях. Словно соединенные невидимыми нитями кристалла, светились повсюду желто-зеленые пятна. Тут я вдруг заметил, что я и ем-то на этом лице, потому что те два щедрых бича как раз и ужинали на сорванном плакате с ее лицом и с уцелевшими буквами ЕХНІВІТ...*

Почувствовав жжение в спине, я обернулся и увидел за садовой решеткой слегка скособоченный «Роллс-Ройс», передняя левая — флэт, подозрительный дымок от радиатора. На подножке машины сидела Фенька и плакала навзрыд. Лица не было видно, оно уткнулось в подол бального платья, я узнал ее голые плечи, они тряслись от рыданий. Желтая муха была нарисована на одном ее, все еще девчоночьем, плече, зеленая — на другом, таком же. Повторяю, хотя не знаю, кому нужен этот повтор, оба плеча содрогались. Я перелез через решетку и подошел к ней.

— Велосипедов, — пробормотала она, — я узнала твои ноги.

— Что ты так плачешь, Фенька, что стоят твои слезы, зачем ты сердце-то мнерываешь?

— Он умер, — пробормотала она. — Свалил чувак... с концами...

— Кто умер, Фенька?

— Он, геморрой проклятый, мой мастер Гвоздев, уродина, жаба, сталинский жополиз, хрущевский жополиз,

* ВЫСТАВ... (англ.)

брежневский жополиз, ничтожество, трус, стукач... Я никого из вас не любила, только его. Мне еще шестнадцати не было, а он меня на пол повалил и сломал мне там все. С тех пор всегда... вот вижу его дом... выхожу на Маяковке и мимо киосочка «Ремонт ключей», мимо «Табака», а на другой стороне журнал «Юность»... помнишь это место?.. там почему-то все всегда друг на друга наталкивались... его дом, красномраморный цоколь, две арки, ветер свистит, и все волосики у меня поднимаются... Я плевала в его картины, а он закрашивал плевки... сколько вокруг ленинских рож!.. Он рисовал его *для души*, это, мой милый Велосипедов, были порывы вдохновения... У каждого человека должно быть что-то святое, так поучал он меня, а у тебя, Фенька, нет ничего святого... Ленин был его святыней... А Христос? — спрашивала я. Христос — это мода, отвечал он. Видишь, Велосипедов, какое вымирает поколение. Христос — это мода, Ленин — святыня! Вот видишь, какая нынче советчина вымирает! Жадная гадина, он никогда мне не дал ни рубля, он подарил мне однажды коробку с кусочками печенья и огрызками конфет, развратная и грязная тварь, подсовывал своей жене в любимчики... Фенечка — головокружительный талантлик... Да ведь и старым-то совсем не был... ой-ой-ой... ни одного седого волоса, и глазки карие похабненькие... ой, мамочки, не могу... ой, геморрой проклятый, зачем ты сдох?.. А если бы ты знал, Велосипедов, как он живопись любил, как он торчал на голубом и зеленом, хотя красным столько мазал... служил своей распухшей революции...

Она вдруг взревела, что называется, белугой на всю Ивановскую, то есть на Юпион-сквер, замкнутый аляповатыми небоскребами той поры, когда не появилась еще на свет американская эстетика. Горизонт по нелепости приближался к Москве. Она выла:

— Ой, Велосипедов, все улетает... смотри, все втягивается в воронку, заворачивается, исчезает... Уже и Гвоздя нет... Уходит, линяет Советский Союз, ой, Велосипедов, время его прошло... Не могу! Не верю!

Она затихла, когда я стал целовать ее в щеки и уши. Пальцы ее пролезли в глазницы моей маски, касались мокрых мест, то есть глаз. Я сжимал ее плечи, мы держали друг друга, как малолетние брат и сестра. Смыкалось ли над нами пространство Нью-Йорка или необозримо простиралось? Мы были и на дне вулкана, и на пике горы. По краю небес шли чередой отблески огня и мрака.

*Январь — июнь 1982
Башня Флага в Смитсоновском здании
Вашингтон, Д.К.*



СОДЕРЖАНИЕ

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЭБИ.	3
Глава первая.	5
Глава вторая.	26
Глава третья.	49
Глава четвертая.	80
Глава пятая.	104
Глава шестая.	125
Глава седьмая.	152
Глава восьмая.	170
Глава девятая.	193
Глава десятая.	225
Глава одиннадцатая.	261
Глава двенадцатая.	295
Глава тринадцатая.	321
Глава четырнадцатая.	340
БУМАЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ.	361

Василий Аксенов

В ПОИСКАХ ГРУСТНОГО БЭБИ БУМАЖНЫЙ ПЕЙЗАЖ

повести

Редактор *Михаил Гуревич*

Художники *Александр Анио, Максим Горбатов*

Издательский редактор *Александр Перевозов*

Корректоры: *Татьяна Калинина, Наталия Пуцина*

Компьютерная верстка *Юлия Дородницына*

Подписано в печать 10.04.2002 г.

Формат 84x108/32. Гарнитура «Таймс»

Печать офсетная. Печ. л. 17,5

Тираж 5000 экз. Заказ № 1351

ЛР ИД № 05359 от 12 июля 2001 г.

Издательство «Изографус»

Москва, ул. Петра Романова, 19, офис 13

Тел./факс 277-75-75

Отдел реализации: Москва, 3-й Павелецкий пр-д, 9

Тел. 235-07-31, факс 235-02-37

e-mail: IZOGRAF@TSR.RU

Издательство «ЭКСМО-Пресс»

125190, Москва, Ленинградский проспект,

д. 80, корп. 16, подъезд 3

Интернет/Home page — www.eksmo.ru

Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой

Книжный клуб «ЭКСМО»

101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

ISBN 594661011-2



9 785946 610117

Отпечатано с готовых диапозитивов
во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Апельсины из Марокко

«Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», написанные Василием Аксеновым в шестидесятые (прошлого уже века!) годы, сделали его знаменитым. Время действия всех трех повестей — те же шестидесятые — многим сегодняшним читателям может показаться царством абсурда. К примеру, сюжет одной из них лихо закручен вокруг незаурядного для советской действительности события: лютой зимой в дальневосточный городок пришел груз экзотических апельсинов и стал центром для всей таежной и морской округи. Между тем герои всех трех повестей — веселые, непоседливые, славные молодые люди со всеми достоинствами и недостатками нынешних — ищут в море, в тайге, в сельской больнице, кто где, приложение своим силам, свободу, свежий воздух. То, чего так часто не хватает нам и сегодня.

Затоваренная бочкотара

В давние времена, шестидесятые — семидесятые, люди до дыр зачитывали журнальные тетрадки с его новыми повестями и рассказами. Особенно популярна была «Затоваренная бочкотара» — фразы из нее становились крылатыми. Пусть и нынешний читатель откроет для себя эту мудрую и озорную повесть, откроет «Поиски жанра», «Пора, мой друг, пора», «Рандеву», «Свяжись». Ведь по сути дела Россия сегодня все та же...

Скажи изюм

Один из самых известных романов Василия Аксенова — озорная, с блеском написанная хроника вымышленного фотоальбома «Скажи изюм». Несколько известных советских фотографов задумали немислимое для советской действительности — собрать свои работы в одном альбоме и издать его в обход цензуры. Бдительные стражи партийной идеологии и «органы» (в романе — «железы») начинают преследовать «идеологических диверсантов». За увлекательно придуманной историей неподцензурного фотоальбома «Скажи изюм» угадывается вполне реальная история знаменитого литературного альманаха «Метрополь», авторы которого замахнулись на один из краеугольных камней режима — цензуру и поплатились за это, а за мастерами объектива, за героями книги — метропольцы, известные писатели и поэты, в том числе и сам автор романа.

Остров Крым

Знаменитый роман «Остров Крым» Василия Аксенова принес автору мировую известность. В основе фабулы невероятное допущение: как могла повернуться история, если бы Крым не был захвачен большевиками, а остался свободным и независимым. В романе много приключений, гротескных житейских ситуаций. Несмотря на фантастический сюжет, книга во многом оказалась пророческой.

Кесарево свечение

В новом романе Василия Аксенова «Кесарево свечение» действие — то вполне реалистическое, то донельзя фантастическое — стремительно переносится из нынешней России в Америку, на вымышленные автором Кукушкины острова, в Европу, снова в Россию и Америку. Главные герои — «новый русский» Слава Горелик, его возлюбленная Наташа и пожилой писатель Стас Ваксино, в котором легко угадывается автор.

Ожог

Роман Василия Аксенова «Ожог», донельзя напряженное действие которого разворачивается в Москве, Ленинграде, Крыму шестидесятых — семидесятых годов и «столице Колымского края» Магадане сороковых — пятидесятых, обжигает мрачной фантаσμαгорией советских реалий.

Книга выходит в авторской редакции, без купюр.

Московская сага

«Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» — эти три романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». Их действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории годы: с начала двадцатых до начала пятидесятых — борьба с троцкизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, послевоенные репрессии.

Вместе со страной семья Градовых, три поколения российских интеллигентов, проходит все круги этого ада сталинской эпохи.

Новый сладостный стиль

Один из последних романов Василия Аксенова. Главный герой книги театральный режиссер, актер и бард Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого и самого автора, в начале восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для эмигранта испытания — незнание языка, безденежье, поиски работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему свету. Это книга о России и Америке, о переплетении человеческих судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя, о происхождении человека — не от обезьяны, а от Бога. И еще это — книга о любви.

3

\$
4

W

E

R

S

D

F

X

C





В этой книге — две книги: «В поисках Грустного Бэби» и «Бумажный пейзаж». Для многих сентиментальная песенка «Грустный Бэби» с заигранной пластинки из рентгеновской пленки была в пятидесятые годы песней об Америке, мечтой о далекой таинственной земле. Выброшенный из Советского Союза русский писатель ищет мечту своей юности, открывает для себя и для нас сегодняшнюю Америку и сегодняшних американцев, а заодно открывает много интересного и в нашей прежней жизни — советской действительности семидесятых — восьмидесятых годов. О ней же — фантасмагоричный, как и сама советская действительность, «Бумажный пейзаж».



ИЗОГРАФУС

ЭКСМО-ПРЕСС